КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

83

Мы обошли три пары надгробий — Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иакова и Лии. И от приближения к ним эти образы ожили и прошли чередой, каждый со своею неповторимой судьбой.



Валерия Алфеева



Диалог — это способ существования Церкви в плюралистическом мире. Вера сама по себе является диалогом, диалогом выбора, в котором Бог избирает человека и человек — Бога.

Юзеф Тишнер



С. Кучка был надменен. Боярин любил свободу. Он говорил смело и прямо, на простом русском языке. Ю. Долгорукий велел убить С. Кучку. На этом месте и стала Москва...

Евгений Попов

Маяк над головой выл, не переставая. На перекрестках Коля скорость не сбрасывал, дул промеж встречных машин. Только тормоза у шоферюг встречных визжали...

Сергей Каледин



Как не может жить тело без души, так и цивилизация — без придающего ей силу и смысл внутреннего, духовного начала.

Андрей Зотов





Народ России отпустили на волю, в свободное рыночное плаванье, не только не снабдив его в трудную дорогу какой-либо собственностью, но и обесценив большую часть имевшихся у него сбережений...

Эдуард Лозанский



Казалось, большего кавардака, неразберихи, суеты и вздора не случалось в Москве за всю долгую ее историю. Москва открывала памятник Николаю Васильевичу Гоголю...

Михаил Кураев

Творчество А. Вайды просто вынуждает задать вопрос: кем является для нас этот художник, которого в эпоху ПНР и награждали, и пороли, которого обвиняли и в польском национализме, и в национальном нигилизме?

Адам Михник



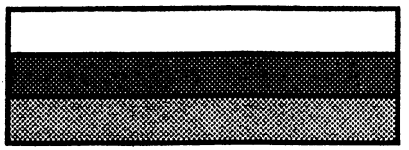




Журнал издается при содействии
ИНКОМБАНКа

КОНТИНЕНТ

Литературный, публицистический
и религиозный журнал



Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

83

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Издатели:

Редакция журнала "Континент"
Ассоциация друзей журнала "Континент"
(*Париж, Президент Ассоциации и основатель-учредитель журнала "Континент" Владимир Максимов*)
Издательство "Московский рабочий"

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому вопросу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент" обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

Редакция пользуется автомобилем "Москвич", предоставленным АО "МОСКВИЧ"

© ТОО "Журнал "Континент"
© Название журнала "Континент" — В.Е.Максимов

Главный редактор: **Игорь Виноградов**

Зам. главного редактора: **Игорь Тарасевич**

Ответственный секретарь: **Сергей Юров**

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов ● Виктор Астафьев ● Ценко Барев ● Александр Блок ● Армандо Вальядарес ● Галина Вишневская ● Георгий Владимов ● Ежи Гедройц ● Густав Герлинг-Грудзинский ● Пауль Гома ● Алла Демидова ● Милован Джилас ● Вячеслав Иванов ● Фазиль Искандер ● Оливье Клеман ● Роберт Конквест ● Наум Коржавин ● Эдуард Кузнецов ● Николаус Лобковиц ● Эдуард Лозанский ● Эрнст Неизвестный ● Жорж Нива ● Амос Оз ● Ярослав Пеленский ● Виктор Спарре ● Витторио Страда ● Карл-Густав Штрем ● Юлиу Эдлис ● Сергей Юрский ●

Представители "Континента"

Израиль	Юлия Эйдельман Hashaftim 22 64365 TEL-AVIV, ISRAEL ☎ (03) 69-67-375
Италия	Джулия Филиппелли Via Olmetto, 5 20100 MILANO, ITALIA ☎ (2) 86-45-47-23
Канада	Ольга Бутенко 1221, Boul. Rene Levesque SILLERY QC G1S1V8, CANADA ☎/fax (418) 688-1221
США	Эдуард Лозанский 1800 Connecticut ave., N.W. WASHINGTON, D.C. 20009 USA ☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244
Франция	Татьяна Максимова 9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE ☎ (1) 45-00-67-56
Швейцария Женева	Жан-Филипп Жаккар 104 rue de Carouge 1205 GENÈVE, SUISSE ☎ (22) 321-4052
Берн	Юрий Гальперин Scheuermattweg 14 3007 BERN, SUISSE ☎ (31) 459-463

СОДЕРЖАНИЕ

Валерия АЛФЕЕВА
У мамврийского дуба. **Из книги «Паломничество на Святую Землю»** 9

Валентина БОТЕВА
Посели нас навеки у моря. **Стихотворения** 55

Евгений ПОПОВ
Лоскутное одеяло. **Рассказ-Энциклопедия** 59

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ
Незримо и грозно. **Стихотворения** 85

Сергей КАЛЕДИН
Рождество в посольстве Канады. Когда б вы знали...
Рассказы 92

Хаим ГОЙКИН
Сказка о золотом подвальчике, или маленький кибуц на Спинозе 131

РОССИЯ

Интервью Эдуарда Лозанского журналу «Континент» 174

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

«Хотелось бы получить указание...»
Вокруг дела Пастернака 186

РЕЛИГИЯ

Митрополит Пергамский ИОАНН (ЗИЗИУЛАС)
Общение и инаковость 212

Британское православие. **Интервью с епископом Сергиевским Василием** 226

Юзеф ТИШНЕР
У истоков интегризма 234

ГНОЗИС

Андрей ЗУБОВ
Европа и мир (Рубежи земли и предназначение цивилизации) 249

ПРОЧТЕНИЕ

Михаил КУРАЕВ
Памятник Гоголю 271

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Игорь ВИНОГРАДОВ
Между отчаянием и упованием 299

ИСКУССТВО

Адам МИХНИК
Пепел, улан, полонез 332

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 373

РАЗНОЕ

1. **Лев ИГОШЕВ** *Нужно ли?* (Письмо в «Континент»)
2. Поправка 412

Валерия АЛФЕЕВА

У МАМВРИЙСКОГО ДУБА

Из книги «Паломничество на Святую Землю»

Путешествием в Каменистую Аравию и восхождением на Синай закончилось исполнение моего давнего желания — совершить паломничество по православным монастырям и храмам не только России, Грузии, Закарпатья, которые я посещала много лет, но и более отдаленных стран — вплоть до Святой Земли. Намерение это казалось несбыточным, даже когда оно осуществлялось, и оставались чудом, великой милостью и ничем не заслуженным даром Божиим каждая обитель, открывшая передо мной двери, каждая раскрывшаяся душа.

Полтора года провела я в благословенных странствиях.

Ездила по Франции с ее освященным молитвами наших изгнанников южным побережьем и пятиглавым собором на бульваре Царевича в Ницце, со знаменитыми Сергиевским и Трехсвятительским подворьями в Париже. Молилась у полузабытых русских могил на кладбище Сен Женевьев де Буа. Встречалась с герцогиней Лейхтенбергской, родившейся в России, выросшей в фамильном замке в Баварии и обретшей полноту бытия в Покровском монастыре, говорила со священниками и богословами, с Кириллом Александровичем Ельчаниновым, посвятившим всю жизнь помощи русской церкви из-за рубежа.

Валерия АЛФЕЕВА — родилась в г. Пителино Рязанской области. Окончила факультет журналистики Московского университета. Печататься начала в 1961 году. Автор книги «Цветные сны (Атлантические дневники и рассказы)» М., 1978 г., повестей «Джвари» («Новый мир», 7, 1989), «Призванные, избранные и верные» («Москва», 4, 1991) и «Паломничества на Синай» («Москва», 10, 11, 1994).

В Англии я гостила в монастыре архимандрита Софрония, когда уже три четверти века он провел в эмиграции, но еще беседовал о богослужении и монашестве, рассказывал о последнем канонизированном русском святом на Афоне — старце Силуане. В лондонском соборе слушала лекции по литургике митрополита Антония, посетила современные конвенты и скиты с единственной православной монахиней-англичанкой или несколькими отшельниками.

Золотой, зеленой и багряной осенью проехав вдоль отразивших ее тихих шотландских озер, добралась до остатков древних храмов и кельтских крестов на пустынных Гебридских островах...

В Сан-Франциско и Лос-Анжелесе, в храмах Православной церкви в Америке мне выпала радость прочесть за богослужениями все паремии Великой Субботы и канон на пасхальной вечерне. А в Санта-Барбаре, замкнутой полукольцом гор над тихоокеанской лагуной, прелестном городке с испанским колоритом — клостерами, галереями, башенками, черепичными крышами, аллеей лиловых глициний — и маленькой русской церковкой, я жила в доме, где несколько лет назад умер архиепископ Иоанн Шаховской, и разбирала его архивы.

Затем последовали переполненные впечатлениями месяцы на Кипре с его горными монастырями, поездки по Святой Земле — от Хайфы и Тивериады до Горненской и Гефсиманской обителей, до монастырей Саввы Освященного и Георгия Хозевита, до Хеврона с Мамврийским дубом и гробницей Авраама — и ночные литургии у Гроба Господня в Иерусалиме, в сослужении греческого и русского духовенства.

И наконец, Каменистая Аравия — Третья Палестина, рассвет на вершине горы Синай, где впервые явился избранному народу Господь в огне и громах. И построенный при императоре Юстиниане греческий монастырь Святой Екатерины с престолом на корне вечнозеленой Неопалимой Купины, — той самой, *из среды* которой за 13 веков до Рождества Христа *Ангел Господень* явился Моисею в *пламени огня*: и вот уже почти два тысячелетия христианской эры этот *терновый куст горит* в евхаристическом огне, но *не сгорает* (Исх. 3, 23). И поездки по Синайской пустыне, древние монастыри в Фаране и Раифе...

Не слишком большую часть своей прежней жизни я посвятила литературе, — она не казалась ни верховным моим предназначением, ни самодовлеющей ценностью с тех пор, как мне открылись

благодатная таинственная жизнь Церкви и неисчерпаемое светоносное наследие Святых Отцов, познавших нашу душу бесконечно глубже, чем вся светская культура человечества.

Но теперь, в паломничествах, передо мной распахнулась огромная панорама православной жизни мира, память и сердце хранят редчайшие, драгоценные, как синева и мерцание витражей Шартра, впечатления, и образы священников, старцев, монахов и монахинь, русских эмигрантов, странников, богословов, перешедших в православие из других конфессий, — людей, принявших *Путь, и Истину, и Жизнь* (Ин. 14, 6), — и мне было бы жаль, если бы эти образы и впечатления умерли вместе со мной.

Конечно, сама по себе «перемена места не приближает к нам Бога, — говорит святитель Григорий Нисский. — Что большего получит тот, кто побывает в этих местах, — точно Господь доселе в них пребывает, а от нас удалился, или будто Дух Святой обилует среди иерусалимлян, а к нам не может придти... Где бы ты ни был, Господь придет к тебе, если обитель души твоей окажется такой, чтобы Господь мог вселиться в тебя... Поистине в сердце того, кто имеет Бога, находится и Вифлеем, Голгофа, гора Елеонская, Воскресение».

Приближает Бога к нам или нас к Нему не перемена места, но п е р е м е н а с е р д ц а, а эти слова являются синонимом греческого слова «покаяние». Те, кто, как Григорий Нисский, уже достиг святости, кто в сердце своем распят и воскрешен, стал тайнозрителем божественных откровений, сотаинником и собеседником Бога, — те могут вполне довольствоваться и затвором. Но святость, к великой скорби, не общий наш удел, хотя и общее призвание. А какой огонь может переплавить и преобразить наше окаменевшее сердце?

Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит... (Ис. 1, 2).

Бог говорит нам о судьбах мира и народов, о земной и вечной судьбе каждого человека. Но человек не хочет слушать.

Этот освободившийся от собственной сердцевины новый человек, в частности, наш соотечественник, оказавшийся вдруг в смертоносной свободе без святынь, без целей, пределов и берегов, сбросивший одежды не только закона, но и нравственности, ведомый *миропра-вителями тьмы* (Еф. 6, 12), постепенно проявляет жуткий полуживотный лик грядущего *человека беззакония* (Фес. 2, 8).

Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями... Во что вас бить еще..? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.

От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны...

Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.

...Если бы Господь не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре (Ис. 1, 4—9).

Где этот остаток?

Это — святые, как раньше называли христиан не по собственной их безгрешности, а по причастности Единому Святому, — те, кого Господь выводит за руку из обреченного Содома: *«Спасай душу свою; не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть»* (Быт. 19, 17).

Бог — Абсолютная Истина и Абсолютная Полнота Вечного Бытия, человек — Его неповторимое отражение в одном осколке зеркала земной жизни — краткой, временной, но имеющей исход в Вечность. Священное Писание — послание Бога к человеку, нескончаемое откровение о божественном призвании души, ее страдании и блаженстве, наше вчера, сегодня и завтра, наше будущее и вечное. А Священная история — исполнение этих судеб, раскрытие в мире Божиего замысла о человеке, но и повторяющаяся история его блужданий, падений, измен, гибели в богооставленности и всегда возможного спасения, восхождения на гору Божию, осиянную вечным светом Преображения.

Даже путешествия на Святую Землю в системе подлогов и подмен могут быть сведены к приправленным религиозной атрибутикой «шоп-турам» или развлекательным мероприятиям для власть имущих за счет государственных или церковных средств — с пятизвездочными отелями, шведским столом и фотографиями на фоне распятого Христа.

Но паломничества могут и приблизить к нам события и действующих лиц Ветхого и Нового Заветов, дать возможность лучше услышать обращенные к нам слова пророков и апостолов, слова Бога Живого, пережить их как озарение и сохранить в сердце, — как Дева Мария слагала в сердце Своем слова о Христе, — ибо священные глубины этого послания открываются только вере. Молитвенное поклонение святым местам может смирить перед недосягаемой светозарной высотой подвижничества и пробудить великое упование, сделать невидящих — видящими, обратить глаза зрачками в душу, умножить в ней любовь и веру...

И такие паломничества да будут трижды благословенны.

ДОЛГИЙ ПУТЬ В ХЕВРОН

Дней моих на Святой Земле оставалось немного, но их неподвластный нам поток не приближал меня к священному для христиан, иудеев и мусульман Хеврону, одному из самых древних городов мира, с гробницей Авраама и последней зеленой ветвью Мамврийского дуба, протянутой к нашим апокалиптическим временам от начала Священной истории. Напрасно, затемно выезжая из Горненского монастыря, трижды стояла я на шоссе у стен старого Иерусалима, — один за другим проходили синие арабские автобусы, но не было среди них хевронского; потом кто-нибудь произносил: «волнения», «интифада», и становилось явным, что ждать в этот день нечего, и неизвестно, когда можно чего-нибудь ждать.

На четвертое утро, уже отчаявшись, я вдруг поймала пустое маршрутное такси. В Хевроне стреляли; по невнятным слухам, убили еврейскую семью, но ни английских, ни тем более арабских или еврейских газет я не читала, а жаркие дни с привычной сутолокой иерусалимских улиц вытесняли всякую тревогу.

Поплыли мимо выжженные холмы с пластами известняка, каменными кубиками домов и ломаными линиями оград из того же камня — монотонный сухой пейзаж. Всматриваясь в даль между холмами, надеялась я хоть мельком увидеть три нисходящие уступами цистерны, некогда окруженные садами, — остатки прудов Соломона, и в памяти, как заклинание, повторялись строки из Песни Песней:

О, ты прекрасна возлюбленная моя, ты прекрасна!

...Запертый сад — сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник:

рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; садовый источник — колодезь живых вод и потоки с Ливана...

Как гимн божественной любви раскрывает эту книгу тайн один из ранних святых отцов, как прообраз соединения души с Небесным Женихом, ее бесконечного устремления к познанию Бога, сладчайшее страдание, мистический брак. Это к нашей спящей душе взывает голос Любящего:

Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало...

Окаменевшая земля вокруг прорастает стихами Священного Писания, и если бы можно было исходить ее всю, воскрешая образы, отраженные один в другом, бездонные, как колодцы живых вод...

Но иссякла вера, разрушены водопроводы, соединявшие сады с резервуарами под Иерусалимским храмом, пруды заросли кустарником и чертополохом, высохли шафран, и нард, и мирра. Люди перестали пить из потоков благословения, и вместо живой воды льется на землю кровь.

Вдали показались дома Хеврона. И вдруг случилось нечто, требовавшее оправдания, объяснения, но исполненное без единого слова: шофер резко развернул машину, хотя на шоссе не было никаких признаков поворота, и, задев меня локтем, распахнул дверь с моей стороны. Жест был грубо однозначен, — мне оставалось только расплатиться и выйти. Машина въехала на ленту зелени, разделявшую встречные полосы шоссе, пересекла ее и покатила в сторону Иерусалима.

Улица, на которой я вскоре оказалась, была мертва: запертые ставни, опущенные жалюзи, металлические завесы на витринах, замки на дверях... Ветер шевелил бумажный мусор на тротуаре, и это было единственное движение, бесшумное, как в тяжелом сне. Потом из перспективы слепых домов пробежала собака, будто спасаясь от погони. А в разрыве каменной ограды появилась голова старого араба, и даже когда меня заслонил угол дома, я еще чувствовала затылком пронзительный взгляд, направленный, как черные отверстия двустволки. Я обернулась: никого не было, только защитного цвета джип медленно ехал за мной вдоль тротуара, другой, такой же открытый с боков, двигался навстречу: на его подножке стоял солдат с автоматом. Трое рослых парней в военной форме выпрыгнули из машины и преградили мне путь.

— Откуда вы? — спросил один по-английски.

— Из России... — ответила я, не ожидая от них ничего плохого. — Доброе утро.

— Куда идете?

— В русскую церковь.

— Где это? На какой улице?

Улицы я не знала. Обычно из монастыря паломников отправляли группами на машине; а мне советовали добраться до города и спросить русский храм или «абуну Джорджа». Но это были еврейские солдаты, равно далекие от христианства и мусульманства. И даже когда я заговорила о гробнице Авраама, они смотрели с недоумением.

— Теперь это невозможно... Как вы сюда попали?

— Приехала на машине.

— Садитесь в машину и поезжайте назад.

— Машина уже уехала назад.

— Вы что, ничего не понимаете? — Солдат похлопал ладонью по автомату, висевшему у него на груди. — В городе военное положение, на улицах стреляют... Идти вперед опасно.

— Тогда и назад опасно? И я не дойду тридцать шесть километров до Иерусалима... Куда же мне деваться?

Он пожал плечами.

— Можно мне пойти в русскую церковь? Это километрах в двух от центра... надо у кого-нибудь спросить.

— У кого? — солдат бросил взгляд в сквозную перспективу улицы.

— Может быть, вы могли бы меня подвезти? — осенила меня робкая русская надежда, как если бы это был не военный патруль, а попутный газик в нашей провинции.

Ничего воинственного солдаты не проявляли, но и дружелюбия не было заметно. Один из них выдернул антенну радиотелефона и стал быстро говорить с кем-то, очевидно, с начальством и обо мне. Потом присел на край тротуара и закурил, другие разместились в машине. Какое-то решение было принято, и я посматривала по сторонам, не зная, откуда ждать своей судьбы. Наверное, кто-нибудь приедет и отвезет меня в церковь, — без какого-либо разумного основания подумала я: предположить, что попасть туда не придется, я не была способна.

Легковая машина осторожно двигалась мимо патруля в сторону Иерусалима. Солдат поднял руку, обменялся с арабами в машине несколькими словами. Потом махнул мне рукой и, распахнув дверь, предложил сесть на заднее сидение.

— Мы едем в Иерусалим? — не сразу поверила я в очевидное.

— Вы едете в Иерусалим, — ответил сидевший за рулем, не оборачиваясь, — а мы в другом направлении... подальше от патрулей.

Озадачив меня и не дождавшись ответной реакции, — я еще не понимала, на что можно надеяться, и машинально нащупала ручку дверцы: не пришлось бы выбрасываться на ходу, — он на мгновение обернулся с полуулыбкой:

— Вас высадим на шоссе, где машины ходят. А если доберетесь благополучно до Иерусалима, там и пойдите в свою церковь...

— Там я часто бываю...

— Пойдите поблагодарить Бога... Сегодня на улице убили троих. Пуля не выбирает... Или вы хотели упокоиться рядом с Авраамом?

Наверное, тень страха запоздала и уже не успела коснуться меня. Можно было мысленно посмеяться над своим безрассудством. Можно было, действительно, благодарить Бога за избавление от опасности, которую я не заметила, поглощенная своим устремлением. Но с еще большим чувством я просила Его устроить так, чтобы я опять попала в Хеврон: я не надеялась, что когда-нибудь снова удастся добраться сюда из России.

Через несколько дней, уже приехав попрощаться в Гефсиманский монастырь, я встретила в храме иеромонаха Иоанна. Месяц назад вместе с ним мы восходили на пик Моисея.

— Поднимались на Синай снова? — спросил он с интересом.

— Да... На этот раз днем.

— Одна?

Я кивнула.

Мне и хотелось повторить восхождение при свете дня. По воскресеньям туристов не водят, и я была одна на всем обозримом пространстве. Хорошо было не спеша подниматься по высеченным в камне ступеням, узнавать места наших стоянок, находить словно черной тушью тонко прорисованные на тверди багровых скал веточки — природные отражения или прообразы Неопалимой Купины. Хорошо было стоять, глядя вниз на раскрывающуюся долину, на облачко зелени в расщелине — заброшенный за хребет Хорива скит. После трех часов подъема

снова распахнулась беспредельность каменистой пустыни с вершины Синая — изломанная, вздыбленная, безжизненная и безмолвная горная даль. Что было мне в этой безмерности? И почему я видела ее будто впервые? Или душа способна к глубокому созерцанию только наедине с миром, — тогда она проходит сквозь внешний слой впечатлений, забывает себя, погружаясь в бездонность, в ней отражаясь, и *бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих?*

Что там дальше в псалме?

...Все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.

— Но и когда мы вместе поднимались, было хорошо... — сказала я в утешение отцу Иоанну, не совершившему этот путь в одиночку. — Потому что это было впервые.

— А что теперь? Скоро уезжаете?

Я рассказала, как не хотелось уезжать, не попав в Хеврон, и как вооруженные силы выдворили меня за его пределы.

— Я буду служить там на престольный праздник... — как бы вне связи с моей историей сообщил отец Иоанн, — левый придел посвящен святителю Николаю. Наши монахини тоже собираются ехать.

— Можно мне с вами?

— Если в субботу часам к двенадцати вы будете здесь.

— Я буду...

В нечаянной радости я и не вспомнила, что суббота — день ветхозаветного покоя, и мне предстояло пройти километров десять, потом пересечь новый город и обогнуть крепостную стену старого. Время от времени я пыталась остановить то машину скорой помощи, то полицейскую машину, но заметного успеха не имела. И все-таки даже на полчаса раньше завершила я этот переход — из Горненского монастыря Московской патриархии в монастырь Русской Зарубежной церкви — по опустевшему и безлюдному Иерусалиму, напомнившему Хеврон на военном положении. Интересно, чем занимались там в этот день израильские солдаты?

Субботний покой не распространяется на арабских водителей и пассажиров. Мы вошли в уже заполненный автобус, и

молодой араб охотно поменялся с отцом Иоанном, уступая место рядом со мной.

Отец Иоанн сидел у окна, несмотря на жару — в рясе, в которой всегда выходил в город, и надвинутой до бровей вязаной черной шапочке, похожей на скуфью. Как он оказался в Иерусалиме? За каждым русским на чужой земле проявлялась изломанная линия судеб, и за них в душе моей накопилась и все нарастала давняя боль. Размещенные по разные стороны провала, разделившего нашу Церковь, мы были словно без вины виноваты друг перед другом, и сейчас — потому что однажды мы уже прошли вместе до вершины Синая, — это создавало незримую связь. Обычно это отчуждало; или — одно неосторожное слово, и связующая нить рвалась.

География скитаний предков и самого отца Иоанна охватила три континента. Дед его был капитаном флота в Белой армии и ушел из Крыма вместе с генералом Врангелем. Отец родился еще в Севастополе, мать — в Югославии; там они встретились двадцать лет спустя и вместе отправились в Австралию.

— Я родился в Сиднее. До двадцати шести лет работал инженером на строительстве в Южной Африке, прожил год в Намибии. Но уже читал Добротолюбие... и, хотя были и соблазны, жил почти по-монашески.

— Почему? Вы росли в православной семье?

— У меня есть немецкая кровь, но семья — традиционно православная. И весь уклад жизни сохранился русским — ходили в церковь в Сиднее, говели, на Пасху красили яйца и пекли куличи. Вы знаете, многие русские чувствуют себя чужестранцами даже через два поколения. Я ниоткуда не эмигрировал, но от начала осознания себя это было задачей — обретение корней... Моя мать ездила на Святую Землю, даже в Хеврон. Там служил тогда отец Игнатий: в тридцать лет он стал священником в России, но ушел вместе с немцами. Правда, что всех, кто был в зоне оккупации, потом ссылали? — этого мой разум не вмещает...

Мой не вмещал бы тоже, если бы десятилетиями не заставляли нас вмещать абсурды и ужасы нашего бытия, уже не содрогаясь.

Отец Иоанн говорил быстро, нервно, будто с усилием прорывая плотину давнего молчания.

— В Мюнхене он стал иеромонахом Русской Зарубежной церкви. А в Хеврон приехал вместе с отцом Георгием, — вы увидите его...

— Абуна Джордж?

— Так его зовут арабы... Георгий был и в немецком плену, и, говорит, в партизанах... теперь ему под восемьдесят лет. А отец Игнатий умер в девяносто. Вот моя мать его еще застала и очень расположилась к нему душой; исповедовалась, ему обо мне говорила, мне — о нем, советовала повидать, пока старец жив. Так я попал в первый раз в Хеврон...

— Тогда еще проходили в Европе, потом в Америке съезды Русского христианского движения... Мы с другом и сестрой Мусей отправились из Сиднея в Сан-Франциско на съезд. Я впервые услышал иеромонаха Серафима Роуза: он делал доклад «О России и конце мира». На нас это произвело такое впечатление, что мы поехали в скит в Платине, где он жил... Удалось купить старую машину, мы прибыли в дни памяти преподобного Германа Аляскинского... Провели там высоко в горах, в лесу три недели и вспоминали их, как дар Божий. Вы знаете Серафима Роуза?

— По книгам... и фотографиям с сиянием в глазах. Есть слова у митрополита Антония Блума, что человек не поверит в Бога, пока не увидит на чьем-нибудь лице сияние вечности. Мне казалось, что иеромонах Серафим был из тех, на чьих лицах можно увидеть сияние...

— Да, он произвел огромное впечатление, огромное... Конечно, удивляла его исключительная образованность: он знал основные древние языки — еврейский, китайский, хинди — и восточные религии. И как высшее откровение принял православие; и русским владел, как родным, хотя был американец. Но более всего поражал сам его образ — его аскетизм, кротость, смирение... открытость для общения и глубокая сосредоточенность, непрестанная Иисусова молитва, даже при разговоре... А уединялся он для молитвы и работы над своими книгами в келейке из досок на горе — в скиту «Дивеево», без отопления, без электричества, без воды...

— Была какая-то чрезмерная обостренность в его эсхатологическом чувстве: он повторял, что уже поздно, позже, чем нам кажется, и спешил приводить к Истине. Десятки людей приез-

жали, чтобы увидеть, а уезжали уверовавшими и даже крещеными. Я уже поскитался по Америке; и был разительный контраст между пресыщенностью, свободой для пороков и страстей — и отвержением всего этого, полной обращенностью к духу в ските. Умер он в сорок восемь лет — через год после того, как мы виделись... Умер от слишком строгих постов, от тяжелой болезни желудка... оттого, что никогда не лечился по бедности монастыря, и привезли в больницу, когда было поздно.

Подъезжали к Хеврону, — на этот раз я не заметила дороги.

— А в моей жизни к тому времени как будто произошла кристаллизация насыщенного раствора, довольно быстрая... Совершился главный выбор... хотя надо было найти точку приложения выбора, — но это случилось как-то уже само по себе. После Платины мы с другом и Мусей еще поездили, посетили женский монастырь в Канаде, скит у Эдмонтона, встречались с богословами. Сестра и друг вернулись в Сидней, а я провел еще две недели в Джорданвилле. Потом приехал туда снова, поступил в семинарию и ее окончил. В Джорданвилле и принял постриг...

РУССКИЙ СТРАННОПРИИМНЫЙ ДОМ

Минуты за три доехали в такси от автостанции до недостроенной стены, ограждающей русскую землю в арабской части Израиля, на пространстве древней Иудеи, прежде — земли Ханаанской.

Далеко по холмам и долинам раскинута панорама древнего города. Он лежит на высоте более тысячи метров над уровнем Средиземного моря, и в прозрачные дни с горы, на которой стоит наш храм, можно видеть синее мерцание воды у горизонта.

Храм огромен и похож на крепость с каменной кладкой, способной выдержать удары осадных орудий. Полукруглый выступ абсиды, прямоугольная башня-звонница... зубцы по верхнему краю стен, высоко вознесенный на мощном барабане купол с крестом.

— Как-то ночью арабы водрузили на башне свой флаг... — усмехается отец Иоанн. — Утром явились израильские полицейские — требовать, чтобы флаг немедленно убрали. Георгий говорит: «Мне восемьдесят лет, я не могу лезть на стену. Кто

его поднял, пусть и снимает...». А кто его поднял? Полицейские привели местных жителей, кто подвернулся, поставили к стенке: через час флага не было. Так и живем — между двумя станами, под перекрестным огнем.

Идем вниз по склону мимо часовенки с синим куполом, мимо тонких дубков, поднимаемся по ступеням к дому. Отец Иоанн звонит и, не сразу, но отворяется обитая металлом дверь. Монах лет тридцати, темноглазый и темноволосый, приветствует нас, и вслед за ним мы входим в просторную комнату с высоким потолком и раскрытыми на балкон застекленными створками дверей и окон.

— Это афонский инок Николай... — представляет отец Иоанн. — Завтра он именинник.

Другой человек, постарше, со шрамом, переходящим со лба на щеку, невысокий и плотный, в пестром шерстяном свитере, протягивает руку:

— Евгений...

— Вы из России? — предполагаю я.

— Давно... — бодро улыбается он. — Мы все здесь давно из России.

Отец Иоанн спрашивает, где Георгий, но почему-то ему не отвечают.

Все вместе мы выходим на балкон. Дом стоит на склоне горы, он двухэтажный и по толще каменных стен, высоте и протяженности тоже напоминает крепость. Внизу — огромное пространство пустой земли, частично вспаханной, и у края ее полоса пожухших виноградников.

Эту землю и купил в 1868 году знаменитый архимандрит Антонин, начальник Русской Духовной миссии в Иерусалиме... Тогда невозможно было приобрести участок в этих местах, издавна заселенных мусульманами, но и смириться с тем, что православным не было доступа к Мамврийскому дубу, архимандрит Антонин не мог. Много лет вел тайные переговоры, собирал пожертвования русских богомольцев, — ни правительство, ни Церковь не поддерживали его желания приобретать землю в Палестине. Наконец купил участок с дубом на имя своего верного сподвижника, православного араба, драгомана русского консульства Якова Халеби: в Хевроне он выдал себя за купца из Сирии. А потом миссия скупала соседние

мелкие участки, и к концу прошлого века ей принадлежало здесь семьдесят гектаров.

— Сколько стоит эта земля? — спрашиваю я.

— Архимандрит Антонин заплатил три тысячи франков. А сколько она стоит теперь, не могу и представить... — говорит отец Иоанн. — Миллионы...

— Слава Богу, что не было на нее прав у советской власти... — усмехается Евгений. — А то Хрущев продал бы ее за апельсины, как русское подворье в Иерусалиме... И участок в центре Назарета подарили израильским коммунистам: подкармливали, чтобы они лучше плодились на Святой Земле...

— Арабы узнали, что их Ибрагим продал землю в Хевроне православным, устроили бунт, — возвращается отец Иоанн к месту действия. — Ибрагима убили. Даже подожгли дуб — одна ветвь сгорела. Грозили сжечь дом. И пока он строился — шесть лет, пока обносили участок стеной высотой в четыре метра, много пришлось претерпеть. Ночью арабы растаскивали стены по камню, разворовывали все, что под руку попадалось — доски, цемент... впрочем, как и теперь. А дом этот открыли для паломников в 1874 году — ему теперь сто двадцать лет. Был здесь роскошный виноградник, фруктовые деревья, огород...

Евгений оставил нас, а отец Иоанн продолжал с мягкой улыбкой:

— Когда я приехал сюда впервые, отец Игнатий встречал паломников с авраамовым гостеприимством. Сам ездил на базар, закупал продукты ящиками. Чего-то всегда не хватало, что-то портилось... Георгий при нем пономарил, звонил в колокол, убирал храм, готовил, как умел. Электричества не было, водопровода не было, воду, чтобы стирать и мыть посуду, грели на керосинке. В доме убирать не успевали: отец Игнатий всех сразу отправлял в церковь. А служили каждый день по полному монастырскому чину. Когда заканчивали, ни у кого сил не оставалось... К праздникам заранее приезжали сестры из Гефсимании, из Елеонского монастыря, готовили, убирали храм и дом. В нижнем этаже — огромные комнаты, на пол настилали солому и располагались на ночлег...

Он долго молчал, улыбка неприметно погасла, сменившись привычным выражением отъединенности, погруженности в се-

бя. Я слушала его с благодарной наполненностью, и это было похоже на то, как ты поднимаешься в гору, а вокруг раскрывается светлая даль.

— А потом?..

— Отец Игнатий умер в восемьдесят шестом году, — вот уж я не думал раньше, что сам его сменю... После рукоположения служил здесь три года... — Он говорил теперь как будто через силу, без прежней безоглядности, словно взвешивая слова на ладони и отбирая их. — Тут началось особое время, всего не расскажешь... В Хевроне сейчас триста тысяч жителей — все мусульмане: если идешь по улице, и в тебя бросают камень — это в порядке вещей...

— В вас бросали камни? — у меня прервалось дыхание.

— Это обычное дело... — тихо отозвался он. — Потом стреляли... Несешь мешок с хлебом на неделю, вдруг мимо виска пролетит пуля... То ли стреляли мимо, то ли плохо прицелились...

— Но как вы служили? Они ведь всегда могли войти в храм?

— Храм всегда заперт...

— Вы служите в запертом храме? А как же прихожане?

— Какие прихожане... в городе нет ни одной православной семьи. И паломников почти нет: прежних русских остается все меньше, а «новые русские» занимаются тут другими делами...

Теперь по-иному я видела жесткий профиль моего собеседника, резкую складку у рта, его затрудненность в общении, которую я принимала за нелюдимость. Сопоставила какие-то даты: ему было только тридцать восемь лет, а он казался гораздо старше.

Но близок, должно быть, Господь к побиваемым за него камнями...

Мы стояли, облокотившись на перила и глядя, как тусклый шар солнца погружался в знойное марево. Красный закат подчеркивал контуры зданий, минареты, макушки холмов, проступал сквозь мглу и дымы, и внизу, у края нашей земли — сквозь ветви священного дуба.

Впервые упоминают об этой земле уже двенадцатая и тринадцатая главы книги Бытия.

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе;

и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя...
...И благословятся в тебе все племена земные.
И пошел Аврам, как сказал ему Господь.

А было Авраму семьдесят пять лет, но он не сказал: «Поздно, Господи... куда мне идти на закате лет?».

И взял Аврам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую...

И пережив голод в Египте, разделившись с Лотом в окрестностях Иордана, по новому зову Божиему *двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу.*

К этому началу Священной истории тысячелетиями обращены взоры избранного народа, святых отцов, богословов, апостолов: *Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет.*

Спускаемся по склону, отец Иоанн отпирает навесной замок, открывает калитку, и мы входим за ограду.

Вот он — последний потомок дубравы Мамре, древнейший на земле Палестины, а может быть, и на всем Востоке, патриарх дубов, воспетый в богослужебных текстах, в стихах и прозе, запечатленный на тысячах рисунков, гравюр, в иконах...

Вековые священные рощи, дававшие благословенную тень, были у многих восточных народов: в Мекке еще в прошлом веке увешивали трофеями старую смоковницу, на развалинах Вавилона почитали дерево на месте висячих садов, в Дамаске — платан, в Сирии — исполинские кедры. Наверное, в почитании их хранится память о древе жизни, насажденном посреди рая, к которому утратило доступ падшее человечество. И, действительно, израильские арабы считают, что рай был в хевронских долинах, и здесь погребены Адам и Ева. Даже блаженный Иероним упоминает об этом, а толкователи Талмуда помещают гробницу Адама в той же пещере Махпела, где погребен Авраам.

Мамврийская дубрава простиралась далеко на северо-запад: с древнейших времен в ней была станция караванной дороги в

Египет, и император Адриан продавал здесь египетским купцам пленных евреев по мере пшеницы за человека. Иосиф Флавий упоминает о Мамврийском дубе в шести стадиях от Хеврона.

В первые века дубрава была местом языческих празднеств. И историк Евсевий приводит послание императора Константина к епископу Макарию: «Мы знаем, что место у Мамврийского дуба, где обитал Авраам, омрачено идолопоклонством, и для того я повелел... без отлагательства предать идолов огню и испровергнуть их алтари. А дабы впредь оградить это место от поругания, мы определили и повелели украсить его великим храмом. Всем известно, что там впервые Бог Вседержитель явился Аврааму и беседовал с ним; там возникло начало священного закона и соблюдение его...»

И еще в прошлом веке арабы показывали под сенью деревьев христианские развалины, — историки отождествляли их с руинами храма Константина.

А наш паломник XII века игумен Даниил с восторгом пишет: «Есть же дуб той святый у пути близ на правой руце, тамо идучи, стоит на горе красно вельми... И ту стоял шатер Авраамов близ дуба того же, к востоку лиц. И есть же дуб той святый не вельми высок, но раскидист, и часты ветви имущ, и плоду много на нем есть; ветви же его близ земли приклонились. В толще же есть дву сажень, моею рукою измерих его, а вверх до ветви полуторы сажени есть. Дивно же и чудно, колико лет есть тому дубу святому и на высоцей горе не вредися, ни гнилости на нем нет, но стоит от Бога утвержен, яко теперь посажен...»

С тех пор дуб сильно разросся, и паломники прошлого века измеряли его восемью саженями в обхвате, а по окружности листвы — ста двадцатью шагами.

Мы стоим под могучей, но уже единственной зеленой ветвью. Первое чувство прикосновения к священному растворяется тихой болью. Огромный наклонившийся ствол срезан поверху, топорщится сухими, корявыми, обожженными и обломившимися разветвлениями. Большие дупла залиты цементом, живая ветвь подпирается двумя рельсами, а понизу каменная кладка зажала старый ствол.

Под этими некогда раскидистыми ветвями наши паломники по прибытии устраивали скромные трапезы. На старых кар-

тинках можно видеть и треугольный навес по сторонам ствола, под ним — икону Троицы. Богомольцы собирали желуди и кусочки коры, срезáли на память веточки, палки для посохов, а от исполина как будто ничего не убывало. И вот на восемьдесят лет оскудел поток паломников, и дерево стало сохнуть. Одинокая ветвь давно не дает прохлады в часы полуденного зноя, а странники предвещают, что когда она засохнет, кончится история мира. Так и будет — если принять этот древний дуб как зримый символ веры...

Мы обходим ствол по кругу, и я могу коснуться рукой и губами его старой отслаивающейся коры. Земля вокруг вскопана, усыпана ржавыми листьями. Хевронский дуб — не теревинф — палестинская разновидность каменного дуба. Листы его мелки, узки, обведены по краю колючими зубчиками, а жесткая глянцевая ткань листа испещрена черными точками. Стоит декабрь, но листья не опадают всю зиму, только зелень тускнеет и ярче подсвечивается желтизной. У края участка я собираю желуди, тоже непохожие на наши — в больших мохнатых и колючих шапочках, — но они от молодых потомков дуба, толпящихся у ограды.

Ограда из металлических прутьев, заостренных, как пики, продлена вверх сеткой из колючей проволоки, и еще печальней выглядит одинокий патриарх за решеткой...

И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного.

Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли,

и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего;

и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохнете под сим деревом,

а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдете в путь свой; так как вы идете мимо раба вашего.

Рабом Божиим называет себя Авраам, но арабы, в VII веке захватив город, переименуют Хеврон — в Эль-Халиль, град друга Божия. И этому призванному и верному Господь скажет:

...Утаю ли Я от Авраама, раба Моего, что хочу делать!

От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли,

ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд...

Почти столетнему Аврааму, поверившему Богу и принявшему волю Его, Господь обещает сына от состарившейся прекрасной Сарры, неисчислимое, как звезды, потомство и вечное духовное наследие в тех, кто пойдет по путям Господним.

...Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

И ему открывает Бог самое непостижимое Свое имя. Три мужа стоят перед Авраамом, но он обращается к ним словом «Владыка», — здесь, у Мамврийского дуба впервые явлена тайна Бога как Троицы Единосущной и Безначальной.

И дивные слова молитв из троицкой вечерни, когда в церкви пахнет увядающей листвой берез и цветами, а народ преклоняет колени на охапки зеленой травы, прошли в моей памяти, и в ней растворились, как в воздухе свет закатный: «Благословен еси, Господи Владыко Вседержителю, просветивый день светом солнечным и нощь уяснивый зарями огненными, долготу дневную пройти нас сподобивый и приближитися начаткам нощи. Остени нас святыми Твоими Ангелами... огради нас истиною Твоею...»

Перед литургией Троицы в мои тридцать пять лет надо мной повторили Таинство Крещения. Всю жизнь я считала себя крещеной, и родилась в деревне, росла у верующей бабушки, и день именин совпадает со днем рождения, но вдруг однажды я ужаснулась, подумав, что никто не говорил мне о моем крещении, и уже некого спросить. Тогда священник сказал, что есть такой чин, по которому совершается Таинство заново с этой условной формулой: «если не крещена была». С той Троицы запечатлелись в сердце запах подсохшей травы в храме, эти коленопреклоненные молитвы вечерни, летучий жар от горящих при солнце свечей, разлитый благословенный свет. Его сияние, мерцание я узнавала потом в Троице Андрея Рублева — в образах трех Ангелов, в великом безмолвии и торжествующей красоте озаренного мира сидящих под Мамврийским дубом...

Отец Иоанн сразу пошел в храм — готовиться ко всенощной и литургии, убирать алтарь после долгого запустения. К ужину появился отец Георгий, единственный хранитель священной обители, маленький, со светлыми взлохмаченными волосами и покрасневшими глазами — в сильном подпитии. Говорят, запил он после смерти отца Игнатия, когда остался один на этом пустынном островке в окружении мусульман. После революции прекратился поток паломников из России, с начала интифады — и из других стран. Бедный отец Георгий плакал и просил, чтобы после перевода отца Иоанна прислали другого священника, но никто не мог вынести образа жизни, который десятки лет претерпевал старевший вместе с дубом, надломившийся русский странник.

— Бывший власовец... — тихо сказал Евгений, пока тот кружил по трапезной, входил и выходил. — Какая судьба: сначала родина бросила его в окружении, потом церковь оставила здесь одного...

— Он — священник?

— Нет, просто монах... — чин кающегося. Лет сорок уже монах, но сана не принимает. Говорит, свои бы грехи отмолить, куда уж чужие на себя взваливать.

Георгий говорил пустое за столом, и обижался, когда ему предлагали рыбную котлету и когда ее не предлагали, и вилка дрожала в руке, а в виноватой улыбке было сознание его непоправимой беды. Вскоре его отправили спать и с облегчением вернулись к чаю.

Закрыли сплошные металлические ставни, и сразу наступила ночь, разреженно освещенная лампочкой без абажура, и глухая тишина. Разрушая ее, спрашивали меня о Синае, потом о России.

Чувство неловкости часто возникает, когда эмигранты говорят о нашей жизни: вопросы скользят по поверхности, случайны, иногда нелепы, и ты понимаешь, что собеседник утратил связь с какой-то невыразимой сущностью нашего бытия, — у него уже другая, своя боль. Но инок Николай еще все помнил. Отец его был русский, рано умер; мать, еврейка, увезла его в одиннадцать лет из страшной коммунальной квартиры в Америку — в семьдесят четвертом году. Когда я встречала его взгляд, кроткий, внимательный и печальный, мне казалось,

что с детства был он очень ранимым, а в юности искал осмысления страданий избранного народа, утратившего суть своего избранничества. После школы он стал келейником у епископа, в двадцать четыре года уехал на Афон и был пострижен в рясофор в русском Ильинском скиту. Но через шесть лет греки совершили разбойное нападение на своих православных братьев во Христе и захватили скит.

— Когда в 1992 году греки перешли на новый календарь, мы, как и многие другие монастыри на Афоне, перестали поминать за литургией Константинопольского патриарха. Нам угрожали, но мы не испугались, служили по старому стилю, как и русская церковь. Конечно, это внешний повод... Ильинский скит — старинный, с бесценными иконами и церковной утварью... да это только называется «скит», а по достоинству — монастырь... Греки давно хотели прибрать его к рукам, как двадцать лет назад богатый русский Андреевский скит... И тут вдруг без каких бы то ни было прав, без суда потребовали, чтобы мы выехали в течение двух месяцев. Ну, календарные споры — спорами, но не основание для грабежа... Никто не предполагал, что они затеяли. Прошел год. Однажды прибыли на Святую гору два греческих митрополита как бы на совещание — на нем даже вопроса о нас не поднимали. И вдруг, бесшумно и безгласно, как тати в нощи, — чтобы мы не стали обороняться, они появились в скиту с отрядом полиции и представителем губернатора Афона.

— А вы стали бы обороняться?

— Во всяком случае, заперли бы ворота: пришлось бы им брать нас штурмом. Нас было всего четверо. Архимандрит Серафим в бессильном гневе назвал этих экзархов иудами и даже коммунистами: они загнали монахов в кельи, дали час на сборы личных вещей... с полицией вывели, силой затолкали в машины, потом на пароход — и выпроводили с Афона.

— Но неужели нет никакой управы?

— В том-то и беда... У Русской Зарубежной церкви — ни власти, ни государственной поддержки... Мы подали аппеляцию в греческий же суд... его уже почти год откладывают и могут откладывать еще пять лет. А скит уже предан на разграбление другим монастырям. Говорят, в первые же дни взломали

сейф с драгоценными митрами, начали растаскивать старинное, шитое золотом облачение...

— А если бы скит принадлежал Московской патриархии, греки не решились бы на такое?

— Да уж конечно...

Нет мира ни вовне, ни внутри стана верующих в единого Христа, уже не только христианская, но и православная церковь дробится на все более мелкие осколки. Вот еще через один монастырь, еще через одну судьбу прошел разлом русской церкви, теперь уже ничем не оправданный. Сами того не желая, мы упирались в эту тему, как всегда и случалось...

— Как вы думаете, отец Николай, не вечно же будет длиться этот наш раскол? Ведь у нас нет догматических расхождений...

— Догматических нет...

— А что есть... кроме застарелой вражды и архиерейских амбиций?

Деликатней было бы обходить эту тему дальней стороной, чтобы не рассориться, не обидеться и не обидеть, не испортить праздник. Но тогда в совместном праздновании осталась бы неправда, нельзя было и приезжать, если не иметь надежды, что мы сможем славить Бога единым сердцем.

— Политика — не основание для раскола. Да уже и коммунистический Гулаг распался... — продолжала я.

— Это еще увидим... Хотелось бы, чтобы распался. Зато церковная верхушка осталась прежней... Наши архиереи говорят: мы не хотим причащаться из одной Чаши с КГБ... — Он поднял глаза, и в его голосе появились металлические нотки.

— Вы будто не понимаете, что к Чаше приходят не комитеты и партии, а люди — всегда грешные. Христос разбойника кающегося ввел в рай...

— Кающегося! вот речь и идет о покаянии...

— Да не перед вашим же митрополитом должны каяться наши архиереи... Разве он вправе вершить Страшный Суд? Исповедь — таинство, она совершается в глубине души перед Богом... А у вас устраивают публичное позорище, принимая «через покаяние» наших священников... Я встретила такого в Сан-Франциско, он рукоположился и уехал в Америку, — ваши архиереи перед его покаянием даже не сказали, что запрещают евхаристическое общение с нами... что он отрекается

от русского народа... — Я волновалась, решаясь однажды все выговорить. — Вы читали послание вашего митрополита к нашей церкви? Что он там пишет... ведь семинаристы в недоумение приходят: что все наше духовенство безблагодатно, только отдельным «добросовестным» священникам он оставляет право на благодать... Как это понимать? Дети в воскресных школах теперь знают, что Таинство совершает не священник, достойный или недостойный, а Иисус Христос через священника... потому оно и Таинство, а не человеческое действо, не обряд. Святитель Иоанн Златоуст пишет: кто бы ни совершал Евхаристию, Петр или Иоанн, здесь священнодействует Сам Господь, который вчера и днесь и во веки Тот же... Разве у вас это забыли? Или я чего-нибудь не могу понять?

— Не знаю... Я этого послания не читал... — отмежевался отец Николай. — А вот когда советская власть признала Израиль, и начали раздел церковного имущества, из Русской Духовной миссии выбросили нашего старенького священника... Как вы думаете, он это забудет?

— Да-да, не простит до конца жизни... — это и есть христианство? Один здешний священник — он через несколько лагерей прошел и чудом выжил, я к нему с благоговением подошла, — а он мне сказал: «В России никого не осталось — все разложились...».

— Ну, это не многие могут так сказать... — смягчился отец Николай. — Просто боль еще не изжита: сколько людей все потеряли и погибали в чужих землях...

— А мой дед — дьякон — умер от голода и тифа в Поволжье в двадцатые годы... в холодной пристройке при закрытой церкви. Жену его с детьми выгнали на улицу... А когда она умерла, отец — мой будущий отец — стал беспризорником... И потом всю жизнь его унижали за классово-чуждое происхождение. Он растерял все, что связывало его с церковью. И я не получила веры в наследство. И если у эмигрантов отняли родину, у тех, кто остался — и родину, и Бога, и жизнь... А теперь «белые» архиереи обличают «красную церковь»... Она, действительно, красная — от крови наших мучеников.

— Это наши мученики... — мягко сказал отец Николай.

— А наши — палачи? — возмутилась я до нервной дрожи. — Ваши архиереи, прожившие всю жизнь в Америке, теперь при-

меривают терновый венец? А у нас говорят: где они были, когда на Соловках и в Сибири погибали миллионы православных, священников и монахов?

— Они уходили из России, спасая церковь!..

— Вот-вот, то же самое говорят те, кто шли на компромиссы с советской властью... Не люди спасают церковь, а церковь — людей... — не могла уже остановиться я. — У нескольких поколений вытоптали в душах все священное... и сейчас смешивать с грязью нашу все претерпевшую церковь — это, по-вашему, Божие дело? Вы видели хоть одного из наших старцев? Они ведь и лагеря прошли, и войну, и тысячи погибающих душ вынесли и продолжают нести на своих плечах из нашего ада... Неужели ваши архиереи вправе им выносить приговор?

— Старцев, к сожалению, не успел увидеть... мне было десять лет.

— А я видела и потому верю... И вы поезжайте и посмотрите... Вы совсем не знаете нашу подлинную, не показную жизнь.

Из этого разговора не было исхода, — линия раскола продолжалась в наших судьбах.

— Но вот махровый антисемитизм среди православных в России опять расцветает... — со сдавленной болью бросил отец Николай. — Это постыдно — отождествиться с теми, кто сжигал евреев в газовых печах... это позор церкви. Или это те же граждане в штатском, которые всю страну залили кровью, теперь встают под церковные хоругви? Опять не они виноваты, а незримые масоны и безродные космополиты? Шовинизм — это привилегия хамов. Свастика и церковные хоругви над одной толпой — позор и ужас...

— На это тоже не многие способны... или это делается, чтобы скомпрометировать церковь...

— А кто убил отца Александра Меня? — включается Евгений, до сих пор молча слушавший, переводя взгляд с одного из нас на другого. — Это, конечно, до сих пор не выяснили? Как они не могли выяснить, куда исчезали миллионы людей и почему они в лагерях умирали...

— Ясно только, что Господь удостоил его мученической кончины...

— Ваша церковь теперь тоже новых мучеников поминает? — подчеркнул Евгений «теперь».

— Теперь — явно, раньше поминала тайно... А у вас это не праздная ревность? — обратилась я лично к нему. — Или вы ее тоже мученичеством заслужили?

Потом полоса отчуждения разрослась, и мы перестали смотреть в глаза друг другу, слова падали в пустоту. В тягостной напряженности попробовали заговорить о другом, но ничего не вышло, фальшью повеяло и тоской. Господи, что это меня опять занесло? От недостатка смирения, от веры, что можно что-нибудь изменить? Стоило так долго сюда добираться, чтобы испортить себе и другим праздник...

— И все-таки у меня с трудом поворачивается язык, когда я говорю «ваша» и «наша»... Я так не чувствую и не хочу к этому привыкать, — некстати выговорила я посреди уже ненужного разговора. — Как будто дуб Мамврийский раскололи... раскололи, подожгли, а теперь подпиливают с двух сторон и обламывают ветви.

— Вас мы не воспринимаем, как человека из другого лагеря, — с еле приметной улыбкой поднялся отец Николай.

— Спасибо, утешили... — не смогла в ответ улыбнуться я.

— А теперь «время сотворити Господеви...» Одевайтесь теплее, в храме холодно.

— Вы не хотели бы рукоположиться и остаться здесь? — осенила меня счастливая мысль.

— Не знаю, — покачал он головой, — не знаю... Пока я чувствую себя здесь изгнанником...

Здесь тоже...

«Изгнанники, скитальцы и поэты, — кто жаждал быть, но стать никем не смог... У птиц — гнездо, у зверя — темный лог, а посох — нам, и нищенства заветы...»

Да и кто до конца уравновесился в нашем разбитом вдребезги и все еще раскалывающемся мире?

И где наш общий странноприимный дом?

ВСЕНОЩНАЯ И ЛИТУРГИЯ В ХЕВРОНСКОМ ХРАМЕ

Глухая темень лежит окрест, жутковато пробираться в ней по редким кругам света от фонарей на плитах дорожки, поднимающейся к черной громаде храма.

Дверь чуть приотворена, но, навалившись плечом, я едва в силах сдвинуть ее окованную тяжесть, чтобы войти, хотя для арабов это не представляло бы затруднений.

Всенощная начнется в одиннадцать, еще есть время посмотреть храм изнутри. Светится только левый придел, и красные огоньки лампад перед иконостасом не совсем поглощены сумраком. Но в полутьме огромное пространство под незримыми сводами кажется необъятным. Было ли оно когда-нибудь заполнено? Должно быть, нет: оно призвано вмещать тысячи, а караваны в лучшие времена соединяли только десятки богомольцев.

Собирались в Иерусалиме человек двадцать с посохами и холщёвыми дорожными мешками, после обеда выходили через Яффские ворота и шли по шоссе в Вифлеем. Потому и дорогу до Хеврона измеряли двумя днями ходьбы, реже — тридцатью шестью верстами; еще реже — шестью часами езды в экипаже, за который надо было платить от 7 рублей 50 копеек до 11 рублей. Можно было доехать и верхом — на лошади за полтора-два рубля и даже на ослике за рубль-полтора в день. Но обычно шли, отдыхая в греческом монастыре пророка Илии.

Часто, на полчаса уклонившись на запад от прямого пути, заходили в зеленую Бет-Джалу, заселенную православными арабами, с двухэтажными домами русской школы — для двухсот православных девочек — и женской учительской семинарии, с амбулаторией и хозяйственными постройками, с прекрасным видом с террас на палестинские долины. Первый участок приобрел здесь тот же собиратель русских земель архимандрит Антонин Капустин, школа созидалась благочестивыми паломницами при содействии императрицы Марии Александровны, позже — Палестинского общества.

Ночевали в гостинице Вифлеемской обители, поклонялись звезде на месте Рождества и яслям, и в Вертепе звучали рождественские тропари и паломнические песнопения. Молились у заутрени в базилике Рождества, причащались на литургии в пещерке. Потом, получив благословение наместника патриарха — Вифлеемского митрополита — и напившись чаю с запасенными на дальнюю дорогу черными сухарями, выступали в путь.

Шли к остаткам Соломоновых прудов, к источнику апостола Филиппа, у которого он крестил вельможу эфиопской царицы,

по горной тропе к селению Бет-Захар с развалинами древнего монастыря и участком, тоже принадлежавшим Духовной миссии, с большим виноградником и садами.

Кто потом предал и продал все эти земли? — уже некому ответить.

Путеводители по святым местам Востока, изданные Православным Палестинским обществом в начале века и сохранившие эти подробности, завершают самый дальний к югу переход «поклонников» в приюте архимандрита Антонина. Здесь ждал их кипящий самовар, ложе и кров «за вознаграждение по произволению каждого». Если в караване было духовное лицо, на рассвете с благословения начальника миссии служили утреню и литургию у священного дуба. Если же духовного лица в караване не случалось, помолившись и пропев тропарь Святой Троицы, паломники отдыхали в винограднике, поднимались на гору, называвшуюся у арабов горой Теревинфа, чтобы запечатлеть в памяти окрестности Хеврона. Некоторые направлялись в город — хоть издали взглянуть на древнее здание, скрывающее могилы святых праотцев: веками вход в него был запрещен христианам под угрозой смерти. Отдохнув, паломники пешком возвращались в Иерусалим или оставались строить храм на темени горы.

Строительство начали в 1906 году уже при другом начальнике Духовной миссии, архимандрите Леониде, — прерванное Первой мировой войной, оно закончилось лишь в 1925 году. И в последние лет пятнадцать на постройке охотно работали жители Хеврона, возводили стены и купола, отделывали храм изнутри и даже вырезали, где нужно, знаки креста. Храм во имя Праотцев с двумя приделами — Пресвятой Троицы и особо чтимого на Руси святителя Николая — освятил иерусалимский патриарх Дамианос. С тех пор начальник Русской миссии совершал здесь торжественное богослужение на Троицу. На третий день праздника служили у дуба, и паломникам ставили на стол кувшинами прозрачное янтарное вино из своего виноградника. Несколько монахов постоянно жили на участке, охраняя его, совершая богослужение, принимая странников.

Потом сокрушила, сожгла Россию, как тысячелетний дуб, катастрофа семнадцатого года, обломив и ветви, протянутые к Святой Земле.

Долго с тех пор в гулком пустом хевронском храме звучали лишь песнопения чудом занесенных сюда из рассеяния отдельных наших соотечественников и их потомков, смешанные с французской, английской, немецкой речью. Да с группами по тридцать-сорок русских паломников из Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии приезжал в 50-х годах епископ Мефодий, настоятель русского прихода в Аньере под Парижем, подвластного Константинопольской патриархии: вместе с сестрами православного монастыря в Бюсси они собирали по Европе до миллиона франков в год пожертвований для обездоленных монастырей Святой Земли.

Тускло мерцают розоватый мрамор алтарной преграды и позолота иконостаса. Из тьмы проступают родные лики святых в образах прошлого века на стенах и аналоях. Благословите нас, отче Николае, преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, как хорошо встретиться с вами за тысячи верст от своей земли...

Черная тень бесшумно приблизилась из дали центральной части храма, и я невольно отступила к стене. Но это отец Николай. Он поднимается на высокий левый клирос, зажигает настольную лампу, и в конусе света раскрывает богослужебные книги. Дадут ли мне почитать хоть одну кафизму?.. Совсем по-разному воспринимаешь службу, если читаешь сам и если стоишь в стороне и слушаешь не всегда внятные с чужого голоса слова: то мешают дефекты дикции, то аффектированная или равнодушная интонация, плохая акустика, то ошибки чтеца и парение собственных несвязанных мыслей. А себя не слышишь со стороны, и те же слова заново рождаются в сердце, а от избытка сердца глаголют уста...

Евгений жестом приглашает меня за сквозной — из медных столбиков с медным ободком перил — барьер клироса. Больше нет ни души. Георгия поднять не смогли. И монахини ни из Гефсиманского, ни из Елеонского монастыря так и не приехали, а ночью, конечно, уже не приедут.

Отец Николай облачил меня в свою длинную меховую безрукавку, обшитую сверху сукном, сам завернулся в рясу.

— Если нужно почитать, благословите... — тихо говорю я ему.

Он, быстро взглянув, неопределенно кивает. Я не жалею о нашем разговоре, хотя и не знаю, что правильней перед Богом — вместе преодолевать это семидесятилетнее тяжкое наследие, или ждать, пока оно само иссякнет со сменой людей, состарившихся и закосневших во вражде? И вправе ли я причаститься этой ночью за литургией?

Но пока тишина затемненного пространства насыщается ожиданием Великой вечерни...

Вот отверзаются царские врата, и отец Иоанн совершает каждение алтаря.

— Слава Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков... — возносится под своды первый священнический возглас.

С клироса монах отвечает протяжным:

— А-а-а-минь...

И, — нечаянная радость, — знаменным распевом начинает негромко:

— Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи... Одеяйся светом, яко ризою... полагаяй облаки на восхождение Свое...

Голос наполняет высокое пространство чистотой и искренностью одинокой молитвы. А в это время священник в тайных молитвах повторяет те же слова, какие произносит вслух на вечерне Троицы, преклонив колени в царских вратах, со свечой и полевыми цветами в руке:

— Боже Великий и Высший, Едине имеяй бессмертие, во свете живый неприступнем, всю тварь премудростию создавый, разделивый между светом и между тьмою и солнце положивый во область дне, луну же и звезды во область нощи, сподобивый нас, грешных, и в настоящий день предварити Лице Твое во исповедании и вечернее Тебе славословие принести. Сам, Человеколюбче Господи, исправи молитву нашу, яко кадило пред Тобою...

И после ектении, после входа с кадилом, на мерном нарастании славословия, разливается, как тихая вечерняя заря по краю неба:

— Свете Тихий святыя славы Бессмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа — Бога...

Много ли во всей мировой поэзии слов, которые можно поставить рядом с этим дошедшим от ранних веков творением, с этой священной глубиной молитвы, примиренности, благодарения и любви...

После литии, когда иеромонах обошел с кадилом по кругу столик с освященными белыми хлебцами, пшеницей, вином и елеем, отец Николай извлек тяжелую книгу с красными буквицами и пожелтевшими страницами в каплях воска, раскрыл ее на шестопсалмии и кивнул мне.

Боже, Боже мой, к Тебе утренюю... Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной...

Сколько нас было, за семьдесят лет жизни этого храма, русских людей, взывавших здесь к Тебе с опустошенной земли, жаждущих, как дождя, Твоей благодати... Откуда пришли те, кто стояли здесь раньше, и где упокоен их прах? И разве не стал, пусть на короткое время, сам этот храм, как и любой храм, — с его престолом и сводами, с присутствующими в нем Иисусом Христом, праотцами, со святителем Николаем и русскими святыми, с теми людьми, которые молятся рядом, — обетованным нам на земле отчим домом? Нет у него земных границ, и круги времени расходятся от одной светящейся сердцевины и соединяются в глубоком сердце человека. Это сердце уже знает, что во все времена мир живет одною и той же реальностью — приближением к Богу, предстоянием Ему, общением с Ним, и умирает — удалением от Него... А все остальное только подробности, бесконечная игра красок, образов, звуков, чувств, состояний, отсветов и отражений — смена листвы на древе жизни, вечно зацветающий и увядающий покров вселенной над ее священной глубиной...

И в этом обретенном отечестве *кто отлучит нас от любви Божией? ... Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина...*

Потом по такой же старинной большой книге с заставками, праздничными буквицами и виньетками я читала кафизмы при огарке свечи, выплавляющем из тьмы только начало страницы или ее конец, два-три стиха. Монах и Евгений сидели, прикрыв глава, отец Иоанн бесшумно присутствовал в алтаре,

но слова псалмов не пропадали в пустоте, поток молитвы захватил нас и нес к великому «общему делу» — тайнодействию литургии. Последним псалмам второй кафизмы: *Господь пасет мя и ничтоже мя лишит* и *Господня земля и исполнение ея* — предстояло скоро повториться в начале молитв перед причащением. И высоко звучало на полиелее «Алли-лу-у-ия...» — песнь предстояния и хвалы.

Закончилась утреня, отец Иоанн вышел к аналою с крестом и Евангелием. Пока я читала вслух молитвы перед Причастием, долго исповедовался отец Николай, потом Евгений склонил голову под епитрахиль. И произнося слова «...и сподоби мя неосужденно причаститься Божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих Твоих Таин не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение, и освящение, и обручение будущей жизни и царствия...», я с высоким напряжением, со всей силой веры ждала, что все случится как бы помимо нашей воли, само собой, что вопрос, превосходящий и мои права в церкви, и права служащего священника, разрешится по благословению празднуемого сегодня великого святого — Николая Чудотворца. Неужели монахи из Зарубежной церкви не причастятся в Дивееве у преподобного Серафима, а наши — у праха Авраама? Нет такой власти, которая вечно может длить это насилие над нашей духовной природой...

Совершив знамение креста над головой Евгения, отец Иоанн вопросительно взглянул в мою сторону. Мой голос прервался на конце молитвы... Отец Николай взял молитвенник из моих рук, и я тихо пошла к аналою. Священник со вздохом облегчения накрыл мою голову епитрахилью. И в этом нашем невольном встречном движении была такая же безусловная подлинность, как в знаменных распевах и словах литургических молитв.

Когда совершилась Вечная Жертва и все, что должно было исполниться в эту ночь, и еще затемно, на раннем свечении востока мы вчетвером возвращались в русский странноприимный дом, в памяти прошли слова Спасителя:

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благословил дать вам царство.

Вернулись прямо к праздничному столу: отец Николай успел накрыть его до ухода в церковь, только вместо кувшинов с

хевронским вином стол украшали баночки немецкого пива. Пятый стул пустовал — монаху Георгию еще предстояло горькое пробуждение. Поставили на середину стола миску с салатом, разогрели рыбные котлеты, приготовленные гефсиманскими матушками и доставленные нами в большой кастрюле. Совершили общую молитву и вместе пропели тропарь святителю...

Отца Иоанна до подстрига звали Николаем, его тоже сочли именинником. И хорошо было нам, все исполнившим вместе, сидеть теперь в блаженной усталости и разговаривать о том, о сем...

Евгений рассказывал, какое давнее бедствие — их сторож-бедуин:

— Получает двести пятьдесят долларов в месяц и еще дань берет с наших паломников за то, что ограду у дуба открывает. Коз своих пасет в нашем винограднике... А от него самого и надо все сторожить.

— Разве нельзя его прогнать?

— Как же, прогонишь его... а он дуб подожжет, арабов опять против нас восстановит. Сейчас он как бы посредник... Георгий как-то идет к складу, а навстречу сторож, несет в охапке лопаты и шланг. Увидел Георгия издали, попятился... потом бросил все на землю: «Вот, — говорит, — у воров отнял...» А если отнял, то почему не в кладовку, а из нее тащит?

Я замечаю ржавые подтеки по набухшему беленому потолку, и мне рассказывают, что этой зимой навалило много снега, отцу Георгию не по силам было сбрасывать его с крыши, снег подтаивал, потолок отсырел и протек. Дом огромный, запущенный, наверно, все сто двадцать лет без ремонта. Земля вспахана на малую часть, ограда разрушена...

— Не знаешь, чего ждать... — смеется Евгений. — Один сосед не поленился сделать пролом в нашей стене рядом со своим домом и стал сваливать на церковную землю мусор. Ну, я тоже не поленился, взял лопату и перекидал все его добро обратно через дыру.

— А дыра осталась?

— Дыра осталась...

— Так он снова к вам перекидает...

— А я в полицию пойду... — не очень уверенно грозит Евгений.

Давно ли он здесь? Кто он такой, чем занимается? Не собирается ли здесь поселиться? Всего не спросишь, хочется просто посидеть в покое, попить чаю с арабскими сладостями из теста, изюма и меда, истекающими соком.

— Расскажи, как на тебя нападали, — посмеиваясь, обращается Евгений к отцу Иоанну.

— Ну, это что... обыкновенно. Вошли вечером двое... Сначала что-то спрашивают, озираются. Потом один на меня кинулся, другой — в комнаты, что-нибудь успеть украсть. У меня под рукой ведро железное оказалось... — тоже засмеялся отец Иоанн, — я стал им обороняться и как будто звать на помощь. Чего они испугались, до сих пор не понимаю... В доме никого не было, да и вокруг — кричи не кричи, ни до чего не докричишься...

Тут в дверном проеме появился отец Георгий, маленький, в помятом подряснике, с дрожащим от обиды лицом. Евгений стал оправдываться, что не смог его поднять, — может, и не хотел, чтобы не нарушать благолепия службы его нетрезвым непроспавшимся видом? — а тот только молчал и смотрел, и такое непоправимое горе было в выражении его опухших глаз, что всем стало не по себе. Следующая служба в храме будет, наверное, на Троицу. Доживет ли он до нее? Его звали за стол, но он так ничего и не произнес в ответ, только смотрел, а потом отвернулся и ушел.

— Искушение... — произнес отец Иоанн все объясняющее в церковном обиходе слово. — Ты правда его будил?

— Будил! Даже два раза будил... Он сказал: «Сейчас иду»...

— И опять уснул... Перед литургией надо было еще попытаться. Ну, что теперь поделаешь...

Отец Николай положил в большую тарелку салат и котлеты, поставил на поднос пиво.

— Чай тоже ему отнеси... — подсказал Евгений. — Горячий еще чай?

— Ладно, панихиду по отцу Игнатию будем служить, Георгий помолится... — виновато проговорил отец Николай. — Видели часовню на пригорке? Это Георгий деньги собрал, кажется, тысяч двадцать долларов, построил в память отца Игнатия... Там он похоронен. А рядом — пустая могила под такой же каменной плитой: Георгий для себя приготовил...

— Наверно, и не было у него никого на земле... пока сюда не прибился, — сказал Евгений. — Дубовый листок оторвался от ветки родимой...

Должно быть, любовь, которую все мы чувствовали в это время к отцу Георгию, прошла сквозь толщу стен, — через полчаса он вернулся. Со слабой улыбкой махнул рукой:

— Простите меня, грешного... Чего уж... сам виноват...

Его усадили за стол, и отлегло у всех от души, так хорошо стало, славно...

Служили панихиду в часовне с синим куполком, при раскрытой двери. Отец Георгий в старенькой рясе стоял у своей могильной плиты, взмахивал кадилом, крестился дрожащей рукой. По лицу его лились слезы, он не замечал и не вытирал их.

— Сам Един еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека: земнии убо от земли создахомся и в землю туюже пойдем... — пел отец Иоанн, — надгробное рыдание творяще песнь: Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа...

Молодые дубки стояли вокруг часовни, потомки патриарха, празднично желтея на чистом небесном фоне, как большие свечи, и тоже участвуя в претворении надгробного рыдания — в вечное аллилуиа, возносимое к Богу творением...

Еще раз, при свете дня, я обошла храм — самую южную в Израиле твердыню православия, посмотрела на вознесенный крест — единственный над сухой землей до Средиземного моря на западе и Мертвого моря на востоке.

Через этот холм и пошли на восток от Мамврийской дубравы два Ангела, чтобы испепелить города, предавшиеся нечестию и порокам.

И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;

сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, узнаю.

Но *Авраам еще стоял пред лицем Господа* и спрашивал: *неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?* И умолял пощадить города ради пятидесяти... сорока... тридцати... наконец десяти праведников, если они найдутся... Но и десяти не нашлось... Исполнилась *мера беззаконий* развращенного народа, *и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь*

от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли.

Затем и повторяется в одной строке *пролил Господь... от Господа с неба*, чтобы утвердить, что ложными будут поздние объяснения ревнителей естественного происхождения событий сверхъестественных: Содом не просто провалился под землю после вулканического извержения и залит мертвыми водами моря, — но Словом уже совершен над ним Страшный Суд. А сера и огонь, молнии, потопы, *глады, моры и землетрясения по местам* — только зримые предвестия его и средства к его исполнению.

Сколько осталось праведников — в России? в мире? — теперь, когда сердце человека *надмилось и ожесточилось до дерзости... и... уподобилось звериному*, и он не желает знать, *что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог.* Разве не *исчислил Бог* это царство, и *меру* его, и каждый из нас не *взвешен на весах*? Кто вправе надеяться, что он не *найден очень легким*?..

Но пока *нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда*, хотя уже позже, чем нам кажется, это и означает, что молитвы тех, кто ходатайствуют за мир в вере и предстоянии Богу, — от Авраама и святых всех времен, до Спасителя и Его Пречистой Матери — сильнее грехов, вопиющих к Нему пролитой и неизбывно проливаемой кровью Авеля... И в этих молитвах — наше высшее упование, как бы ни был страшен мир в своем надмении богоотвержения и унижении распада.

Из-за слома ограды появился Евгений: отговев, он уже сбегал за сигаретами и теперь курил, не стесняясь. Сказал, что в городе утром была стрельба.

— Но мы пойдем в пещеру Махпела?

— Не знаю, как отцы... А на нашей земле вы видели древние пещеры?

Я не видела, и мы вместе вышли за ограду. Два прямоугольных отверстия зияли в склоне холма совсем рядом с проломом.

— Зайдите... — кивнул Евгений в их сторону. — Я пока покурю.

Согнувшись, прошла я под толщей свода над входом, постояла, привыкая к полутьме. Центральная просторная часть пещеры была завалена кучами камня. А в каждой из трех стен, — кроме той, где в проеме сиял дневной свет, — было выкопано по глубокой нише, заканчивающейся поперечным ложем. На ложе ставили каменный саркофаг с телом умершего, часто прикрывая саркофагом нишу с драгоценностями и золотом, погребаемым вместе с покойником, если он был царского или знатного рода. По этой причине все древнейшие гробницы были впоследствии разрыты и разорены во время нашествий как мусульман, так и римлян. По свидетельству Иосифа Флавия, даже Ирод умножил список своих нечестивых деяний тем, что расхитил царские гробницы, хотя для умилостивления Бога и соорудил потом у входа в них мраморный монумент.

Выкапывали пещеры на краю владений как фамильные склепы, в саду. Очевидно, и этот северный склон горы с некрополем когда-то был естественной границей большого виноградника. В прошлом веке здесь сохранялись остатки древних, высеченных в скале давилен, твердые стенки которых не нуждались в цементе. Размеры же их заставляли предполагать, что владелец земли мог быть влиятельным князем, а усыпальницы — местом погребения членов его семьи.

Посидели еще все вместе в зале с открытыми на балкон окнами.

Инок Николай, с которым нам предстояло сейчас попрощаться навсегда, разложив на столе альбомы и фотографии Афона, с тихой улыбкой, доверчиво и примиренно рассказывал о том, что Афон — хорошее место для монаха, и ему часто снится Ильинский скит...

И я долго смотрела на несокрушимые, проросшие из скал твердыни монастырских корпусов, купола скитов на фоне клубящейся в долинах зелени, похожей на священные рощи, на стены храмов, выкрашенные в темно-красный цвет крови мучеников, на кипарисы, башни, мосты, ограды, изрезанный бухтами берег моря, омывающего синевой монашескую республику, неотмирное царство, в которое мне не суждено попасть никогда, а он еще надеется вернуться.

ГРОБНИЦА АВРААМА

...И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, который в долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее...

Авраам поклонился пред народом земли той

и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою.

Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему:

господин мой! послушай меня: земля стоит четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою.

Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов.

И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг,

владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его.

После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской.

Над восточным краем площади, над зеленью газона с отцветшими кустами роз высится гигантское прямоугольное укрепление — самый священный и совершенный памятник древней Палестины — Хевронский харам[1]. Я узнаю его по фотографиям, но его размеры и подлинный вид превышают все, что можно вообразить. Это первое впечатление — мощи и строгой красоты здания — нарастает по мере того, как мы к нему медленно приближаемся.

Высокая крепостная стена времен крестоносцев под прямым углом примыкает к хараму, но достигает только входа в него над тремя пролетами лестницы. Сама же золотистая плоскость

---

[1] Харам (от арабского «запретный») — священное для христиан, иудеев и мусульман здание над пещерой Махпела, местом погребения Праотцев.

стены харама протяженностью в шестьдесят метров и высотой около двадцати, — на тысячелетия более древняя, чем стена крестоносцев, — поднимается над ней как недавно завершенный монумент над руинами.

Гладкая у основания, стена выложена из тесаных глыб длиной до пяти-семи метров каждая, размещенных одна на другой без цемента и свободным рисунком. Но верхняя часть стены — над опоясывающим уступом — из столь же тщательно обтесанных глыб чуть меньших размеров, — расчленена шестнадцатью пилястрами, подчеркнутыми линиями теней. Более поздний минарет над входом, крепостные полукруглые зубцы по верхнему краю стены и этот четкий свето-теневой ритм ее членения — все лаконично и просто, но из чего же складывается впечатление такой торжественной и строгой мощи?

По широкой каменной лестнице мы с отцом Иоанном и Евгением поднимаемся ко входу. В течение семи веков арабского владычества мы вправе были бы подняться только до седьмой ступени: завоевав Святую Землю, мусульмане запретили вход в Махпелу как иудеям, так и христианам под угрозой смерти. И к середине прошлого века единственным христианином, вошедшим в святилище, стал принц Уэльский.

Переступаем порог — словно выходим из измерения времени. Галерея из тяжелых колонн, соединенных сводами, обрамляет внутренний мощеный двор. Пройдя между колоннами, останавливаемся перед узорной двустворчатой кованой дверью часовни: посередине ее возвышается устланное зелеными шитыми золотом коврами надгробие Авраама.

...И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему.

И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, на поле в пещере, которые Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его.

Напротив, за такой же узорной дверью — часовня и надгробие Сарры, одетое красными коврами с золотым шитьем.

Но пещера с саркофагами — глубоко под мраморными плитами пола.

До недавнего времени никто не знал внутреннего устройства подземелья, и желание проникнуть в него считалось святотатством. Но после Шестидневной войны 1967 года в узкий сухой колодец, по которому ежедневно опускают зажженные лампады и который обычно закрыт металлическим плетением, с разрешения светских и религиозных властей опустили очень тоненькую девушку. Она обнаружила подземную камеру и узкий шестнадцатиметровый коридор. Пройдя по нему, поднялась по пятнадцати ступеням, ведущим к несуществующему теперь выходу — он перекрыт камнем, закрепленным железными клиньями. Девушка вернулась, и ее благополучно подняли. Это пролило малый свет на подземелья, но сама погребальная пещера еще не была обнаружена.

И только несколько лет назад под тем же колодцем нашли двойную пещеру, типичную погребальную нишу времен Патриархов. Она полностью засыпана землей, но кусочки костей и частиц земли, поднятых на поверхность, датируются временем иудейских царей — около 2900 лет назад. Конечно, поднятые кости — не частицы останков Патриархов, которые покоятся в глубине в нетронутых саркофагах, но свидетельство того, что и за тысячелетие до Рождества Христова пещера все еще служила для захоронения: евреи считали величайшим благом быть погребенными в непосредственной близости от праотцев и ссыпали в колодец сухие кости умерших.

По преданиям Талмуда, пещера Махпела современна сотворению мира, находится на месте райского сада, и в ней до праотцев погребены Адам и Ева; только Авраам и несколько посвященных знали о значимости этого места, откуда души имеют выход в рай, потому Авраам и не принял поле в дар, а приобрел его навеки для себя и потомков.

О времени строительства монумента высказано много предположений.

Иосиф Флавий считал его существовавшим уже при Аврааме: «Хеврон не только старше остальных городов в этом краю, но древнее даже, чем Мемфис в Египте, ибо число его лет определяют в две тысячи триста, — писал он в I веке. — Рассказывают, что он служил местом пребывания Авраама, родоначальника иудеев после его исхода из Месопотамии; оттуда также, как гласит предание, дети Авраама и переселились в

Египет. Их гробницы, прекрасно сделанные из великолепного мрамора, по настоящий день показывают еще в том городе».

Наш замечательный знаток иудейских древностей профессор Киевской Духовной академии Аким Олесницкий, цитируя 51-ю главу пророка Исайи по Септуагинте: *«Посмотрите на укрепление, которое вы истесали и на тесаные камни гробницы, которую вы воздвигли; посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру...»*, считает эти слова приуроченными к построению харама. И сравнивая его кладку со Стеной Плача и остатками древней стены Иерусалима, найденными на русском участке недалеко от Гроба Господня, — относит построение памятника к царствованию благочестивого Езекии.

Любопытно с точки зрения разницы в переводах Библии, что приведенные строки из Исайи в синодальном издании имеют совсем другой смысл: *«Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены...»*

Но увлеченность Олесницкого, живые подробности его исследований интересны сами по себе. У него можно узнать, что в древнем иудейском богослужении ежедневную утреннюю жертву приносили на ранней заре, когда священник, наблюдавший с вершины Иерусалимского храма восход солнца, возглашал: «Заалело до Хеврона!» Что материалом для постройки Хевронского харама служил самый твердый камень, доставляемый из глубоких каменоломен, — миззи; и каждый камень обточен гладким долотом по краю, срезавшим ровно два сантиметра в глубину, а некоторые камни украшены горизонтально идущими столбиками. Двери и лестницы — более поздней постройки, и можно предположить, что по изначальному замыслу, в харам не должен был входить никто, кроме священнослужителей. Древняя базилика внутри харама, вместившая теперь часовни Исаака и Ревекки, ранней христианской постройки, как и базилика в Вифлееме; в седьмом веке арабы перестроили ее в мечеть, в XI — крестоносцы восстановили церковь, в XIII — арабы, захватившие Святую Землю, снова переделали ее под мечеть. Крестоносцы же устроили на четырех углах башни, две из которых уцелели и теперь служат минаретами. Описание заканчивается настоящим гимном хараму:

«При всей своей простоте, хевронский памятник отличается такою гармонией и легкостью в соединении частей целого,

такой строгостью и выдержанностью плана, такой изящностью работы и тщательностью в отделке каждого составного камня, какие мы привыкли встречать только в классической архитектуре. Едва ли мы ошибемся, если хевронский памятник назовем самым совершенным памятником древней Палестины, представителем архитектурных созданий древних евреев. Хотя мы не знаем, какой вид в целом представлял иерусалимский храм Соломона, но, по фундаментальности и наружной красоте, он не мог превосходить хевронского памятника» (!).

Кажется, что уж могло быть выше такого сравнения? Но Олесницкий и на этом не останавливается:

«Но последний несомненно превосходил иерусалимский храм необыкновенно искусным и строгим выбором материала. Тогда как в остатках иерусалимского храма есть камни из сорта маляки, в стенах хевронского харама нельзя указать ни одного камня, сколько-нибудь уступившего действию времени и повредившегося. Только цвет камней из белого (каким он был еще во времена Иосифа Флавия) перешел в тот золотистый цвет, который сам по себе считается уже одним из признаков глубокой древности палестинских памятников».

Хорошо читать книги авторов, любящих то, о чем рассказывают — будь то исторические личности, памятники или события Священной истории; невиданное нами — становится видимым, расширяются границы бытия, вмещая этот опыт чужой любви, потому что любой дар мы можем принять и вместить только сердцем.

У арабских историков есть сказания о строительстве хевронского харама царем Соломоном.

Современные израильские описания относят этот величайший в мире древнееврейский монумент к эре Второго храма — около 2000 лет назад, — и приписывает строительство Ироду, от времени правления которого остались великолепные крепости и дворцы; при этом полагают, что Ирод, потомок идумеев, хотел укрепить звенья, связующие его с Патриархами.

Мы обошли три пары надгробий, размещенных по своим часовням — одно против другого, под роскошными коврами с золотым шитьем, за узорными ограждениями: Авраама и Сарры; Исаака и Ревекки; Иакова и Лии. И от приближения к ним

эти образы ожили и прошли чередой, каждый со своей неповторимой судьбой и бездонной священной тайной.

Вот, спасая плененного Лота, Авраам с небольшим отрядом выступил против войска пяти царей и одержал победу, в которой видна была всепобеждающая Десница, *и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, — он был священник Бога Всевышнего, — и благословил его, и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;*

и благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои.

Мысль замирает перед этим таинственным явлением властителя Иерусалима Мелхиседека, соединившим царственное достоинство с достоинством первого названного в Писании священника, — посредника между Богом, подающим дар благодати, и человеком, приносящим жертву благодарения... *Ибо Мелхиседек... во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда,* — говорит апостол Павел. И называет Самого Иисуса Христа — *Первосвященником навек по чину Мелхиседека.*

Чье сердце не сокрушалось, когда *Бог искушал Авраама* и *сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение?..*

Ты вспоминаешь посланные тебе скорби, — может быть, не сравнимые с этой, но кто может сравнить их и взвесить, — часы своей смертной муки, когда рассудку казалось, что Бог не вправе ставить человеку такие условия, что они превосходят меру Его милосердия и наших сил. И плачет душа, когда Исаак с крестной ношей идет в гору и спрашивает: *Отец мой! ...где же агнец для всесожжения?* Сколько доверия и кротости в этом обращении к отцу... Что вынесло тогда сердце старого Авраама, пришельца и странника в чужой земле, призванного к отречению не только от родства и дома отца своего, но и от столь долгожданного сына обетования, поздней радости? И какой глубины была эта вера, которую Бог *вменил ему... в праведность*, пролив ради нее потоки благословения на души, неисчислимые, как песок морской...

И страшно и благословенно знать, что в этих прообразах Бог открывает предвечную тайну — жертвоприношения Своего Единородного Сына, — и она отражается, преломляется в тайне каждой судьбы... Что странствие Авраама — предвестие духовного странствия народа Божия — через приятие обетования всей полнотой сердца, исход, отречение, очищение, терпение, искушение, крестные страдания на пути к небесному отечеству и откровения его...

Или вот прекрасная Ревекка с кувшином на плече сходит к источнику и произносит те слова, по которым раб Авраама должен узнать невесту Исаака в чужой земле, и он смотрит на нее *с изумлением в молчании*, как встречает человек чудо явного Божиего участия в нашей земной жизни.

Сон Иакова на пути в Харран: *лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней* — это дом Божий, предвестие вечной встречи в Таинствах церкви восходящей веры человека и нисходящей божественной любви...

А на земле — встреча с Рахилью у колодца, когда Иаков поцеловал ее и заплакал. *И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.* И рождение прекрасного сына любви — Иосифа, проданного братьями в рабство, безутешная скорбь Иакова над его разноцветной одеждой: *с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю*, — и вознесение и великая судьба Иосифа в Египте...

Перед смертью собрал Иаков сыновей своих и благословил их.

И заповедал он им и сказал им: я прилагаюсь к народу моему; похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хеттеянина,

в пещере, которая на поле Махпела, что перед Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хеттеянина в собственность для погребения;

там похоронили Авраама и Сарру, жену его; там похоронили Исаака и Ревекку, жену его; и там похоронил я Лию...

Вот и Лия, родившая ему шестерых сыновей, упокоилась рядом с любимым мужем... В поздние века к внешней стене недалеко от часовни Иакова была пристроена даже гробница Иосифа, хотя принято считать, что он погребен в Самарии, —

но так хотелось собрать все эти священные воспоминания в одной ограде...

Древняя базилика над памятниками Исааку и Ревекке перестроена в величественную, богато орнаментированную мечеть. А пространства между часовнями Авраама и Сарры и — через внутренний открытый двор — Исаака и Лии заняты синагогами. После Шестидневной войны евреи вернулись в город Патриархов; их права на пещеру Махпела не полностью восстановлены, они не могут посещать ее в пятницу и мусульманские праздники, зато в свои большие праздники собираются в Хевроне десятками тысяч.

Только у сынов Авраама — христиан, на которых *через Христа Иисуса благословение Авраамово распространилось*, нет места в этих стенах.

Но в своих погребальных плачах и упованиях церковь просит, чтобы все души верных, и победивших на поле земной брани со злом, в котором мир лежит, и в ней сокрушенных, — ибо не собственной правотой спасается человек, а верой, вменяемой в праведность, — Господь упокоил в недрах Авраама, в раю сладости, во царствии живых...

* * *

Жаркий декабрьский день сиял над древним Хевроном.

Книга Чисел повествует о том, как Господь повелел Моисею послать людей, чтобы они осмотрели землю Ханаанскую, которую Он дал сынам Израилевым, и соглядатаи *дошли до Хеврона*, построенного *семью годами прежде Цоана, города Египетского.* На этом сопоставлении знатоки библейской истории основали предположение, что название города произошло от имени фараона Хенеброна, и египтяне участвовали в его строительстве как архитекторы и инженеры.

Из долины Есхол между цепями зеленых террасированных холмов, цветущих абрикосовыми, яблоневыми, гранатовыми и масличными деревьями, моисеевы соглядатаи вернулись с обильными плодами и виноградной гроздью такой величины, что ее несли на шесте двое:

И рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее.

Когда Иисус Навин разделил землю между коленами сынов Израилевых, Хеврон достался в удел Халеву, за сорок пять лет до того ходившему сюда соглядатаем.

А после смерти Саула в войне с филистимлянами *пришли все старейшины Израилевы к царю в Хеврон, и заключил с ними Давид завет в Хевроне пред лицем Господним; и они помазали Давида в царя над Израилем...* И многие тысячи воинов изо всех колен Израилевых пришли в Хеврон, *чтобы передать ему царство Саулово,* и праздновали они здесь три дня, *ели и пили, потому что братья их все приготовили для них... привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.*

Здесь родились у Давида шестеро сыновей; здесь плакал он над гробом военачальника Авенира и в его гробнице похоронил голову сына Саула. В тридцать лет воцарился Давид и более семи лет царствовал в Хевроне, городе большом, богатом и укрепленном. Отсюда пошел с войском на Иерусалим, взял крепость Сион и в Иерусалиме правил всем Израилем еще тридцать три года.

Мы шли по узким улицам с домами, сохранившимися от времен крестовых походов, сквозь сутолоку базара. Отец Иоанн был в подряснике и неизменной шапочке-скуфье, но никто не обращал на нас внимания, и не верилось, что здесь стреляли еще утром.

Лепились к склону холма лавочки или уходили в его глубину. Катились, гремя по мостовой, тележки. Старик в чалме и халате вез корзины на ослике, мерно цокали по камням копытца. Торговцы сладостями завлекали к своим прилавкам, гудели над ними осы. Терпко пахло пряностями, связки горького зеленого и красного перца, белого чеснока и лилового лука свисали с притолок, и молотый перец рассыпáл под мешками красную и черную пыльцу.

Остановились перед столом с разными сортами изюма, и молодой продавец стал весело набирать его в ладони с возгласами похвалы. Изюм был с косточками и без косточек, синий, с дымчатым налетом, темно-коричневый, и нежно-коричневатый, и полупрозрачный золотой — ото всех видов знаменитого хевронского винограда. Сколько прежних путешественников

было опечалено тем, что мусульманский сухой закон не позволяет делать из этого винограда прекрасные вина, но и до сих пор он этого не позволяет — ко благу мусульман.

С пакетиком золотистого изюма, приняв эту малость от плодов бывшего райского сада, мы походили по тесным и пестрым рядам, мимо оранжевых, желтых, зелёных, красных фруктовых и овощных горок... Посмотрели на свет изделия из синего стекла, которыми славился когда-то город, — светильники, стаканы, вазочки, рюмки, тарелки... Покопались в груде медного хлама — браслетов, подвесок, подсвечников, пуговиц, игрушек и сувениров, и я едва устояла, чтобы не купить за пятнадцать шекелей медного маленького ослика с бирюзовыми миндалинками глаз, тянущего за собой медную повозку. И вот, подумать только, мне и теперь немножко жалко, что я его не купила: стоял бы у меня на столе ослик с большими медными ушами, с синим хевронским взором...

В такси на Иерусалим мы ехали вместе с арабами. Никто из них не понимал по-русски, но говорить уже не хотелось: так много вместили в себя эти длинные сутки без сна. Даже не верилось, что прошли всего сутки — с середины субботы до середины воскресенья, девятнадцатое декабря, день памяти святителя Николая — его нечаянный дар.

У поворота крепостной стены старого города я выходила, отец Иоанн ехал на вечернюю службу в Гефсимании.

В машине мы и простились — тоже навсегда.

Дивно и странно, что Господь определил нам пережить вместе эти два дня с перерывом в месяц, двое великих бессонных суток — восхождение на осиянный Его явлением Пик Моисея в Синайской пустыне и посещение места Его встречи с Авраамом у Мамврийского дуба, — словно для того, чтобы мы вместе припали к могучим живым корням нашей единой веры и унесли в себе такую яркую память об этих вневременных священных событиях и такую острую боль от нашего давнего временного раскола.

ПОСЕЛИ НАС НАВЕКИ У МОРЯ

Вокзал

...Навеки проклята. Когда и кем — неважно...
Опять вокзал распахивает двери.
И пыльный ветер в мусоре бумажном,
воспитанный по басурманской вере,

все рыщет, будто отыскать он хочет
то древнее и страшное заклятье.
И на штакет наткнувшиеся ночи
нам открывают влажные объятья.

Но дрогнули вагоны, пахнет водкой,
мочой и потом — о, как мир сей терпок! —
немытых тел, небритых подбородков,
цыганских юбок и кавказских кепок...

Куда ты мчишься перекатной голью,
в какой тупик какого подсознанья,
страна моя, отравленная болью, —
в березовой, дождем побитой рвани?

Засохшей кровью — куст рябины с краю
дороги, — хорошо вздыхать в Париже
о родине, — а я уже не знаю,
люблю ли я ее иль ненавижу...

Валентина БОТЕВА — родилась в селе Ивня Белгородской области. Окончила Донецкий университет. Живет в Донецке (Украина). Впервые опубликовала стихи в № 80 «Континента».

* * *

Из сердца вырастет полынь
и васильки — из глаз,
чтобы на этом свете синь
осталась после нас,

чтобы не выцвел небосвод
и не хлебнула тьмы
та глубина высоких вод,
откуда пили мы.

Струится серебристый мех,
и воздух чуть горчит, —
прохожий, помолись за всех
оставшихся в ночи.

Перекрестись, скажи — аминь! —
и Бог тебе подаст:
из сердца вырастет полынь
и васильки — из глаз...

Море в августе

Ветер с моря, как водится, горек,
да и разве бывает иначе,
если в гулком небесном повторе
красноглазою чайкою плачет

та душа, что не знает покоя,
недостойная вечного света,
но достойная вечного моря
и такого же вечного лета.

И когда я отсюда уеду,
все останется так же, как было —
две старухи на велосипедах,
из продмага везущие мыло,

и рыбак, что отдал мне за «Приму»
судака и севрюгу — за водку,
ветер, пахнущий йодом и дымом,
будет так же раскачивать лодку.

За терпение наше и веру
не оставь нас, Господь, без награды, —
тех старух, рыбака-браконьера
и меня, нерадивое чадо.

Мы решенье Твое не оспорим —
если в рай не хватает билетов,
посели нас навеки у моря,
на краю уходящего лета...

Дорога

Лишь осенью окна открою —
и сладкий потянется дым
оттуда, где дом под горою,
дорога за лесом сквозным.

По каплям вливается солнце
в молочную зыбкую рань,
спешат по горе богомольцы
к обедне попасть в Обоянь.

Шаги заглушая, сороки
трещат в облетевших кустах.
Я знаю — по этой дороге
вели на распятье Христа.

За дрожью осинника сонной
еще различимы вдали
лиловые ягоды терна
и смуглые ноги в пыли...

И ликами светятся лица
идущих со всех деревень
воскресшему Богу молиться
в святой Богородицын день.

А там, впереди, за холмами
есть город большой — Обоянь,
где ласковый Псел с камышами
впадает в реку Иордань...

Изгнание

Оборванной ниткой
колышется стая
над серой калиткой,
над домом — и раем,
откуда изгнали.

Но чем я виновна? —
мои это дали
природно, прикровно!

Мои это веси,
мои — с колыбели —
протяжные песни,
что ангелы пели

в саду облетевшем,
под яблоней старой.
И мир был безгрешен,
и все было — даром...

Ломоть не отрезан —
отодран! — и с кровью
куском бесполезным,
прогорклым половьем

растоптан и брошен, —
кому он сгодится...
Что толку о прошлом
вздыхать за границей —

за гранью, за краем,
не числясь в Отчизне...
Меня не из рая
изгнали — из жизни.

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Рассказ-Энциклопедия

Эпиграфы:

Шизо (schizo) — греч. — разделяю, расщепляю.
Френ (phren) — греч. — ум, мысль.

Какой-то словарь

«Да, как говорил один писатель, —
все смешалось в доме Обломовых».

Разговор в троллейбусе № 20,
идущем мимо Кремля

1. ЭТОТ ТЕКСТ

Этот текст, первоначально записанный шесть лет назад в расчете на то, что его немедленно опубликуют все энциклопедии мира, ни тогда, ни позже так и не был, однако, опубликован по независящим ни от кого обстоятельствам. Да я и забыл про него, погруженный в текучку буден и ауру судьбоносных страстей... А тут вот полез под Рождество в свой писательский сундучок и обнаружил там это «ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО», которое немедленно взялся перекраивать и штопать.

А вдосталь навозившись с текстом, пришел в полное недоумение. Сижу себе и гадаю, и никак не могу понять — быстро или медленно бежит время в нашем ограниченном сушей и водой пространстве.

Евгений ПОПОВ — родился в 1946 г. в Красноярске. Окончил Московский геологоразведочный институт. Автор книг «Веселие Руси» (Ардис, США, 1980), «Жду любви не вероломной» (1989), «Прекрасность жизни» (1990), «Самолет на Кёльн» (1991), «Накануне накануне» (1993) и «Душа патриота» (с рисунками Вяч. Сысоева — 1994).

Вот почему я предлагаю любезным моему сердцу вдумчивым и наблюдательным читателям «Континента» следующую художественно-познавательную игру:

ПЕРВЫЙ, кто обнаружит в предлагаемом тексте не менее ПЯТИДЕСЯТИ фактов социалистического реализма и бреда, характерных лишь для 1989 и всех предшествующих годов, получает от меня 50% причитающегося за эту публикацию гонорара.

ПЕРВЫЙ, кто обнаружит в предлагаемом тексте не менее ПЯТИДЕСЯТИ фактов демократического реализма и бреда, характерных лишь для 1995 и всех последующих годов, получает от меня другие 50% причитающегося за эту публикацию гонорара.

ПЕРВЫЙ, кто обнаружит, что ВСЕ ЕДИНО, получает все остальное.

2. ДИАЛОГ С САМИМ СОБОЙ

...Москва — столица нашей Родины, город-герой, центр Московской области, является крупнейшим в стране и одним из важнейших в мире политических, промышленных, научных и культурных мегаполисов.

ЭТО ТОЧНО.

Так чего же нового могу прибавить я, Евгений Попов, бывший «молодой писатель», к сумме тех знаний о Москве, что изначально существуют в сознании каждого вчерашнего и сегодняшнего советского человека?.. Вот эти знания: Москва расположена на 55° 45' Северной широты и на 37° 37" Восточной долготы от Гринвичского меридиана...

НИКТО И НЕ СПОРИТ.

...в центре Восточно-Европейской равнины, в подзоне хвойно-широколистных лесов, в междуречье Оки и Волги, на реке, которая тоже называется Москва.

КОНЕЧНО ЖЕ, КОНЕЧНО...

В Москве есть дураки и умные, Кремль, балет, икра, «катастройка» (А. Зиновьев), гласность, Белый дом, «Березка», Госбезопасность, коммунисты Горбачев, Ельцин, Зюганов, Жириновский, Ленин, Лефортовская тюрьма, стадион «Лужники»,

смотровая башня «Седьмое небо» и неограниченная торговля «с рук и на земле».

А РАЗВЕ НЕТУ?

Здесь жили: Иван Грозный, который убил своего сына, царь Николай, убиенный Лениным, Ленин, убиенный медицинской немощью... Сталин, загубивший страну, но выигравший в результате Второй мировой 1/3 мира, Хрущев, который в Нью-Йорке снял башмак и колотил им по столу на сессии ООН, Брежнев, который любил кататься на дареных автомобилях, строить БАМ, осваивать целину, сажать в тюрьму диссидентов и каждый день награждать себя — звездой, саблей или, на худой конец, рюмочкой спиртного...

ЭХ, ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЭТА ОДНА ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ...

О Москве написаны тысячи книг, сложены миллионы стихов, сочинены миллиарды статей.

И ВСЕ АВТОРЫ ПОЛУЧИЛИ ЗА ЭТО ДЕНЬГИ.

Хорошо... А знаете ли вы, что граница Москвы в основном проходит по кольцевой автомобильной дороге, охраняемой постами ГАИ и бесстрашными БТРами? Что площадь Москвы около 1000 квадратных километров, что в ней 8 815 000 жителей? В Москве есть железнодорожные и речные вокзалы, 4 аэропорта и Красная площадь, куда, как известно, некогда приземлился наглый немецкий паренек Матюша Руст, пересекший безо всякого разрешения неприступную границу (которая всегда на замке) на своем сопливом спортивном самолете?

И ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ! РУСТ УЖЕ ДАВНО ИЗ НАШЕЙ ТЮРЯГИ ВЫШЕЛ И, ГОВОРЯТ, СНОВА СЕЛ, НО УЖЕ В РОДИМОМ ФАТЕРЛАНДЕ. ЦИФРА 8 815 000 НАВЕРНЯКА НЕПРАВИЛЬНАЯ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БРОДЯГ, НОЧУЮЩИХ В МУСОРНЫХ ЯЩИКАХ, И БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ОБИЛЬНЫХ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК». САМОЛЕТЫ И ПОЕЗДА ТО ОПАЗДЫВАЮТ, ТО НЕ ХОДЯТ, ТО ДЕНЕГ НЕТУ НА БИЛЕТ. А НА ОДНОМ ИЗ ВОКЗАЛОВ У МОЕГО ЗНАКОМОГО УКРАЛИ ЧЕМОДАН, ГДЕ НИЧЕГО НЕ БЫЛО, КРОМЕ САМОГО ЧЕМОДАНА.

...Не надо было рот разевать. А вот, к примеру, ведь страшно, граждане, интересно, что Москва, существовавшая на Земле

изначально хотя бы в виде мертвых минералов, впервые была упомянута в летописях лишь в XII веке, в 1147 году... Там был один такой князь, его звали Юрий Долгорукий. Ему потом памятник поставили...

НУ, С ЭТИМ КНЯЗЕМ МЫ ЕЩЕ РАЗБЕРЕМСЯ.

С XIII века Москва была центром княжества, в XIV веке стала центром Великого княжества, со второй половины XV века — столицей единого Российского государства.

ОТЛИЧНО! НО ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?

Дальше столицу перенесли в Петербург, город, который выстроил царь Петр, о чем писали поэты Александр Пушкин и Иосиф Бродский. Первого из этих поэтов ни разу за всю жизнь не пустили за границу, а второго туда выпихнули. Пушкин жил в XIX веке, а Бродский в XX. Может, это и есть то, что называется прогрессом?

СПОКОЙНЕЕ, СПОКОЙНЕЕ...

Потом была Отечественная война 1812 года, и Москва некоторое время находилась в руках французских войск Наполеона I. Была сильно разрушена...

MERDE! НЕ БУДЕМ ОБ ЭТОМ МНОГО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, ОСОБЕННО УЧИТЫВАЯ ТУ СТЕПЕНЬ МАСТЕРСТВА, С КАКОВОЙ НАУЧИЛИСЬ СЕГОДНЯ РАЗРУШАТЬ ГОРОДА. ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ СПОЕМ, ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ... ГРОМКО, ВНЯТНО И БЕЗО ВСЯКОЙ ИРОНИИ:

Мы все за мир, так говорят народы.
Мы все за мир, пусть зеленеют всходы.
Цель наша — дружбу отстоять, мир для людей,
Чтоб увидала каждая мать счастье своих детей.

...А вот уже после крестьянской реформы 1861 года, когда российские пахари наконец-то перестали быть рабами и стали полноправными гражданами своего отечества, в 1880-х годах в Москве начали возникать один за одним марксистские кружки, и в конце XIX века Москва превратилась в один из главных центров революционного и рабочего движения.

А ВОТ ЭТО УЖЕ СЕРЬЕЗНО!

Одновременно Москва стала одним из крупнейших центров монополистического капитала в России.

ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЕ...

В 1917 году здесь была установлена Советская власть!

СОВСЕМ СЕРЬЕЗНО! АРХИСЕРЬЕЗНО, ТОВАРИЩИ!

В 1941 году под Москвой были остановлены и разгромлены немецко-фашистские войска.

А ВОТ ИНТЕРЕСНО, ЖИВИ НАПОЛЕОН I В XX ВЕКЕ, ЗАХОТЕЛ БЫ ОН ДРУЖИТЬ С ГИТЛЕРОМ И СТАЛИНЫМ? ИЛИ ПО-ДРУГОМУ: НА ЧЬЕЙ БЫ ОН БЫЛ СТОРОНЕ?

Глупый и кощунственный вопрос!

ГЛУПЫХ И КОЩУНСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ, ТОЛЬКО ОТВЕТЫ МОГУТ БЫТЬ ГЛУПЫМИ.

Эх, да ты лучше послушай, чудак! Ведь за годы социалистического строительства в Москве была создана многоотраслевая промышленность, чья структура перестраивалась много раз. То резко возрастала, то обратно опадала доля машиностроения и металлообработки. Были развиты: автомобилестроение, чтобы выпускать конкурентоспособный автомобиль «Москвич» — а-атличную машину! Станкостроение... Электротехническая промышленность, приборостроение, заводы тепловой автоматики, часовые, подшипниковые, заводы производства химического оборудования... А еще металлургическая промышленность, химическая и нефтеперерабатывающая промышленность, производство строительных материалов... А легкая промышленность, забыли? Все эти шелковые, хлопчатобумажные, обувные комбинаты с гордыми названиями «Буревестник», «Парижская коммуна», «Красная Роза»...

«КРАСНАЯ РОЗА» УЖЕ ГОРЕЛА ПО ХАЛАТНОСТИ...

Горела да не сгорела... А пищевкусовая промышленность — мясокомбинаты, молочные заводы, фабрики — «Рот-фронт», «Большевичка», «Большевик»! Завод «шампанских вин» с ускоренной выработкой напитка! На всех этих и многих других предприятиях трудятся не только коренные москвичи, но и «дети разных народов», приобретшие в Москве не только трудовые навыки, но и пистолеты, автоматы, гранаты-лимонки, а также прочие взрывные устройства...

ЧТО-ТО КУДА-ТО НЕ ТУДА, ВЕРНО?

Да, есть немножко... А пивоваренные заводы, например имени пламенного большевика тов. Бадаева?.. Сахар, сахар, саха-

рок... В честь 1 мая 1989 года, дня Международной солидарности трудящихся, в Москве были введены карточки на сахар, и на каждого трудящегося, включая грудных младенцев, выделялось в месяц по два килограмма сахара, хоть с чаем пей, хоть самогон гони, благодаря родную партию и ее Ленинский Центральный комитет. Майская карточка была голубая, а июньская уже розовая...

СЛАДКОЕ ЕСТЬ ВРЕДНО, ВРЕДНО, ВРЕДНО... КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ, ТОМУ ГЛАЗ — ВОН, ВОН, ВОН!..

Так ведь и я о том же! Вот, например, московский метрополитен. Имеет 135 станций, а стоимость проезда (5 коп.) не меняется годами (в долларовом исчислении), и ездить за эту смехотворную сумму можно с 6 утра до 1 часу ночи по всей Москве, если, конечно, не выходить на ее поверхность... Что еще? Есть Академия различных наук, которая взяла да избрала однажды, шалея от собственной смелости, в народные депутаты академика Сахарова, сосланного при Брежневе в город Горький (бывший и будущий Нижний Новгород)... Есть и отраслевые академии — сельскохозяйственная, например, медицинская, педагогическая или Академия художников. Жалко, писательской нету. Жалко и несправедливо! Ведь именно писатели — первые помощники любой партии в идеологическом смысле всех этих слов...

КОМУ ЖАЛКО, А КОМУ И НЕТ.

...Свыше 1000 научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро! 76 высших учебных заведений, в том числе полно университетов, из которых лично я выделил бы по душевной склонности два: имени русского помора Ломоносова и имени убиенного африканца Патриса Лумумбы, врагов которого гневно обличала молодежь в своих самодельных песнях протеста, исполнявшихся (60-е годы) на танцплощадках, где вечно были разбиты фонари и скалились хулиганы:

Убили, гады, Патриса Лумумбу,
А Чомба в кабаке танцует румбу...

В обоих университетах учат на «отлично»! Говорят, что в «Лумумбе» даже знаменитый международный террорист Карлос Ильич Рамирес получил подходящее образование — ну да чего только на Москве-матушке не наплетут ради красного словца... 31 профессиональный театр! А студий — е-мое! —

студий не счесть... крупнейшие библиотеки... 72 музея — Ленина, Сталина, Троцкого, февральской, августовской, октябрьской, ноябрьской и всех других революций, Исторический музей, Третьяковская галерея, обретшая второе дыхание благодаря энергическим усилиям нынешнего городского головы... Эх!..

В Третьяковскую галерею
шел, имея гонорею.
Заглянул на биллиард,
выиграл денег миллиард.

Фи, какая безвкусица!.. Давай будем немного посерьезнее и поговорим о том, что Москва имеет радиально-кольцевую планировку, а истинным ядром города является ансамбль Московского Кремля с Мавзолеем, где лежит вечно живой Ленин, и Храмом Василия Блаженного, строителей которого ослепили в конце XVI века из ревности, чтобы они еще где-нибудь в мире не создали подобную ошеломляющую красоту... Но красоты в Москве пока еще хватает на всех, как, впрочем, и сахара, табаку, колбасы, мыла, водки, стирального порошка, свободы... Церковь Вознесения в Коломенском, Андроников, Донской, Новодевичий, Симонов, Данилов монастыри... Данилов монастырь сейчас сильно действующий, там служатся службы, живут монахи, а иной раз терпеливо держат тающую восковую свечечку влиятельные новые Слуги Народа — послабление вышло религии уже по случаю ПЕРЕСТРОЙКИ и тысячелетия Крещения Руси... Старинные усадьбы: Кусково, Останкино, Кузьминки, Царицыно — дивная красота! Церкви и отдельные здания XVII века, жилые и общественные здания XVIII — XIX веков в стиле классицизма — знаменитый «Пашков дом», где теперь расположена бывшая главная Библиотека СССР имени «вечно живого»... Бывший Дом Советов ВЦСПС (бывшее дворянское московское Благородное собрание),

ГДЕ ТРИЖДЫ СТОЯЛИ ГЛАВНЫЕ БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ГРОБЫ (ЛЕНИН, СТАЛИН, БРЕЖНЕВ), А «ПАШКОВ ДОМ», МЕЖДУ ТЕМ, РАЗРУШАЕТСЯ... ТАМ, ВНУТРИ ЗЕМЛИ, НА КОТОРОЙ ОН СТОИТ, ПОСТРОИЛИ СТАНЦИЮ МЕТРО «БОРОВИЦКАЯ»... РАЗБУДИЛИ ЗЕМЛЮ ВЗРЫВАМИ, СУКИ, И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ — НЕИЗВЕСТНО...

Как-нибудь обойдется. Ведь слово «Авось» — одно из самых популярных слов современного лексикона, популярнее даже популярной рок-оперы с тем же названием... Ты хоть во всю Манежную площадь котлован выкопай — и ничего, тоже обойдется. Обошлось же, когда весь центр Москвы перелопатили в двадцатые-тридцатые. Снесли старые дома, возвели гостиницу «Москва», известную всему миру по этикетке «Столичной» водки... Знаешь, кстати, какая легенда связана с этим строительством?

ЗНАЮ, НО ИЗБАВИ БОГ ОТ ТАКИХ ЛЕГЕНД.

Сталину представили на утверждение два варианта фасада, которые, согласно архитектурно-чертежным правилам, были выполнены на одном листе ватмана и разделены пунктирной линией. Сталин расписался в углу листа ПОД ОБОИМИ ВАРИАНТАМИ, и строители со страху построили асимметричный фасад, в чем каждый может лично убедиться, коли хочется. Где еще в мире есть такое? Где еще в мире есть такой Сталин, такой фасад, такие архитекторы-чертежники?..

ПОИСКАТЬ, ТАК НАЙДЕТСЯ.

А в середине 50-х принялись строить новые микрорайоны и достраивать высотные здания, которые, как лагерные, по мнению Солженицына, вышки торчат над Москвой... Возвели Университет на Ленинских горах, Центральный стадион в Лужниках, Дворец пионеров и школьников имени Сорокалетия пионерской организации, Кремлевский Дворец съездов, ансамбль домов на Новом Арбате, тут же получивший у москвичей название «Вставные Челюсти Москвы»... здание СЭВ... СЭВ-МЭРИЯ... Генерал тов. А. Макашев... Стекла брызнули от прикладов...

ЛАДНО, ЧЕГО УЖ ТАМ... ПОСЛЕ ДРАКИ-ТО...

Ладно, так ладно... Возведение Олимпийских объектов в конце 70-х! В Москве ведь Олимпиада была! Ты помнишь, товарищ? В 1980 году. Спортивные игры XXII-й Олимпиады. Сам тов. Леонид Ильич Брежнев эти игры открывал, он тогда еще был живой и богатый. В 1947 году, к своему 800-летию Москва получила орден Ленина, в 1965 ей было пожаловано звание города-героя и вручены второй орден Ленина и медаль «Золотая звезда», а в 1967 она была награждена орденом «Октябрьской революции». Награду вручал лично сам, ныне покойный (с 1982 года) Л.И. Брежнев! Но у него самого орденов и медалей

все равно в итоге жизни оказалось больше, чем у города Москвы...

МОСКВА — ТРЕТИЙ РИМ. А ЧЕТВЕРТОМУ НЕ БЫВАТЬ.

Да, была такая политическая теория на стыке XV-го и XVI-го веков. Эта теория провозгласила московских царей наследниками римских и византийских императоров, и саму Москву тоже провозгласила Центром. Но зачем ты это вспомнил?

А ЗАТЕМ, ЧТО НАПЛЕВАТЬ И ЗАБЫТЬ, КАК ГОВОРИЛ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ, ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И СОВЕТСКИХ АНТИСОВЕТСКИХ АНЕКДОТОВ. ТЫ ПОСМОТРИ, ЧТО КРУГОМ ТВОРИТСЯ? ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ, РАЗГОНЯЕМЫЕ МИЛИЦИЕЙ...

А вот недавно судья Карева пикетчиков оправдала, которые выстроились со своими плакатами перед администрацией Президента, за что их и повязали...

ДЕМОНСТРАЦИИ, МИТИНГИ... ГРЯЗНАЯ ЭКОЛОГИЯ. КРЫСЫ. МУСОР. ЦЕНЫ. ДАВКА НА ТРАНСПОРТЕ. ВЗРЫВЫ. ГРЯЗЬ. ПУСТАЯ БАНКА ИЗ-ПОД ПИВА КАТИТСЯ...

Что? Историю забыть? Перестать гордиться? Да знаешь ли ты, что я сейчас возьму в руки стопку тяжелых томов поэта Пушкина, историка Карамзина, драматурга Островского, писателя Загоскина и ударю тебя этими томами по голове? Помня о дефиците свободы, я верю, что яркий белый луч раздерет зимнюю темную тучу и солнце ударит в косой зубец стылого леса векторно!..

НЕТ, ТЫ НЕ УДАРИШЬ МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО Я ТОЖЕ СКАЖУ ТЕБЕ ХОРОШИЕ СЛОВА.

А именно?

А ИМЕННО: МОСКВА — ЭТО ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ДЕРЖАВЫ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ И ОДНОВРЕМЕННО ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕТ.

Да?

ДА!!!

3. ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ИНСПЕКТОРА

Много лет назад, когда моих сочинений совсем не печатали по независящим ни от кого обстоятельствам, я, желая снискать себе пропитание, поступил на службу в одну из бесчисленных

контор, что как жемчужины в королевской короне украшают город Москву. Я именовался инспектором «по народным мастерам-умельцам».

Вот это была служба!

Начальству своему я не был нужен совершенно. Оно было радо, что я служу «по народным мастерам-умельцам» и пишу отчеты о том, что работаю «по народным мастерам-умельцам», а оно, в свою очередь, тоже может писать отчеты вышестоящему начальству, что оно (мое начальство) ведет работу «по народным мастерам-умельцам» посредством меня, пишущего отчеты. А то, еще более высокое начальство, тоже пишет отчеты. И так далее, на недосягаемую для меня высоту.

Теряюсь в догадках, ПОЧЕМУ это кому-то, кроме меня, получавшего 100 рублей в месяц, было нужно ВООБЩЕ? Ведь к тому времени всех «народных мастеров-умельцев», т.е. людей из народа, знающих секреты народных традиционных промыслов, окончательно повывели. Как повывели к тому времени и многих других людей из народа, знавших другие секреты — например, растить хлеб, чтобы не покупать его у Америки и Канады, или писать такие книги, чтобы не было мучительно стыдно за оголтелое вранье, в них содержащееся. Короче говоря, промыслов я никаких не возродил. Короче говоря, это была скорей всего очередная КАМПАНИЯ, каковых мы, жители родной страны, видели на своем веку предостаточно.

Разъезжая со служебными целями по России, я убедился в этом лично. Список мастеров, зарегистрированный в анналах и выданный мне, таял катастрофически. Старики и старушки, числившиеся там, родились еще до революции 1917 года и теперь большей частью лежали на кладбище. Более молодое поколение «народных мастеров-умельцев» замордовали различными указами и постановлениями, запрещающими производить, торговать («с рук и на земле»), а также менять, творить, наживаться, богатеть — то есть делать все, чем издревле существовал человек. Молодежь лишь бессмысленно таращила глаза и отвратительно хохотала надо мной и «предками», которые некогда занимались такой чепухой, как изготовление деревянных кукол-матрешек, расписных глиняных фигурок, берестяных коробочек, картин, вышитых цветными нитками. Печально мне стало...

Особенно после того, когда:

1. Творец глиняных горшков и свистулек поведал мне со слезами на глазах, как его, инвалида без ноги, утраченной под Сталинградом, регулярно лупил, прогоняя с базара, рыжий его директор, хам, оскорбленный тем, что инвалид своей торговлей «возрождает капитализм», да еще никому при этом не дает «в лапу».

2. Старуха, вышившая двенадцатью цветами чудного лебедя, плещущегося в лазурном озере на фоне зубчатого Кремля, заподозрила во мне «мента» (милиционера) и велела своим здоровенным внукам вытолкать меня в шею.

3. Мужичонка, изготовитель маленьких резных бочонков, сначала притворялся глухим, а потом, обретя внезапно не только слух, но и голос, эпатажно крикнул мне: «Хайль Гитлер!» и поднял руку в простом нацистском приветствии. Ужас! Я для них был ВЛАСТЬ, и они не хотели меня.

Но однажды я зашел в одну грязную избу с немытыми стеклами. И вдруг увидел ИСТИННУЮ вещь! Это было роскошное ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО. О, какое это было одеяло! Оно переливалось всеми цветами радуги! Оно было сшито из сотен разноцветных лоскутков ситцевой материи! Дух захватывало от его красоты! Я купил это одеяло от имени властей (для музея). И от этого же имени заказал народной мастерице-умелице (чей муж в дырявой майке пил дешевый портвейн, сидя на расшатанном стуле, а красивый замурзанный ребенок мужского пола подошел ко мне и, открыв крепкий белозубый рот, произнес нехорошее слово), — я заказал мастерице, забрав это их единственное семейное одеяло и выплатив немалую (для них) сумму, еще десяток таких одеял и тоже выплатил за эти будущие одеяла немалый (для меня) денежный аванс... Чтоб не ругался муж, который и без того сильно ругался, временами нацеливаясь мне в морду (лицо?).

Вопреки моим ожиданиям, начальство не оказалось довольным мною. Начальство сказало, что это — «китч», не годный ни для музея, ни вообще ни для чего культурного. Я спорил, но куда мне!

Грустен был мой следующий приезд к «народным мастерам-умельцам». Ведь я не только не снискал радости начальства, но и развратил чужими казенными деньгами этих тихих людей.

Муж запил на все, полученное от меня, он подрался, и его посадили в тюрьму, жена тоже запила. Раньше она достойно несла бремя бедности и выносила тайком со своей швейной фабрики лишь немного лоскуточков для личных нужд, а теперь, вдруг, загордившись и загоревав, украла на производстве целую штуку материи, и ее уволили, и она была еще очень рада, что ее уволили, а не посадили, например, как мужа.

Я приехал и увидел, что несчастная сидит на расшатанном стуле и пьет вместо мужа портвейн, а сынок ее, ставший еще более красивым и замурзанным, возится среди немытых тарелок, мисок, разбросанных там и сям.

Женщина плюнула в меня, когда я сдержанно напомнил ей о наших договорных обязательствах. Как громом пораженный, покинул я эту лачугу бедных поселян, ибо в ту же секунду у меня в мозгу вспыхнуло:

МОСКВА — ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ДЕРЖАВЫ.

МОСКВА СШИТА ИЗ НЕИЗВЕСТНО ГДЕ ВЗЯТОГО МАТЕРИАЛА.

МОСКВА — БЕДНАЯ, НО ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ.

ЕЕ ФОРМЫ МНОГИЕ СЧИТАЮТ «КИТЧЕМ».

ЗАКАЗАТЬ ДЕСЯТЬ ШТУК ТАКИХ ОДЕЯЛ, КАК МОСКВА, НЕВОЗМОЖНО.

ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ ОДИН ТОЛЬКО ВРЕД: КТО-ТО СОПЬЕТСЯ, КОГО-ТО ПОСАДЯТ.

ДЕРЖАВА УКРЫТА ЭТИМ ОДЕЯЛОМ, И ДЕРЖАВЕ ПОД НИМ ТЕПЛО, КОГДА В ЛЕСАХ ВОЮТ ВОЛКИ, А В ГОРОДАХ — ХУЛИГАНЫ И НЕСЧАСТНЫЕ.

...Естественно, что меня тут же уволили с работы. Что ж, искусство требует жертв и имеет их в неограниченном количестве. Уволили да и уволили, зато есть теперь, что вспомнить... Меня много раз увольняли, мне о многом есть, что вспомнить...

4. КАК Я ПОЯВИЛСЯ В МОСКВЕ

(изложение на фоне русских пословиц и поговорок)

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

Имея дальние замыслы, я в 1963 приехал в Москву. Из Сибири...

В МОСКВУ ЗА ПЕСНЯМИ

И сразу же оказался на улице имени 25-го Октября, ведущей от Кремля, где помещалось и помещается правительство.

ОЙ, МОСКВА, ОНА БЬЕТ С НОСКА

к площади, носившей имя Рыцаря Революции, чья козлиная бородушка лично и со стенного портрета многим запомнилась «враз и навсегда»,

МОСКВА — ВСЕ ГОРОДАМ МАТЬ

где и помещается знаменитая "Лубянка".

КТО В МОСКВЕ НЕ БЫВАЛ, ТОТ КРАСОТЫ НЕ ВИДАЛ

Т.е. к площади им. тов. Дзержинского, а на улице имени 25-го Октября (почему, кстати, не 7-го Ноября?), бывшей и будущей Никольской, жил в XVI веке первопечатник Иван Федоров, одним из первых в России напечатавший Книгу.

НАШИХ ДУРАКОВ ОТСЕЛЬ ДО МОСКВЫ НЕ ПЕРЕВЕШАЕШЬ

Там был расположен тогда Историко-архивный институт в здании бывшей Синодальной типографии, куда я и решил поступить учиться в 1963 году.

ДО БОГА ВЫСОКО, ДО МОСКВЫ ДАЛЕКО

(Не в типографию, естественно, а в институт. Напоминаю: это история о том, как я появился в Москве. Перемежаемая несметным количеством русских пословиц и поговорок о Москве).

МОСКВА НЕ ГОРОД, А ЦЕЛЫЙ МИР

В институте меня встретили хорошо.

МОСКВА НЕВЕСТАМИ СЛАВИТСЯ

И дали талон, карточку, направление в общежитие, которое помещалось на улице с древним названием Стромынка.

МОСКВА — БОЛЬШАЯ ДЕРЕВНЯ

Эта улица была знаменита тем, что при царе здесь в изобилии водились больницы и богодельни, зато в советское время вырос целый студенческий городок, чьи комнаты сильно смахивали на бывшие монашеские кельи.

В МОСКВЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИК

Забравшись в келью, я принялся читать учебник «История СССР».

В МОСКВЕ ВСЕ НАЙДЕШЬ, КРОМЕ ПТИЧЬЕГО МОЛОКА

Я читал «Историю СССР».

В МОСКВЕ ГРЯЗЬ НЕ МАРАЕТСЯ И СПАТЬ ШИРОКО

История СССР — это история моей родины.

В МОСКВЕ РУБЯТ, А К НАМ ЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Страны, которая раньше называлась Россией.

В МОСКВЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БОЛЬШЕ НАШЕГО ЕДЯТ

А теперь называется Российской Федерацией.

МОСКВА, ЧТО ДОСКА: СПАТЬ ШИРОКО ДА КРУГОМ МЕТЕТ

И вполне возможно, что я поступил бы в этот Историко-архивный институт[1] первопечатника Ивана Федорова из Синодальной типографии, но...

В МОСКВЕ ГУСТО ЗВОНЯТ, ДА ЖИДКО ЕДЯТ

Но там в келье, кроме меня, было еще абитуриентов человек десять, которых я не запомнил.

МОСКВА КОМУ МАТЬ, КОМУ МАЧЕХА

И одиннадцатый — демобилизованный солдат, которого я запомнил.

ЖИВЕТ В МОСКВЕ В НЕМАЛОЙ ТОСКЕ

Я всю ночь читал «Историю СССР», а солдат бредил на ту же тему.

БЕЙ В ДОСКУ, ПОМИНАЙ МОСКВУ

Он парил над ватным матрасом.

ЖИВИ, ЖИВИ, РЕБЯТА, ПОКА МОСКВА НЕ ПРОВЕДАЛА

Лицо его озарялось вдохновенным светом тусклой электрической лампочки.

МОСКВА ОТ КОПЕЕЧНОЙ СВЕЧКИ СГОРЕЛА

И он орал.

МОСКВА-МАТУШКА — БЕЗ ОЧЕРЕДИ И ПОМЕРЕТЬ НЕЛЬЗЯ

Он орал:

— Поступить! Поступить! Войти в ИХ круг! Войти! Стать! Стать!

---

[1] Нет, это невозможно. Дело в том, что «никогда я не был в комсомоле», и шансы мои равнялись нулю, о чем я, естественно, тогда не подозревал — *Е. П.*

СЛАВИТСЯ МОСКВА НЕВЕСТАМИ, КОЛОКОЛАМИ ДА КАЛАЧАМИ

Увидев в солдате злейшую карикатуру на самого себя, я сильно приуныл.

ГОВОРЯТ, ЧТО В МОСКВЕ КУР ДОЯТ, А У НИХ И ТИТЕК НЕТУ

Сильно приуныв от бредовых речей солдата, я утром направился в приемную комиссию Историко-архивного института и забрал оттуда свои документы.

ПРОЩАЙ, МОСКВА-МАТУШКА, ЗОЛОТЫЕ МАКОВКИ

После чего был выдворен из общежития на Стромынке, и пошел куда-то вдоль по Москве, ничему более не огорчаясь и не удивляясь.

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

И если вы еще чего-то ждете от этого моего рассказа, то ожидания ваши напрасны. Мне памятна эта история, лишь потому я ее и рассказал. Мне памятна эта история, потому что она произошла. Эта история о том, как один из московских лоскутков оказался на московском одеяле.

СТАРИННАЯ ПОСЛОВИЦА НЕ НА ВЕТЕР МОЛВИТСЯ

5. МОСКВА НА КРОВИ СТОИТ

«Москва! Как много в этом звуке
для сердца русского...»

Поэт Пушкин (XIX век)

«Ее полуазиатская физиогномия, смесь пышности с неопрятностью, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостью, представляет глазам наблюдателя нечто любопытное, особенное, характерное. Кто был в Москве, тот знает Россию».

Историк Карамзин (XIX век)

«Когда у нас за Москвой-рекой праздник, так это сейчас видно».

Драматург Островский (XIX век)

«Одним словом Москва не город, а "тысяча и одна ночь", или, лучше сказать, очаровательный волшебный сон...»

Прозаик Загоскин (XIX век)

«Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля.
Просыпается с рассветом
Вся советская земля».

Песня (XX век)

Повернувшись спиной к Кремлю и пройдя вперед и вверх по центральной улице города, навсегда связавшей свою репутацию с именем великого пролетарского писателя Максима Горького, вы непременно упретесь в памятник. Памятник изображает человека из железа на коне из железа и поставлен в 1947 году при Сталине, захотевшем тогда с помпой отпраздновать 800-летие той столицы, которой он правил со свирепостью средневекового восточного хана, и я надеюсь, что это сравнение не обидит восточных людей.

Считается, что человек из железа, сидящий на коне из железа, есть князь Юрий Долгорукий (фотографий в XII веке еще не было). Рассказывают, что непосредственно после его открытия в 1947 г. с памятником случился конфуз. Кто-то из начальства обратил внимание на несоразмерные масштабу памятника конские гениталии, и металлическое животное пришлось холостить. Правда это или нет — можете проверить сами, но полагают, что именно Юрий Долгорукий является основателем Москвы.

Хотя древняя легенда упорно твердит, что на том месте, где сейчас расположилась Москва, жил человек более КОРЕННОЙ, чем будущая столица, а именно — боярин по имени Степан Кучка. В XII веке князь Ю. Долгорукий ехал из пункта К. в пункт В. и по дороге завернул к С. Кучке. Он заговорил с боярином, участливо расспрашивал его о жизни, пытался дать ему наставления или получить с него хоть какие-либо деньги. Но С. Кучка был надменен. Боярин любил свободу. Он говорил смело и прямо, на простом русском языке. Ю. Долгорукий велел убить С. Кучку. Кучку убили. На этом месте и стала Москва.

Памятник убийце? Увы, непостижима логика человеческая!..

Хотя... Хотя... Гляньте окрест, и вы увидите, что весь мир стоит на крови, как Москва на Москва-реке. Возьмите учебник истории — если его выжать, как мокрую тряпку, получим океаны крови. Всякий человек, как и всякое государство, рано ли, поздно ли, но приходили к пониманию своего ДОЛГА — кого-нибудь убить. Ткни в любой пункт на географической карте — его хозяева менялись по многу раз. КРОВЬ! Мир омыт кровью, как суша океанами! Человек и человечество имеют сходное строение организма. Человек и человечество раздираемы изнутри. И лишь зов разума противостоит зову крови. Но где гармония между кровью и разумом? Когда настанет светлое будущее? Когда будет счастье? Или человечество застраховано от счастья? Застраховано от светлого будущего?

...XII век. Лес, трава, ветер. Хищные звери. Разбойники. Вечер. В ветреном вечернем лесу темно и страшно. Хочется молиться Богу.

Но все же наступает утро, светит солнышко, появляется князь Ю. Долгорукий и убивает бедного боярина, первого московского жителя. Где логика? Где гармония? Где разум? Где справедливость?

Не дает Русь ответа, хотя — есть он, есть! Кровью спаяно, вспоено, вспрыснуто. Кровь! Убивали в XII веке, в XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, а в особенности в XX-м — с начала и до конца, без передыху, во имя счастья, во имя логики, гармонии, разума, справедливости, а то и просто так, ни за что, ни про что!

Как, например, в 60-е годы нашего столетия, когда по московским квартирам бродил строгий человек, выдававший себя за служащего московского газового хозяйства. «МОСГАЗ», — говорил этот маньяк, входя в московские квартиры. Доставал топор и тут же убивал московских старух в количествах и не снившихся петербургскому студенту Раскольникову.

Или вот недавно, дня три назад, какие-то «крутые» налетели на тот тихий ресторанчик с сомнительной репутацией, что расположен среди новостроек Юго-Запада хорошеющей с каждым днем столицы. Налететь-то налетели, но зачем же,

спрашивается, было стрелять прямо в сердце бармена, даже если он и отказался платить визитерам подоходный их налог? Разве нельзя было ДОГОВОРИТЬСЯ — логично, гармонично, разумно, справедливо, как и полагается в обществе, твердо вставшем на рельсы демократии и капитализма?[1]

Чудны дела твои, Господи! И страшно, вернее — страшновато, как страшновато было одному моему персонажу, малооплачиваемому интеллигенту с двумя высшими образованиями, которого вконец запилила жена, что в новых общественно-политических условиях «все люди живут, как люди, один ты, как хрен на блюде».

«Денег дай, денег дай, денег дай, денег дай», — звучало у него в ушах, когда он с целью желания разбогатеть выкатился из своего дома в спальном районе г. Москвы и углубился в зимний городской лес, который тянулся на несколько километров от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта и был в это время года и дня тих, пуст, темен, безлюден. Он вырезал отточенным ножом ХОРОШУЮ ДУБИНУ и присел в засаде около одинокой волейбольной площадки, которая действовала даже сейчас, зимой, но, естественно, лишь в светлое время суток, а не тогда, когда все так страшно и все так сумрачно вокруг, и пруд с хлорированной водой в зоне отдыха замерз, и не шелохнется снежная ветка, и ни одна сволочь не бежит по тропинке «бегом от инфаркта», и собаки не гадят на дорожках, и разрумянившиеся лыжники не скрипят палками по снежку. Страшно, Господи! Ох, как страшно в зимнем городском лесу, где человек практически забывает в такие минуты о ПРЕКРАСНОСТИ ЖИЗНИ, а думает всякую чушь, гадость всякую, безблагодатную и бесперспективную. Страшно...

Однако страшно-то страшно, да — Слава Богу — и эта конкретная история, с которой, конечно же, знакомы отдельные мои читатели[2], закончилась, как известно, относительным хэппи-энд'ом — как в принципе и должно быть в обществе, твердо вставшем на рельсы демократии и капитализма. Тип, у которого дважды образованный, но малооплачиваемый интел-

---

[1] Не торопись, читатель, относить этот пассаж к 1995 г. Именно ЭТО было написано в 1989 г. (подсказка)

[2] См. «Новый мир», 1987, № 10.

лигент отнял с помощью дубины крупную сумму денег в рублях и валюте, оказался лицом коррумпированным и возвращался из кабака со взяткой в виде меченных милицией дензнаков. И каково было разочарование милиции, лишившейся важного вещественного доказательства, какова была смутная радость ТИПА, тут же подавшего на милицию иск об ущемлении его прав и достоинства гражданина новой России, — это надо было описывать Зощенко с Андерсеном, а никак не мне, бывшему «молодому писателю», приехавшему в Москву в 1963 году с дальними замыслами. Из Сибири...

Зато я могу сообщить своим читателям тот финал этой истории, о котором пока не знает никто, кроме меня. Удостоверяю: малооплачиваемый интеллигент тоже нашел свое место в жизни, обретя, как и предсказывал Маркс, первоначальный КАПИТАЛ. Он открыл Товарищество с Ограниченной Ответственностью, купил «The dacha» на Кипре, и жена полюбила его второй любовью... Продолжая традиции И.С. Тургенева, можно было бы прямо так и озаглавить эту конкретную историю — «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ...» Тургенев, кстати, тоже приехал в Москву в девятилетнем возрасте, и теперь его именем названа площадь в районе несостоявшегося Новокировского проспекта... Говорят, что проспект этот, ведущий от самых от окраин аж до самого Кремля, придумал не кто иной, как сам Л.П. Берия, приехавший в Москву и сделавший здесь славную карьеру в качестве шефа ГБ, венцом которой был расстрел шефа непосредственно по месту работы... В.И. Ленин тоже приехал, И.В. Сталин приехал, Н.С. Хрущев приехал, Л.И. Брежнев приехал, Ю.В. Андропов приехал, К.У. Черненко приехал, М.С. Горбачев приехал, Б.Н. Ельцин...

СПРАШИВАЕТСЯ: ДА НЕУЖТО ЖЕ ВСЕ ЖИТЕЛИ МОСКВЫ, КРОМЕ УБИЕННОГО СТЕПАНА КУЧКИ, ПРИЕЗЖИЕ? ВЕДЬ ТОГДА И НА САМОМ ДЕЛЕ ВЫХОДИТ, ЧТО—

МОСКВА — ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ДЕРЖАВЫ.

НО ДЕРЖАВА — НЕ ЛОСКУТНОЕ ЛИ ОДЕЯЛО МИРА?

НО МИР — НЕ ЛОСКУТНОЕ ЛИ ОДЕЯЛО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ?

ТАК ЛИ ЭТО, РУСЬ?

..... (нет ответа).

6. УРОКИ РУССКОГО: ПРОПИСКА, ОБМЕН, ЭМИГРАЦИЯ

ПРОПИСКА. Люди, пожившие в Москве, чаще всего не хотят потом селиться в других регионах Державы. Покидают Москву разве что под конвоем или соблазненные большими деньгами (чаще всего — северными). Жители России всегда помнят, что их любимая Родина — полицейское государство, и простой человек, сдуру уехавший и ВЫПИСАВШИЙСЯ из Москвы, вряд ли когда-нибудь сможет туда возвратиться. Я знавал постаревшего романтика 60-х, который по призыву партии и комсомола («Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: «Есть!») с молодым задором рванул в Казахстан «осваивать целину», о чем сочинил красивую песню, часто исполнявшуюся по советскому радио. Позже он долго ходил по властям и судам, пытаясь доказать свое право коренного москвича на историческую «малую родину». Власти и суды гнали его в шею. Парень озлобился, примкнул к диссидентам со всеми вытекающими из этого последствиями. А всего-то и нужно было ему — получить ПРОПИСКУ, маленький штамп в паспорте, регулирующий ОБЯЗАННОСТЬ (и ПРАВО) советского человека жить в определенной квартире, в определенном доме, на определенной улице, в определенном городе, например — в РЕЖИМНОМ городе Москве, где издревле обосновывались партии, правительства, иностранцы, чекисты и шпионы. Суров советский закон, но, как утверждал историк, суровость законов в России смягчается лишь тем, что они из рук вон плохо выполняются. Население за многие годы тотальных запретов научилось не только обходить любой закон, но даже извлекать из своего подневольного положения немалую выгоду. Прописка давно стала предметом купли-продажи, как для частных лиц (всегда), так и для Государства (последнее время). Мой знакомый романтик купил прописку путем ФИКТИВНОГО брака с какой-то неизвестной московской гражданкой много лет назад, но перетерпи он эти годы и стань побогаче, он сейчас мог бы купить эту прописку и у властей. Легально, но уж за больно кусающиеся суммы. Резюме: новые правители много говорят об отмене прописки, но не отменят ее никогда.

ОБМЕН — это другое (заковое) наше слово... Расцвет «брежневской эпохи». Мой приятель выпивает с иностранцем и рассказывает ему, что подавляющее число квартир в Москве государственные. Но если человеку не нравится то конкретное место, где он живет, или, например, то, что сосед по КОММУНАЛКЕ, напившись портвейна «Кавказ», гоняется за ним по всей квартире с топором, то он в этом случае устраивает ОБМЕН. Он помещает в специальном БЮЛЛЕТЕНЕ описание своего жилища, умалчивая, естественно, про монструозного соседа, но приводя массу других полезных данных: метраж квартиры и ее комнат, иногда исчисляемый до сотых долей квадратного метра, удаленность от станции метро, этажность, сторону света, куда глядят окошки, высоту потолков и так далее... Другой, желающий меняться, тоже приводит данные своей квартиры, утаив, естественно, что соседи льют ему в суп керосин. Так люди узнают о существовании друг друга и после скучной канцелярской волокиты, оживляемой взятками, наконец-то совершают ОБМЕН... Иностранный приятель моего приятеля хохочет, как сумасшедший. Мой приятель ощущает нечто неладное в его смехе. Он приносит собутыльнику из соседней комнаты упомянутый БЮЛЛЕТЕНЬ, и смех застывает в уголках губ чужеземца, как сало. Он-то думал, что веселый русский ШУТИТ!..

(Приятель мой, кстати, вскоре после этой истории навсегда покинул пределы Державы, объясняя это тем, что слишком любит Россию, а «большое», как выразился поэт Есенин, «видится на расстоянье». Кроме того он утверждал, что СМУТНОЕ ВРЕМЯ — перманентно: царь ли Михаил Романов заменит Бориса Годунова, или Борис Ельцин заменит Михаила Горбачева, кровь прольется непременно, как непременно явятся лжедмитрии, лжепетры, лжеиваны... Время блестяще доказало, как он оказался неправ, этот оторвавшийся от народа в ЭМИГРАЦИЮ человек.)

ЭМИГРАЦИЯ. Согласно диалектике марксизма-ленинизма, коммунисты относились к эмиграции очень строго: тех, кто не хотел уезжать, они из страны всеми силами выпихивали, а тех, кто хотел уехать, они всеми силами не пускали. Будущих эмигрантов зачастую выгоняли с работы, и они, потеряв статус лояльных граждан СССР, годами вели призрачное существо-

вание, дожидаясь РАЗРЕШЕНИЯ, но рано или поздно все же получая его. При новых порядках многие их них навещают бывшую родину в качестве гостей и туристов, что ранее казалось невероятным и аналогичным явлению С ТОГО СВЕТА перевоплотившихся душ. Как ни странно, НАВСЕГДА, кажется не возвратился пока еще никто. Да и вряд ли возвратится, потому что ЗАПАД ЕСТЬ ЗАПАД и так далее.

Не верите?

Отсылаю к истории, которая поразила меня еще в 1974 году.

Итак, слесарь-сантехник Шенопин вывешивает на «Доске объявлений» одного из московских ЖЭКов следующее:

«МЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ КВ. 17, 12 КВ. М. 4 ЭТ, ЭЛ/ПЕЧЬ НА РАВНОЦЕННУЮ Ж/ПЛ В Г. ПАРИЖЕ (ФРАНЦИЯ). ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».

И что же?

А то, что вскоре он получает письмо из Парижа, где некий, прогрессивных убеждений, Орлов, сын покойных эмигрантов-родителей, пишет, что согласен на обмен, потому что, читая советский патриотический журнал на букву «М», испытывает непобедимое влечение к родным деревьям — березкам и дубам. «А раз ты согласен, так и я согласен», — нагло заявляет Шенопин.

Тут, понятно, сразу же собирается товарищеский суд жильцов, чтобы заклеймить изменника. Однако Шенопин все убедительно объясняет. Оказывается, прапрадедушка поджег Москву, а потом прапрадедушку подобрала в русских снегах баба и ухаживала за ним, любя. И как-то спросила она шенопинского прапрадедушку:

— Каково же твое имя, милый французик?

На что молодой прапрадедушка, переживший ужасы несправедливой, захватнической войны 1812 г., желая, как и все люди доброй воли, бороться за мир во всем мире, глухо ответил ей на ломаном русском языке:

— Я есть негодяй, хулиган, я по-французски называюсь «шенопан».

И, разволновавшись, в волнении стал пахать русскую землю, а появившиеся вслед дети француза стали носить фамилию Шенопины дети или просто Шенопины, из чего, по мнению

слесаря-сантехника, и явствовало, что ему положено жить в Париже.

И все-таки товарищеский суд жильцов поначалу с возмущением встретил нелепую речь новоявленного француза и предложил ходатайствовать перед правительством страны, чтобы Шенопина посадили в тюрьму или, на худой конец, выпороли. Но после того, как Шенопин, рыдая, тоже стал говорить о влечении к родным деревьям и заявил, что ночью, открыв глаза, чувствует запах цветущих каштанов, буков и вязов своей французской Родины, простые сердца товарищеского суда жильцов смягчились, и товарищи, посовещавшись, отпустили т. Шенопина во Францию — особенно после того, когда он клятвенно пообещал непосредственно по приезде вступить во Французскую КПСС, а также прислать всем присутствующим богатые, достойные их высокого звания советского человека подарки. Шенопин сел в поезд и уехал в Париж, перецеловавшись со всеми присутствующими.

Ну, и что из этого?

А то, что вот тут-то следы его и теряются: в Коммунистическую партию-то он может быть и вступил, но подарков никаких не прислал. А вместо подарков появился сам двойной эмигрант Орлов, оказавшийся вовсе не подарком, а ужасным мерзавцем, псы которого стали гадить на лестнице, а сам он — танцевать по ночам в квартире русскую кадриль, но в обнаженном виде. Его, понятно, тоже сразу же потащили на товарищеский суд, где прямо так и сказали ему, что если он действительно прогрессивных убеждений, тогда зачем он такая сволочь? Он обиделся и уехал обратно в Париж, в свою квартиру. И только поэтому Шенопин и вернулся в Москву.

И его снова судили товарищеским судом.

Жизнь продолжается...

И будет продолжаться вечно.

7. НА СЕМИ ХОЛМАХ

Издревле стоит Москва на семи холмах, и все попытки свести ее к единой плоскости или единой вертикали бессмысленны и опасны.

Как всем гораздо лучше меня известно, самым высоким зданием Москвы был в начале этого века Храм Христа Спасителя, построенный в середине XIX века на народные деньги во славу русского оружия, победившего армию прапрадедушки слесаря-сантехника Шенопина, и взорванный в 1930 году красными мудаками, тогдашними «новыми русскими».

Крестообразное, с громадным куполом, опирающимся на четыре столпа, и колокольнями-куполами по углам, это детище архитектора К. Тона поразило воображение не только москвичей и гостей столицы, но и самого тов. Сталина. Говорят, будто ХОЗЯИНУ доложили, что с высшей точки Храма хорошо просматривается тот кремлевский закоулок, где любил гулять наш «кремлевский горец», персонаж стихотворения Осипа Мандельштама, стоившего поэту и свободы, и жизни.

Судьба Храма была решена. Грянул взрыв. Пропало все: росписи работы Верещагина, Маковского, Сурикова, роскошный алтарь. Грянул взрыв, и звук этот до сих пор в наших ушах. Грянул взрыв, полетели осколки, и они до сих пор в наших сердцах.

На месте, где стоял Храм, некогда существовал Алексеевский монастырь, разоренный с целью строительства Храма. На месте, где стоял Храм, коммунисты решили воздвигнуть свое капище под названием Дворец Советов — многоярусную башню, высотой более четырехсот метров, где парила бы в облаках фигура того самого вечно живого Вождя, который получил в народе следующие прозвища: «Лукич», «лысый», «картавый», «Вовка-морковка» и почему-то «рубль». Был выкопан в 1939 году гигантский КОТЛОВАН (имени Андрея Платонова?), была изготовлена особопрочная сталь для каркаса, однако на этом строительство и закончилось. Вскоре хозяину страны и обитателю Кремля стало не до Дворца, поскольку его тоталитарный коллега по социализму А. Гитлер, нарушив сговор двух паханов, вторгся на сталинскую территорию, залив ее кровью ни в чем не повинных людей и подойдя вплотную к московским стенам. Одни говорят, что Москву спасли от захватчиков отборные сибирские дивизии, другие — что генерал Власов, впоследствии убитый, как «изменник Родины», третьи толкуют о страшных морозах той зимы, четвертые — о патриотизме, пя-

тые — о «русском чуде», шестые... Впрочем, зачем тут долго распространяться, когда нынче ВСЕ ВСЕ САМИ ЗНАЮТ. Да и всегда знали, разве нет? На месте монастыря — Храм, на месте Храма — Дворец, на месте Дворца — плавательный бассейн, на месте плавательного бассейна — снова Храм. Истинно говорится, что дьявол — это обезьяна Бога. Полагаю, что все это пародирует историю возведения Вавилонской башни при сходном конечном результате — окончательной потере праязыка и (смотри эпиграф!) процессу разделения, расщепления мозгов, «ПРОЦЕССУ» (Ф. Кафка), ведущему к диссонансу, разноголосице, разброду и раздрызгу, конца которым не видать и теперь, даже в нынешние времена, когда вдруг нежданно и негаданно забрезжил вдруг слабый белый свет надежды, просвечивающий сквозь зимнюю темную тучу.

Как тогда! Как всегда! Всем миром!.. Всем миром сгубили Россию, а теперь всем миром беремся воскресить ее?

Но ведь невозможно же дважды войти в одну и ту же реку, как справедливо предупреждал древний грек. РЕКА ВРЕМЕНИ вынесла Москву в самый конец двадцатого века, и что будет с ней дальше — знает только Бог, а отнюдь не я, Евгений Попов, бывший «молодой писатель», сибиряк, рядовой московский житель, чье сознание разделено и расщеплено, как нынешнее московское пространство, в заданных параметрах нынешнего вялотекущего времени.

И я выйду из дому, и я погружусь в густо дышащую московскую толпу, вечно спешащую по своим и чужим делам.

И я забормочу:

— Неужели окончательно просвистели, профукали мы наши богатства?

И еще я забормочу:

— В Москве есть все. В Москве есть все для всех, все не для всех и все ни для кого. Но в Москве одновременно и ничего нет. Нет ничего ни для кого, ничего не для всех и ничего для всех поголовно.

И в третий раз я забормочу:

— Ну, а ничего, оно и есть НИЧЕГО! В русском смысле: НИЧАВО, как-нибудь переможемся, НИЧАВО, как-нибудь еще поживем! НИЧАВО, даст Бог — и случится очередное «русское чудо», и мы еще раз выживем...

О, эта странная Москва! Ни на какой широте или долготе она не лежит! Москва — неопознанный объект пространства и времени. МОСКВА — ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО ДЕРЖАВЫ.

И —

— яркий белый луч раздирает зимнюю тучу. Солнце в косой зубец стылого леса бьет векторно. Дунет ветер, заиграет, вся в блестках, пороша. Снегирь — на снегу. Лиса — на бегу. Волк в овраге. Медведь в берлоге. Снег. Сани. Лошадь. Мужик Марей с огромной черной бородой. Золотые церковные купола. Зимние дымы заводов. Посвист поездов. Скрип да лязг, грохот да песня.

Россия да Москва. Снег да любовь.

А больше —

ни-че-го.

Москва, апрель 1989 — январь 1995.

НЕЗРИМО И ГРОЗНО

О ЛЕНЕ, ПОЛЮБИВШЕЙ АЙЗЕНШТАТА

(сентиментальная пионерская баллада)

Горниста Айзенштата все любили:
он так горнил — потом так не горнили —
и песни пел всех выше на полтона
под аккомпанемент аккордеона.

Его любили за успехи в спорте,
за то, что он отважно бил по морде
врагов своих, и если враг был гордый,
не кулаками бил его, а горном.

Его любили девочки совместно.
От корешей ему бывало тесно.
Вожатые и прочее начальство
ему прощали ложь и зубоскальство.

Но Лена больше всех его любила:
всходило солнце или заходило —
все слушала и слушала запоем,
как он горнил подъемы и отбои.

А Айзенштат не обижал любивших —
глядевших, ни на шаг не отходивших —
и с каждым говорил о чем угодно,
и с каждой танцевал поочередно.

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ (1940—1990) — родился в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книги «Времени невидимая твердь» (1990), а также книг «Кахетинские стихи», «Помолвка», «Бездонный челн», «Речитатив», «Подземная нимфа», «Вплоть», изданных вдовой поэта.

Но только Лене это было мало.
Она его за это ревновала.
И раз, пройдя к нему сквозь окруженье,
поцеловать спросила разрешенья.

Тут все забыли про его таланты.
На девочках похолодели банты.
И кореша все шутки поглотали:
не свистнули и не захохотали.

А Айзенштат, потеребивши челку,
отвел ее под вековую елку,
где на стволе его инициалы,
и там она его поцеловала.

Да. На виду у всех поцеловала.
Но только Лене это было мало.
И вечером под долгий звук отбоя
она рыдала над своей судьбою.

...Но время ускользает от событий,
и шепоты той ночи позабыты —
ведь время — это то, что миновало,
залив смолою все инициалы.

И лишь дружки горниста и спортсмена
запомнили забывшуюся сцену.
И полюбили Лену до могилы,
хотя она не пела, не горнила.

ЛЕЙТЕНАНТ АЛДОБЕРГЕНОВ

Лейтенант Алдобергенов,
маленький восточный деспот,
укротитель пятой роты,
соблюдатель ярких блях,
проходя по гарнизону,
ищет зорко, ищет рьяно
нарушителей устава —
пьяниц, лодырей, нерях.

Лейтенант Алдобергенов
с неподвижными глазами,
что надрезаны вкосую
злым отеческим ножом
на лице пустом и голом
с кулаками скул калмыцких,
с черной шерстью кобылицы
на черепе небольшом.

Лейтенант Алдобергенов,
жадный раб неясной страсти,
жадный вор нелепой воли —
он коварен и хитер, —
между двух машин военных,
чьи названия опасны,
в день ученья боевого
был случайно перетерт
насмерть.

* * *

Раз заходил ко мне сей правоверный еврей —
был он тогда математик, но ныне своей
вывезен в Лондон — английской своей половиной.
Не математик теперь он — ист-сайдский раввин он.

Зингера «Страсти» пришел он кошерно продать
(не разживешься, поди, в одночасье мильоном)
за подороже плюс двадцать процентов — он (мать...
он математиком был), хоть еврейским бульоном

залит был сборник и жирною грязью порос
(так мы узнали, что значит и впрямь chicken broth).
И очутившись в моей, как решил он, каморке,
снявши роскошную шапку, остался в ермолке.

В комнате он на Николу Угодника страсть
как... вопросительно глянул, — но лишь как на моду.
Библии же углядевши славянскую вязь,
рек он: «О, нет, не вино вы здесь пьете, а воду».

Как мне хотелось ответить ему, что вино
их иудейское кончилось в Кане давно:
вода крещенья в вино обратилась причастья
(греческий он не постиг, за отсутствьем пристрастья).

Спорить полезно лишь с единомышленником.
Вместе с деньгами я отдал раввину бесплатно
стихи для сборника, что составляла тайком
его жена-англичанка — ну, отдал и ладно,

но, сознаюсь, ненавистен мне был этот мой
«либерализм», хоть беззлобный, но слишком немой!
И удалился несбывшийся сей поединок —
только вода, что стекла с его снежных ботинок,

стояла в комнате (просто вода, не вино),
я же глядел на нее, ведь еврей я отчасти,
видно, молчанье отчаяньем мне суждено...
«Страсти» же Зингера мне полюбились до страсти.

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Я говорю на вашем языке —
молчанье здесь иными словесами
исполнено... Работала в ларьке.
Там было мне семнадцать. Рядом с нами
за проволкой колючей встала часть
военная. Отец мой там слесарил
в домах жилых. И помню, как сейчас.

В субботний вечер. Летом. На закате.
Привел солдата. Оба — под хмельком.
(Папаша отмечался при зарплате).
Я им таскала закусь. С пареньком —
ни слова я, покуда мне папаша
лафитник не поднес, считай, силком.
С того и начались свиданки наши.

С того и началась любовь меж нас.
На танцы приглашал меня в Железку[1],
и раз я с ним воскресным днем прошлась
за речкою. Ну, и сейчас полез он.
Но робко эдак. Робостью и взял.
В мундире был, и мне, девчонке, лестно.
И лето светлое. И всяк цветочек ал.

Стал прибегать ночами в самоволки.
Таились мы. Отец тверезый строг.
Солдатик мой томил меня. Про Волгу
все заливал. Но вот проходит срок —
и ничего! Недели две терпела.
Со страху-то чуть не валилась с ног.
Потом сказала все ж: «Такое дело».

Боялась, осерчает. Нет, он сам
весь растревожился. Но говорит, сердешный:
«Поженимся». Меня по волосам
все гладил: не страшись, мол, будь в надежде.
Утешилась я малость. Ждать взялась.
И все у нас пошло милей, чем прежде.
И осень красная была — ну, прямо страсть!

Но раз он говорит: «Назавтра к ночи
приди сама. Там в проволоке — лаз.
В наряде я. Но дерну на часочек.
А за складами не приметят нас».
И я пошла — сама, в охотку, смело:
уж заполночь потайно поднялась —
отец не слышал. Ну и... подоспела.

.....
Я говорю вам вашим языком.
В ту ночь как раз стоял он в карауле.
Сперва меня окликнул он тишком,
чтоб подошла поближе я, и пуля
пришлась в живот мне, так что сразу двух
убил он зайцев... Как у вас? — уснули
навек с младенцем мы? Да: испустили дух.

---

[1] Железка — клуб железнодорожников.

Теперь и сам — при нас. Его уловка
раскрылась сразу: на посту убил,
де, некую. Расстрелян был милок мой
там на земле, где был когда-то мил
он мне средь ваших трав, что пахнут сладко,
коль срезать их, средь стоптанных могил,
среди людей... Осталась лишь загадка

от нас. Вам разгадать ее невмочь.
Молчанью здешнему не внемлете вы глухо.
Все ясно вам: в сентябрьскую ночь
один подлец, трусливый или глупый,
чтоб скрыть, что он надысь с девчонки слез,
промашку сделав, сделал ее трупом.
Но здесь молчанье из иных словес.

НЕЗРИМО И ГРОЗНО

Зурабу Кикнадзе

Телави: узки и приземисты камни руин,
оград виноградных, проулков, ведущих в былое.
«Фиаты», «Фиаты» вертлявые еле по ним
форсить исхитряются. Ночь наступает и строит

тяжелую церковь на площади, где ребятня
играет наощупь в футбол. Это маленький город.
И дышит народ на порогах домов после дня
с тяжелым, как олово, солнцем. Лишь храм на запорах.

Вот крепость срослась с вековой алазанской землей.
А вот на одном из проулков кривых перевале
(«Фиаты» юлили, и дети вертелись юлой)
встал дом каменистый: давно уж в нем не обитали

ни люди, ни духи, казалось — ни стекол, ни рам,
ни ставен — чернее, чем ночь, были окон пустоты —
да: дом пустовал, как телавский заброшенный храм,
и полуразрушен был столь же... Но вдруг поворот, и

в одном из проемов оконных увидели мы —
увидели белую голову — в черном проеме —
седую старинную голову — у головы —
пустые глазницы чернее, чем тьма в этом доме.

Была неподвижна чужой головы седина,
но только по ней было ясно, что это — старуха —
глазниц пустотою куда-то глядела она.
Такой неподвижности чужды движенья и звуки.

И все же куда-то глядели пустоты глазниц
(хоть белые колья волос ее не шелохнулись),
и ночь нисходила незримо и грозно из них
на мир, на Телави, на угол двух сгорбленных улиц.

* * *

Как в детстве я любил ходить по кладбищу, что рядом
с Всехсвятской церковью (давно снесли его под дом),
и безымянные читать не имена, а буквы
и числа — сей кратчайший сказ о жизненном пути.
...К могилам гнулись дерева и бабушки в платочках,
и с фотографий на крестах, как прежде с лиц живых,
сошел румянец-анилин — казалось, загрубели
безликие черты: мороз, ненастье... И тогда
не понимал я, чем влеком я был к тому погосту,
что век не разомкнет уста, объятия крестов
век не сомкнет... и почему я вроде бы стыдился
прогулок этих средь могил горбатых, но теперь
я понимаю: дело в том, что я СТЫДИЛСЯ СМЕРТИ —
казалось мне, я подсмотрел зазорное, и стыд
мой был младенчески глубок. Да: я стыдился смерти,
я и теперь ее стыжусь, коль с нею тет-а-тет.

РОЖДЕСТВО В ПОСОЛЬСТВЕ КАНАДЫ

Рассказ

Под мостом у Белорусского Димка купил хороший кусок телятины. И двух цыплят — матери. А на дедовы полпенсии — выделил дедуля на отвальную — еще и сарделек. Концы надрежешь, они при жарке расщепериваются, салом прыскают — красотища. Специально спрашивал, чтоб из Чернобыля, с радиацией. Баба полупьяная врубилась сразу, сказала, что, конечно, с радиацией, все как положено. Короче, Димка уложился в полцены.

Он засунул все в сумку, и осторожно накинул забинтованный синей изоляцией ремень на плечо. Так новую и не купил! Во, блин, психика! В Новый год в армию топать — нет переживаний, а вспомнил, что сумку так и не осилил — заскребло.

По шоссе из центра еле тащилась «Скорая» с зеленой фарой. Двадцатая бригада, только на их тачке третий глаз зеленый... Хитрит двадцатая, пахать не хочет. Смена кончается, вот и ползут, как вошь по струне: пускай под завязку другая бригада на вызов нарвется. Двадцатая — все мудрецы, кого ни возьми: хоть Потапыча, хоть шофера, хоть фельдшера...

Фельдшером на двадцатой была Наташка...

Димка пас ее давно. Раз как-то даже не поехал после дежурства домой и еще целую смену катался с их двадцаткой — вторым фельдшером. Короче, выклянчил. То ли Наташка оценила его любовный героизм, то ли еще что, но два раза он ее уломал. А потом — ни в какую. И лишь позавчера он, наконец, завлек ее домой в третий раз: в армию, мол, уходит — попро-

---

Сергей КАЛЕДИН — родился в 1949 г. в Москве. Окончил Литературный институт. Дебютировал повестью «Смиренное кладбище» в журнале «Новый мир» в 1987 г. Автор повестей «Стройбат» (1989), «Поп и работник» (1991) и цикла рассказов «Коридор» (в книге «Коридор», 1987).

щаться. Да еще пообещал на прощанье джинсы ей сшить по люксу, каких ни у кого в Москве нет. Из кожи, с бахромой и шнуровкой по всей ноге до бедра. Мать когда-то еще привезла из Польши лайки три метра себе на костюм, да заболела потом, а теперь уж какой там костюм.

Джинсы от воодушевления Димка сшил за вечер. Правда, колупался до ночи. Конечно, не без хитрости, можно было и пораньше управиться: у него ведь уже и раскрой был по Наташкиным старым джинсам, и сметано все на синей шелковой подкладке. Валандался он с прицелом — чтоб метро закрылось: на такси в Бирюлево Наташке пилить накладно, а у него просить денег по гордости не будет.

Правильно рассчитал: Наташка тормознулась. И уж больно ей джинсы понравились. Вылезать из них не хотела. Потом все-таки вылезла.

Но дед все испортил. Часа в два ночи ни с того, ни с сего начал ломиться к Димке. Стучит, орет, колотится — крючок весь погнул. И орет-то главное: ахинею: «Моссовет запретил! После двенадцати нельзя! Моссовет!..» Он бы еще Реввоенсовет вспомнил!..

Не слезая с Наташки, Димка наорал на деда, тот ушлепал к себе, но сердчишко Наташкино под Димкиной рукой задергалось с перебоями — напугал дедуля. Вскинулась, стала хватать вещички. Пискуна, прилегшего на ее лифчик, смахнула на пол, да так, что бедный котяра спросонья даже вывернуться не успел и шмякнулся об пол боком, заорал на весь дом. И потом, пока провожал, пока машину искал, Наташка все шипела, что им с Димкой встречаться не надо, с ним у нее все равно никогда не получается, а получается только с ее женихом Женей.

Настроение у Димки скисло. Да еще вспомнил, что сегодняшнее дежурство — последнее. Дальше — армия.

Ворота подстанции, как всегда, были распахнуты, бестолку светил с ночи прожектор, на площадке перед облезлым зданием стояли рафики «Скорой помощи». В одном ковырялся Коля.

— Что с ней? — поздоровался Димка.

— Бесполезное явление, — проворчал Коля. — Как мне ехать — тачка дурная. И рация в одну сторону пашет, на пере-

дачу. Как работать?!.. При Сталине бы... — Он взглянул на Димку. — Тебе дыню-то не обрили еще?

Димка снял шапку, продемонстрировал целую пока башку.

— Обреют еще, погоди, — пробормотал Коля, вытирая ветошью руки. — Гляди, в Чечню загонят, там тебя и оброют, и обрежут, и отрежут...

— Да брось ты, Коль, чего им меня резать! Чечен любит свой кинжал и жену-грузинку. Тебе, Коля, на пенсию пора, больно ты злобствуешь на человечество...

— Это правда, давно пора. Да с вами-то и на пенсию толком не выйдешь. Седьмой... Не-е-е... восьмой год уже перерабатываю. Кому сказать! Дома-то как хорошо: «Рояль», спиртяшку, развел сквозь марганцовку, отдыхай сиди, расслабляйся... Чего я с вами мудохаюсь?..

— Ваня пришел? — спросил Димка.

Коля мотанул головой. Скорей всего это означало, пришел. Но, может быть, Ваня и не пришел.

— Телевизор смотрит, — добавил с паузой Коля. Значит, Ваня пришел. — А ты-то покушать не хочешь? А то иди, ребята щи затеяли.

— Жарево? — невнимательно вполголоса переспросил Димка. — Это хорошо.

Он поставил сумку на снег и полез в «скорую» проверить, все ли на месте. Крутанул вентиль кислородного баллона — зашипело сильно, значит, полон. И в ящике был порядок: четыре шприца, ампулы в комплекте. Под креслом виднелся горшок. Димка вытянул его: чистый.

— Даже горшок живой, — удивился Димка, вылезая из машины, — не сперли.

«Скорая» с зеленым глазком показалась в воротах подстанции, с трудом взобралась на площадку, буксуя на заледенелом бугре.

— Смотри-ка, влезла! — удивился Коля.

Протопал Потапыч, врач двадцатой, по-бабьи засунув руки под мышки, кивнул без слов.

Димка ждал, когда появится Наташка. Отсюда из кабины видно не было, но Димка знал, что сейчас она повернула зеркало, достала косметичку, из нее — красную пластмассовую

коробочку с надписью «Пупа» — и подводит глаза, а после глаз будет румянить щеки.

Димка стоял на морозе и как дурак смотрел в ее сторону. Снег возле сумки с мясом порозовел.

— Чего мнешься? — пробурчал из машины Коля. — Плюнь на нее слюной, добра-то!..

Димка поднял сумку с мясом, отстраняя ее от себя, чтоб не запачкаться, пошел к зданию подстанции. Из конуры с надписью «Меня зовут Хрен» выскочил пес, позвякивая цепью, запрыгал возле Димки, лизнул сумку.

— Пошел ты!..

Хрен не понял и удивленно поднял ухо.

Окошко диспетчерской было заслонено фанеркой, чтобы не дуло. Димка постучал по фанерке, поздоровался в закрытое окошко и расписался в табеле.

— Сметану не злоупотребляй, — послышалось из шоферской под лестницей, — для борща оставь.

За столом два шофера ели щи. Облупленный холодильник был полон. Димка поворошил свертки, но места внутри не нашел.

— Вы что — все, что ли, у Белорусского отоваривались?

— Не гадь, — отрываясь от тарелки, мрачно сказал шофер Петя.

Петя поел уже немного и сидел, откинувшись на спинку стула, передыхал. Пот медленно сползал по его шершавому лицу. Если Петя с утра ел щи, значит, накануне круто выпил.

— Расходится? — посочувствовал Димка.

— Нагадил, — не отвечая, заметил Петя, глядя, как из-под Димкиной сумки вытекает узенький ручеек сукровицы. Петя глубоко вздохнул, как перед погружением, и снова склонился над тарелкой.

— Щи могу, воду ни в какую, от воды меня трясет. Чего текет-то?

— Мясо, — сказал Димка. — Телятина. Куда его?

— В снег зарой, — посоветовал второй шофер, — и придави потяжелее от кобеля.

У забора Димка выдолбил в снегу каблуком ямку, уложил туда сумку и закидал снегом. Прикатил из гаража лысое колесо, положил сверху. И побежал переодеваться.

У окошка диспетчерской Наташка сдавала вызов. Она была уже без халата, в кожаных джинсах, заправленных в сапоги, в меховой душегреечке. На ремне висел «Мультитон». Аппаратик такой маленький. Ищут, предположим, тебя, позвонить некуда, диспетчер на подстанции ткнет твой номер — «Мультитон» отзовется. Загорится цифирка «семь»: позвони. Загорится цифра «шесть» — позвони срочно.

— Не порвались еще? — уныло спросил Димка.

Наташка обернулась, погладив себя по бедрам.

— Пока нет.

Она даже улыбнулась, показывая ровные белые зубы. От этой улыбки у Димки внутри заныло: он вспомнил, как, целуя Наташку, языком различал, где ее зубы, а где две коронки пластмассовые, хотя с виду все одинаковы. Ее — теплее.

— Как дедуля поживает? — Наташка облизнула свеженакрашенные губы и, зевая, повернулась к Димке спиной. — Привет дедуле.

Она отцепила «Мультитон» от пояса, протянула Димке назад, не глядя.

Наташку на подстанции не любили. Было за что. Главное — догадалась: над шкафчиком в раздевалке прикнопила свое фото из журнала, голяком, как ее снял жених Женя-фотограф.

В комнате отдыха перед телевизором сидело несколько женщин и Ваня — врач двадцать второй бригады. Ваня сидел, как всегда, в черной казенной шинели и в ушанке, хотя в комнате было тепло. И похож он был не на заслуженного врача Российской Федерации, а на пожилого железнодорожника, обходчика, что ли. Казалось, сейчас он еще посидит-посидит, потом, покряхтывая, встанет и, ссутулившись, уйдет в ночь стучать по буксам колес молотком на длинной ручке. Как в кино.

— Демьян Зигизмундыч, ну в самом деле! — сказал Ваня. — Еще не переоделся!

— Да я там мясо прятал...

— Двадцать вторая бригада, вызов! — громко сказал репродуктор над дверью. — Вызов двадцать второй бригаде!

— Ну вот, — проворчал Ваня, — начинается.

Машина выбралась на шоссе.

По правилам фельдшеру, то есть Димке, полагалось сидеть впереди, возле шофера — следить за маршрутом. Но Ваня дорогой любил командовать сам, и Димка устраивался сзади, у окошечка. А если вызов был дальний, то и залегал покемарить в носилки. Ваня ему сам напоминал, чтоб прилег, потому что у Димки от ночных дежурств перебой со сном получался и давление стало подскакивать.

— Футбол вчера из Мадрида кто смотрел? — спросил Коля, расправляя под собой пальто, и, не дожидаясь ответа, продолжил. — И смотреть-то не на что. Они только волдырь зря гоняют, а чтоб делом заняться — нет. Куда едем?

— Лианозово, — буркнул Ваня, натянул ушанку поглубже, поднял воротник шинели и приткнулся к стеклу.

— А что ты вроде сердитый, Вань?..

— Да... Да Витька бросил хирургию. Теперь в Польшу ездит, какие-то маркизы покупает, в Москве спекулирует. Понять можно, за сто тысяч в больнице кто работать станет?.. И дочка на него глядя: не буду, говорит, кандидатскую дописывать, буду фигурки из глины лепить, на Арбате продавать.

Коля покачал головой.

— Бесполезное явление. Это только мы с тобой балбесы за ничто по Москве котимся.

— Золотые слова! — гаркнул Димка из носилок сзади.

— Ты не дразнись, салага, — усмехнулся Коля, — ты еще супротив меня... Тебе сколько служить-то, два? Не боись, будешь в санчасти присудыркивать, бабешку заведешь толстожопенькую. Скажи, Вань?

— В санчасти, разумеется, полегче, — только бы не в Чечню. Вон по телевизору что показывают.

— Вестимо дело! — сказал Коля. — Затеял-то кто?.. Намедни министры выступали. Один говорит, за два часа одним десантным полком Грозный обратает, другой из КГБ, с бабьей мордой такой — где его взяли? У меня шурин в ихней КГБ в буфете служит, так он знаешь, чего говорит: когда этот министр по комсомольской работе дуру гнал, он себе диссертацию сварганил по пожарному делу, ну, это, кому ведра с водой таскать, кому песком сыпать... Теперь министр. Куда ж таким воевать? Им гусей пасти...

— Коль, ну что ты в самом деле глупости несешь! А парень слушает...

— Да он весь в мечтаниях, да, Димка? А ты не боись, Наташеньку твою другие ребята пригладят. Зря только портки ей сшил. Она в твоих портках перед другими задницей вертеть будет. И как только она в них ходит: все затянуто-перетянуто, прямо лоснится. А спереди — вообще позорность. И сисок нет.

— Ну, почему, — рассудительно протянул Ваня, — сейчас так носят... мода...

— А кончится мода, куда ей тогда?

Ваня недовольно взглянул на него.

— Угу, — понятливо кивнул Коля, — едем-то, там чего?

Ваня взял с мотора вызов.

— Астма. Семьдесят четыре года.

Коля махнул рукой.

— Хоть ехай, хоть не ехай, бесполезное явление.

Димка уже не слушал. Он лежал в носилках и злился на мать. Не могла первую группу отбить. Заменила вдруг на вторую инвалидности. А раз вторая, сыну — в армию. Да еще не со своим годом служить. Димка злился на мать и одновременно на себя — за то, что паскудно реагирует на улучшение материнского здоровья. Ведь три года назад она чуть не загнулась: и туберкулез, и сердце, и еще полжелудка отрезали. А сейчас все — тьфу, тьфу, тьфу! Черт с ней с армией, отслужит — не лопнет.

— Лианозово-то, вон оно! — гаркнул Коля и затормозил машину.

Димка вылез посмотреть нужный дом. Дом был через пустырь. Машина взревела и, перебравшись через бордюрный камень, поползла по обледенелому месиву строительного пустыря.

— Тачурочка еще будь здоров, — сопел Коля, — вгрызается лучше новой.

В квадратной комнате, на стуле сидела тучная старуха.

— Давится, — сказал старик. — С ночи началось. Хрипит и хрипит...

Ваня скинул шинель, старик подхватил ее, вынес в коридор. Ваня остался в халате. Халат Ваня не любил, но снимать не

решался (с этим было строго), поэтому носил его всегда расстегнутым. Под халатом у Вани коричневый в полоску двубортный пиджак — в таком же ходил дома Димкин дед, — а под пиджаком зеленая водолазка с растянутым воротом.

— Эуфелин, — бросил Ваня через плечо Димке, сам же присел на постель рядом с больной. — Ну, чего ты рычишь, Мелетина Федоровна?

Когда Ваня успел запомнить имя-отчество, как всегда, было непонятно.

— Давай полечимся, — Ваня оторвал корявую старухину руку от ворота нижней рубахи, не оглядываясь, принял у Димки наполненный шприц.

Старуха заученным движением распрямила руку.

— Н-ня, — покачал головой Ваня. — Зарубцовано все напрочь... Ну, потерпи тогда немного, Мелетина Федоровна.

Он аккуратно повернул ее руку ладонью вниз и, отыскав тоненькую голубую жилочку возле запястья, осторожно ввел иглу.

Старуха морщилась, и Ваня морщился, как бы разделяя ее боль.

Димка наблюдал за бабкой. Сто раз он видел эти астмы, а привыкнуть к чудесам все не мог: полшприца только Ваня выдавил, а старуха уже стала приходить в себя, прямо на игле. Сипы стали реже, кровь от лица отхлынула, она удивленно заозиралась по сторонам, как бы удивляясь своему неожиданному оздоровлению.

Ваня прошелся по комнате, остановился возле телевизора, покрытого кружевной салфеткой, потеребил жесткие цветы в вазочке, сшитой из открыток.

— Бессмертнички, — сказал старик, вытирая у кровати мокрый след от таза. И сразу, без перехода: — я сам-то от лекарств избегаю, а вот она таблеточки любит. И на ноги из-за них стала плохо ходить, и кушать отказывается.

Ваня присел к столу описывать вызов.

— Да не в таблеточках здесь дело. Болезнь у нее уж очень основательная... Телевизор работает?

— Включи! — вдруг с полустоном крикнула старуха. — Не слышишь, врачи просют!

Ваня обернулся к больной:

— Ну вот и заговорила. Как себя чувствуете?

Поскольку больная была уже в разуме, Ваня перешел на «вы».

Телевизор был опять про Чечню.

— Куда сопляков-то шелудивых гонят! — воскликнула старуха. — Они ж робеют от рож-то этих нерусских. Смотри-ка, вон пляшут кругом, ты гляди, чего колдуют!.. И старик вон в шляпе мохнатой, ему на печи сидеть, а он ружье взял!..

— Спасибо, — сказал Ваня, — можно выключить. — При каких обстоятельствах приступ начался, Мелетина Федоровна?

— Письмо дай, — приказала старуха. — На шифоньере.

Старик замешкался, взял с комода бумажку и протянул Ване. «Иван бросай свою Маланью возвращайся к нам будь хорошим дедом мы тебя просим».

— Какой почерк красивый, — сказал Ваня. — Каллиграфический.

— Так — булгактер, — уважительно сказал старик и слегка приосанился. — Техникум после войны кончила.

Старуха потыкала перед собой толстым пальцем:

— Маринка! Жена его. Который год меня травит!

Ваня покивал головой.

Димка следил за врачом — куда повернет. Ваня никогда не говорил с больными об их болезнях, болту болтал какую-нибудь постороннюю. На культурных вызовах его небрежение к болезням обычно не нравилось, и время от времени на него писали жалобы в Центр. Но Ваня все равно своей манеры не менял. То чайку попросит, то телевизор сядет смотреть, а одним глазом на больного. И странно: система его была беспроигрышной, своим легкомысленным отношением Ваня снимал у больных страх. Летальность по сердечно-сосудистым была у него самая низкая на подстанции.

Сейчас Ваня считал пульс и одновременно разговаривал со старухой о жизни.

— Мы лучше вот что сделаем. Вы, Мелетина Федоровна, забудьте Марину... — Ваня повернулся к старику.

— Акимовну, — почтительно произнес тот.

— Именно. С глаз долой, из сердца вон. Договорились?

Ваня бережно положил тяжелую старухину руку на одеяло, погладил.

— А вот иконы не вижу, должна быть.

— Да не повешали еще, — простонала старуха, — тараканов морили — сняли, а назад повешать все дед никак не соберется.

— А что ты собственно стонешь, Мелетина Федоровна, у тебя ж все прошло. — Ваня перешел на «ты». — Нормально говори. Вон смотри, какие у тебя зубы белые. Свои? Мне бы такие, я б жевал без остановки...

— Поесть врачам собери! — крикнула старуха деду. — Чаю согрей! Колбаски нарежь сарвелатовой — там в шкафу... Не емши люди. А вы, доктор, чего зубы себе не поставите? На подсосе хорошо делают...

— Да понимаешь, Мелетина Федоровна, как подумаю: умру, на Ваганьково поеду вперед ногами, а перед гробом на подушечках атласных вместо орденов зубы понесут. Лучше так доживу.

— А что ж, ты неужели наград себе не выслужил? С войны-то ничего не принес?

— Какая ж война? Мне пятьдесят пять. Маленький был.

— Да он прибедняется! — влез Димка. — Это знаете, какой врач, он заслуженный врач России, их в Москве-то всего ничего...

— Перестань, — оборвал его Ваня.

— Я там супчик поставил как бы, — забормотал невпопад старик, — может, супчику, а то за колбаской лазить, искать...

— Достань! — гаркнула старуха. — Не дед — наказанье Господне! Помирать завтра, а все жалеет!..

— Нет, ну почему, супчику неплохо, — разрядил атмосферу Ваня. — Только бы руки помыть...

— На кухне, на кухне, — обрадованно забормотал старик. — Там и полотенец.

Ваня подошел к плите, упер руки в бока и, задумчиво глядя на кастрюлю, покачал головой:

— Да-а...

— Чего? — не понял Димка.

— Да вот, Демьян Зигизмундыч, не читаешь ты классику... Пожалуйста — живая иллюстрация к дантовскому аду. — Ваня широко повел рукой над клокочущей кастрюлей. Из нее во множестве торчали куриные ноги с огромными желтыми когтями, от кипения когти чуть заметно шевелились.

Старик ничего не понял, но, засуетившись, достал из духовки пыльную крышку, стал ею запихивать пружинящие когти в кастрюлю.

— Бульончик куриный, как бы...

— Ну да... — пробормотал Ваня, отыскивая мыло у раковины.

— Я бульончик не буду, — с тревогой сказал Димка.

Ваня кивнул. Вымыл руки, тщательно вытер их полотенцем.

— Сейчас поедем.

— А что ж покушать? — опять засуетился старик.

— В другой раз.

Они втроем вернулись в комнату.

— Пустой идет! — вскричала старуха, хлопнув по одеялу обеими руками. — Чашки под суп не мог прихватить дорогой, бокалы для чая! Господи!

— Да ведь нам ехать, Мелетина Федоровна, — Ваня поправил одеяло. — Оклемалась?

— Оклематься-то оклемалась, да нервничаюсь. Раньше-то все сама, все сама, а теперь никуда стала. — Она поманила старика, шепнула что-то. Старик вышел из комнаты. — Вы хоть присядьте на дорожку, на людей посмотреть — глазу отдых. А то иной раз приедут — одно слово, что врачи. На той неделе такие непутевые приходили. У него, у врача-то девка на манер твоего, — старуха показала на Димку, — заморенная такая, кощенка прям, черненькая такая, Наташа звать. Давление у меня забралось, надо померить. А я вижу, аппарата-то нету, забыли. Так девка машинку такую маленькую с кнопьками от ремня отстегнула и давай водить у меня над рукой. Кнопочка запикала, красненьким посветила, нормальное, говорит, у вас давление, бабушка, немного с превышением.

— Вот такой вот? — Димка снял с ремня «Мультитон», включил на сигнал и показал старухе.

— Ага, ага, — закивала та. — Им и меряла...

— Во, блин, дают! — вырвалось у Димки.

Ваня строго взглянул на него.

— Ну, почему, — Ваня застегнул шинель. — Иногда бывает, что...

Под окном спасительно загудел Коля.

— Демьян Зигизмундыч, — строго сказал Ваня на лестнице, — чтобы это было в последний раз. Следствие ведут знато-

ки, а мы с тобой скорая помощь, понял? А Наташе я сам объясню, с чего начинается Родина.

До машины оставалось еще несколько метров, но уже было видно, что Коля зол. Ваня сунул руку в карман, обнаружил бутерброды с колбасой и ткнул в недовольную пасть водителю.

— Проголодался?

— Зазяб, как эта... Печка-то не работает, рация пашет в одну сторону. Как она еще вообще-то ездиет? А эти еще в войну играются. Деньги наши грабют. Ты не знаешь, Вань, чего это наш вдруг нос переделывать решил, других дел нету?

— Да с будуна разбил харю. Вот тебе и весь бином Ньютона, — сказал Димка.

— Так! — резко сказал Ваня, — прекратили обсуждение властей. Как бабы, ей-богу!

Коля оторвал край бутерброда и с зажатым в зубах куском завел мотор. Машина выбралась на магистраль.

— У тебя кто на проводах-то будет, кроме нас? — спросил Коля.

— Да никто, — сразу сник Димка. — Дед. Пискун... мать, если из санатория выпустят...

— А эта?.. — подморгнул, обернувшись, Коля.

Димка перебрался из кресла в носилки и загрустил. Вспомнил, каким он был до «скорой». Как целыми днями бродил по дому, пугая мать и деда молчанием. Мать даже психиатра хотела вызывать. А Димка орал на них, чтоб не совались. Зол был на весь мир. Что бездельничает уже год после медучилища. Джинсы, правда, научился шить. Прочитал Лимонова — «Это я, Эдичка». Там Лимонов пишет, как портки всем моднючие в Москве шил. И Димка наблатыкался. Денег, правда, не прибавилось — джинсы теперь в любом ларьке... Потом с двумя парнями, с которыми еще в музыкальной школе учился, поехали в Ялту с гитарами и оборудованием, все на себе волокли, думали, башлей насшибают по кабакам. А там их местные лабухи чуть не укоцали. И гитары отняли, и усилители, и синхронизатор... Единственное, что привез из Ялты — десять пузырьков лавандного масла. Все бабы кидались — дефицит по нынешним, даже капиталистическим, временам. Один пузырек матери подарил. Остальные Наташке...

А дома дошло до того, что мать большей частью обреталась у сестры, потому что не могла выносить Димкиного вида. Плакала все и бралась за сердце, повторяя, что Димка из нее последние жилы вытянул и скоро загонит в гроб. В гроб, не в гроб, а со второй группы инвалидности на первую мать переехала.

А один раз Димка по-настоящему испугался. К матери приехала «скорая». Пульс у матери стучал — 150, хотя при ее обычных приступах больше 130 не было. Димка знал, что 150 — возле смерти, совсем рядом. Врач (потом оказавшийся Ваней) сделал ей по Димкиной просьбе пять кубов новокаинамида, как обычно, но бестолку. Выждал еще минуту, посмотрел в пол, будто там написано было, что делать дальше, поскреб лоб и вкатил ей по собственному почину еще пять кубов. После чего пульс оборвался, сердце встало.

Димка понял это по лицу медсестры, замершей с открытым ртом, и рванулся вперед. Ваня грубо затормозил его, упершись кулаком в живот.

А через несколько секунд сердце включилось в новом, почти нормальном ритме.

Потом Ваня устроил Димку на подстанцию в свою бригаду. Доволен им был, больным рекомендовал. Димка стал ездить на уколы — завелись денежки. Потом — Наташа. Мать была счастлива и, уезжая на полгода в санаторий, велела деду, чтоб не мешал Димкиной личной жизни.

...Пиджак запищал. Димка достал «Мультитон», горела цифра «6». Срочно позвоните на подстанцию.

— Отзвониться забыли! — крикнул он, — рация-то у нас только в одну сторону пашет.

— Ну, в самом деле, Демьян Зигизмундович, нельзя же так, — заворчал Ваня, — был уверен, что ты у стариков отзвонил.

Коля остановился у ближайшего автомата. Димка влетел в будку, набрал подстанцию, тут же выскочил.

— Авто́ в Лихоборах! На Дмитровском. Кинотеатр «Комсомолец».

— Твою мать! — Коля стал разворачиваться прямо по голым кустам у тротуара. — Котимся мимо дела, ля-ля, бу-бу!..

Ни на тяжелые инфаркты, ни на бандитские разборки Коля особо не спешил. Если уж человек совсем помирает от сердца, то ему обычная «скорая» не поможет. Здесь реанимобиль нужен. А бандитов, тех он и в голову не брал, чем больше сдохнет, тем воздух чище.

А вот «Авто» — автокатастрофы — Коля уважал.

Он несся в Лихоборы по левой стороне, хотя время дневное, а днем Дмитровка забита, моль не пролезет. Маяк над головой выл не переставая. На перекрестках Коля скорость не сбрасывал, дул промеж встречных машин. Только тормоза у шоферюг встречных визжали.

Белый «мерседес» столкнулся лоб в лоб с «жигулем». Машины успели растащить, значит замешкались они крепко. Ваня посмотрел на часы. Коля задом сдавал ближе к аварии.

— Ментов полно, а «скорая» только наша, — шипел Коля. — Еще вызывайте! — крикнул он в окно гаишнику.

— Звони! — скомандовал Ваня Димке. — Вон телефон.

— А-а, — уже не надо, — вздохнул Коля, вытягивая ручник. — Вон оба-два у столба отдыхают.

Возле столба лежали два тела, накрытые с головой черным пальто. Из-под пальто торчали мужские волосатые ноги с задранными штанинами и женские в замшевых сапожках.

За рулем «мерседеса» не двигался окровавленный человек. Хотя нет, вроде что-то помыкивал...

— Фентонил! — Ваня выскочил из машины и бросился к трупам.

Сдернул пальто, расщеперил веки покойникам, для убедительности пощупал обеими руками уже несуществующие пульсы. Димка знал, что сейчас Ваня работает на публику. Чего щупать, и так все ясно. Впустую время тратит, а тратить надо, а то кто-нибудь из сердобольных вякнет в Центр, что врач смерть не констатировал... И вот щупай у готовых, а живой вон еще мычит на последнем улете.

Ваня опустил мертвые руки, они вяло шмякнулись на окровавленный жидкий снег, обрызгав ему лицо. Он теранул по лицу рукавом шинели и с колена, как бегун, рванулся к «мерседесу». Заковырялся с дверью.

Димка, тем временем, навалившись на капот машины, сквозь разбитое ветровое стекло делал укол водителю, тоже в

запястье, как Ваня полчаса назад бабке-астматичке. Хорошо еще руку вытянуть удалось, а то иногда приходится сквозь одежду ширять, пока человек совсем не ушел. Колени водителя были неестественно прижаты к подбородку подавшимся внутрь мотором, руль уперся в грудь.

«Мерседес» — машина здоровая. «Жигуль» вон всмятку, бабу даже через лобовое стекло выдуло, летела по крыше «мерса» как Маргарита из «Мастера» Булгакова. И мужик ее в отрубах. А этот поди ж ты, дышит. И, главное дело, музыка у него играет, магнитофон не вырубился. Вот немцы, сволочи, машины делают!

Дверь не открывалась. Коля монтировкой пытался отодрать ее, но без толку. Ваня вырвал у него монтировку и сильным ударом пробил дверь.

— Ножницы!

Димка рыпнулся к нему, сунул ножницы — специальные американские по металлу: железо режут как бумагу. Коля курочил порезанную дверь — а у «мерсов», у них железка миллиметровая — монтировкой, а кое-где руками отгибал в разные стороны. Во, мужик, через два года семьдесят лет будет, а силы!.. Дверь открылась. Напротив, с другой стороны мучились с дверью два мента. Ваня пошарил на полу у основания кресла, нашел рычаг — кресло подалось назад: освобожденные ноги водителя безжизненно опали. Ваня за пояс вытянул водителя из машины. Носилки закатили в «скорую».

— Пальто! — крикнул Ваня.

Димка сорвал с плечиков дубленку, схватил кейс с заднего сиденья и вынул из магнитофона кассету с Адриано Челентано. Кассету положил в карман. Наташка очень любила Челентано.

Ваня по рации вызывал подстанцию.

— Двадцать вторая бригада, массовое авто, один живой. Мужчина, агональное состояние, везем по витальным показаниям в пятидесятую. — Повторил еще раз и выключил рацию, ответа из нее все равно не дождешься.

Димка наладил капельник, распорол рукав пиджака и свитер потерпевшего, примотал иглу пластырем, стал мерить давление...

— Вань! — крикнул он в окошко. — На нуле! Чего делать?..

— Бесполезное явление, — проскрипел Коля. — Уйдет, зараза... В тачке уйдет, не довезем, точняк...

— Еще фентонил, — скомандовал Ваня. — И преднизолон в капельницу. Сбавь скорость, Никола.

— Чего ширять без толку, — недовольно просипел Коля, но скорость сбросил.

Димка сделал еще укол, умирающий открыл глаза.

— Жене надо...

— Позвонить просит! — крикнул Димка.

Он выгреб из пиджака окровавленные документы, сунул в окошко Ване.

— Давыдов Константин Алексеевич, — прочел Ваня, — начальник международного отдела... Записную книжку ищи. В дубленке погляди.

Димка пошарил по карманам дубленки. Нашел записную книжку и узкий конверт с синей иностранной печатью. Внутри лежало приглашение: «Посольство Канады имеет честь пригласить господина Константина А. Давыдова с супругой 25 декабря в 18 часов по случаю Рождества».

— Сегодня разве Рождество, Вань?

— Ихнее, — бросил через плечо Коля. — У нас седьмого января. Записную нашел? На «Д» посмотри.

«Скорая» остановилась у телефона. Ваня взял у Димки записную книжку.

— Я сам позвоню.

Из телефонной будки Ваня бежал, что случалось редко.

— Разворачивай!

— Зачем? Вот пятидесятая!

— В шестьдесят вторую поедем. У него там жена работает. Недалеко.

Из приемного покоя доносился смех.

Димка влетел в коридор.

— Авто! Открывай шоковую!

По коридору два парня с грохотом везли каталку. Они подхватили носилки, поставили на каталку и вскачь покатили внутрь. Димка и Ваня спешили следом. Зазевавшиеся посетители, увидев окровавленные носилки, отворачивались к стене. Навстречу носилкам бежал врач. Двери шоковой растворились, парни завезли туда каталку и через некоторое время вынесли пустые носилки.

— Помыть надо, — пробормотал Коля. — Засохнет, не ототрешь.

Ваня стоял в коридоре, курил, будто чего-то ждал.

Коля с Димкой унесли носилки в уборную — мыть. Когда они вернулись, Ваня стоял там же.

— Поехали, что ли? — сказал Коля. — Домой пора.

— Угу, — кивнул неопределенно Ваня. — Сейчас поедем.

— А чего ты в коридоре маялся? — спросил Коля, выруливая из ворот больницы.

Ваня закурил.

— Жену ждал. Ее-то в шоковую не пустили бы, а я попросил. Попрощаться.

Ваня вызвал подстанцию, сказал, что «авто» в шестьдесят второй. На подстанцию Коля ехал тихо, да и куда спешить — смена до девяти, работы еще хватит. Димка сзади помалкивал. Носилки были влажные, он сидел в кресле. У Савеловского «скорая» остановилась.

— Хватит на сегодня, Демьян Зигизмундыч. Отдыхай. Ты ведь у нас как-никак рекрут.

— Да чего там! — небрежно бросил Коля. — Я вот пять лет оттарбанил, а два-то — тьфу! Только бы не в Чечню. Помню, мы их выселяли. Беда-а!.. Один бабай на меня с топором бросился. Стрелять не стал, прикладом по хребтине переломил его на память, будь здоров.

Здесь Коля то ли лукавил, то ли «запамятовал». Старика он застрелил, женщины заголосили, и тогда он по совету ротного перестрелял всех, кто был в сакле. Благо, выстрелы внимание не привлекали: по всему аулу стреляли собак. Об этом эпизоде Коля по пьянке рассказал Димке.

— А ты в каких войсках служил, Коля? — спросил Ваня.

— 8-й полк НКВД. Стоял на Моздокском перевале. Старшина делает поверку: «Маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия». Он у нас в личный состав был зачислен. Правофланговый отвечает: «Маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия. Москва. Кремль. На боевом посту». А ты говоришь...

— «Мультитон» не забудь, — напомнил Ваня.

Димка достал «Мультитон», включил на сигнал. Загорелась красная лампочка, аппарат запищал — значит, работал. Дим-

ка подкинул его на ладонях. От «Мультитона» пахло чем-то очень знакомым... Лаванда! Ну да, «мультик» же у Наташки был прошлую смену! А Наташка вся пропахла лавандой, потому что мажется ею повсеместно...

Дед встретил его виновато.

— Пискун опять дохлую мышь слопал.

— А где он? — буркнул Димка для острастки хмуро, забыв, что на деда уже не сердится.

— Под вешалкой, — засуетился дед, раздвигая пальто. — Боюсь, сдохнет, прошлый-то раз чуть не помер.

Пискун, сиамский кот, лежал между тапочек. Димка потянулся к его носу: в ладонь забили струйки горячего воздуха. Глаза Пискуна были воспалены и прищурены.

— Это ведь надо такого найти, — сокрушался дед. — От мышей дохнет, рыбу не может, и волос со страху лезет... Может, другого заведешь, Мить?

— Надо шприц сварить, да, кыса? — пробормотал Димка, поглаживая кота.

— Ты кушать будешь? Или в больнице покушал? — спросил дед, — а то у меня суп с фрикадельками.

— Это тебе, дед, не больница, а подстанция скорой и неотложной помощи... Кысу ширну, а потом чаю.

— Ты харчей вроде намеревался купить?

— В снег зарыл, забыл... Я и цыплят матери купил. Как мама, не звонила?

— Звонила, лучше ей.

— Дедунь, а у нас водочки нет?

— С барышней не допил третьего дня, так осталось. — Дед прошлепал в комнату и возвратился с начатой бутылкой польской «зубровки», внутри плавала травинка.

— Тебе рюмочку или стопочку? Мать-то много не велит, — слукавил дед, потому что мать, зная, что Димка не пьет, разрешала ему залезать в бар без ограничения.

Дед налил. Димка взял стопку, задержался взглядом на отрывном календаре над холодильником.

— Дед, а сегодня в посольстве Канады Рождество...

КОГДА Б ВЫ ЗНАЛИ...

(Из цикла «Коридор»)

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Анна Ахматова

Конструктор третьей категории Роман Львович Бадрецов, или попросту Ромка, получив очередной аванс в сорок пять рублей, был мрачен. Он тупо чертил ось, которая наверняка не только никогда не будет работать, но даже изготовляться. И тихонько насвистывал что-то из «Битлов». С большим удовольствием он бы сейчас повыл, но выть на работе не полагается.

— Смолкни, — сказал Оголтелый, выглянув из-за соседнего кульмана.

То был здоровенный седой бесноватый хулиган, не одно десятилетие терроризировавший пожилой состав захудалого конструкторского бюро на Ново-Рязанской.

Ромка, за два года тоже сильно заточенный уже на этого психа, не обратил внимания на приказ и, вычерчивая ненужную ось, продолжал негромко насвистывать.

— Кому сказал! — рявкнул Оголтелый и для убедительности кинул в свистуна ластиком.

Ромка, не отрываясь от работы, сделал плавный, осеняющий психа жест.

— К начальнику, дядя, к начальнику...

Начальник же отдела — старый, тоже зашуганный психом еврей, сидел тихо, как мышка, за своим столом у входа и украдкой промывал в стакане искусственную челюсть — дело было после обеда. Чувствуя, что назревает свара, он тихонько снялся с места и выпорхнул в коридор.

— Но нет начальника, — сокрушенно вздыхая, добавил Ромка и снова засвистел.

Хулиган рванулся из-за кульмана и неприцельно плюнул в Ромку.

— Ой, — негромко воскликнули женщины за соседними кульманами.

От плевка Ромка увернулся, клочком газеты аккуратно стер харкотину с чертежа и засвистал дальше.

— Жиденок, — прошипел Оголтелый.

Бабы неодобрительно повысовывались из-за кульманов. Неодобрение больше относилось к Ромке: оскорбляют, а он молчит.

— Дядя, ты не прав, еврей я лишь на четверть, — продекламировал Ромка, улыбаясь, и погрозил Оголтелому, как расшалившемуся озорнику. И, посвистывая, вышел в коридор.

В коридоре Ромка встал на видном месте рядом с застекленным газетным щитом, с которого смотрел юбиляр Леонид Ильич Брежнев. Смотрел неодобрительно. Может быть потому, что пониже прочих приветствий Ромка вчера вечером чертежным шрифтом приписал: «Товарищу Брежневу — семьдесят лет. Как будто бы достаточно, так ведь нет».

Вдалеке сплетничали бабы из техархива. Напротив завхоз ругал уборщицу. Стало быть, свидетели есть. Сейчас выйдет Оголтелый.

— Чего выступаешь?! — громко спросил Оголтелый, надвигаясь на Ромку. Руки он еле удерживал в карманах, так его трясло.

— Тсс... — прошептал Ромка, прижав палец к губам и, улыбаясь, негромко продекламировал:

Здравствуй, дедушка Мороз,
Борода из ваты,
Ты подарки нам принес?
— Нет, детишки, не принес,
Денег не хватило.
— А чего же ты приполз,
Старое мудило?!

Последние слова Ромка произнес с максимально печальным выражением, чуть ли не со слезой в голосе.

Оголтелый ударил его. Кулаком, но вскользячку, не смертельно.

— Ой! — воскликнули бабы из техархива.

Ромка потер щеку, подтверждая акт нападения, метнул взгляд в конец коридора: у завхоза отвисла челюсть, значит, видел. Завхоз был авторитет — парторг с орденом, сидел при

Сталине. Да плюс еще из уборной вышел начальник отдела. Хотел было податься обратно в сортир, но не подался. Тоже свидетель.

— Граждане пассажиры! — заорал Ромка в полную пасть. — Дядя Шлема первый начал!..

И саданул Оголтелого по зубам слева, благо дело, левша. И еще раз. И еще. И достал. Глаза Оголтелого отвлеклись от жизни, покрылись куриной пленкой. Хулиган поплыл, отступая к газетному щиту, с которого неодобрительно взирал товарищ Леонид Ильич Брежнев. И достигнув своей головой застекленной головы Брежнева, начал медленно сползать на пол. И тут Ромка уже без всякой нужды, по инерции вдогонку пульнул правым неумелым кулаком... Конечно, мимо. Плохой кулак разбрызгал стекло, порвал Брежнева и вышел с той стороны щита. Из большого пальца шла кровь, но сам палец был чужой, без чувств.

Дядя Юра был дома. На работу в издательство он теперь ходил редко. Ветеранов в издательстве становилось все меньше, и ему, как пораненному и хромому, сделали поблажку.

— Чего без звонка? — нахмурился дядя Юра. — Я думал, Нинка корректуру принесла, а я в одних подштанниках...

— Звонил, никто не подходит, — пожал плечами Ромка.

— Согласен, — кивнул дядя Юра. — Не подхожу. Семен замучил.

Зазвонил телефон.

Дядя Юра хитро улыбнулся.

— Возьми трубочку.

— Але, — сказал Ромка, но в трубке был обыкновенный длинный гудок. Ромка пожал плечами. — Не впрягаюсь.

— Поясняю. — Дядя Юра выключил телевизор, убрал звук у приемника, по которому «Свобода» вещала антисоветчину, выключил английскую речь в другом транзисторе, плотно уселся в кресле, повесив на спинку клюку. — Поясняю. Вот он, злодий, голову мою старую морочит. Сема, ты где?

Сверху на журнальный столик капнула перламутровая какашица, и следом с треском слетел волнистый попугай, проскрипел старческим, лишенным плоти голосом:

— Здравствуйте, Юрий Михайлович. Кто пришел, кто пришел?

— Пришел-то Роман Львович. Вишь, весь израненный, что твой Чапаев, рука на перевязи. Ты лучше скажи мне, Сема, падла, ты зачем телефон передразниваешь и мне жизнь хромую усложняешь? Ответь.

В подтверждение слов хозяина попугай еще раз «позвонил», его плюшевое горлышко при этом чуть заметно завибрировало.

— Надоело бестолку к телефону подходить. Хотел паразита в кладовку запереть — орет, не желает. Так и живем. Чего с рукой?

— В стекло попал. Зашили, а палец не гнется.

— Тогда в магазин беги, пока на обед не закрыли.

— Чего взять?

— Сутулого возьми два пээл. — Дядя Юра засунул в авоську пустую бутылку, на этикетке которой горбатился бычара. — «Зубровка» мягче идет. А я пока картошечки спроворю.

— Не хочу больше чертить, — сказал Ромка после первой бутылки. — Надоело. Денег мало. Палец не работает. Да и выгнали за драку. Одно к одному. Чего делать, не знаю.

Дядя Юра тоненько стругал замороженное сало с розовыми мясными прослойками. Поддел вилкой маленький кусочек и попытался нацепить его Семе на клюв. Попугай отвернул голову на сто восемьдесят градусов.

— Не жрет сволочь! И сала не жрет! Жри, сказал! Или короче — все!

Дядя Юра пересадил попугая с края тарелки на указательный палец и придирчиво осмотрел его.

— Похудало животное, или — ничего?

Попугай снялся с пальца, затрещал крыльями, забираясь на книжную полку, и стал колупать клювом «По направлению к Свану» Марселя Пруста.

— Жрать не жрет, а книги портит. — Дядя Юра умиленно покачал седой головой и взялся за вторую бутылку. — Так что у тебя? По инженерному не хочешь. Шабашить с такой рукой не можешь. Менять надо профессию. В гуманитарии подавайся.

Ромка кивнул на заваленный рукописями письменный стол.

— Корректуры всю жизнь?

Дядя Юра почесал затылок.

— Корректуры, брат, никуда не денешься... Не мюзик-холл... В пединститут тебе не сдать. В Полиграфический тоже. О!.. Литературный подойдет!

Дядя Юра уже набирал телефон, мягко отталкивая пальцем попугая, влезавшего клювом в отверстие диска.

— Танечка? Это я. Какие в этом году группы переводчиков в Литинститут?.. Понял. Целую. — Он положил трубку. — Раньше надо было чухаться. Только в татарской группе недобор. Знаешь по-татарски?

— У меня до армии татарка была, Равиля Абубикариевна. У нее папаня дворник.

— Значит, знаешь. — Дядя Юра закурил, обгорелую спичку предложил попугаю. — Отнеси, Сема. В пепельницу.

Попугай послушно защемил кривеньким клювом спичку и улетел на кухню.

— Так на чем остановились?

— На татарах.

— Ну, за татар! — Дядя Юра поднял рюмку. — За Литинститут! Заведение, прямо скажем, вредное, но ведь ты в письме́нники не подашься. Короче, за татар! Готовься, занимайся, а я подсуечусь. Там главное сочинение. Чтоб мысль была.

Ромка по инерции жил в Басманном, хотя прописан был у отца. Перед смертью бабушка Липа официально, то есть в присутствии соседки Грыжи и многодетной Светки, возжелала, чтобы ее любимый внук Ромочка женился на Светлане и помог ей вырастить ее прекрасных детей.

Светка не стала настаивать на абсолютном исполнении воли покойной, просто иногда стала ночевать у Ромки.

Работала она по-прежнему в индийском магазине «Ганга», выгнать из которого за спекуляцию ее не могли по причине все той же многодетности.

Ромку она особенно не обременяла, тем более, что к ней все также поочередно ходили двое из пяти отцов ее детей. Светка и не думала это скрывать от Ромки и, более того, обсуждала с ним, как без особых хлопот сдать в ЛТП папу Колю, бывшего военного водолаза, с которого шли основные алименты.

Поскольку у Светки, несмотря на обилие детей, по-прежнему не было телефона, отцы договаривались о встречах с ней по Ромкиному телефону. Ромка бежал в маленький коридор, где жила Светка, и звал ее на переговоры. Если же Светка была на работе, Ромка договаривался с отцами вместо нее.

— Но ты же не хочешь на мне жениться, — вздыхала Светка, когда Ромка вдруг вспоминал про ревность. — А кстати, очень бы тебе не помешало. Скоро у меня будет пятикомнатная квартира, а молодому писателю...

— Я не хочу быть писателем!

— А молодому неписателю, — продолжала Светка, — ох, как нужен кабинет! Вернется из Африки твоя сестра Танечка и погонит братика из бабкиной квартиры поганой метлой. Ты же у папочки прописан. Подумай, мой мальчик.

Подумать стоило. Светка была красивая тридцатипятилетняя баба, стройная как манекенщица; выбитый же папой Колей передний зуб непременно вставит на той неделе. Старший ее сын служит в Германии и, по всей видимости, останется на сверхсрочную. Римма в языковом специнтернате. Таким образом, с ней только трое детей, а квартира будет пятикомнатная.

— А вот если мы с тобой родим шестого и я стану матерью-героиней, тогда вообще буду превуалировать...

— Превалировать, — хмуро поправил ее Ромка.

— Превалировать, — покорно согласилась Светка, — среди даже многодетных матерей. — И гордо взмахнула челкой, подкрашенной фиолетовыми чернилами.

Сочинение в Литинституте было на тему «Твой любимый писатель». Для прочности дядя Юра даже припилил на своем «запорожце» с ручным управлением. Он сидел в саду Литинститута рядом с бюстом Герцену и читал газету.

— Не спеши! — крикнул он на прощание Ромке. — Но и не засиживайся — мне Сему кормить надо. Главное, чтоб мысль была!

В любимые писатели Ромка выбрал Хемингуэя. Первым делом написал эпиграф к сочинению, тоже из Хемингуэя. Правда, по памяти: «Чтобы стать настоящим писателем, нужна самодисциплина Флобера и талант Киплинга». Ромка был очень горд зачином. И для вящей убедительности прокоммен-

тировал писателя: «Самодисциплина, сиречь усидчивость, то есть творческая графомания — необходимое условие настоящего творчества. Без этого невозможно создать то обилие прозаического текста, из которого в дальнейшем самокритичный талант того же автора безболезненно выкинет девяносто процентов».

В таком же духе Ромка наболтал несколько страниц и, довольный, понес сдавать сочинение. Главное, чтоб мысль была.

— Вы уверены, что хорошо проверили ошибки? — заглянув в сочинение, спросил экзаменатор. Ромка знал, что это товарищ дяди Юры. По фронту и послевоенному пьянству.

Ромка забрал сочинение. Все вроде нормально, только слово «сюжет» смущало. Сюжет, сюжет?.. Точно «ж» не хватает. Ромка добавил еще одно «ж» и «е» переправил на «э». Сюжжэт! Как слышится, так и пишется.

Дядя Юра чуть в обморок не упал и срочно заковылял на второй этаж к фронтовому другу.

Ромка стал татарином.

Группа была невелика: семь застенчивых девочек и Арслан. Девочки, как выяснилось, наспех набранные в Казани, плохо знали русский язык, на который им предстояло переводить татарскую литературу. Зато они были по-восточному скромными: при встрече с противоположным полом слегка краснели и стыдливо прятали глаза.

Командовал юными мусульманками староста группы — Арслан. Перед семинаром он каждый раз писал на доске по-арабски изречение из Корана: «Ир хакы — Алла хакы!». Что означало: «Воля мужчины — воля Аллаха». Девочки покорно слушались и, видимо, только поэтому не спрашивали у Ромки: «Ты-то чего тут торчишь, бедолага?»

Ромка продолжал тупо ходить на семинары, в конце которых руководительница семинара, исходя из тех же мусульманских правил, кротко просила его дать оценку произведению с русской точки зрения. Ромка давал, группа внимательно слушала его бред и торопливо записывала.

Несмотря на ревностный присмотр Арслана, красавица Бибигюль в конце второго курса забеременела. Любовник же Захры, бывший комсомольский работник, а ныне стукач курса, рязанский поэт Калюбякин, ревнуя свою восточную пассию к

революционеру-единоверцу, чуть не до смерти измордовал сподвижника ливийского лидера Муамара Кадафи, обучавшегося на русского драматурга.

Насмотревшись на очаровательных соучениц, спешно освобождавшихся от косных традиций шариата, Ромка решил, что пора и ему предпринять что-нибудь романтическое.

В параллельной группе польских переводчиков выделялась девушка, похожая на итальянского мальчика. Девушка без напряжения ворковала с товарками по-польски, очень находчиво острила по-русски и легко смеялась сексопильным баском, образуя при этом на одной щеке очаровательную ямочку.

И Ромка решил брать быка за рога.

— ... Есть только один способ избежать искушения, — глухо процитировал он, заводя как-то Лену поглубже под лестницу, — поддаться искушению.

Поддаться искушению было решено в Басманном завтра вместо политэкономии. Когда Светка будет на работе.

В десять ноль-ноль назавтра поддались. Особой радости это не принесло. Тем не менее искушения по инерции продолжались. Параллельно Лена ездила готовиться по практическим основам кинодраматургии к знакомому с отроческих еще лет молодому, но уже известному режиссеру с трубкой, седой бородой и челкой конкистадора.

После занятий с режиссером Лена счастливая, с затуманенным взором приезжала в Басманный, где передавала полученные знания Ромке. Заодно она просила Ромку отрастить бороду и завести трубку.

В татарском Ромка не преуспел, но на третий курс с помощью дяди Юры перебрался. С условием, что из татар он перейдет на заочное отделение. На заочном на татар не учили, но было недозаполненное критическое отделение. Ромка стал заочным критиком, то есть перестал учиться совсем. Днем он вставлял в Бауманском районе форточки — зарабатывал на жизнь себе, Лене и будущему ребенку. Как и предсказывала Грыжа, Лена забеременела и даже потребовала регистрации. После этого искушения прекратились, и в бабушкиной квартире снова воцарилась Светка, приукрашенная двумя свежевставленными золотыми зубами. Трубку она категорически отвергла, а борода ей понравилась.

Добеременевала Лена у себя дома. Позвонила несостоявшаяся теща и произнесла странный монолог:

— Вы горчайший пяница, Рома. А ведь Лене в юне рожать. В противном случае она подаст на алименты.

— Так ведь она же еще толком не родила, — удивился Ромка.

— Подлец! — воскликнула теща.

Форточки кормили плохо. У Светки в «Ганге», конечно, был приварок, но воровать в открытую без звания матери-героини было опасно. Могут и посадить.

В эти трудные дни Ромка услышал на улице знакомый голос:

— Жирный! Стоять в натуре!

Он обернулся. Из кабины фургона «Хлеб» с трудом вывалился разросшийся до нечеловеческих размеров Вовка Синяк. В тапках на босу ногу, в костюме «Адидас», с вафельным полотенцем в руках. Синяк с грохотом бежал к нему вниз по Басманному переулку. Пять лет они не виделись.

— Жирный! — орал Синяк. — Я еду, блин, ты идешь! Дай я тебя потемаю!

Он с налета набежал на Ромку, облапил, задушил. Покрушил половину форточек-полуфабрикатов в сумке у Ромки за спиной.

— Липа жива?

Ромка снял холщевую сумку со спины, высыпал разбитые стекла в урну.

— Умерла Липа. А ты чего с полотенцем, в баню собрался?

Вовка покачал головой, посасывая порезанный палец. Полотенце он намотал на шею.

— На колени лóжить, чтоб не прожечь. Курю, пепел падает... А ты чего стекла-то таскаешь?

— Форточки, — с неохотой признался Ромка, — вставляю.

— Калым, что ли? Ты б еще пола харить пошел! Или в прачечную! Трико стирать!

Он вырвал из рук Ромки сумку, набитую недоразбитыми форточками, и зашвырнул во двор картонажной фабрики. От натуги Вовка распыхтелся, дышал полной пастью — зубов не было, только четыре клыка черных торчали с боков.

— Дерешься все, сволочь? — с завистью сказал Ромка. — Я вот раз подрался, теперь палец не сгибается.

— С кем подрался?! — заорал Вовка. — Сейчас едем, дыню отобью,только так. Много их? Где живут?!

— Да все уже, проехали, — притормозил его Ромка. — Ты чего не звонил столько лет? Ты ж телефон знаешь.

— Откуда? На зоне будку телефонную еще не поставили.

— Опять сидел?

— А то! — Вовка с ревом потянулся. — По третьему разу. Ништяк, блин. Все свои. Работать не надо. Харчей обожрись. На лесоповале в биндейке сижу, ко мне конвой телок водил... Каждый день.

— Врешь!

— Спорнем. — Он сунул Ромке свою ручищу. — Боисся. Правильно делаешь. Не спорь со мной. Значит, стекольщик. Как Чарли Чаплин, блин. Сидел хоть?

— Сидел... В стройбате.

— Херня, — подвел итог Вовка.

Они стояли посреди тротуара напротив женской консультации. Будущие мамаши, прикрывая на всякий случай животы, робко проходили мимо. Ромка смотрел на старинного друга, и вся морока последних месяцев, последнего бестолкового года испарялась, улетучивалась...

— А ты, сволочь, пекарем что ль пашешь? — осмелел Ромка, кивая на фургон «Хлеб».

Вовка стал рвать запоры фургона.

— Тебе какой? Черный, сдобу, белый?

— Слушай, а на нем мебель можно перевозить?

— Там лотки доверху. А кого везти?

— Да бабу одну, может знаешь, Светку. Ей квартиру обещают. Соседка.

— Из маленького коридора? Помню. С такими глазами. — Вовка сделал ладони чашками возле груди. — Ну, блин! Ты ее тараканишь что ли? Так бы и сказал. Другую машину найдем.

Ромка забрался в фургон. Кабина изнутри вся была обклеена голыми бабами.

— Значит так, — Вовка завел мотор. — Хлеб сдам. Ставлю тачку. Моюсь. Нет, у тебя помоюсь. Берем по литру. Газводы на запивку. И килек.

— Жирный, у тебя дети-то есть? — Вовка половиной своей беззубой пасти с трудом, по-собачьи, терзал куриную ногу.

— Пока нет, но в июне будет.

— Насчет чего? — уставился на него Вовка.

— Про детей ты спрашивал, забыл?

— А-а. Будет — хорошо. У меня их пяток бегает. Основная — Нинкина. Красивая. Будет проституткой. Как Светка. Девять лет. Красится вся. Даже когти на ногах красит. Светка, ты когти на ногах красишь? Свет!.. Иди по рюмку́ вмажем!

— Сейчас! — отозвалась из кухни Светка.

— И у Светки пять, — сказал Ромка.

— Насчет чего?

— У тебя пятеро детей и у нее пятеро.

— У меня от разных.

— И у нее от разных.

— Ну, братцы!.. Светка, ну-ка! Наливаю!

Синяк разлил водку и, когда Ромка брал рюмку, заметил, что палец у Ромки торчит не по делу.

— Чего это он у тебя дыбаком стоит? Отрежь, чтоб не мешал.

— Да не мешает мне он. Я ж не работаю толком. Учусь.

— В каком классе?

— В Литературном институте.

— На кого? — Вовка замер с недогрызенной куриной костью.

— Да положи ты мосол! Жрет как потерпевший. На писателя, в смысле на критика.

— Кого? — Вовка согнул свое огромное тулово, приставив ладонь рупором к уху. — Свет! Слышь, Жирный-то писателем будет! Чего ж ты писать-то станешь. У тебя ж шелудивка не варит. Ты ж врать-то толком не умеешь. Вот я — могу. Спроси меня, где я работаю?

— А чего там спрашивать-то, хлеб возишь.

— Хле-еб?! Фуюшки. Тайный агент. Внедряюсь и выявляю. Понял? Ты кто по армии?

— Рядовой.

— А я капитан, — невозмутимо признался Вовка.

— Врешь, сволочь!

Вовка протянул через стол засаленную лапу.

— Спорнем?.. Кончишь институт — устрою. А пока на мясокомбинат тебя отправлю. Тушку подвешал, башку отсек. И там

покушаешь и домой принесешь. Бабки схватил — иди учись дальше. Тем более, ты еврей на половину.

— На четверть. А ты чего, правда, что ль, в милиции?

Вовка вытер руки о полотенце на коленях, достал из заднего кармана красное удостоверение с гербом «Управление внутренних дел».

— Точняк, сто процентов.

Ромка потянулся к удостоверению. Вовка отмахнул его руку.

— Про палец-то забыли? Совсем кочерыжка не сгинается.

— Так это ж правая. Я же левша.

— Ага, а потом мы его тебе в Басманной больнице наладим лучше нового. У меня там все свои.

Светка принесла кастрюлю с картошкой. Вовка спрятал удостоверение в задний карман и, чтобы не делать холостого движения рукой, прихватил подол Светкиной юбки, задрал его.

— А чего у нас тут с ногами?

Светка неспешно поставила кастрюлю на стол, вытерла руки о полотенце, которым прихватывала кастрюлю, и кулаком со всей силы ударила Вовку по складчатой щеке.

— Правильно! — заржал Вовка. — Так их паразитов, лезут куда не надо, сучье па́зорное. — И взялся за бутылку. — Светочке мы свеженькой зальем.

Светка отошла к окну, где было посветлее, и перед зеркалом сама приподняла юбку.

— Вот какие у нас ножки.

Синяк присвистнул.

— Ты где ж такой загар надыбала? Вся покажись, если Жирный позволит.

Светка без уговоров стянула с себя платье, осталась в лифчике и в ажурных трусиках.

— Да, ребята... — произнес Вовка. — По люксу идет. Пру́ха тебе, Жирный. Бери ее замуж. На квартиру перевезем на холяву. Пригоню полбазы. — И снова принялся за жрачку. — У меня тоже Ирка была. Я ее с лотка привез. Педали от ушей. Большая любительница алкоголя. Мы с ней тихо пьянствовали...

— А Нинку-то свою хоть трахаешь изредка? — заступилась за Вовкину законную жену Светка.

Тот даже пасть открыл от изумления.

— Ты б еще мать родную вспомнила!.. Все, нажрался. Теперь килечкой переложить, еще по стакану́ и все. Больше я не пью. Мне с утра в руль. С утра я не захмеляюсь.

Вовка откинулся от стола. За окном шумела труба молкомбината.

— Труба дымит — столица мира. Сколько здесь живу, столько она здесь дымит без остановки. Свет, если Жирный на тебе не подженится, я с тобой подживу малек.

— Зубы сначала вставь.

— А я лично металл во рте презираю.

Лена родила. Мальчика. А может и девочку. Взглянуть на ребенка она Ромке не разрешила, но на алименты подала. Поскольку Ромка официально работал сторожем в музее Лермонтова, алименты были невелики. А до полудня пахал на мясокомбинате, бойцом. Без оформления. Вовка его действительно устроил, и Ромка всерьез стал подумывать, что после института Вовка запросто запихнет его и в издательство.

В институте контрольные писали за Ромку сочувствовавшие его положению некрасивые добрые девушки, будущие критикессы. Незаметно Ромка оказался на пятом курсе. Замаячила дипломная работа.

Дядя Юра покопался в тумбочке, достал несколько папок, сдул пыль.

— Курсовые моих студентов. Для Литинститута сойдет. Почитай и напиши. — Дядя Юра стал разливать сутулого по стопкам... — Как живешь? На что живешь? С кем живешь?

— Живу в Басманном. Работаю на мясокомбинате. Живу со Светкой.

— Это что за предмет?

— Ну... соседка там...

— Хм... Печатать умеет? Вот пусть она тебе дипломную и напечатает.

— Сначала сочинить надо, — вздохнул Ромка.

— А чего там сочинять? Из одной немножко, из другой кусочек. Умные люди так докторские пишут. Главное, чтоб культурненько.

Светка без долгих разговоров забрала у Ромки его стряпню из нескольких критических статей и через неделю принесла аккуратно перепечатанную.

— Ей-богу, Ромочка, была бы я у вас в институте начальством, погнала бы тебя поганой метлой, не обижайся. Прочти хоть, что написал.

— Да это не я писал, — огрызнулся Ромка, но в рукопись заглянул. — Не я писал...

«... ведь слишком многим читателям известно, что именно 30-е годы были годами расцвета творческих индивидуальностей таких художников, как Шолохов, А. Толстой, Федин, Леонов, Эренбург. К этому времени сформировалось идейное единство советской литературы...»

— Это не я... — бормотал Ромка, перелистывая рукопись.

— Ты, Ромочка, ты, дорогой, — ворковала Светка. — Давай я почитаю: «Никто не станет отрицать, что советская литература послевоенных лет проявила большое внимание к проблемам семьи и семейных драм. Залечив раны войны, советский народ перешел к практическому осуществлению великой цели — строительству коммунизма, общества, основанного на высшей справедливости, честности и чистоте личных отношений...»

— Светка, заткнись!

Светка покорно заткнулась.

— Обиделся мальчик. Да ладно, не обращай внимания. Мне гладить надо. Тут другая проблема, скажи. Лолитке струны нужны на «ми» и на «ля». Где взять? Обычно я в театре брала. Но у них там мудак завхоз завелся, второй год канючит: «Дай, дай». Что у них там, молодых нет?

Ромка насторожился:

— Дала?

Светка взяла нагретый утюг, набрала в рот воды из кружки и опрыскала наволочку.

— Дальше сам читай. Я пописать сбегаю, полдня терплю, как дура...

Ромка отодвинул дипломную работу на край стола.

— Интересно... — вернувшись из уборной, поинтересовалась Светка.

— Ты бы лучше руки вымыла.

— Зачем? Я ничего такого не трогала.

— Я это фуфло на кафедру не понесу, — мрачно сказал Ромка.

— Не понесешь — выгонят. Останешься, как я — на пороге высшего образования. Будем мы с тобой два дурака и пять детей.

— А кто тебе сказал, что мы будем с тобой? — заорал Ромка.

— А с кем ты будешь, интересное кино? Кому ты нужен?

Ромка осекся: а действительно — кому? Он побрел к окну. Из окна был виден Елоховский собор и два ряда троллейбусов с зачаленными дугами, не вместившихся в парк. На Казанском вокзале орал диспетчер. Как десять и двадцать лет назад.

Светкина голова склонилась над глажкой. Ромке хотелось стукнуть ее по макушке, вместо этого он почему-то понюхал Светкины волосы.

— Ты башку-то часто моешь?

— Часто мыть вредно. Челку каждый день мою, вполне достаточно.

Ромка тяжело вздохнул, гнев испарился.

И тут позвонила мать.

— Наверное, ты идиот. — Утвердительно сказала Людмила Георгиевна. — Паршивой дипломной работы написать не можешь!..

Ромка зажал трубку ладонью, обернулся к Светке:

— Ты донесла, зараза?

— Я.

— Забью, гадина, как муху на стекле, — прошипел Ромка и отнял ладонь от трубки, где была мать.

— ... дипломной работы написать он не может! Дуня ты Белосракина, а не мужик. Не хочешь просто. Дурака валяешь! Все! Завтра переезжаю к тебе. Друзей, блядей, всех разгоню! Месяц тебе даю. Не управишься за месяц — ставлю диагноз: идиот! Неполноценный. И больше приставать не буду.

— Это конец, — обреченно пробормотал Ромка, кладя трубку. — Зачем ты, дура, ей сказала?

Светка, казалось, не слушала его.

— Что-то у тебя борода запустилась, надо постричь.

Наутро со всевозможным провиантом, скороваркой, битой и чуть ли не живой птицей на такси прибыла Людмила Георгиевна.

— Чего ты приехала? — вяло брехнул Ромка. — Вот же, все написано.

Людмила Георгиевна полистала диплом.

— Разорви и забудь, — она устало отодвинула рукопись. — Ясно?

Ромка оторопел.

— А как же? Где мне дипломную взять?

— Сядь да напиши.

— Чего писать?

— Да не все ли равно, — Людмила Георгиевна достала из сумки кочан капусты, взглянула в окно. За окном дымила труба молкомбината. — О, как в крематории... Кстати... — она положила кочан на стол, подумала, — ты вроде на мясокомбинате работал?

— Ну и?..

— Ну и все. Прекрасная тема. Незастолбленная. Записки мясника.

— Я же критик.

— Будешь прозаик.

— А сколько страниц надо?

— Пятьдесят, — отчеканила Людмила Георгиевна.

Ромка отсчитал ровно пятьдесят страниц, пронумеровал и в конце пятидесятой красным фломастером жирно вывел «П...ц».

К концу материнского надзора — телефон был выключен, на улицу она его не выпускала — как-то вечером Ромка незаметно подобрался к последней пятидесятой странице, помеченной красной нецензурной резолюцией, и спешно поставил точку.

Светка, притаившаяся на этот месяц в маленьком коридоре в своей квартире, как кошка почувствовала, что пора, и появилась в тот же вечер. На письменном столе лежала пухленькая дипломная работа «Р. Бадрецов. Записки мясника». А на обеденном столе стояло шампанское, коньяк и прочая красота. Скороварка с материнским скарбом была упакована и готова к выезду. Людмила Георгиевна праздновала победу сына над ленью и идиотизмом. Дело было сделано. Людмила Георгиевна

триумфально отбывала к себе, к заждавшемуся ее Ромкиному отчиму.

Она была в великолепном настроении, казалось, что это не она орала месяц назад Светке: «Чтоб ноги твоей здесь не было, проститутка!». Сварила ей кофе. Светка же со своей стороны тоже в бутылку не лезла, ответно забыла, как выдала ей: «Сама ты старая бл...!». Принесла из дома зефир в шоколаде и ликер «Бенедиктин» для кофе.

На защите оппонент расхвалил «Мясника», сказал, что талантливого писателя Романа Бадрецова ждет нелегкая судьба (при слове «писатель» Людмила Георгиевна не удержалась и хихикнула), и требовал дать за эту работу диплом с отличием.

Члены кафедры покивали согласно головами, но с «отличием» дать отказались, памятуя, как он отличался все эти пять лет.

Ромка держался спокойно и с достоинством, так как «Мясника» уже раньше похвалил дядя Юра, а это было для Ромки важнее всего.

После защиты Ромка сразу поехал к Юрию Михайловичу.

Дядя Юра пил сутулого... Не один. Напротив него за кухонным столом сидела молодая женщина иностранного облика. В сугубо прозрачной кофточке. Лифчика не было. Зато была связка бус. Иностранка брала у дяди Юры интервью о войне. Маленький диктофон светился красным огоньком. Попугай Сема ревниво ворчал в клетке, время от времени изображая телефон.

— Телефо-он! — Иностранка выключала диктофон.

— Семен хулиганит, — сообщал дядя Юра, и беседа текла дальше.

— Студент, волоки из той комнаты стул. Это Сабина. Я ей говорю: чего ты от меня хочешь? Мина разорвалась, нога сломалась, война кончилась. Я ей советую к Гришке Поженяну сходить, у него хоть памятник есть.

— Варум? — вскинула выщипанную бровь немка. — Зачем?

— По ошибке. Памятник поставили, а Гришка, паразит, жив.

Дядя Юра ненароком ткнулся взглядом в кофточку журналистки, где вольно жили незабранные лифчиком загорелые

иностранные грудочки, почесал за ухом. — Нет, к Гришке, пожалуй, не стоит. Лучше к Михасю. К Дукову. У него тоже свой памятник есть. Правда, он в Минске живет. И Ромку прихвати в провожатые. От насильников защищать.

— Я имею гасбалонен.

— Балонен-то балонен, а Ромку возьми. Мясник высшей квалификации. Лучший писатель среди мясников, лучший мясник среди писателей.

Сабина вновь вздернула податливую бровь и включила диктофон.

— Выруби, — попросил дядя Юра,берясь за бутылку. — Слышь, Роман, приятное с полезным. Немку сопроводишь и Дукову повесть покажешь.

— Да ладно вам, это же так, дипломная.

— А я тебе говорю, покажи.

— Работаете з литературой? — поинтересовалась Сабина. — Новеллен?

— «Записки мясника», — важно произнес дядя Юра. — Повесть — я тебе дам!

— О-о! Я могу читать?

— Дай немке текст, — приказал дядя Юра.

— Ты едешь со мной в Минск, — утвердительно сказала немка. — Я резервирую цвай картен.

В Минске Ромка пытался избежать позора и полдня не находил адреса Дукова. Сабина шла сзади, подгоняя его.

От интервью Дуков категорически отказался, папку с рукописью велел положить в угол, в стопу высотой с полметра.

— О чем повесть?

— О мясокомбинате, я работал там.

— Свежая тема. Всего хорошего.

Обратно купейных мест не было. Сабина взяла два места в спальном вагоне...

На следующий день Сабина улетела в свой Мюнхен.

Ромка же пошел по журналам. Для интереса, что скажут? Сказали вот что.

«... Мы прочитали "Записки мясника". Они написаны хорошим языком. Но в портфеле журнала есть более сильные произведения на схожую тематику» («Нева»).

«... Язык "Записок мясника" неряшлив, засорен жаргонизмами, у автора персонажи "то проблеют, то пролают". Рекомендовать к публикации нельзя» («Наш современник»).

«... Рекомендовать "Записки мясника" не представляется возможным — они далеки от целей и задач, которые перед собой ставит наше издательство» («Молодая гвардия»).

Дядя Юра дал Ромке список всех издательств и журналов Советского Союза, и Ромка стал по ним рассылать «Мясника». Получив очередной отказ, Ромка вычеркивал отказавшегося, чтобы ненароком не послать снова.

— ... Да-а, невесело получается, — констатировал дядя Юра, — этак можно ходить до седых мудей, прошу прощения.

Прощения он просил у своей сослуживицы Нинки, принесшей ему очередную корректуру.

— Нинок, снеси в издательство. Я бы сам снес, да я как нос в главную редакцию покажу, так у них сразу глисты дыбом. Ты девка красивая, скажи, открыла талант, наври чего ничего...

Поскольку Нинок была не только разносчиком корректур, но когда-то еще и любовницей дяди Юры, более того, она его еще и любила, рукопись она взяла.

Ромка продолжал вычеркивать отказников. Теперь он все чаще вспоминал про четвертинку своей еврейской крови. Стал слушать по ночам «Голос Израиля», приобрел карту Палестины, на всякий случай, чтобы не заблудиться. Внимательно прислушивался к себе, как к беременному, надеясь уловить священный трепет в груди. Не уловил. Стал во сне дергаться, так что Светка, уж повидавшая мужиков в разнообразии, вскакивала с тахты, включала свет и, прижав к груди одеяло, отпрыгивала к окну.

— Психопат, — тяжело дыша, бормотала она в искреннем испуге.

— Не нравится — иди к своему водолазу.

— Ой, Ром, тебе ж из издательства звонили, велели прийти!

По последней европейской моде и бедности Ромка был обут в сандалеты на босу ногу с одной перемычкой. Редакторша не ведая, вероятно, последней моды и оказавшись впоследствии слегка близорукой, перемычки не заметила и, решив, что автор

пришел босиком, заволновалась. Она говорила напряженно, медленно, чтобы не спровоцировать на неадекватные действия явно больного человека. Но повесть ей почему-то понравилась, и она ввязалась в драку.

Шансов на опубликование «Мясника» было мало, проще говоря не было. Если что самый крохотный. Директор издательства — писатель по рабочей теме, человек небогатый, недавно принявший издательство, активно занимался самофинансированием. Он рабочим пролетарским нутром чуял, что времени на самоопыление у него немного, и целиком был занят решением этой задачи. В работу издательства вникать ему было некогда, бдительность его была притуплена.

Тем временем Ромка пригласил редакторшу в гости. Пригласил также Синяка и Светку с гитарой. Все бы ничего, но встречу Ромка почему-то назначил у редакторши дома, о чем предупредил ее в последнюю минуту. Обескураженная таким поворотом дела, она не успела отказаться.Гости прибыли на машине «Хлеб», привезя с собой вареную колбасу, кильку пряного посола и водку...

Поздней ночью, когда было выжрано все и Синяк стал подбираться к французскому одеколону в ванной, Ромка неожиданно для себя самого сделал редакторше предложение выйти замуж.

— За кого? — стараясь быть совершенно естественной, поинтересовалась она.

— З-за меня, — с трудом выговорил жених.

Час был поздний, редакторша же повидала на своем веку писателей в разном состоянии и поэтому в ответ кивнула:

— Хорошо, мы поговорим об этом позже.

Синяк погудел-погудел внизу и, не дождавшись друга, укатил со Светкой на своем «Хлебе».

— Раз вы в принципе не против, я здесь остаюсь. Если места нет... — на полу. Раз вы не против.

Ир хакы — Алла хакы!

Брат редакторши побуждался набить автору морду. Но мать приняла более гуманное решение: морду не бить, милицию не звать, дать пятерку на такси.

Утром в Басманном Ромка схватился за больную голову, припоминая вчерашний позор, и тихо завыл, покачиваясь, как

старый еврей на молитве. Повыв и покачавшись, позвонил Синяку.

Вовка был сконфужен.

— Слышь, Жирный... — виновато пробормотал он нерасправившимся с похмелья голосом. — Погоди ты про свою редакторку... Тут это... Я вроде Светку трахнул. Гарантировать не могу. Ты спроси у нее, а то неловко получается... Проснулся — под боком валяется. Ты только не обижайся, Жирный...

Ромке же со своего собственного похмелья было не до обид.

— Ты мне скажи, она вот, редакторша, в вязаной юбке длинной была. Почему юбка такая длинная? Может, у ней ноги кривые? Отрекусь.

Синяк оживился.

— Куда ты отрекесся! Она тебе книгу запорет. Подженись, Жирный. Верняк, подженись. Погуляем. А я со Светкой... И книжон выйдет. Про меня напишешь. Голубцы тебе теща варить будет.

— Ты мне скажи, ноги кривые или нет? — не унимался Ромка.

— Что тебе ноги дались? Ништяк ноги, я сам видел, зуба́ даю.

— Ты у Светки видел.

— Редакторка тоже показала. На, говорит, посмотри, какие ноги, и Жирному скажи.

— Врешь, сволочь!

— Спорнем? — завелся Вовка.

В почтовом ящике лежало письмо.

«... Я с наслаждением прочитал Вашу повесть и могу сказать, что она замечательна во многих отношениях. Однако она уже зачата с несчастной судьбой, и в утешение автору будет лишь сознание собственного таланта, который несомненен, значителен и честен. Очень желаю Вам удачи.

М. Дуков

29.01.80».

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПОДВАЛЬЧИКЕ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ КИБУЦ НА СПИНОЗЕ

1.

Одолев Паскалью горочку, на которую можно подняться и с Демокрита, и с Декарта, и даже с Гегеля, вы оказываетесь на Спинозе — в самом центре нашей философской слободы, обязанной своим существованием просвещенному воображению городского начальства пятидесятых годов XX века. Здесь все заставлено домами, как старой мебелью, и каждый дом имеет над окнами какое-нибудь свое, наполовину осыпавшееся лепное украшение, а многие располагают еще и балконами с растресканными, покосившимися балясинами. Двери иных балконов закрыты наглухо, а балясины, таившие опасность для прохожих, убраны.

Но куда страшнее разрухи пьяные голоса у «Продтоваров». Маленьким школьницам, поступающим, как велит мама, приходится бегать мимо словосочетаний, заткнув уши.

Это и есть родина детей подземелья. Их было человек пять, но славными среди них были только два имени — Цветик и Славянофил.

Детьми подземелья они сами себя и отрекомендовали, как только началась их тяжба с горисполкомом о признании «подземелий» помещениями подвальными, не пригодными для проживания. Со стороны улицы квартиры детей подземелья и впрямь такими и были. Никакая комиссия не взялась бы это отрицать. Но с заднего фасада над плитами двора-колодца окна возвышались прямо-таки бельэтажно. Рассказывали, что на-

---

Хаим ГОЙКИН — родился в 1935 г. во Львове. Окончил филологический факультет Львовского университета. В 1993 г. эмигрировал, живет в США, в Нью-Йорке. Автор пяти книжек для детей.

смешливый председатель одной из комиссий предложил Славянофилу: «Дотянись до земли — и подпишу акт!» Славянофил был человеком азартным. Жена его за ноги держала. Кончилось тем, что он чуть было не вывалился во двор. Как хохотали спинозы, демокриты и заодно идеалисты-гегеляшки, пересказывая в десятый раз эту историю!

Тяжба продолжалась много лет: одна комиссия подписывала акт, другая признавала его недействительным. Но, наконец, дело созрело: тот самый председатель, который посмеялся над Славянофилом, потрогал шелушащуюся от грибка штукатурку и сказал: «Какой может быть разговор? Пора людей переселять.» — «А раньше не пора было?» — спросил Славянофил. — «А раньше не пора!» Тут Славянофил и заявил, что т е п е р ь переселяться не будет. «Ишь ты: «пора»!» Слово это его ужасно возмутило. Говорят, он даже прослезился. «Так ты же полуподвальный, — стал втолковывать председатель. — Твой список второочередный.» И спросил: «Что, не хочешь из своего района? Заставим!» Но заставлять не стал; тут же взяли со Славянофила подписку, что он от пожалованной квартиры отказывается. На том дело и завершилось. Один из членов комиссии подвел черту: «На почве алкоголизма.» Но разве был случай, чтобы на названной почве человек от чего-то отказывался? У Славянофила были соображения: к тому времени его друг Цветик уже обзавелся золотым подвальчиком.

О Цветике, Славянофиле и золотом подвальчике в философских наших местах ходила сказка. Сочинялась она в очередюшке у молочного магазина. Кое-какие подробности в этой сказке мои.

У Славянофила, говорит сказка, в детстве была мама; у Цветика даже и отец был, правда, безногий. Вместе Цветик и Славянофил пошли в первый класс, вместе собирали первый свой велосипед. А к тому времени, когда собрали они первый свой мотоцикл, были они уже четырнадцатилетними мужчинами: умели с закрытыми глазами всего в одну затяжку отличить «Приму» от «Верховины», ну и, конечно, не требовалось им больше одного глотка, чтобы отличить плодоягодное от виноградного.

Далее сказка повествует о том, как Цветик женился на Марине.

Марина жила этажом выше и училась в одном классе с Цветиком. Цветик ее двадцать лет п р о с л у ш и в а л. Научился он не только различать ее шаги у себя над головой, но мог ей рассказать все-все о том, что она у себя наверху делала. Если мать наказывала Марину, то Цветик всегда знал об этом и сердито говорил: «За что она тебя? Злая женщина твоя мамка.»

Как только исполнился Цветику двадцать один год, начал он строить лестницу в своей кухне. Довел сооружение до потолка, разобрал часть этого самого потолка, а заодно и часть пола в кухне Марины и злой женщины. «Марина! — всполошилась злая женщина. — Да ты в своем уме? Он же закладывать любит!» Марина не отвечала и только загадочно улыбалась. Злая женщина притихла, наблюдая, как Цветик орудует инструментом. Он все возвышался над своим подземельем... Ступил он на пол кухни и тут же в три касания починил газовую плитку; не останавливаясь, без перекура произвел на кухне побелку. Дальше в нашей истории речь идет о двери, ведущей из кухни в коридор. Дверь эту Цветик починил в два касания — и тут уж взгляд у злой женщины подобрел раз и навсегда, на всю, значит, оставшуюся жизнь. «Ты смотри! Все умеет! — сказала теща. — Только вот больной малость. Так ведь здоровых людей не бывает.»

Так и решено было считать Цветика больным. С этого момента Марина и теща Цветика стали ходить по улице с загадочными улыбками.

Вскоре у Цветика и Марины родился сын. Назвали его Всеволодом, а фамилию для удобства произношения дали мамину — Самаркин. На первый звонок Севочку отводила бабушка, а меня — дедушка. Шли мы с горки по Паскалю, и я все оборачивалась и смотрела на Севочку: воротник белой рубашки он уже тогда носил нараспашку, поверх форменного, а взгляд у него был особенный: загадочный, блестящий и счастливый. Этот счастливый блеск Севочкиных глаз озадачивал: может ли у такого больного папы быть такой вот пышущий здоровьем сын? Я все ждала, что как-то проступит на Севочке болезнь его отца. Но Севочка жил уверенно, спокойно смотрел на мир блестящими глазами, на переменках жевал с хрустом яблоки и, если и отличался от других, то взрослостью, деловитостью и аккуратностью. Ухитрялся он прожить свое детство в

белой, ни разу не замаранной рубашке; воротник всегда был распахнут; руки же у Севочки были холеные, не берущие на себя загар. Ну да ведь он музыкант. Только прозвенит звонок с последнего урока, а Севочка уже идет своим быстрым, от рождения для дела поставленным шагом. И никогда он этот однажды взятый ритм жизни не замедлял и не убыстрял. Поэтому-то с ним никто из школы и в школу не ходил: все подстраивали свой шаг под разговор, а он нет. Проходило часа два — и замечала я Севочку в окно: шел он, держа в руке уже не портфель, а виолончель в матерчатом чехле.

Всего один раз проступила на Севочке болезнь его отца.

Однажды деловитым своим шагом подошел он ко мне на переменке и спросил: «Это правда, что твой папа никогда не болеет?» — «Ну почему же? — ответила я. — Бывает.» — «Да-а-а? — разочарованно протянул он. — А моя мама говорила, что никогда.» О чем он спрашивал, я поняла позднее. Это, может быть, был единственный детский вопрос, который он в своей жизни задал.

Севочкин папа, случалось, заболевал прямо на улице. Марина или злая женщина, ставшая доброй, брали тогда его под локоток и бережно отводили домой. Тут уж лица у них становились слегка торжественными, хотя и в меру скорбными. «Денежку свою ведут, золотце свое», — говорили тут философицы-завистницы. А более доброжелательные добавляли: «А что? И правда: не такая уж беда. Он ведь зарабатывает, сколько хочет».

2.

Цветик был единственным человеком в нашей философской слободе, а может быть и во всем городе, который зарабатывал, сколько хотел. На него поглядывали с почтительным любопытством. Работал он на каком-то заводе, на каком-то особенном станке и выполнял какую-то особенную, тонкую работу, такую важную, что и директор, и главный инженер, и парторг здоровались с ним за руку. Обо всем этом философы знали от Марины, которая была хлебным отделом в наших «Продтоварах». «А что, Мариночка, житного сегодня нет?.. Муж трудится, ничего?» — «А что может случиться? — беспечно отвечала

Марина. — Зарабатываем, сколько хотим.» Однажды я слышала, как Марина по телефону, что в подсобке, суровым голосом, чуть ли не надменно, сообщала кому-то, что муж заболел и сегодня на работу не придет. Было немного неловко за Марину. Что это она так с человеком, будто тот виноват, что Цветик болеет?

Но что работа! Был ведь у Цветика еще золотой подвальчик. Обживать его Цветик начал сразу же после того, как отремонтировал квартиру злой тещи, ставшей доброй. Золотой подвальчик располагался в той самой низинной комнате, окном выходившей на улицу. Юные философы рассказывали, что в подвальчике этом чего только нет: верстаки, станочки, всевозможные инструменты и много прочего такого, чего нигде, кроме подвальчика, не увидишь. Работали в подвальчике Цветик, Славянофил и безногий отец Цветика.

В золотом подвальчике ремонтировали в с е. И не только ремонтировали! Там могли изготовить вещь прямо как на заводе. Не было случая, чтобы в золотом подвальчике отказались принять какой-нибудь заказ. Часы починить? Пожалуйста! Паркет настелить? Это вообще-то не наш профиль, но из принципа можем сделать.

Однажды дед решил отнести в золотой подвальчик свои любимые папины сапоги. У деда были любимые папины сапоги, любимый папин костюм и любимая моя кофта.

В золотом подвальчике деда приняли с почетом, усадили в кресло, хотя и не новое, но зато старинное — с витыми ножками. В родстве с этим креслом состоял прелестный, с витыми же ножками столик, на мраморной столешнице которого экспонировала себя неоткупоренная бутылка «Столичной». Вокруг нее с деланным достоинством трезвенников похаживали мастера. Дед понял, что на бутылку они ни за что не посмотрят. Славянофил, догадавшись, какое деда одолевает любопытство, объяснил про бутылку, так на нее и не взглянув: «Один товарищ в прошлом году за работу принес.» В общем, была эта бутылка чем-то вроде вывески: «Спиртным не расплачиваться».

Въехал в подвальчик безногий отец Цветика — маленький, усохший старичок. В белой рубашке с распахнутым воротом, человечина этот восседал в высоком неправдоподобном кресле — как на постаменте. Ни дед со стариком не заговорил, ни

старик с дедом. Но они, конечно, поговорили между собой по-еврейски глазами. Дед заметил, что прежде чем согласиться ремонтировать сапоги, Цветик взглянул на отца, и тот кивнул — не кивнул, а просигналил ему свое согласие глазами, такими же говорящими, как у Цветика. «Понятно, кто глава фирмы», — подумал дед.

Молодые мастера взяли по любимому дедушкиному сапогу и стали их квалифицированно осматривать: что надо — вдавливать, что надо — отгибать, куда следует — дуть.

— Вообще-то, — сказал Цветик, — это не наш профиль, но из принципа сделаем.

Дед почему-то был уверен, что сапоги ремонтировал старик, а не молодые мастера.

Во второй свой приход дед поинтересовался, какая с него причитается плата. И тут дети подземелья стали вести себя так, будто дед спросил о чем-то недозволенном. Славянофил смутился, каким-то усилием сделал лицо красным, задвигал своим щупленьким тельцем, наклонился, почесал колено и снизу с выдохом просипел: «Мы славяне, дети подземелья!»

— На него хотелось смотреть, — заметил дед. Но кто же не знал, что Славянофил двигается и ходит ради красоты? Иногда это у него выходило слишком уж картинно. Хотелось сказать: «Да ладно тебе!»

Цветик же, низкорослый, без талии, человек с неимоверной грудью и плечами, стал глядеть своими говорящими глазами поверх дедовой головы. Деду были известны все до одной человеческие хитрости — он понял, что перед ним вымогатели, каких свет еще не видывал, берущие половину платы похвалой и признанием, а половину деньгами. Дед начал расплачиваться с мастерами похвалой. Он боялся недоплатить.

Дед сказал, что видит перед собой лучших мастеров в городе. Он не знает, как в других городах, но, возможно, мастера, которых он сейчас видит перед собой, лучшие на всю страну. Есть ли на свете что-нибудь такое, чего бы эти мастера не смогли починить? Славянофил красиво махал руками, пока не настало время прижать эти руки к груди,он с мольбой смотрел на щедро расплачивающегося деда: больше ни слова! Цветик отвернулся, взял с верстака какую-то деревяшку и стал ее изучать. И все же дед видел, что похвалу мастера впитывают

каждой порой, и уже оба светятся чудесным светом, как если бы сама собой засветилась лампочка, не подключенная к сети. Вот бы хорошо, сказал дед, сделать такую вывеску: МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ВСЕГО. Только после этого дед, без всяких опасений недоплатить, положил на столик вторую половину платы — денежную. «Вывеску хорошо бы, полковник, — сказал Цветик, повышая деда в звании, то есть вручая ему сдачу признанием же. — Давно мечтаем. Но Обл-Швобл не позволит.» — «Рай-Драй. Форштейн?» — уточнил Славянофил, думая, что дед не знает, что такое Обл-Швобл.

— Дед! Да разве так можно? — сокрушалась я. Мне было стыдно за дедовы хитрые, жмурящиеся глазки и вкрадчивый дребезжащий голос.

— А как же! — ответил дед. — Недоплатил. Забыл сказать об их безотказности. — Тут дед произнес одно из своих изречений: «Деньги нужны человеку, чтобы не умереть, а признание — чтобы жить». И дед постоял и покрасовался передо мной, пока я рассматривала, как он выглядит, умный человек.

Мастера купались в славе. Кто из философов не знал, что детские велосипеды ремонтируют они в одно касание? Кто не бежал к ним, потеряв ключи от квартиры? Слава их уже достигла соседней писательской слободы — их уже знали и на Франко, и на Пушкина, и даже на Горького; уже они претендовали и на общегородскую известность.

Так что не обидное слово «пора» заставило Славянофила отказаться от переезда на новую квартиру. Все понимали: без золотого подвальчика ему уже никак. И не потому только, что золотой подвальчик приносил доходы, в которых Славянофил нуждался (он, как пошел в восемнадцать лет грузчиком на швейную фабрику, так и продолжал разъезжать на своем электрокаре), — а потому, что подвальчик был жизненным итогом детей подземелья, естественным и блистательным воплощением всех их устремлений. Без подвальчика жизнь их вмиг бы превратилась в сломанную, загубленную и никчемушную. Не было философа, который бы этого не понимал. И если з о л о т о й п о д в а л ь ч и к произносили иногда с нажимом на первом слове, то не только потому, что был подвальчик доходным. Он был еще и спасением, обретенным смыслом.

Не удивительно, что Цветик потерял голос, когда с заявлением в руках встретил комиссию в верхних своих апартаментах. В заявлении было сказано: отказываюсь, поскольку располагаю **высоким** жильем жены. Цветик боялся, что скажут: «А мы все-таки хотим посмотреть!» А потом соответственно: «А что это здесь такое? Подпольный цех?!» Насмешливый председатель спросил: «Ты понимаешь, голова, что верхняя останется вам, а вместо нижней можете получить в новом доме?» Цветик закашлялся и кивнул, то ли голос к нему так и не возвратился, то ли хитрил он — да и что можно было такого уж дельного ответить председателю?.. Комиссия загалдела и потекла по лестнице. Наверно, кое-кто подумал: тупеют люди в подземелье. Вслух же говорили: «Странные субъекты в этом доме.» И только один член комиссии загалдела еще громче, пошла пузыриться смехом, кипела восклицаниями: «Куда! Куда! Мало мы сегодня подвалов насмотрелись!» Подозрительного члена комиссии потащили на улицу под руки. Выплеснулась комиссия на улицу и растеклась до нового дня обследования.

Как мне нравилась сказка о Цветике и Славянофиле! Я все старалась добыть для нее новые подробности. Идя по Спинозе, я останавливалась напротив сказочных окон, хотя и знала, что в золотом подвальчике могут увидеть мои ноги. Слова из окон доносились бодрые, и только голоса безногого старика я так ни разу и не услышала.

На Девятое Мая старик выставлял себя в раме окна: к распахнутой белой рубашке была приколота медаль «За отвагу». За какой подвиг получил ветеран медаль? Где потерял ногу? Под Москвой? Под Сталинградом? Или, может, в Берлине? Я велела моему послушному деду проведать ветерана и обо всем выспросить: сказочный старик мог понадобиться для классного мероприятия. Дед выяснил, что ноги старик потерял уже после войны: сначала ампутировали одну, а через несколько месяцев — другую: гангрена из-за болезни вен. Дед изобразил, как старик сидел на диване, прикрыв пледом культи, так что казалось, что сидит он по-турецки. Старик объяснил деду, что живется ему, в общем-то, хорошо. Что ж, у старика было свое, подземное понимание жизни. Но дед-то жил этажом выше. Дед расспросил старика и выяснил, что старик ничего не знает о льготах для фронтовиков. Он даже к магазину для ветеранов

не был прикреплен. Дед сообщил старику, что завтра же прикрепит его к этому магазину. «Почему вы так безмятежно живете?» — поинтересовался он. Старик пожал плечиком: а как еще надо?

Когда дед об этом рассказал, все в доме примолкли: выходило, что безногий ветеран был, как и дед, человеком заслуженным, да вот отоваривать своих заслуг не стал. Но тут же и воспрянули голоса: все сошлись на том, что семейство при золотом подвальчике темное, плохо информированное и вообще какое-то надломленное. Да и для меня в дедовом рассказе выходила кое-какая нескладица. Ну, почему, если уж так сложилось, что старик безногий, если уж ноги ему все равно вернуть нельзя, — почему он их не потерял где-нибудь под Сталинградом, под Москвой или в Берлине? Тогда бы я его пригласила на классное мероприятие — как было бы здорово!

3.

С Цветиком и Славянофилом, то есть с Леней Шейнцветом и Витей Образцовым, у меня установились свои, очень теплые отношения. Какой простодушной радостью радовались эти люди, что на свете, по соседству с ними, живет такой человек, как я, — староста класса и осчастливливатель! Каким событием для них была каждая встреча со мной! Заметив меня, они тут же с увлечением начинали вести обо мне разговор, сопровождая его всевозможными знаками уважения. Так говорят о докторе, который вылечил многих, но ни копейки на лапу не взял. Конечно же, дети подземелья во время этого, такого радостного для них разговора были слегка нездоровы: Славянофил жестикулировал, как регулировщик в мультике, а Цветик все доставал платок и промокал лоб — уж эти-то приметы кто не знал? Однажды я поняла, что как раз и стану тем доктором, который их вылечит. Пока же я опасалась, что Цветик начнет меня благодарить. Уж очень благодарный был у него вид. За что? Да мало ли за что! За будущее излечение. За то, что я опекаю Севочку. Долго ли нездоровому человеку: «Ах, благодарю вас! Ах, как же мы вам обязаны!» Этого я не могла допустить. И не только потому, что находила свою работу с Севочкой сомнительной: я поклялась себе, что, сколько бы

добра людям ни сделала, ни одной благодарности не приму, — я ускоряла шаги.

И вот начиналось: Славянофил разводил в изумлении руками и произносил стихи, сочиненные обо мне:

— Вот славяночка идет — людям счастье несет!

Многие узнавали во мне осчастливительницу, но никто вот так прямо, как Славянофил, не говорил мне об этом. Позднее, впрочем, я должна была признать, что счастьеносными Славянофил признавал всех славян. Давно уже, с самого детства, он поглощен был славянскими делами — сокрушался из-за славянских неудач и промахов, радовался славянским достижениям. Временами — что уж скрывать? — его увлеченность славянами выглядела чрезмерной: готов он был любого хорошего человека причислить к славянам, и, случалось, когда он был нездоров, подводили к нему юные насмешники какого-нибудь чернявенького, совсем уж неславянского вида человека, чтоб Славянофил обнял его и порадовался славянскому братству.

— Вот как мы ходим! — продолжал Славянофил восхвалять во мне всех славян. — Ну кто еще умеет так ходить! Смотри, сколько доброты в ней! Подходи, каждому достанется!

Поверьте, это не простое испытание, когда узнают в тебе человека, живущего ради других. Я нагибала голову, прятала лицо, потому что не знала, какое выражение ему придать. Я радовалась своему славянству и своей доброте, причитающейся мне, как и всякому славянину, от рождения. Я с удовольствием вспоминала, что по линии отца и бабушки объединяю в себе три славянских народа. Дедова неславянская четвертинка во мне, обычно редко позволяющая о себе забыть, на этот раз молчала. А ведь должна же была спросить: «А чем же я хуже?» Но, видно, был у нее, у еврейской моей четвертинки, дедов характер: дед всегда чувствовал, когда надо поговорить с человеком, а когда до времени промолчать. Но никогда дед не забывал мне напомнить о том, что считал важным. Настало время — и дед объяснил мне, что всеми моими поступками «ради других» руководит маленькая, но такая сильная и производительная доля его, дедова присутствия во мне: наша с ним доброта, наше умение думать о других, наша активность! «Мы и себе добудем и других не забудем!» — сочинил дед свой неславян-

ский стишок. И было это так же убедительно, как и то, что говорил Славянофил.

Убегая от Славянофиловых восхвалений, я, случалось, сталкивалась с Мариной. Она появлялась в дверях «Продтоваров», опиралась полным плечом о косяк и предлагала всей своей позой и выражением глаз: давай-ка поговорим! Нас объединяла забота о Севочке, делавшем большие успехи в музыке. Я пеклась о счастье музыканта и сообщала Марине по секрету от Севочки, как будущая мать матери, о фактах не слишком уж страшных, но все же грозящих выбить Севочку из счастливой его колеи. Не всякому бы Марина это позволила. С первым попавшимся она никогда не говорила о сыне. Если человек был не очень солидным, если выпивал он сам или кто-нибудь в его семье, то на вопрос: «Как там у сына дела, играет?» — Марина отвечала: «Дайте мне три копейки, а я вам дам пять». Буханку хлеба такому покупателю Марина ставила на попа. Дело тут было не в высокомерии: Марина боялась заразы, которая, в Маринином представлении, могла передаться Севочке даже и через третьих лиц. По-моему, даже и Цветику, когда он заболевал, не разрешалось близко подходить к Севочке. Видела я однажды, как Севочка прошел мимо приболевшего отца и не повернул в его сторону головы. Цветик, правда, стоял на другой стороне улицы. Но что с того? Если и был такой уговор в семье, то Цветику, я думаю, от этого не легче было.

— Сообщить имеешь что? — спрашивала Марина с коробившей меня откровенностью. Заботы о Севочке, по правде говоря, уже тяготили меня. Севочка догадывался о моем попечительстве. Случалось, говорил кому-нибудь: «Старостихе ни слова! У нее контакт с родителями.» Да и понимала я уже, что Марину в моих сообщениях интересует только одно: нет ли в нашей школе старшеклассников, которые бегают на переменке покупать винцо, как в свое время это делал Цветик, и не подмигивают ли эти старшеклассники Севочке: мол, пошли с нами. Нет, сообщала я Марине, никто не подмигивает. Марина кивала мне кивком — «иначе и быть не может» — и тут же принималась рассказывать одну из своих историй об удивительном равнодушии Севочке к спиртному.

Вот, представьте себе, заходит Севочка к соседям — а они тепленькие вокруг бутылочки. Сидят, значит. Стол у них круг-

лый — потеха! Они кружком, бутылочка посередине. Севочка не растерялся — и прошел мимо.

— Это хорошо! — одобряла я.

— А то плохо! Мы уже играем сонату за восьмой класс. В следующем году будем играть за десятый. Ты, Настенька, имей это в виду. Мужей надо присматривать заранее. Знаменитость растет. Меньше, чем на Московскую консерваторию, не согласимся. — Как бы не замечая моего смущения, она трезво заканчивала: — За такую, как ты, я бы Севочке позволила. Нет у тебя этого гадства в глазах: «Разве можно таким людям играть на виолончели?» Я это гадство сразу вижу! Обидно некоторым. Кажется им, что у них отобрали. А у нас все законно: руки у него ловкие, как у отца, а ухо — мое. Мы своим распоряжаемся — почему бы нам не играть на виолончели? Если у кого нет дарований, разве мы виноваты? Но вы не такие. Вот почему в нашем магазине всегда для вас найдется то, чего для других нет. Все у нас знают, какая вы семья!

Марина меняла позу «а ну-ка поговорим» на другую: «ну вот и поговорили». Я уходила встревоженная безудержными Мариниными восторгами по поводу своего счастья. Все-таки в славе золотого подвальчика, в игре на виолончели одного из детей подземелья, я это чувствовала, было нарушение каких-то обычаев жизни — тут бы притаиться, а не ликовать.

4.

И правда: настало время, когда Марине пришлось встать в позу «попробуй заговори!» Несколько месяцев простояла она в этой не очень-то удобной позе, не желая ни с кем разговаривать. Что тут скажешь? Любой бы на месте Марины так поступил: в золотой подвальчик нагрянули с обыском и обнаружили там старинные, очень дорогие часы, украденные у одного тракториста. В чем-то Цветик, выходило, виноват: то ли в хранении, то ли в скупке краденого, то ли в незаконном промысле. Цветик, отмечает сказка, очень удивлялся непонятливости следователя: «Да кто бы мне поверил, что я не могу их починить?» — «Я бы поверил!» — утешил Цветика следователь. Он с сочувствием относился к Цветику, но вот закон, тот все-таки нашел за Цветиком вину. Нет, детям подземелья слава проти-

вопоказана. Марина перестала загадочно улыбаться, потух счастливый блеск в Севочкиных глазах. А вскоре в полномерном гробу похоронили безногого ветерана. Из окна золотого подвальчика не доносилось больше звуков — молчала электродрель, не взвизгивала электропила, окно потухло, подернулось черной пленкой.

Однажды хватились, а где же Славянофил? Ни его, ни жены, ни тещи! В Славянофиловом подвальчике уже оборудовал себе мастерскую тогда еще никому не известный художник — то ли Чухно, то ли Чухнов. Вскоре он прославился тем, что стал производить в своей мастерской самогон на продажу. Стали припоминать, когда же в последний раз видели Славянофила. Так до сих пор многие и не знают, куда он исчез. Скорее всего, считают эти многие, Славянофил пошел к веселому председателю комиссии и упросил того дать ему квартиру, от которой Славянофил по сказочной своей глупости отказался. Но если это так, то почему Славянофил ни разу в философских местах не появился? Странное, короче говоря, исчезновение.

И только совсем недавно спинозиха по прозвищу Газэта (она не на последнем месте в этой истории) сообщила мне, что в исчезновении Славянофила она не заметила ни одной странности. Газэта сама провожала его, когда Славянофила забирала «скорая». Все дело в том, что Славянофил со своим аппендицитом попал на операционный стол гораздо позднее, чем следовало. «Ты же знаешь, он ничего не делал вовремя!» — справедливо заметила Газэта. Потом уже, сообщила она, после того как Славянофила не стало, жене и теще в связи с такой вот скоропостижностью дали квартиру на Хуторивке. «Пришлось мне за них хлопотать, — сказала Газэта без всякой усталости в голосе. — Они этого не умели.» — «Но почему же ни один философ не знает?!» — протиснулась я в Газэтин монолог со своим справедливым вопросом. «Может быть, скажете, что вы внимательные люди? — спросила Газэта. — Не знать удобно.»

Горьким было возвращение Цветика. И не только для него: увидела я его у окошка золотого подвальчика — обрадовалась, рванулась к нему, но он отвернулся и стал прикидывать, не пора ли стряхнуть пепел с сигареты. Я постаралась человека понять: такая слава — и вдруг на тебе!

Трудно было примириться с тем, что из-за Цветиковой отсидки золотой подвальчик лишился своего сказочного престижа. Все теперь выглядело в нем обыденно. Севочка, как и планировала Марина, поступил в Московскую консерваторию. Ну и что? Никого это не восхитило. Только и заметили в связи с этим событием, что Цветик перестал брать в ремонт в с е. Теперь он занимался реставрированием мебели, ремонтировал старинные часы для нашего музея; в доме его появились антикварные вещицы: одна, две, три и так далее. Теперь уже Цветик, прежде чем поздороваться с кем-нибудь, стряхивал пепел не с сигареты, а с сигары. Марину стали упрекать в зазнайстве. Она вышла в завмаги — и к ней не подступись: отказывала людям даже в филейке к именинному столу: «Вам филейка, а нам тюрьма? Нет, не пойдет!»

Но вот услышала я однажды вечером неземное звучание виолончели. Виолончель перекликалась с роялем, убегая от него. Рояль несся вдогонку и, случалось, даже обгонял, заходясь в серебристо-хрустальном брамсовском упоении. Что и говорить, музыканты эти, струнный и клавишный, умели оживлять сказки!

Очнувшись, увидела я на балконе Севочку и рядом с ним его жену-москвичку, у обоих глаза были блестящие, счастливые и, что очень важно, мечтательно устремленные. Года через два выяснилось, что и виолончель и рояль мечтательными своими взорами в тот вечер были устремлены не в отвлеченную даль. О нет! Есть одно местечко, куда они уже в тот вечер нацелились. Что это за местечко, узнала я в своей сметанной очередюшке.

Не знаю, как ваша сметанная очередюшка, а моя — существо милое, проницательное и насмешливое. Такую теплоту, такое понимание где еще человеку найти? «Куда же девался Севочка? — спрашивала моя очередюшка. — Почему это ни его, ни москвички уже два года?» И вот новость! Севочка с женой поехали в Финляндию на гастроли и оттуда, значит, драпанули в Швецию, а из Швеции, значит, дальше... пошли догадки: знали ли родители, что предвидится побег? Или побег получился двойной — из страны, которая тебя научила играть на виолончели, и от родителей, которые на тебя жизнь положили? Ответа не было. Марина уже стояла в позе «попробуй заговo-

ри». Цветик как-то рассеянно кивал при встрече, стряхивал пепел, когда с сигары, а когда с сигареты, и прошмыгивал — каждый отвечал на вопрос сам себе. Как умел. А поскольку никто, кроме меня, правильного ответа не нашел, то пришлось мне объяснить моей очередюшке, как все было. Севочка, конечно, все сказал родителям. И закончил так: «Я вас заберу к себе, потерпите.» Мне поверили: мой авторитет у очередюшки уже тогда был чрезвычайно высок. Пожалуй, большего авторитета я нигде не завоюю: бралась я подлечивать детей. С лихим нахальством, которое вдруг открыла я в себе, я, студентка мединститута, вела дитя известными мне путями в клиники и лаборатории: «Коллега, не откажите в любезности!» Но дело, я думаю, не только в моей готовности «подлечить» чужую жизнь: нигде мне не удавалось так удачно шутить, так здраво и веско рассуждать, как в сметанной очередюшке. Любая очередюшка, знаете ли, имеет своих штатных умников.

Слал ли Севочка письма, звонил ли?

Однажды мне показалось, что вот сейчас Марина заговорит со мной о сыне: уже прислонилась она, как бывало, к косяку двери, сложила руки на груди, да вот не заговорила, а только кивнула. Странен был этот кивок и проблеск в глазах забывающей себя памяти. Прежней дородности в Марине уже не было, обвисли щеки и одежда, повисли руки, волосы стали блеклыми и сухими. Я кивнула Марине ободряющим кивком и ушла с брезгливым чувством к себе: уж очень легко я догадываюсь о близкой чьей-то смерти. Марина умерла от опухоли мозга. Я занесла цветов в комнату над золотым подвальчиком и постояла у гроба с мыслью о том, что всякому уплывающему в этом омерзительном ящике кто-то наносит последний удар.

Севочка не приехал на похороны. Как бы он мог это сделать? Перестройка еще называлась ускорением. Он приехал года через два. Перед отъездом забежал ко мне. «Отец не хочет уезжать. Ты мне напиши, если увидишь, что с ним неблагополучно.» — «А сейчас благополучно?» — «Он не хочет ехать! — ответил Севочка с надрывом. — Я же не могу его в охапку.»

Это я уже знала: Цветик ни за что не уедет от могилки. Он нигде уже не работал, не брал заказов в подвальчике. Ходил по философским улицам и жаловался всякому, кто соглашался выслушать: пусто, одинокая непереносимая жизнь! Сочувст-

вовали ему пятиминутным сочувствием. Но если при новой встрече все начинается сначала, то как-то оно, знаете ли, многовато. Цветик вскоре понял, что на сочувствие имеется лимит — кивнет тебе при встрече с пьяненьким достоинством и убыстрит шаг. В общем, лишнего старался не брать. Я сама стала подходить к нему со всей почтительностью, какой заслуживает человек в беде.

5.

Но что же происходит дальше! Вдруг алкашик наш взял да и зажил совсем иной, никем из нас не испробованной жизнью.

Вначале прошел слушок, что Цветик вернул золотому подвальчику славу мастерской по ремонту в с е г о. В это нетрудно было поверить. Но дальше забрезжили факты, которые даже и в моей почтительной вере в сказку не умещались: мол, во-первых, Цветик бросил пить, а во-вторых, за ремонт чего угодно, хоть холодильника, хоть стиральной машины, он теперь ни копейки не берет. Слухи эти, представьте, крепли новыми самыми натуральными подробностями. Наконец, своими глазами увидела я кофемолку, бесплатно отремонтированную в мастерской по ремонту в с е г о. Владелица кофемолки, довольно прижимистая декартиха, высказала мне свое предположение, что Цветик при помощи бескорыстия решил вылечиться от алкоголизма. Вскоре и утвердилась эта медицинская точка зрения. Нет, последователей у Цветика не появилось. Но зато подлечить его кто только ни брался. Видела я стучащихся в подвальчик и людей из писательской слободы, и, представьте, маршалов, и даже одного тракториста-богача.

Цветик своим отношением к клиентам все более убеждал их в том, что очень в них нуждается. Среди клиентов появились капризники. Рассказывали, как одна старушка, рассердившись на мастера за то, что в мастерской не оказалось машины для прострочки сумок, в сердцах сказала: «А пусть тебя лечат, у которых кофемолки!» Тогда Цветик, чтобы не лишиться клиентки, уговорил старушку подождать его в подвальчике, а сам сбегал в мастерскую и починил ей сумку, уплатив сколько следовало, другому мастеру, который в лечении не нуждался. В подтверждение всех этих слухов Цветик ходил по нашим

улочкам трезвехонький, с грустной бодростью вдовца. Вот тут-то, приглядевшись к нему, я поняла: осчастливливатель! Кто же еще, кроме осчастливливателя, в состоянии додуматься, что давать выгоднее, чем брать?

Как истинный осчастливливатель Цветик становился все более снисходительным ко всем прочим — берущим. Вместо «здрасьте» он стал говорить «может, что нужно?», а через некоторое время уже с непозволительной краткостью: «Что нужно?» Не случайно, я думаю, в это самое время его вопреки всякой логике стали называть подзаборником. Но клиентов у Цветика не убавилось. Вы же знаете эту человеческую незащищенность перед дармовщиной. Сама я тоже не устояла. Я заказала Цветику запасные ключи для дома.

Человек хитрит всем телом. Какими-то словами и позами я постаралась внушить Цветику, что заказываю не потому, что даром, а потому, что нужно — позарез! Цветик усмехнулся и одной фразой разрушил всю мою игру: «Трудные времена, не откажешь человеку». Мне стало ясно: он не собирался возрождать мастерскую, просто люди стали к нему приходить, собрав в кулачок всю свою наличность нахальства: денег уже не было. «Я столько заработал на реставрации мебели, — сообщил Цветик о своих возможностях в бескорыстном служении, — что мог бы записаться на три жизни».

Раздосадованная неудачной своей игрой, я поднималась по лестнице, ведущей из подвальчика, и вот приостановилась, осознав, что только что говорила с человеком, чувствующим и думающим гораздо глубже меня. Я стала оборачиваться, чтобы по-новому взглянуть на бывшего алкашика. Он решил, что я не прочь еще что-нибудь услышать от него, и сказал: «Придется открыть кибуц.» Я этому сообщению не придала значения, приняв его за обычную еврейскую шутку. Но кибуц-то уже был! Правда, состоял он всего из двух человек.

Вторым членом кибуца оказалась Газэта — та самая, живущая дверь в дверь с Цветиком. «Прибрала к рукам», — было коллективное мнение. Вспомнили, как еще при жизни Марины Газэта, случалось, говаривала: «У меня бы он не пил.»

Тонконогая, хрипатая, курящая папиросы, Газэта, по мнению тех, кто ее знал, не в состоянии была вынести и получаса одиночества. А между тем выпала ей участь старой девы. Ради

своего спасения Газэта взвалила на себя нелегкие каждодневные труды общения. Она была цепкой, прекрасно общалась даже с балкона: «Если вы на базар, купите мне на обратном пути газэту.» Но лезла в чужие уши Газэта не голым нахалом, как справедливо заметил один философ. Кто бы ей позволил? За многие годы проживания в философских местах Газэта сколотила себе хотя и небольшой, но прочный авторитет, который не могла поколебать даже и некоторая ее беззастенчивость: «Вы знаете, почему моя фамилия двойная: Бернштейн-Лонглейбель?» — бывало, бралась она объяснять человеку, явно не готовому к такому разговору. Что тут будешь делать? Не скажешь же Газэте: «Кто же такие слова так громко?» Газэта могла на всю улицу со своего балкона выкрикнуть: «А зохен вэй!» Была, была в ней эта странность вести себя так, как будто евреев никто никогда не убивал. Один скромный, тихий маршал с Рыбалко как-то признался мне, что хочется ему отвести Газэту в сторонку и объяснить, что нехорошо показывать, какая ты шумная и умная. Вглядевшись в тихого маршала, я поняла, что человек этот тоскует из-за еврейского присутствия в мире, и не то мысленно, не то в движении отстранилась от старенького. Брезгливость моя была неконтролируемая, однажды бурно выстраданная: дедуню моего обидели, когда шли мы с ним по парку, взявшись за руки. Мне тоже досталось по моей четвертинке. «Ой! — скажу я вам. — Больно!»

А в общем-то, Газэте ее постоянное присутствие в ушах людей нисколько не вредило. Напротив! Иногда удавалось даже навестить человека в его сердце. Знаете, как это бывает? Посетил, согрел, сам согрелся и — простите, я вас, кажется, утомил. У Газэты это получалось очень просто: всех жителей философской слободы она повязала узами взаимных одолжений. «Я иду на базар! Может, вам что нужно?» Газэта никогда ничего не покупала только для себя: «Я принесла вам пару цыплят, но, если вам не нужно, у меня есть, кому их отдать.» Как тут откажешься от этого еврейского предложеньица! Но, главное, конечно, что эта синенькая курица или кило сосисок куплены специально для тебя. Некоторые это очень ценят. Я, например. Мужу своему я кивала на Газэту: смотри, какие бывают люди! Муж возражал: голый расчет! Я ему предлагала почаще заботиться обо мне, пусть даже и с расчетом.

Догадку о том, что Газэта влюблена была в Цветика с детства, я нахожу весьма правдоподобной. Зато другая догадка — о том, что Газэта ждала Марининой смерти, пришлась мне как-то не по душе. И совсем уж меня возмутил разговор двух философов в сметанной очередюшке о заветном местечке. Тонко посмеиваясь, гегеляшки вслух прикидывали, где оно может находиться, то самое, заветное местечко, куда Газэта заставляет Цветика себя целовать. Я нашла этот разговор обыкновенной антисемитской выходкой. Я еще не знала, что мысль о заветном местечке привязчива.

Вряд ли кому приходило в голову этих двух, не добитых жизнью, почитать человеческим братством. Но вот в один весенний день произошло вселение в кибуц новых его членов — Марьяши, перекрученной декартихи и недокрученного маршала.

Чтобы познакомить вас с этими людьми, мне придется возвратиться к истокам нашей истории.

6.

Марьяша жила на Демокрите, состоявшем всего из трех домов. Не одно уже поколение людей, окончивших нашу школу, дивилось ее безупречному знанию географии. Но слава Марьяши была не только в учительском умении. Марьяша еще и в совершенстве владела ораторским искусством. Силу этого искусства все мы испытали на себе.

Еще Марьяша молчит, но слова, которым предстоит зазвучать, уже проступили на Марьяшином лице — ты негодуешь и радуешься, а чему, еще и сам не знаешь. И вот тут, когда ты уже истомился, одной своей напрягшейся струной вздрагивал несравненный Марьяшин голос. Словами она руководила подирижерски: одни сдерживала левой рукой, другие подстегивала правой; играла она всеми струнами голоса — то выкрикивала, то пускалась в распев, а самое важное сообщала доверительным шепотом. К концу выступления лицо у Марьяши становилось скорбным. Все мы знали, что от этой рыжеволосой, уже немолодой, доброй, добросовестной училки ушел муж. После выступления Марьяша день, а то и два ходила по школе потерянная, не в силах уже изменить скорбного выражения

лица. Однажды я слышала, как одна учительница сказала другой: «Нельзя ей позволять выступать!»

По воскресеньям, растворив окно, Марьяша зазывала в гости двух-трех юных философов, чтобы почитать им из своего дневника. Отловленные за окном слушатели в это время угощались чаем с пирожками. Марьяша волновалась, заглядывала в глаза, сердилась, если кто, увлекшись пирожком, пропускал мимо уха важное место. Марьяшиного чая с пирожками стали побаиваться, в воскресенье мимо ее окон старались не ходить.

Однажды и я, как лучом прожектора, была поймана ласковым Марьяшиным взглядом. Я заулыбалась; пожалуй, слишком уж радостно. На всякий случай: всем было известно, что Марьяша ужасно обидчивая.

— Что, на мою сторону боишься? — тут же полушутливо обиделась Марьяша. Были в ее словах и покачивании головы хитрость заманивателя, одиночество и отчаяние, прикидывающееся легкой грустью. Этим она и брала: жаль становилось рыжеволосую училку.

— Через десять минут отпущу, — сказала Марьяша, поняв, что я уже в сетях.

Говорят, в каждом доме свой запах. В Марьяшиной однокомнатной квартире пахло чистотой — незапыленным паркетом, накрахмаленными салфетками, недавно вымытым кухонным полом и тремя кленовыми пожелтевшими листьями, торчавшими из вазочки. Поселилось в комнате множество кактусов и кактусят. Карты на стене я не обнаружила. А сколько было разговоров о карте! Говорили, что Марьяша у этой карты тренируется. А то как бы она попадала не глядя, через плечо указкой в самое то место, о котором рассказывала?

Над письменным столом висело два портрета — девочки и мужчины. Девочка стояла на травке, приминая ее старинными детскими туфельками. Мужчина же состоял из одного крупного мясистого лица. Я тут же и поняла, что девочки уже нет в живых, а вот лицо все еще говорит, зевает, жует.

Марьяша сразу же нашла нужное место в своем дневнике и прочитала о том, какой я удивительный человек. Меня изумило, что Марьяша заодно и себя нахваливала: «Такого ребенка я не встречала за все тридцать два года своей самоотверженной

работы в школе!» Я разглаживала ладонью платье на коленях и все пыталась соединить в одно такую необыкновенную проницательность Марьяши, когда речь шла обо мне, с таким явным, не стыдящимся себя самовосхвалением.

— Тут только о хорошем, — объяснила Марьяша, уловив каким-то образом мое недоумение. — О плохом я не упоминаю: плохое преодолевать надо.

Еще во время Марьяшиного чтения затеяла я с девочкой на портрете игру, в какую мне приходилось играть в детсадике с новенькими: зыркнешь — и тут же прячешь взгляд, не признаваясь, что интересуешься человеком. Но девочка не хотела игры. Он смотрела на меня настойчиво и старалась мой взгляд удержать. Украдкой, с воровской жадностью я любовалась пухленькими ручками, старинными туфельками на детских трогательных ножках, кармашком на платьице, в который девочка ручонку свою живую засовывала когда-то и доставала недоеденное лакомство. Девочка сердилась на меня за то, что я отвожу взгляд. Нехорошо было так себя вести. Я решилась и посмотрела девочке в глаза. «И я была живой», — сказала мне девочка. И больше уже мной не интересовалась. Теперь уж я старалась поймать девочкин взгляд, но не получалось. Я посмотрела на портрет мужчины: «Этот-то живой!»

— Это моя покойная дочурка, — сообщила Марьяша. — Она в войну умерла от заражения крови. А это мой муж. Он мне не смог простить, что я ребенка не уберегла. Так с фронта ко мне и не вернулся. У него другая жена и двое детей.

Я сурово посмотрела на мордатого: как смеешь ты тут висеть?!

— Что же делать? — взялась смягчать мою суровость Марьяша. — Он натерпелся в войну. Он мне написал, что не может возвратиться в дом, где больше не раздается ее голосок.

Марьяша задумалась над своей жизнью вслух, приглашая и меня принять участие. Из-за этой Марьяшиной привычки вовлекать человека в свои мысли вышла довольно огорчительная неловкость.

— Но ведь я не одна, правда? — как-то уж очень игриво спросила Марьяша. Я и кивнула: правда.

— У меня есть школа, наши дети, которых я учу и воспитываю... — Я и тут кивнула.

— Вот и ты у меня есть.. — предложила мне еще раз кивнуть Марьяша. Я и в третий раз кивнула. Но кивок получился стертый. Марьяша, подметив эту робость кивка, засмеялась.

— Есть, есть! — сказала она, чтоб утешить меня. — Не сомневайся. — И стала подталкивать меня к двери: отпускаю, иди.

Покинула я Марьяшу со вздохом облегчения. Что-то мне чудилось в ней отпугивающе-сомнительное.

Много раз я замедляла шаг у Марьяшиного парадного: а не зайти ли? Но тут же и находила какую-нибудь отговорку. И чем дальше, тем труднее было решиться. А Марьяша ждала, обиженно поджимала губы, когда встречались мы с ней взглядом на уроке. Но я уже умела не замечать того, что могло во мне поколебать хорошее мнение о себе.

Однажды я столкнулась с Марьяшей в книжном магазине. Постояли мы друг против друга. Марьяша первая придумала, как положить конец этому томлению.

— Ой, Настька, — сказала, — что же это делается? Баллами торгуют! За коробку конфет по баллу накидывают! — И умчалась с нарочитой суетливостью от этой напасти.

Шутовство ее оказалось пророческим. Пришло время — и мою медаль, которую я зарабатывала безукоризненным учением, на что-то обменяли. Конечно же, не на коробку конфет.

«Обижена, — установила я. — Нужно ее навестить.»

Визит вышел уж очень странным. Марьяша распахнула дверь и истерично выкрикнула:

— Занята я! Занята!

Она вышагнула на площадку и с беспокойным выражением в глазах стала следить, как я спускаюсь по лестнице. Я кивнула себе горестным кивком: больна. Кивок вышел хитрым. Он укрепил во мне доброе мнение о себе: вот же, не сержусь на Марьяшу.

Накануне Дня Победы Марьяша произнесла перед нами пятиминутную речь. Все вроде бы шло, как обычно, но подметила я, что слова, проступавшие на Марьяшином лице, были совсем другими, не теми, какие она произносила. Лицо было обиженным. Нетрудно было догадаться, что это Марьяша обижается на меня. Закончив свое выступление, Марьяша повернулась — и ушла. Недоуменно посмотрели ей вслед: Марьяша уходила

так, как уходит человек, вконец разобиженный, чтобы никогда уже не вернуться. На следующий день выяснилось, что Марьяша и в самом деле не собирается возвращаться.

Никого в свой дом Марьяша не впускала. Только одну учительницу: уж очень близкая это была душа. Так же, как и Марьяша, эта учительница мрачнела после Марьяшиных выступлений, страдая то ли из-за земных неурядиц, то ли из-за того, что сын ее в тюрьму попал. Этой учительнице Марьяша и объяснила, что не может себя заставить пойти на работу, потому что кое-что поняла: людям надоело видеть ее скорбную рожу. Ей бы умереть — и всем бы стало хорошо. «А что, Марья, скажешь, ты не больна? — спросила учительница. — Пошлика к моему знакомому доктору.»

Знакомый врач учительницы пообещал, что в два счета поставит Марьяше настроение. И как сказал, так и сделал. Марьяша в новом учебном году вернулась на работу повеселевшая и немного пристыженная тем, что плохо думала о своих коллегах и учениках.

Доктор научил ее благоразумию. Теперь Марьяша не только не просилась выступать с речью на школьных торжествах, но даже не брала слова на партсобраниях. Один раз, правда, уточняет устное предание, забывшись, Марьяша подняла руку, но сообразительный председатель Марьяшиной поднятой руки не заметил. Чужие же выступления Марьяша переносила довольно спокойно.

Все, словом, шло хорошо. Не было никаких причин обходить Марьяшу партийными поручениями. Вот и направили ее на атеистический фронт: как раз приближалась Пасха.

7.

В церковь им заходить не велели. Не потому, что не верили в их атеистическую стойкость, а потому, что уважали чувства верующих. При таком уважении вести борьбу было несподручно. Ты стоишь, а ребенок идет мимо тебя с мамой. В чем тут борьба, кто возьмется ответить? Может быть, в том, что ребенок понимает, что ему припомнится это со временем.

Отстаивать передовое мировоззрение Марьяше выпало с той самой учительницей, которая подлечила Марьяшу у своего

знакомого доктора. Эта женщина однажды, встретив меня на улице, взяла да и рассказала, как это все выглядело — Марьяшино непредставимое превращение из коммунистки в православную.

С самого начала мероприятия Марьяша вела себя как-то не по-бойцовски: то улыбнется, увидев знакомого мальчика, то рукой незаметно поприветствует девочку из пятого класса, чтобы, значит, та не пугалась. «Иди, иди», — вот как можно было все это понять. — «Я бы и сама пошла, да мне нельзя.»

Активистки атеистического фронта стояли у храма, а мимо них все шли и шли, вступая в пределы, для них, надзирающих, запретные. Оказалось, это довольно неприятно — быть с боку припека. Марьяшина напарница спохватилась, что та поводит плечами — вроде как озябла; посмотрела на Марьяшу — а она где-то далеко, в воспоминаниях, и только бормотания слышатся: и она когда-то, как эти дети, с матерью и отцом на Пасху в церковь ходила. Лицо у Марьяши стало точь-в-точь таким, каким бывало перед тем, как Марьяша собиралась произнести речь. Напарница испугалась: а ну возьмет и выскажется! Страх этот, конечно, был нелепым. Но, с другой стороны, разве ж напарница не знала, как могут рваться из Марьяши слова? Стало ясно: нельзя было посылать Марьяшу на атеистический фронт. Напарница по борьбе взяла Марьяшину руку и стала шептать успокоительные слова. Марьяша и сама, как могла, успокаивала себя. И все бы обошлось, если бы не одна простодушная четвероклассница. Бывают же такие дети! Девочке этой и в голову не приходило, что она делает что-то не то, идя на Пасху в церковь. (Потом классной руководительнице влетело за эту девочку: всем стало ясно, что никакой атеистической работы в классе не проводилось.) Увидев Марьяшу, девочка радостно бросилась к ней, считая, что и Марьяша тоже пришла на праздник. Девочка проговорила — «Христос воскрес!» — и потянулась к Марьяше вся с губами, уже сложившимися для поцелуя, Марьяша наклонилась к девочке, поцеловала ее, но не отпустила сразу, а придержала у своей щеки. У Марьяшиной напарницы по борьбе мелькнула даже мысль: «А не оттащить ли?» Но поступила эта женщина как раз наоборот: взяла да и вошла в церковь вслед за Марьяшей и девочкой.

Тут пело, дышало в пламени свечек, и лики икон обступали. Марьяшина соратница вместо того, чтобы тотчас же воспрепятствовать идеологической перебежке, занялась своими делами: стала молиться, не крестясь и не кланяясь, за сына. Так все было проделано, чтоб никто придраться не смог. Женщина мне объяснила, что, конечно же, проявила бы большую стойкость, если бы сын не оказался в тюрьме. Неожиданно, в результате лишней бутылки. Очень жаль было сына, который, в общем-то, добрый. Словом, Марьяшина соратница отвлеклась по своим делам; когда же обратилась она к Марьяше, поделать уже ничего было нельзя: Марьяша молилась навзрыд. Многие в храме тоже заплакали, глядя на Марьяшу. Напарница по борьбе поддалась общему настроению, даже не думая о том, можно это или нельзя.

Как-то уж так получилось, что обо всем этом стало известно в школе. На открытом партсобрании женщину спросили: «Ну, а сами-то вы! Сами-то вы почему разнюнились?» Женщина ответила: «Вы бы посмотрели на нее!» И добавила, чтобы всем стало понятно, что мало кому удалось устоять: «Священник тоже плакал!» Парторгша кивнула, приняв это во внимание, но тут же и отчитала женщину за отсутствие бдительности. «Разве вы не знали, в каком душевном состоянии Марипална?» — «Вот и не надо было ее на атеистический фронт!» — нашлась ответчица. Ну да теперь это уже всем было понятно. Марьяшу на этом собрании даже и взглядом никто не потревожил: такая беда стряслась с человеком! Даже и райком дал сострадательную директиву. Но этот прорыв на атеистическом фронте следовало как-то залатать. А как? Марьяша в своем безумии дошла до того, что никакого раскаяния не испытывала. «А вам что за дело? Хотите прогонять на пенсию, прогоняйте!» — вот с каким видом ходила, говорила и даже смеялась Марьяша. Как же так? Ведь если перебежка произошла сама собой, неосознанно, то теперь, осознав, можно было покаяться и вернуться к прежним идеалам! Приняли бы, не оставлять же человека во вражьем стане.

Долго в это поражение учителя и коммуниста в идеологической борьбе не хотели верить. Надеялись, звали, намекали. Кивали! Не раз кивали зазывным кивком: сюда, на это сторону, с нами! Предание говорит, что сам секретарь райкома

однажды вполне явственно кивнул Марьяше с райкомовского крыльца. Но Марьяша и этот кивок замечать не захотела.

Стали Марьяше намекать, что если партбилет ей в тягость, то она его может без лишнего шума положить. Рассказывают, что Марьяша рассвирепела и с непозволительной откровенностью стала допытываться, куда его положить. Куда?! Люди промолчали. Чего уж проще, кажется, сказать: «На стол!» Нет, не пошло это слово, не озвучилось. На глазах у всех само собой оформлялось персональное дело. Нельзя уже было не замечать, что Марьяша по воскресеньям ходит в церковь. У директора и парторга большие неприятности были. С ними ведь как разговаривали? «Вы еще директор? — удивлялись. — Вы нам расскажите, как это вам удалось такой казус в стенах школы вырастить?» Потом и вовсе стали говорить не казус, а кактус. «Кактус, — спрашивали у парторгши, — у вас еще долго произрастать будет? Как это вы там детей в такой обстановке воспитываете?» И все же и директриса, и парторгша вели себя прилично, хотя порторгша и плакала дома после каждой проработки в райкоме. «Что мне с этим кактусом делать?» — пыталась она мужа. «Да брось ты! — отвечал муж. — Не трогай старуху! Мало она натерпелась? Ты что же думаешь, эти, в райкоме, не очумели бы от такой жизни? Подожди — забудется.» Но разве ж такое забывается? Школу трясли, проверяли по два раза в году и каждый раз находили недостатки в атеистическом воспитании. Марьяшу деликатно подталкивали на пенсию: уж как бы всему педколлективу хорошо стало. Марьяша тем не менее продолжала играть с серьезными людьми в свои несерьезные игры. Видно, очень боялась остаться в своей комнатенке без общения, одна. Но после очередной проверки директриса, не вызывая Марьяшу к себе, прямо в коридоре сказала ей: «Вот что, Марья! Нас в покое не оставят. Ты выбирай: либо в церковь, либо на работу.»

8.

На пенсию Марьяшу проводили, как положено. Подарили энциклопедический словарь, зная, как ценит Марьяша в людях эрудицию.

Тут же, чуть ли не с проводов, Марьяша пришла в жэковскую парторганизацию. Секретарем в то время был преемник моего

деда, подполковник в отставке Мигущенко, известный своим громким астматическим дыханием и еще тем, что время от времени говорил или делал что-нибудь такое, что вся парторганизация хваталась за голову. Вот и Марьяшу он встретил непредсказуемо: сердечно, с ласковым сопением. И ни слова о том, что в райкоме ему порекомендовали сказать Марьяше: «Или — или». Марьяша в связи с таким радушием тут же и призналась астматику, что партию покидать не собирается: слишком привязалась, много близких ей тут людей и дел. Мигущенко засопел и зашевелил пальцами. «Жизнь свою по кускам не выбросишь!» — сказала испуганная Марьяша. «Я что, тебя гоню? — успокоил Мигущенко. — Становись на учет. Вместе доживать будем.» Ободренная такой сердечностью, Марьяша тут же сообщила астматику, о каком партийном поручении мечтает. «Обеспечим, — сказал Мигущенко. — У нас всякие поручения есть». Поручение Марьяше выделили на первом же собрании, назвав его, по предложению Мигущенко, воспитательным почином.

Почин этот, представьте себе, тут же и проступил на Марьяшином лице невероятной по хитрости и злорадству гримасой: «А скоро получишь свое!» Парторганизация засмущалась. Вспомнили, что за Марьяшей числится идеологическая перебежка с психиатрическим уклоном. Старые люди посовещались и решили пока бумаг не переоформлять, но и глаз с Марьяши не спускать.

Марьяша приступила к делу с удивительной активностью. Только что видел ты ее на Декарте — и вот она уже на Паскале; и пока ты по магазинным маршрутам движешься, еще раз или два ее встречаешь; то с одним из ее бывших учеников, то с другим. Марьяшино сообщение: «Теперь я свободна и могу за твоим ребеночком присмотреть», — бывшие встречали с недоумением. Дело тут, я думаю, не только в отпугивающей Марьяшиной гримасе. Одна мысль шла всем этим людям на ум: «Опять она со своими пирожками».

Так бы и осталась Марьяшина мечта в сейфе жэковской парторганизации, если бы не одна декартиха. Женщина эта, рассеянно послушав кое-что из того, что говорила Марьяша, тут же сунула в заробевшую Марьяшину руку ручонку своей девочки и побежала по каким-то делам.

Тут стали бывшие присматриваться, как Марьяша гуляет с ребеночком декартихи. Достаточно уже было среди них матерей-одиночек, достаточно переругавшихся с матерями и свекрухами при подсчете, кто на кого больше жизни положил. «Марипална, а моего возьмете?» Марьяша никому не отказывала, только мстительно улыбалась. «Пирожки вспоминает», — догадывались бывшие. Марьяша наслаждалась местью в открытую: на бывших смотрела обидным взглядом, на «здрасьте» отвечала помедлив, вроде как решая: а стоит ли? Обрывала бывших на полуслове, разворачивала за плечи и подталкивала к двери: «Иди, иди — не до тебя!» Но уж ребенка хватала с алчностью, тискала, прижимала к самому сердцу жилистыми руками, целовала чужих ребятишек, как своих, выводила на прогулку и вскоре научилась ими повелевать при помощи одних только жестов. Устраивала Марьяша и празднества с музыкой: среди родителей оказался трубач, который, стоило только Марьяше подать знак, тут же начинал дуть в свою трубу. Вот этот трубач, которому Марьяша по-дирижерски знак делала: «А ну-ка играй!» — и стал каплей, переполнившей чье-то терпение. Так, по крайней мере, сказка говорит.

Появилась анонимочка о том, что Марьяша с родителей берет по восемьдесят рублей, а налог не платит. К Марьяше наведался финотдел. С плутовской своей ухмылкой Марьяша отфутболила его в парторганизацию. Мигущенко показал финотделу бумагу, где было записано, что парторганизация поручает Марии Павловне Кондрашовой, как учительнице на пенсии, шефство над матерями-одиночками и прочими матерями, испытывающими какие-либо затруднения в деле воспитания подрастающего поколения. «Ну, хитра!» — сказал финотдел. «С тобой иначе нельзя!» — обрезал Мигущенко.

Из бывших только с одной декартихи, той самой, что первая доверила своего ребеночка Марьяше, установились у Марьяши добрые отношения. Декартиха эта редко когда появлялась на улице неперекрученная: то чулок на ней перекручен, то пояс на плаще, случалось, даже пуговица не в свою петлю попадала. Но декартиха мало что на себе и вокруг себя замечала. Скажут ей: «Вон очередь за сметаной», — встанет в эту очередь, а не скажут — мимо пройдет. Жила без очередей, но и, сами понимаете, без сметаны. Где ее так перекрутило, я так и не выясни-

ла. Ходил смутный слушок, что отчим, когда была она еще ребенком, то ли изнасиловал ее, то ли пытался изнасиловать. Одно ясно: без причины человека так не перекрутит. Говорят, что перекрученная даже не заметила, как ребенка родила. Ну да ведь чего люди не скажут!

Но то, что декартиха не замечала, как на нее мужчины пялятся, так это уж точно. Такой красивой и не умеющей пользоваться своей красотой женщины представить себе невозможно. Бывало, только познакомят ее с каким-нибудь с блестящими от заинтересованности глазами, как декартиха сразу же и начинает тревожиться, не теряет ли человек попусту времени. Впрочем, кое-кто из философов считает, что декартиха таким вот способом отделывалась от надоедливых ухажеров.

Вечно бежала она куда-нибудь. Бежит, полоротая, а куда, может быть, и сама не знает. На бегу и замуж вышла: неслась по своему Декарту, а навстречу трусцой задумчивый и поджарый, к рукаву нитка пристала, шляпа перекручена — вроде знакомый маршал. «Куда бежишь? — спрашивает этот маршал. — Помнишь меня? Наш класс был рядом с вашим.» — «Да не знаю, куда... — ответила декартиха. — Может, за сметаной?..» — «И я не знаю! — обрадовался маршал. — Побежали вместе!»

Так и бегали. Он задумчивый, она полоротая. Подмывало спросить: квартиры скоро будете соединять? У него на Маршала Рыбалко была кавалерка, у нее на Декарте — двухкомнатная. У людей предложения по обмену были. Но как спросишь, если бегуны эти ни с кем для разговора не останавливаются? Помашут рукой — и дальше!

Выяснилось однако, что маршал и декартиха бегали не просто так. Не от бестолковости они затягивали квартирный обмен. Их устраивала квартира только в одном доме: с золотым подвальчиком. И благодаря своему оптимизму и удачливости они ее получили: как раз произошло последнее, не слишком бурное, усталое уже объяснение между невесткой и свекровью в квартире, что над Газэтиной. Свекровь облюбовала себе маршальскую кавалерку, а невестка с мужем и ребенком поселились в двухкомнатную, сорокадевятиметровую декартихину квартиру с эркером и лоджией, как в свою мечту. Декартиха и маршал взамен этого богатства получили сорок два метра в

трех комнатах. Марьяша же, как выяснилось, вселялась к Газэте — просто так, без обмена: закрыла свою однокомнатную на ключ и пошла.

9.

Мне посчастливилось это увидеть, как он с о б и р а л с я, — кибуц.

Представьте, идут они, катятся спешным шагом, Марьяша, захлопотанная, вроде как под ручку с большущей нейлоновой сумкой; другой рукой под локоток влечет она перекрученную декартиху с поясом, застегнутым на селезенке; за ними поспешал недокрученный маршал с декартихиной дочуркой на руках. Никогда еще люди всем обликом своим не выражали столько взаимной заинтересованности. Особенно сладостно было смотреть, как декартихина малявка обеими руками обнимает за шею недокрученного.

Подъехал грузовик, высунулось из кабины лицо Цветика, просветленное и озабоченное, и начало распоряжаться переноской мебели. Но вскоре перекрыт был Цветикин голос хрипатым Газэтиным. Тут и все прочие вступили натужно и ласково. И пошла перекличка голосов наподобие общения каких-то ласковых уродцев. Впечатление это оказалось стойким. Однажды уродцы даже приснились мне: в мягкой шерстке, они ласкались друг о дружку, угощали один другого сладостями, и корчили уморительно-ласковые рожицы. Да что говорить! Для всех нас кибуц так и остался за пределами естественного.

Как вселялся в дом то ли грузин, то ли грек Папаяни и галычанка с дурковатым лицом, я не видела. А уж как в доме появилась девочка, и вовсе никто не заметил. О девочке только и удалось узнать, что ей пять с половиной. Догадливые догадались: при помощи своих бывших учеников Марьяша раздобыла эту девочку в детдоме. Ну да ведь она давно уже специализировалась по чужим детям.

То ли грузин, то ли грек Папаяни оказался полугрузином-полугреком. Почему-то он не считал нужным людям это объяснить, шутил в нашей очередюшке: мол, подкидыш я, без национальности. У нас не любят, когда от таких вопросов увиливают. У Газэты спросили напрямик: «Этот ваш грек тоже иеру-

салимский?» Газэта, объяснив, посмеялась: «Невежды! Когда же вы научитесь различать?»

Вскоре стало понятно, что полугрузин-полугрек приходится мужем галычанке, а там и новая ясность выплеснулась: галычанка и Папаяни (его уже называли полугреком) удочерили девочку. «Интересно, — задумались философы, — какую национальность дадут?» Газэту и об этом спросили. «Сама выберет, какую захочет», — ответила Газэта. «Ну да, — поддакнули ей, — не свою, а какую выгодней.» Только у одной Газэты и можно было что-то узнать, остальные отмалчивались или отшучивались, а Цветик так даже позволял себе ехидничать. Подзаборнику этого так и не простили: вы посмотрите, каким стал! Зато галычанку приняли приветливо. Еще бы! У многих философов лица сходного выражения. А уж когда узнали, что галычанка кандидат наук, самых трудных, математических, то разлюбезничались: очередь, бывало, займут и позвонят: «Приходите, имеется вакансия.»

Но, в общем-то, философы меня разочаровали. Только и слышно было: кто кого больше надул? Цветик и Газэта, подсчитали, надули всех, поскольку имеют одни приобретения. Марьяша тоже не промах: ничего, кроме одинокой старости у нее не предвиделось. Но, с другой стороны, уверяли проницательные, Марьяша человек подневольный — разве ее не заставляют гладить по голове галычанку, когда на галычанку находит дурь? Присочинили и вовсе несуразную подробность: будто Газэта вместо того, чтобы гладить, постукивает больную женщину по темени костяшками пальцев, отчего галычанка начинает плакать.

Я понимаю этих людей, присочиняющих к сказке злые подробности. Я и сама однажды присочинила.

Мой муж — человек интеллигентный, добрый и порядочный. Со стороны так вообще обояшка. Я не собираюсь здесь его разоблачать, но бывает у него прегадкое выражение лица: да что ты можешь понимать? Ни с того, ни с сего на тебя так посмотрит, а ты как хочешь: хочешь — злись, хочешь — шуткой считай. У меня от этого взгляда сердце заходится. Как-то я взяла да и присочинила такой же взгляд полугреку. Опомнившись, я тут же неправду стерла. А другой бы обнародовал в очередюшке или еще где-нибудь.

Что же до разговоров о групповом разврате, израильской разведке и производстве наркотиков, то все это следствие инфляции — такая фантастика ни в какой сказке не приживается.

Первое недовольство кибуцем подметила я, когда девочка, неизвестно откуда взявшаяся, стала ходить по нашим улочкам, как когда-то ходил Севочка, — с виолончелью. Тут-то и стал накатываться слушок, что кибуцники дурачат людей, изображая то, чего в жизни не бывает, а на самом деле занимаются скупкой краденого. И вдруг в один какой-то на редкость ясный день сами же и посмеялись над своей выдумкой. Тут в юмористическом приливе и переименовали кибуцников в кибуциков. Ай да философы!

С нехорошими посерьезневшими лицами стали кивать на Цветика: ну и походочка, а? Цветик ступал твердо, с вызовом: мы играли и будем играть на виолончели! Да и голову он держал слишком уж по-еврейски. Его довольно мирно спросили: «Тебе что, одного виолончелиста мало?» — «Так это же без талонов, — ответил Цветик. — Хочешь, и ты поиграй.» Похоже, это предложение Цветика кое-кого увлекло. Уж очень много мне попадалось в то время на наших улочках людей с каким-нибудь музыкальным инструментом. Тогда, в начале бедствия, и мой муж вдруг принес домой мандолину: потренькал, побренчал и повесил на стену. Я и посмеялась: подходящий инструмент, чтобы в очереди за хлебом наигрывать.

Что еще вам сказать о музыкальных увлечениях? В общем-то, люди, которым хочется раз-другой пройтись по улице с инструментом, безобидны. Опасны другие: те, кому хочется играть на виолончели, но у них не получается. Такой вот неудачливый музыкант сделал меня своим человеком в кибуце.

10.

К тому времени начали уже меня у з н а в а т ь: вон она, наша паскалиха: неплохо лечит и на лапу ни-ни! Как же мне нравилось, что я ни-ни! Вот и Цветик примчался ко мне, а не к другому какому-нибудь философу с медицинским образованием: «Посмотрите нашу девочку!»

У ребенка была рассечена бровка. Я заметила, что глазик под этой бровкой, правый, косит. Бездарность, сообщили мне на

разные голоса, толкнула ребенка с лестницы. Его перевели с виолончели на контрабас — вот он и возненавидел виолончелистов. Я тут же и перестала вслушиваться в это многоголосье: разве я не знала повадки завистников? Люди эти для расправы ищут внешне справедливые мотивы, а не толкают с лестницы. Разве не так, с п р а в е д л и в о у меня, круглой отличницы, была отобрана медаль? Самым непереносимым были справедливо-торжествующие лица завистников.

Но вот вздрогнула девочка. Ах! А разве я не вздрагивала! А мои ночные рыдания! А моя откуда-то вдруг взявшаяся привычка кусать губы! Как же мне захотелось вылечить эту родственную душу, жертву зависти! Я велела раздеть ребенка и стала осматривать позвоночник. «Зачем это вам понадобилось?» — долдонил хрипатый голосище. «У нее не в порядке провода?» — догадался один из говорунов.

Я не стала объяснять, что подозреваю родовую травму: я и сама-то испугалась своей проницательности. Гораздо позднее я поняла, в каком состоянии девочкин позвоночник: это могло окончиться инвалидностью. Я принялась подчитывать литературу, проконсультировала мою Анечку у специалистов. Меня удивило, что никто из них не смог нащупать пальцами то, что нащупала я. Одни специалисты пожимали одним плечом, другие — обоими. Я, размяв пальцы, взяла да и вправила девочке позвонок, второй в шейном отделе. Так я выбрала свою специальность в медицине. Я даже пожила несколько дней у старухи-костоправа. Старуха подтвердила, что есть у меня этот дар от Бога: чуткие пальцы.

Теперь-то ко мне со всей Украины приезжают. А недавно я вылечила девочку из Кемерово.

На лечение Анечки ушло у меня два месяца. Я приходила в кибуц, как к себе домой. Я стала гладить по голове галычанку. Как тут пройдешь мимо, если человек смотрит на тебя с мольбой: пожалей! Я не знала, что галычанка возвращает поглаживания. Вот уж испугалась я, когда в первый раз, подойдя ко мне сзади, она коснулась моей головы. Стало мне известно, что в другой ее жизни были у нее муж и две дочери. Выражение лица, если судить по фотографиям, было совсем другим.

С полугреком, разъяснилось, галычанка познакомилась уже в кибуце. Но с о б и р а т ь эту пару маршал начал еще до

вселения. Собирая однажды со Цветиком какой-то прибор, маршал спросил: «А почему бы мне не помочь вам собрать кибуц?» Собирая же кибуц, сообщил, что занят сборкой очень неплохой пары для кибуца. Он — недокрученный человек, большой оптимист и затейник. Благодаря ему, нашему маршалу, даже удалось защитить докторскую. Правда, как бы полулегально, в России, в институте, которым руководил один тоже недокрученный директор, поклявшийся помогать любому недокрученному. Тем, кто нашего маршала собирался перекрутить, пришлось отступиться.

С чего же начал сборку маршал? С того, что стал рассказывать галычанке, с которой вместе работал, о своем товарище по шахматному клубу, которому никак не удается приласкать жену в свое удовольствие: жена не позволяет ему гладить себя по голове. Ниже — можно, еще ниже — что ж, пожалуйста, а по голове не смей. Мог ли такой человек, как полугрек, спросила Газэта, жить в такой обстановке? У рассказчицы подрагивали губы от переизбытка юмора. Газэта изобразила, как полугрек два года озирался, пока не понял, что надо бежать. «Впрочем, — рассудила Газэта, — может быть, он это сообразил бы и раньше, если бы было, куда бежать: квартирный вопрос очень влияет на сообразительность.»

Разговоры о том, что полугрек не только гладит галычанку по голове, но и целует в заветное местечко, меня уже не возмущали и не смешили. Как-то уж так вышло, что мысль о заветном местечке все больше захватывала меня скрытой своей диалектикой. Как мне хотелось объяснить мужу, что заветное местечко ничуть не заземляет жизни. Наоборот! Но я боялась, что самолюбивый этот человек решит, что я хочу его унизить.

Однажды, когда мы были ласковы друг к другу, я все-таки решилась: «Говорят, у галычанки есть заветное местечко.» Он не знал, что это такое. Пришлось объяснить.

— Ах, вот что тебе нужно! — обрадовался муж. Он всегда радуется, когда ему кажется, что докопался он до моей не слишком-то положительной сути.

Я ответила, что мне ничего не нужно от человека, который жмотится в том, в чем еще ни один мужчина не жмотился. Это слово «жмотится» — откуда оно у меня взялось?

— Ну, хорошо! — сказал он. — Где ты хочешь его иметь?

Я показала.

— Я так и думал, — сказал он саркастически. — Ты его имеешь.

Дня через два он мне заметил, что я умею добиваться своего. Мне захотелось в кибуц. Уже это стало привычкой: чуть дома нелады — я в кибуц. Давно уже он стал для меня мысленным прибежищем: уйду, в крайнем случае.

На этот раз я пришла в самое предгрозье. Марьяша стояла на площадке первого этажа; как вышла на мой звонок, так и осталась на возвышении, просясь в мою память. Как было не принять? Удивительно изменился весь облик моей училки: морщинки новых чувств преобразили лицо, в глазах стекленело и итожилось.

Дом стоял без единого шороха. В полном этом беззвучии Марьяна спустилась ко мне в «холл», сооруженный из столика и кресла (тех самых, легендарных, с витыми ножками) и положила на мрамор тюбик помады. Ее движения и выражение лица были наставническими, я не помнила ее такой в классе. Она объяснила, что помада для декартихи: у нее, у бедной, перед грозой тоска, и ей хочется что-нибудь украсть. Вот и надо, а то еще в магазин или к соседям побежит. Я кивнула: понимаю. Но она не поверила в мою понятливость, сурово и покровительственно поглядывала на меня, пока мы поднимались по лестнице.

Мы сели рядышком на диване. Вступил и стал нарастать шум падающей воды, ожили скрипы и шорохи. Мы прислушивались: не перекрученная ли крадется? И вот я уловила одно вслед за другим — мягкое движение ее шагов за дверью и чувство в себе, какое испытывала несколько раз в своей жизни к отцу, маме, один раз к бабушке. Впервые я сочувствовала человеку из н е н а ш е г о дома без покровительства и высокомерия, чистым сочувствием любви. Непредставимая радость была обещана мне, если сумею я поверить.

Но тут же и проступила горечь мимолетности. «Каторжный труд души и больше ничего», — разочарованно довершила я свои догадки о кибуце. Сама-то я не была перетруженной. Сказочная моя потребность лечить бесплатно сменилась потребностью в заработке, такой естественной потребностью

брать. А что было делать, если папина академическая пенсия не тянула и на три килограмма колбасы?

Я поднялась и стала уходить к своим заботам. Я не забыла посмотреть на столик — помады на мраморе не было. Марьяша простилась со мной со значительностью последнего прощания — я тут же отрешилась. Момент умиления миновал. Была ясность и досада, таящаяся от себя самой: «Что-то здесь не так.»

11.

Теперь мы жили в купонной республике. Расплачивались и брали плату нехотя. На производство купонов пошла, кажется, вся наша изобретательность и нехитрое умение хоть что-то предпринять. Остальное шло само собой, естественным ходом бедствия. Тут и стал кибуц особенно приметен своей неподвластностью всеобщему упадку. Даже в очереди за хлебом кибуцики не стояли, выпекая свой.

Последний некибуцный человек в доме, то ли Чухно, то ли Чухнов попался на продаже самогона. Прославленного мастера в ы с т а в и л и с почетом, обнародовав по телевидению его автопортрет. Кибуцики что-то предприняли и оставили за собой освободившийся подвал. Там Цветик с недокрученным наладили производство платформ для обуви. Можно было послушать, как штампует машина.

На ее стук завернул в кибуц Мигущенко. Посопел, осмотрел мастерские, отобедал из Марьяшиных рук. «Построили все-таки коммунизм!» — установил он.

Посмеялись над этой инспекцией от уже не существующей партии. И вдруг заговорили о кибуце с напором, какого раньше не было. Говорили так, как будто это от них зависит, быть кибуцу или нет. Несло кого куда: упоминались и израильская разведка и групповой разврат. Но все это были разговоры на день. Удар же нанес спиноза, живший напротив кибуца. Был он как нарисованный, особенно если отставлял ногу или воздевал руку; мужественное лицо его запоминалось с одного взгляда. В прежние времена, становясь в альбомные позы, преподавал этот спинозушка историю КПСС в торговом институте, а уйдя на пенсию, стал заместителем Мигущенко в парторгнизации. Рассказывают, что в августовский день, когда

партии не стало, рыдал он в обнимку со своим секретарем. Но по одной ли партии он плакал?

Стариковская эта жизнь, все об этом знали, катилась не теми путями, какие человек замысливает для себя. Крючок за крючок, слово за слово старик влез в такую склоку с зятем, что опротивели они друг другу. Зять взял да и запретил старику общаться с внучкой: «Делай, как я говорю, если не хочешь иметь разведенную дочь!» Зять умел убивать. Старик очень боялся дочерниного одиночества. Достаточно он настрадался из-за того, что она долго оставалась незамужней. Пришлось спинозе смотреть на внучку издалека. Насмотрится, бывало, а потом придет домой и все подробно жене расскажет и даже покажет, как внучка в песочнице играла. Жена, больная ревматизмом, только этими рассказами и жила.

Спиноза этот, заметили философы, не умел отвлечься мыслью от кибуциков. Хлопнет, бывало, ладонью по почтовому ящику, что у нашего молочного магазина, и, тоскливо глядя на людей, провозгласит: «Вот бы этому ящику ноги — вылитый Цветик!» Очередюшка и хохотнет, признав сходство.

Кибуц владел стариком, все притягивая его к окну. А смотреть было на что: то Марьяша, то Цветик, то Газэта получали удовольствие от чужих детей: раз с виолончелью пройдут, в другой раз без виолончели, но с какой-то вещицей, которую можно из рук в руки передавать. Передают они эту вещицу друг другу без всякой надобности, и по всему видно, что на твои беды им начхать.

Однажды старик увидел, как Газэта трусит под дождиком в обнимочку с двумя кибуцными девочками. Схватил он свой зонтик, выскочил на улицу и успел пройтись с кибуцными существами, защищая их от дождя. Немного странно это было, но уж ничего плохого. Но спиноза наш, установила сказка, затосковал после этой прогулки. Прошелся он до угла и там, у «продтоваров», поделился со знакомым декартом своим открытием: если к кибуцику внимательно присмотреться, то обязательно увидишь, что придурь в его глазах всего-лишь маскировка, в глубине же таится и проблескивает насмешка. Тут старик и почувствовал, как созревают плоды на деревьях. Тряхнул он волосами, как бывало делал в молодости в важные моменты жизни, вернулся домой, сел у окна и взялся подсчи-

тывать по вдохам и выдохам штамповочной машины доходы кибуца.

Появился в кибуце инспектор, тот самый, который еще за Марьяшей охотился. Оказалось, кибуцики платили налог как раз от того количества продукции, какую указал умный спиноза. Инспектор был изумлен. Но ведь маршал, которого чуть не перекрутили, и Цветик, побывавший в тюрьме за так, были самой жизнью обучены этой удивительной точности.

В один из самых достопамятных дней нового нашего существования, когда цены на хлеб прыгнули так высоко, что старухи с плачем покидали магазин, не решаясь с первого раза купить, увидели мы обеих кибуцных девочек, идущих за руку, с виолончелями — как в кино. Всколыхнулись голоса и понеслись в такие выдумки, каких мне еще слышать не доводилось. Говорили, что девочка постарше, моя Анечка, — дочь подзаборника, другая же, неулыбчивая, — так та дочь недокрученного от спившейся женщины, которую в психушку упекли.

Я встревожилась, при встрече спросила Цветика: «Зачем вам понадобилась еще одна виолончель в этой ужасное время?» Цветик стал оправдываться: во всем виноват Шницер. Он готов сделать музыкантами весь кибуц.

Кто не слышал о Шницере, создающем из способностей хороших музыкантов? Он учил играть на виолончели Севочку, теперь вел обеих кибуцных девочек. Репутация его была умопомрачительной, сам Ростропович в свое время принимал его учеников в консерваторию с зеленым светом.

Конечно же, Шницер был виноват! Увидев Цветика с младшенькой (они пришли забрать старшую с занятий), он сердито закричал: «Не подходите ко мне с этой девочкой: я и так вижу, что это не музыкант!» — «Разве я не еврей? — спросил меня Цветик. — Мне предложили бороться за ребенка.» — «Что можно увидеть в этом темном коридоре?» — возразил Цветик. Нельзя сказать, что старый капризник обрадовался девочке: он вывел ее из класса, где заставлял стучать по стулу, и сказал с неподражаемой интонацией: «Это не значит, что я могу вам что-то обещать.» Через некоторое время он сообщил: «Кто бы мог подумать? У нее активный звук.» Что такое «активный звук», никто не знал. Подозревали, что старый еврей пользуется этими словами, чтобы придать загадочности своему делу.

Но все знали, что если он находит у ребенка «активный звук», учиться тому в консерватории.

Рассказав эту историю, Цветик развел руками: что же нам делать? И впрямь: что бы кибуцики ни предпринимали, все теперь было им во вред; каждый их поступок был на виду, обсуждался, и всеобщее мнение было в пользу тех, кто этим мнением владел. Нашелся, правда, один маршал в моей очередюшке, чье мнение было в пользу кибуциков. Этому маршалу тут же припомнили, что свой партбилет он поздновато положил, так поздно, что можно было уже и не класть; было еще известно очередюшке, что этот человек два раза ездил в Польшу обогащаться. «Так это же хорошо! — возразил маршал. — Обогащение теперь поощряется. Плохо, что мало кому удается обогатиться.» И маршал стал грустно жаловаться очередюшке: вот и у него, маршала, с обогащением ну ни хрена не выходит. И как это некоторым людям удается? Скопи он немного долларов, разве бы стоял он три часа за баночкой сметаны в этом изысканном обществе?..

Маршал этот и подтолкнул меня расстаться с моей очередюшкой. Те самые доллары, о которых он рассуждал, у меня водились: люди стали понимать, что лечиться за купоны некрасиво.

12.

В этот бедственный период я зажила уверенно. Я не скрывала, что считаю себя главой семьи. У меня появилась привычка смотреть, как в доме едят. Папа съедал за завтраком бутерброд с сыром и выпивал чашку кофе. Я подсчитала, что его пенсии хватило бы на двенадцать таких завтраков. Я вслушивалась в его прихлебывания. Расти в собственных глазах приятно. Я перестала вспоминать об украденной у меня медали и сразу сделалась улыбчивой. Теперь я забочусь о том, чтобы ко мне легко было обратиться. Мне нравится быть профессиональной во всем.

Замужеством же своим я не вполне удовлетворена. Я терзаюсь, что наши с мужем отношения — голая физиология. Но проходя мимо очередюшки, я догадываюсь, как много на свете людей, лишенных этой самой голой или хоть какой-нибудь

«физиологии», — надо бы радоваться, что это унижение тебе не выпало. По правде говоря, расстались мы вовремя: очередь становилась все раздражительней и агрессивней, готова была вытолкнуть того, кто не сумел как следует прилепиться, злонамеренно наступала на ноги и выставляла локти.

Те, кто занимался подогреванием национальных чувств, теперь поддерживали их кипение. С отменной фантазией живодеров был сочинен лозунг: ПОТОПИМ МОСКАЛЕЙ В ЕВРЕЙСКОЙ КРОВИ. Высоко его держали на демонстрации. Психопаты становились вождями. Видела я одного витийствующего: весь он состоял из диагноза, а вот доктора на него не нашлось. Узнала я от Марьяши, что Анечка, девочка, которую я вылечила, тоже захвачена этим кипением: присматривает себе национальность. Выбор большой, но стоящих национальностей не так уж много, объяснила ей учительница. А лучше бы вообще придерживаться пока что той, которую она, учительница, девочке в журнал записала. Можно ли было промолчать, если снаружи ребенок был вылитой славянкой, скорее всего украиночкой, а просился в гречанки? Хотя конечно, кто их разберет, детдомовских детей.

Анечка моя стояла на своем: хочу быть гречанкой! Учительница схватилась за трубку: «Что за легкомыслие в национальных делах?» — «А в чем дело? — спросил ее хрипатый голосище. — Разве это запрещено?» Пришлось наставнице и меня вовлечь в свою благотворительность: повлияйте!

Я пошла в кибуц. Поговорив с Анечкой, я поняла: ей нравилось слово «гречанка». Наверное, многое в своей жизни она будет выбирать ухом. Я предложила Газэте: пусть она в журнале остается украинкой, а все, что пришло на слух, отзвучит в конце концов. Газэта повела себя уж очень непримиримо: «Ребенок хочет быть гречанкой!» Марьяша поддакнула. Это была первая моя размолвка с кибуциками. Я сказала: «Пока! Теперь следите, что будет дальше.»

Я оказалась права. Мальчишки в классе стали донимать Анечку за то, что отказывается она быть украинкой. С этого времени кто-нибудь из кибуциков дежурил в школе. У них был раскладной стульчик, им разрешали его оставлять в учительской. Анечка стала проблемой общегородской, о ней заговорили в очередях. Кибуц теперь весь был на виду. Что хорошего?

Навестили мою Анечку три гречанки, прослышав о ней. Принесли подарок, какую-то вещицу, изготовленную греческой любящей рукой. Потрепали девочку по голове и, поговорив с полугреком, ушли. После этого в философских местах стала гулять сказочка о том, как на улице Армянской двое грузин чуть не подрались с греком, доказывая, что Анечка только наполовину гречанка, наполовину же грузинка.

Я и о себе задумалась: а кто же я такая? Через деда я соприкасалась с евреями. Четвертинка эта, еврейская, была весьма весомой и притягивала меня ко многим евреям. Некоторые из них узнавали меня по моим миндалевидным глазам и соглашались даже признать своей. Впрочем, это было во времена, когда никакого пайка за принадлежность к евреям не предвиделось. По бабушке с маминой стороны была я русской. Была я русской же по языку и в паспорте. В минувшую эпоху это было удобно. Теперь же стала я ловить на себе вопросительные взгляды: ты чья же будешь? Куда спокойней бы мне стало жить в нашем беспокойном городе, если бы я себя объявила украинкой по четвертинке, которая мне досталась от папиной украинской половинке. Что же до второй папиной половинки, польской, то лучше делать вид, что ее вовсе нет. Ох, пожалею я еще, что пролетарии всех стран не соединились!

Впрочем, какой-то интернационализм все-таки в жизни утвердился. Кибуц в конце концов навестили рэкетиры. «Интернациональная бригада», — сообщил мне Цветик: двое говорили по-русски, двое — по-украински, а один свирепо шутил, похоже, с каким-то кавказским акцентом. Люди эти были дошлые — осмотрели штамповочный механизм, прикинули и установили месячную плату за производство предметов потребления. Вступительный взнос равнялся трем месячным. Уходя, спросили: «Которая тут гречанка?». Скептически осмотрели. «Мы любим все народы,» — сообщили. «И тебя будем любить, — пообещали. — Когда вырастешь.» — «Но можем и раньше полюбить, — добавил кавказец, — если вовремя платить не будете.»

13.

После этого штамповочная машина постукивала еще с месяц. Но однажды я спохватилась, что не улавливаю больше ее рит-

ма. Тишина была наподобие пустоты. «Отторглись!» — произнеслось во мне. Так оно и было: запертые двери, ни единого отклика. Я стала звонить философам, чьи телефоны у меня были. Никто ничего не знал.

Ночью, после того, как я раззвонила, что в доме никого нет, у кибуциков кто-то побывал. Взломанная дверь была притворена первооткрывателями — видимо, рассчитывали вернуться в следующую ночь. Я вошла в дом. Квартиры стояли распахнутые, что-то уже таскали из них, кое-что бросили, не дотащив до дверей. Я тут же, прямо из кибуца, позвонила в ЖЭК и попросила позвать к телефону одну маму, ребеночка которой я успешно лечила. Мама, голос которой еще не остыл от благодарных чувств ко мне, поделилась со мной всем, что знала: квартиры в доме давно приватизированы, есть человек с доверенностью, он занимается их продажей. Она может узнать, где этого человека найти. Я сказала, что меня интересуют жильцы. «Вряд ли что получится, — ответила мой информатор. — Я по лицу паспортистки вижу, что ей хорошо заплатили.» Но она все-таки попыталась. Вернувшись, она подтвердила: «Ей очень хорошо заплатили: она даже не помнит, выписывала ли таких».

Злей обиды мне никто не наносил. Так вот отстраниться и уехать! Ну хоть что-то я для них значила? Совершенно неожиданно я успокоилась на мысли: «А кто ты, собственно, такая, чтобы к тебе бегать прощаться?» Очень хорошая, успокоительная мысль.

Недели через три после всех этих событий я получила письмо от кибуциков, вернее, два письма в одном конверте: Марьяшино и Цветика. Марьяша писала, что к девочкам их уже вплотную «подобрались». У Анечки, оказалось, есть мама, которая вдруг заинтересовалась своим ребенком, выйдя замуж за бизнесмена. Бизнесмену нравится мысль в о з в р а т и т ь девочку: средства позволяют. Младшенькую тоже лучше было «припрятать»: сплетни, вопросы: кто твой папа? Цветик по-своему освещал их бегство: трех виолончелистов нам бы ни за что не простили. Он просил меня навещать Маринину могилку. Кибуцики даже не стали извиняться, что не сообщают обратного адреса. «Вы же понимаете, что иначе нельзя,» — написал Цветик. Только и всего. Я повертела конверт, прочи-

тала надписи на штампах: письмо было отправлено из нашего же города. Кому-то все-таки д о в е р и л и с ь.

И тут же, в день получения писем, узнала я, что нет больше в нашем городе Шницера: исчез, не оставив никаких следов. Двухкомнатную свою квартиру поручил кому-то продать. Соседи говорили, что у старика были две хорошие вещи: виолончель и австрийский костюм, все же остальное удивительное барахло. Вспомнили, что у музыканта давно уже были нелады с дочерью. Понятно: кибуцем прельстился! Когда теперь в нашем городе заиграют на виолончели?

Вновь заработала штамповочная машина в бывшей мастерской прославленного художника. Управлялись с ней два довольно недобрых молодца: черные кожаные куртки вместо лиц.

Ожил вскоре и второй полуподвал; сообщила мне женщина из бывшей моей очередюшки, что там наносят рисунки на майки.

Жизнь в дом возвращалась поэтажно.

Стали доноситься голоса из офисов, что в бывших Газэтиной и Цветиковой квартирах: кто-то закрывал и растворял окна, кто-то дышал сигаретой. Верхние же помещения были глухи и молчали, однажды даже показались мне таинственными.

Но нет. Какие уж там тайны? Просто спиноза обзавелся своими массажными кабинетами. Массажистки все были молоденькие, картинно и как-то профессионально ставили ноги. С подмигиванием вначале говорили, что в этих массажных кабинетах все наоборот: массажи делают массажисткам. Потом перестали и подмигивать и говорить. Эка невидаль!

Кибуца как не было. Удивительно быстро стал он неземным воспоминанием. «Что это было, — вопрошают философы, — еврейский обман или русское чудо?» А я, верите ли, однажды ночью всплакнула: нет больше сказок на нашей земле!

ИНТЕРВЬЮ ЭДУАРДА ЛОЗАНСКОГО ЖУРНАЛУ «КОНТИНЕНТ»[1]

— Эдуард Дмитриевич, в 77 и 80 номерах «Континента» опубликованы доклады и интервью десяти видных политических и общественных деятелей, писателей и деловых людей в рамках открытого форума «Настоящее и Будущее России». Среди них есть и Ваше выступление в июне 1993 на симпозиуме в Российской академии наук. Однако оно довольно короткое...

Э.Л. Естественно, — я же был одним из организаторов этого симпозиума, было бы неэтичным вместо короткого вступительного слова читать большую лекцию и отнимать время у других...

— Тем не менее я попросил бы Вас более подробно изложить Ваше мнение о событиях, происходящих в нашей стране. А для начала — хотя бы два слова о самой встрече в Российской академии наук: кому принадлежала идея этой встречи и, если не секрет, кто ее финансировал?

Э.Л. Хорошо, — тогда сначала немного истории. Я уже упоминал как-то, что рассматриваю этот и, как надеюсь, последующие подобные симпозиумы как логическое продолжение встреч и дискуссий о судьбах России в рамках Кельнского Клуба, которые мы организовывали в середине восьмидесятых годов с тогдашним главным редактором «Континента» Владимиром Максимовым. В этих беседах вначале принимали участие лишь политически активные эмигранты, но затем, с приходом Горбачева, к нам постепенно начали присоединяться и российские (в прошлом советские) участ-

[1] Эдуард Лозанский — член редколлегии «Континента», физик, окончил Московский инженерно-физический институт и аспирантуру Института атомной энергии им. Курчатова. После защиты диссертации работал в МГУ, в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне и в Бронетанковой академии им. Малиновского. В 1975 году был уволен со всех должностей за высказывание «крамольных» мыслей о внешней и внутренней политике КПСС. В 1976 году эмигрировал в США. В настоящее время живет в Вашингтоне, является президентом Американского университета в Москве и компании «Русский Дом».

ники. В 1990 году состоялась первая такая — объединенная — встреча в Риме и, наконец, в 1993 году — симпозиум в Москве, в Российской академии наук.

— Прошу прощения за назойливость, но кто все же финансирует эти встречи? Ведь собрать такое количество участников со всего света требует немалых затрат. Всем хорошо известно, кто финансировал различные форумы так называемых «Борцов за мир» или «Против агрессии американского империализма». Ну, а кто же тот благодетель, или благодетели, которых волнует судьба России?

Э.Л. Я понимаю Ваш интерес: памятуя, что кто платит, тот и заказывает музыку, Вы хотели бы узнать, какие цели преследуют таинственные финансовые воротилы, спонсирующие эти форумы? И раз советские пропагандистские мероприятия финансировали ЦК КПСС и КГБ, то, по логике вещей, в нашем случае это, конечно, ЦРУ. И даже если я скажу Вам, что ЦРУ здесь ни при чем, попробуй проверь, так это или не так. Правду знает, конечно, лишь бывший КГБ или нынешний ФСК... Тем не менее я заверяю Вас, что среди десятков тысяч секретных документов, переданных в Москву чиновниками этой почтенной организации и содержащих информацию об операциях ЦРУ на советском фронте, вряд ли найдется отчет о финансировании Кельнского Клуба. Разве лишь в порядке юмора. Если же серьезно, то в догорбачевские времена нашими главными спонсорами были фонд Аденауэра, журнал «Континент» (включая личные средства Максимова) и Американский университет в Москве (в те годы называвшийся «Институт Андрея Сахарова»). В свою очередь, «Континент» финансировался немецким издателем Акселем Шпрингером, а Институт Сахарова — различными американскими фондами, симпатизировавшими диссидентскому движению. Встречу в Риме финансировал Американский университет в Москве и газета «Комсомольская правда». И, наконец, Московский форум — Американский университет в Москве и Российская академия наук. Насколько мне известно, как «Комсомольская правда», так и Академия тратили при этом не свои бюджетные средства, а пожертвования от российских бизнесменов. Поэтому я бы сказал, что встречи в Кельне финансировались идеологическими противниками коммунизма, а в Риме и Москве — нынешними и бывшими гражданами России, пытающимися найти оптимальные пути ее возрождения. Разумеется, я не противопоставляю эти две группы, напротив, они существенно пересекаются.

— Чтобы покончить с этим, может быть, бестактным, но согласитесь, важным для русских читателей вопросом, скажите, пожалуйста, а откуда у Американского университета в Москве такие средства на финансирование подобных мероприятий? Ведь Вы вдобавок уже пять лет содержите школу бизнеса, пожалуй, единственную в Москве, где обучение бесплатное. Нам, россиянам, движущимся к рынку, не очень понятно, кому это нужно — учить бесплатно наших молодых ребят и девушек, искать для нас пути выхода из кризиса. У Вас что — в Америке своих проблем нет?

Э.Л. Проблем у Америки действительно очень много: расовые столкновения, преступность, наркомания, распад семьи и многое другое. Как ни странно это может прозвучать, но наибольшей проблемой я считаю растущее проникновение социалистических идей в экономику и государственное управление США. Но это тема для отдельного большого разговора. Существует, конечно, и такая важнейшая проблема, как безопасность страны, которая неразрывно связана с теми процессами, которые происходят сейчас в России. Если Россия станет свободной и демократической страной, то это хорошо не только для ее граждан, но и для американцев. Именно поэтому Америка пытается оказывать России помощь в осуществлении реформ. Возможно, эта помощь невелика и часто неэффективна, но желание помочь есть, и оно довольно искренно. Теперь — откуда деньги у университета. Мы являемся частной организацией и не получаем никаких дотаций или грантов от правительства, хотя не могу сказать, что мы будем возражать, если таковые будут предложены. В 1988 году, после того как, образно выражаясь, университет вышел из подполья и перешел на легальную работу в России, мы перестали рассчитывать на поддержку фондов и научились зарабатывать деньги сами, т.е. на собственном примере показали рыночную экономику в действии.

— Перед тем как спросить, как же Вам это удается, не взимая платы за обучение, хотелось бы узнать вот что: а как технически состоялся Ваш выход из подполья?

Э.Л. «Подпольная» работа заключалась в том, что едущих в Москву в командировку или туристами профессоров различных университетов, в основном из США и Франции, мы просили прочитать также лекции на частных квартирах. Мы не успели организовать слишком много таких поездок, так как в конце 1988 года я получил приглашение из Академии наук приехать в Москву для переговоров о совместной учебной, научной и издательской деятельности. Не

могу не признаться, что ехать было довольно страшно. В моем воспаленном воображении возникали не самые оптимистические картины того, как меня встретит бывшая родина. Однако соблазн был велик. Увидеть своих друзей, Москву после двенадцатилетней разлуки... Надо это пережить, чтобы понять, насколько сильно было желание вернуться. Я поехал с женой, и в Шереметьево нас не повязали и не повезли в Лефортово, а пригласили к академику Юрию Осипьяну, впоследствии избранному вице-президентом Академии наук СССР и вошедшему в президентский совет Горбачева. Мы договорились с ним об издании популярного журнала «Квант» на английском языке в Америке, об организации летних российско-американских физико-математических школ и об учреждении Американского университета в Москве. С тех пор наша жизнь изменилась коренным образом. До этого я работал профессором физики и математики в одном из университетов Вашингтона, а вся деятельность, связанная с Россией, носила, как говорят, общественный характер, т.е. в свободное от основной работы время. Теперь же все рабочее время плюс внерабочее плюс время отпуска так или иначе у меня связаны с Россией.

— А как же быть с проблемой проникновения социализма в Америку? Не считаете ли Вы, что борьбе с этим явлением нужно также уделять некоторое время?

Э.Л. Я понимаю, что в Вашем вопросе есть элемент иронии, но, к сожалению, эта проблема представляется мне действительно довольно серьезной. Так как времени на все не хватает, то мой вклад в борьбу с социализмом в Америке выражается в скромной финансовой поддержке избирательной кампании тех политиков, которые, я уверен, способны решать эту проблему лучше меня.

— Ну, а теперь, чтобы покончить с финансовой стороной, несколько слов о том, как работает рыночная экономика в Вашем университете.

Э.Л. Как Вы правильно отметили, обучение российских студентов у нас бесплатное и, кроме этого, мы оплачиваем стажировку десяти лучших студентов в США. Средства на это берутся из прибыли, заработанной созданной при университете компанией «Русский Дом», базирующейся в Вашингтоне. Эта компания оказывает консультационные услуги американским и европейским компаниям, интересующимся бизнесом в России; главным образом, мы подыскиваем для них надежных российских партнеров.

— Я полагаю, это непросто?

Э.Л. Несмотря на распространенное мнение, созданное, кстати, не без помощи нагнетающей истерию российской прессы, что здесь царит поголовная коррупция и честных людей практически не осталось, нам удается для каждого клиента и без особых трудностей находить высокопрофессиональных и порядочных партнеров. А одной из главных задач Американского университета я и считаю выращивание как можно большего числа таких людей.

— Вы сказали — одной из задач, а есть ли у Вашего университета какая-то фундаментальная цель?

Э.Л. Разумеется, есть. Надеюсь, что мне удастся ее выразить, не впадая в патетику. Это — внести посильный вклад в дело превращения России в процветающее государство с развитой экономикой и демократическим общественным устройством.

— Что ж, цель благородная, только вот беда: никто, кажется, не знает, как этой цели достичь, а многие отчаялись и вообще не верят, что в этой стране такое вообще возможно.

Э.Л. В этом я и вижу одну из главных проблем. С отчаявшимися людьми много не построишь. Нужен упорный труд десятков миллионов людей, чтобы сдвинуть эту махину с места. Причем труд не во имя «светлого будущего» наших детей и внуков, а для того, чтобы его плодами воспользовались те, кто трудится сейчас. И я бы не стал все валить лишь на коммунистическую систему, воспитавшую безынициативных людей, не способных ориентироваться в обществе свободной конкуренции. Действительно, коммунистические отношения — как противоречащие человеческой природе, — должны были насаждаться кнутом и страхом и требовать от членов общества полного подчинения диктату КПСС. Желая того или не желая (пусть рассудит история), через пень-колоду, с крутыми поворотами и отступлениями, но именно Горбачев запустил тот процесс, который избавил народы империи от страха и даровал им свободу. Это произошло в самом конце восьмидесятых. КПСС еще существовала, а страх начал уже исчезать, и можно было начинать строить свободное общество. Даже если вести отсчет от августа 91-го, то все равно за три года свободы при разумной политике можно было даже в такие короткие сроки добиться более эффективных результатов. К сожалению, было допущено много ошибок, хотя я не отрицаю и многие положительные моменты, которые перечисляет Гайдар в своем интервью «Континенту», опубликованном в восьмидесятом номере. В результате, как верно отмечает Буковский, несмотря на то, что в России еще нет настоящей демократии и рыночной экономики, обе

идеи оказались во многом дискредитированными среди большой части населения.

— В чем Вы видите главные ошибки российского руководства?

Э.Л. Прежде чем ответить на этот вопрос, сразу хочу сказать, что критиковать легко, и каждый, кто критикует, должен подумать, а чего бы он сам добился, оказавшись на месте Ельцина, Гайдара или Черномырдина? Не было бы все еще гораздо хуже, чем сейчас? Поэтому моя критика является вполне доброжелательной. Я пытаюсь объективно оценить достигнутые результаты и найти оптимальные пути выхода из кризиса, — разумеется, с помощью экспертов. Кстати, об экспертах. Здесь, по моему мнению, Гайдар допустил одну из главных ошибок, выбрав не самых лучших из имеющихся в наличии — как в России, так и на Западе. И не мешало бы ему пригласить в команду творцов экономического чуда в странах Юго-Восточной Азии. Второй стратегической ошибкой является то, что Гайдар и Черномырдин не захотели или не сумели существенно уменьшить роль государства в экономике. В отличие от коммунизма, свобода и рыночная экономика являются естественными формами жизни и деятельности человека. Свободная экономика, свободный обмен идеями, свобода выбора своих политических руководителей создают творческую обстановку во всем — науке, производстве, сельском хозяйстве, культуре и т.д. В экономической жизни страны роль правительства должна быть весьма ограниченной, выполнять, в основном, лишь функцию неназойливого регулятора и механизма тонкой настройки, определяя размеры налогов (минимально возможных) и процент федерального банковского кредита. Государство должно также заботиться об охране окружающей среды, защите конституционных прав своих граждан и, разумеется, их защите от внешнего врага. Говоря о защите прав, я бы хотел обратить особое внимание на защиту маленького человека или, если угодно, малого бизнеса. Если большой бизнес найдет достаточно средств, чтобы защитить свои права и интересы, когда государство это сделать не в состоянии, то малый бизнес без защиты обречен. Причем я не говорю, что это должно делаться из любви к ближнему или ради других высоких гуманитарных идеалов. Речь идет о чисто прагматических целях, о том, что выгодно для экономики, а значит и для всего общества. Рыночная экономика — это не гигантские корпорации или заводы и фабрики с десятками тысяч рабочих, а прежде всего огромная сеть малого бизнеса. В США, например, лишь 10 процентов экономики приходится на крупный бизнес, а остальные девяносто

на малый — маленькие частные предприятия, фермы, бензоколонки, магазины, рестораны и т.д. Если бы они оказались без защиты государства, то экономика страны рухнула бы, несмотря на Ай-Би-Си, Дженерал Моторс и Дженерал Электрик.

Еще одной крупной ошибкой правительства и президента является та, что до сих пор в России не проведена земельная реформа и земля не приватизирована. Ссылки на бывший и нынешний парламенты не оправданы. У Президента и при бывшем Верховном совете, да и сейчас есть достаточно власти, чтобы провести такую приватизацию. Если провести историческую параллель, то в середине прошлого столетия, когда обсуждалась отмена крепостного права, лучшие умы того времени предупреждали об опасности освобождения крепостных без земельных наделов. Теперь, в конце двадцатого века, весь народ России отпустили на волю, в свободное рыночное плавание, не только не снабдив людей в трудную дорогу какой-либо собственностью, но и обесценив большую часть имевшихся у них сбережений. Не говоря уж о вопиющей несправедливости, это просто неразумная экономическая политика. Пока земля не является рыночным товаром, невозможно говорить о рыночной экономике. Опять же обращаясь к опыту США, напомню, что еще в прошлом веке там раздавали большие участки земли всем желающим. На каждом таком участке ставился столбик, претенденты усаживались в повозки, отводились на достаточное расстояние и по команде мчались наперегонки. Прибывшие к столбикам первыми получали эти участки во владение. Просто и по тому времени, пожалуй, справедливо. Сильные захватывали лучшие участки, шел естественный отбор лидеров формирующейся частной собственности. Я не призываю к тому, чтобы повторить такой эксперимент, в настоящее время все можно сделать более цивилизованно, например, с помощью компьютерной лотереи, но я считаю, что было бы весьма разумно, если бы граждане России наряду с приватизационными чеками получали во владение, скажем, один гектар земли, который они могли бы возделывать, строить там дом или фабрику, продавать или обменивать, покупать другие участки у тех, кто не хочет возиться с землей, и т.д. Более того, вместе с участком земли государство должно было бы быть готово выдать заем под низкий процент для разворачивания фермерского или другого хозяйства.

Во-первых, это была бы своего рода репарация за все те страдания и муки, которые перенес российский народ за годы коммунистической тирании, за гражданскую войну и раскулачивание, за большой

и малый террор, за страх и унижение нескольких поколений. Во-вторых, если подсчитать, то вся эта розданная земля составила бы меньше одной десятой всей территории России, и потому риск был бы невелик. И, в-третьих, что самое главное, розданная земля заработала бы как рыночный товар. Владельцы должны были бы платить налоги, может быть, для начала небольшие, чтобы дать им возможность развернуться. Государство или местные власти получали бы также определенный процент с каждого акта купли-продажи, как это и происходит сейчас во многих других странах.

— Ну а где гарантия, что в результате вся эта земля не окажется в руках иностранцев?

Э.Л. Давайте рассмотрим самый экстремальный вариант, когда десятую часть территории России скупают иностранцы. Это ведь не означало бы, что эта земля перестает быть российской и присоединяется к Америке, как Аляска. Разумеется, вся эта территория остается российской, но ее покупка иностранцами означала бы вливание десятков триллионов долларов в российскую экономику только от продажной цены и налогов, которые теперь должны были бы платить новые владельцы. Не говоря уже о том, что, купив эту землю, пресловутые иностранцы должны были бы делать новые инвестиции, чтобы пахать, сеять, строить и т.д., надеясь, в конечном счете, оправдать свои расходы и получить прибыль. А это означало бы существенный рост рабочих мест для граждан России. В конце восьмидесятых годов японцы начали скупать большие участки земли и здания в США. Это вызвало тревогу местных «патриотов», кричавших об опасности японского нашествия. Что же оказалось на самом деле? Японцы заплатили за землю огромные деньги и продолжают до сего времени платить налоги, прекрасно работающие на экономику США и, возможно, помогшие этой экономике выйти из очередного спада, а территория США не уменьшилась ни на один квадратный метр. Поэтому вряд ли стоит опасаться скупки земли иностранцами, так как, скорее всего, желающих, к сожалению, будет не очень много.

Чтобы закончить с перечислением ошибок, хочу с горечью отметить, что ни с одной из вышеперечисленных задач российское правительство полностью не справилось. Оно попрежнему командует, а не регулирует, налоги высоки, количество чиновников не уменьшается, а растет, окружающая среда в катастрофическом состоянии, маленького человека никто не защищает и земля не приватизирована.

Справедливости ради, я бы хотел также упомянуть и о достижениях российского руководства, главным из которых является то, что Россия вот уже более трех лет, если отсчитывать от августа 91-го, а на самом деле еще дольше, продолжает оставаться свободной страной. Это своего рода рекорд, который дает нам всем надежду на конечный успех и желание работать для его достижения. Несмотря на всю «дикость» нынешнего российского рынка и несовершенство государственных структур, само существование свободы позволяет включиться саморегулирующим механизмам рыночной экономики и дать простор для творческой инициативы в бизнесе, культуре, политике и других областях общественной жизни. И сейчас мы уже наблюдаем некоторые положительные сдвиги.

— Вы сказали — есть желание работать. Расшифруйте, пожалуйста, что Вы имеете в виду, в какой деятельности Вы видите нашу надежду на выход из кризиса. Как Вы сказали, критиковать легко, а можете ли Вы что-нибудь предложить, есть ли у Вас, помимо критики, и созидательные идеи?

Э.Л. Я не претендую на роль того, кто, выражаясь словами Галича, «знает, как надо». Я вижу свою задачу в том, чтобы дать современное образование в области экономики и демократического управления государством как можно большему количеству молодых россиян. Вот пусть они, получив это образование, и решают, что делать. Конечно, это долгий путь, но другого я не знаю. Политикам имеет смысл обещать благоденствие через 500 дней или немедленно после избрания. Я же не претендую ни на какую выборную должность. Куда будет идти Россия, какие экономические и политические решения она будет принимать — решать ее гражданам. Но в настоящее время здесь просто нет критической массы образованных людей, способных выдвинуть несколько десятков тысяч лидеров. Вы понимаете, что я говорю не о научно-техническом или литературно-музыкальном образовании. С этим, слава Богу, в России все в порядке. Речь идет об экономистах, менеджерах, финансистах, специалистах по экологическим проблемам, адвокатах, работниках федеральных и муниципальных служб, знающих, как работать и принимать решения в условиях свободного общества без подсказки или окрика горкома партии. В США практически в каждом учебном заведении есть школы бизнеса, управления, юриспруденции и т.д., выпускающие ежегодно сотни тысяч новых специалистов. Мне очень жаль Гайдара, ведь когда он проводил свои реформы, — где была его армия молодых энергичных образованных людей, которые могли осуществлять эти реформы на местах?

— Итак, Вы видите выход из кризиса через образование, подготовку сотен тысяч специалистов рыночной экономики, которые выдви-

нут из своей среды лидеров, способных решать крупные задачи. Это прекрасно, но получается, что Вы опять отодвигаете наступление «светлого будущего» для следующих поколений, так как сколько же нужно лет, чтобы дать современное экономическое или юридическое образование такой большой массе людей? Сколько человек учится, например, в вашей школе бизнеса при Американском университете в Москве — наверное, не больше ста? И если собрать школы бизнеса по всей России, то, я думаю, мы насчитаем всего тысяч сорок студентов, может быть от силы пятьдесят. А если даже больше, то все равно многие из этих, растущих как грибы так называемых школ бизнеса вряд ли могут похвастаться таким же высоким уровнем преподавания или технической оснащенности, чтобы подготовить тех людей, о которых Вы говорите.

Э.Л. Совершенно верно, но тут на помощь могут прийти новейшие технологии телекоммуникаций, которые, в принципе, позволяют студенту, живущему практически в любой точке земного шара, слушать лекции и задавать вопросы ведущим профессорам или экспертам из США, Европы, Японии, России да и любой другой страны, где таковые эксперты имеются.

— Вы говорите о прямой телевизионной трансляции лекций? Но как будет осуществляться обратная связь? И потом — это же все безумно дорого и кто за все это будет платить? Что — опять американский дядюшка?

Э.Л. Во-первых, в данном случае речь идет не о телевидении, а о новом устройстве, соединяющем в себе элементы телевизионной, компьютерной и телефонной связи. Студент может слушать лекции с помощью видеокассет, компьютерных дисков и, в некоторых случаях, прямой трансляции. Общение, вопросы и ответы, а также тестирование осуществляются посредством электронной почты. Все это не так дорого, как Вам кажется. В Америке, да и в некоторых других странах все более популярным становится метод дистанционного обучения. Здесь уже накоплен большой опыт, и надо быстрее внедрять его в России. Кстати, именно в России очень сильны традиции заочного образования, а то, о чем мы с Вами говорим, и есть глобальное заочное образование с применением новейших технологий. Разумеется, Америка не будет, да и не должна оплачивать все счета. Дело образования российской молодежи должно рассматриваться правительством как одно из стратегических направлений. Инвестиции при этом довольно быстро окупятся за счет вливания в экономику в короткие сроки большого количества образованных людей. В принципе мои расчеты показывают, что этот проект может

стать самоокупаемым за счет небольшой платы за обучение, которую будет вносить каждый студент. Если мои цифры верны, то, я думаю, нам будет нетрудно привлечь к этому делу не только государственные источники финансирования, но и частный российский и американский капитал.

— Таким образом, Вы хотите расширить Вашу скромную деятельность Американского университета в Москве на территорию всей страны?

Э.Л. Совершенно верно. Но я бы не хотел, чтобы этот проект рассматривался лишь как Американский университет в России. Одновременно это будет также Российский университет в Америке, где ведущие российские профессора будут читать лекции по определенным направлениям, представляющим интерес для американских студентов, используя ту же компьютерную сеть.

— Ну что ж, Ваши идеи, как всегда, носят масштабный характер, и дай Вам Бог добиться успеха. Если позволите, один прямой вопрос. Зачем Вам все это нужно? Насколько мне известно, Вы успешный бизнесмен и вполне обеспеченный человек. Зачем Вам заботиться о судьбе России и тратить свои деньги на образование нашей молодежи, тем более, что эта страна доставила Вам столько страданий, разлучив Вашу семью на шесть лет?

Э.Л. Я попробую ответить на Ваш вопрос без высокопарных слов о любви к России и патриотизме. Что касается прошлых обид, то я не злопамятен. Все мы, гонимые и гонители, были жертвами чудовищной системы. Я давно простил своих мучителей и надеюсь, что Бог их также простит. А этой деятельностью я занимаюсь прежде всего потому, что мне это интересно. Мне приятно приезжать в Россию, встречаться со своими друзьями. Вы же знаете, что друзья подбираются в молодости, а моя молодость прошла здесь. Потом преподавательская деятельность — это мое призвание, и что может быть лучше для преподавателя, если его аудитория не сто студентов, а сто тысяч? С чисто прагматической точки зрения, являясь гражданином США, я понимаю, как важны для Америки процессы, происходящие в России. Я прожил сравнительно большие отрезки времени как в России, так и в Америке. Мне кажется, что я понимаю эти две страны, и мне хотелось бы, чтобы они были, если не друзьями, то, по крайней мере, достойными партнерами. Возможно, это несколько романтическое и никогда до конца не осуществимое пожелание, но я не думаю, что оно полностью иллюзорно, поскольку обе страны нуждаются друг в друге — как в экономическом, так и в геополитическом плане. И никуда им друг от друга не деться.

— Последний вопрос. Кого бы Вы хотели видеть президентом России в 96-м году?

Э.Л. Видите ли, поскольку я не являюсь российским гражданином, то мне не хотелось бы никоим образом вмешиваться в предвыборную кампанию. Тем более, что в настоящее время я не могу назвать ни одного российского политика, который отвечал бы моим представлениям о достойном кандидате для такой великой страны. Впрочем, до выборов еще далеко, так что не исключено, что такой или такая еще появятся. Тем не менее признаюсь, что в свое время я пытался уговорить Владимира Буковского вернуться в Россию и включиться в политическую деятельность. Я уверен, что если бы он вернулся в конце восьмидесятых или даже после августа 1991-го и стал активным политиком, то имел бы в 96-м году неплохие шансы повторить успех Вацлава Гавела и Леха Валенсы. К сожалению, Буковский до сих пор живет в Кембридже, и пока на российской арене я не вижу политика, равного ему по биографии, образованию, международной репутации и интеллекту.

— Но ведь, согласно статье 81.2 новой российской конституции, Буковский не имеет права даже выставлять свою кандидатуру. Насколько я помню, эта статья гласит, что на должность президента не могут претендовать те, кто жил за границей последние десять лет.

Э.Л. К сожалению, Вы правы. На Западе те, кто знаком с российской конституцией, не сомневаются, что статья 81.2 писалась специально для того, чтобы исключить Солженицына и Буковского из списка претендентов. Разумеется, эта статья противоречит всем общепринятым нормам государственного устройства, тем более демократического. Запретить выставлять свою кандидатуру тем, кто всей своей жизнью доказал преданность этой стране и внес огромный вклад в дело ее освобождения от коммунистической тирании, по меньшей мере безнравственно. И по логике иронии эта статья косвенно подтверждает мою правоту. Ее авторы скорее всего так же считали, что Солженицын и Буковский могут победить на выборах, поэтому-то и не нашли ничего лучшего, как лишить их возможности вообще выставить свою кандидатуру. Впрочем, теперь это уже чисто академический вопрос. Солженицын всегда отвергал и продолжает отвергать идею баллотироваться на пост президента, а Буковский, к сожалению, упустил свой шанс. Тем не менее, будучи по натуре оптимистом, я уверен, что Россия в 96-м году выберет достойного президента. Мне остается только надеяться и мечтать, что когда-то президентом России станет выпускник моего университета.

Беседу вел Григорий Амирджанов

«ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ УКАЗАНИЕ...»

Вокруг дела Пастернака. По страницам сборника «Le dossier de l'affaire Pasternak. Archives du Comite central et du Politburo. Collection Temoins/Gallimard». Paris. 1994

Люди старшего поколения помнят газетные полосы конца 1958—начала 1959 года, заполненные письмами, в которых от имени народа гневно клеймился «поэт-отщепенец», «внутренний эмигрант» и «предатель интересов Родины» Борис Леонидович Пастернак.

Так одному из величайших современных русских поэтов, почти не известному, однако, широкому кругу читателей своей страны, пришлось расплачиваться за шаг, который он совершил два года назад, грубо нарушив все мыслимые законы поведения советского литератора: летом 1956 г. Пастернак «самовольно» разрешил итальянскому издателю-коммунисту Джанджакомо Фельтринелли опубликовать свой роман «Доктор Живаго», долго лежавший без движения в редакциях двух толстых московских журналов. О том, что он вполне осознавал степень риска, на который пошел, свидетельствуют строки из письма к издателю: «Если его (романа — *ред.*) публикация здесь, обещанная многими нашими журналами, задержится, и Вы ее опередите, ситуация для меня будет трагически трудной»[1].

Именно это и случилось. Журналы отвергли рукопись, была остановлена подготовка романа Гослитиздатом. А в ноябре 1957 г. книга вышла по-итальянски и вскоре — на многих других европейских языках.

Первое время, однако, факт передачи рукописи романа за границу не предавался в СССР широкой огласке. Но 23 октября следующего 1958 года Борису Пастернаку была присуждена Нобелевская премия «за выдающиеся достижения в современной лирической поэзии и на

[1] «Новый мир». 1988. № 6. С. 245, 246.

традиционном поприще великой русской прозы», — событие, которое было немедленно расценено советским руководством как глубоко враждебный в отношении СССР акт, направленный международной реакцией на разжигание «холодной войны». И вот здесь уже на провинившегося писателя была обрушена вся мощь партийно-советского пропагандистского аппарата. С Пастернаком расправились по всем правилам, характерным для периода так называемой хрущевской «оттепели».

В последние годы появился ряд работ самого различного жанра, в которых российские и зарубежные свидетели и участники событий, основываясь на памяти, используя газетные материалы, документы ЦГАЛИ и личных архивов, рассказали много нового и поучительного об этом периоде в жизни Пастернака. Для большинства авторов не было секретом, какая организация диктовала решения Союзу писателей и резолюции собраниям «широкой советской общественности». Некоторые прямо называли Отдел культуры ЦК КПСС, а в качестве главного действующего лица — заведующего отделом Д.А. Поликарпова.

В январе 1994 г. французское издательство «Галлимар» выпустило сборник «Материалы по делу Бориса Пастернака», на страницах которого мы находим более ста с лишним документов из архивов бывшего ЦК КПСС (АП РФ[1] и ЦХСД[2]) за период с августа 1956 по сентябрь 1985 г.: записки, справки отделов ЦК КПСС с резолюциями и визами секретарей ЦК, решения Комиссии ЦК по идеологии, постановления Секретариата ЦК и, наконец, высшего органа ЦК КПСС — его Президиума[3]. Эти документы высвечивают многие скрытые ранее стороны антипастернаковской кампании, а в какой-то мере и вообще позволяют лучше представить себе «технику» действий партийного руководства страны в аналогичных ситуациях.

Сборник, выпущенный французским издательством, был подготовлен в Москве сотрудниками названных архивов, но, к сожалению, издать его в России на родном языке до сих пор не представилось возможным, и книгу удалось опубликовать только в Париже, в

---

1 Архив Президента Российской Федерации.

2 Центр хранения современной документации.

3 Кажется, мало кто из биографов Пастернака подозревал, что с октября 1958 по февраль 1958 Президиум ЦК КПСС пять раз рассматривал вопрос «о клеветническом романе» и судьбе его автора *(ред.)*.

переводах документов на французский язык. Лишь некоторые из включенных в сборник документов увидели свет по-русски в журнале «Источник»[1], пока французское издание готовилось к печати.

«Континент» предлагает вниманию читателей еще серию документов, опубликованных в этом сборнике по-французски, — они печатаются, естественно, по русским подлинникам, хранящимся в АПРФ и ЦХСД. Для публикации отобраны документы, показывающие, как вела себя в «деле» Пастернака так называемая «писательская общественность», — аспект темы, приобретающий сегодня, когда мы пытаемся нелицеприятно разобраться в нашем прошлом и оценить, в частности, ту роль, которую сыграла в этом прошлом советская интеллигенция, особое значение.

Читатель найдет здесь документы разного характера и разных жанров — от решения расширенного заседания партийного бюро Литературного института имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР в связи с «поступком писателя Б. Пастернака»[2] или Записки Отдела культуры ЦК КПСС (в которой заведующий Отделом Д.Поликарпов подробно докладывает ЦК КПСС о выступлениях советских писателей на собрании партийной группы Правления СП СССР и на совместном заседании Президиума правления СП СССР, бюро Оргкомитета СП РСФСР и Президиума правления Московского отделения СП) до личных писем в ЦК КПСС К.Федина, К.Симонова, Н.Лесючевского и Б.Полевого.

Среди этих последних особый интерес представляет, несомненно, письмо К. Симонова (док. № 1), из которого становится совершенно очевидным, что знаменитый отрицательный отзыв на рукопись «Доктора Живаго» пяти членов редколлегии «Нового мира», направленный в форме личного письма Пастернаку в сентябре 1956 года, был ничем иным, как заказной рецензией, написанной «по инициативе и указаниям» Отдела культуры ЦК КПСС и одобренной М.А. Сусловым и П.Н. Поспеловым. Читатель увидит, что уже тогда, в конце августа 1956, а вовсе не в связи с «антисоветской шумихой», поднятой за рубежом после присуждения Пастернаку Нобелевской премии, как это заявлялось в 1958 г., предусматривалась публикация этого отзыва «в случае надобности». А то, что «случай» этот не за горами, было тоже известно. 25 августа 1956 г. КГБ информировал

---

[1] Источник. 1993. № 4. С. 103—112.

[2] Этот документ, кстати, не вошел во французский сборник, — он был обнародован ЦХСД уже после того, как сборник был опубликован.

ЦК о передаче Пастернаком рукописи «Доктора Живаго» итальянскому издателю, и уже 31 августа мнение о романе в ЦК КПСС было составлено. Об этом свидетельствует впервые опубликованная во французском издании справка, подписанная руководством Отдела культуры ЦК КПСС: «Роман Б. Пастернака является злостной клеветой на нашу революцию и на всю нашу жизнь. Это не только идейно порочное, но и антисоветское произведение, которое безусловно не может быть допущено к печати». Так что писателям оставалось только облечь обговоренное содержание в литературную форму. Кроме самого Симонова, как явствует из его письма в ЦК КПСС, особую роль в составлении «отзыва» сыграл К.А. Федин. Остальные новомировцы, видимо, были просто статистами[1].

Впрочем, искренность некоторых литераторов, подписавших письмо Пастернаку, вряд ли может быть подвергнута серьезному сомнению. Пастернаковская система жизненных ценностей была для них попросту и непонятна, и неприемлема. Недаром тот же Симонов, лично, как известно, не пожелавший принять участие в развернувшейся позже разнузданной травле поэта, мнения своего о романе Пастернака не изменил тем не менее до конца своих дней. Другое дело — писательские выступления осени 1958 г. — после того как «Ату его!» во всеуслышание прозвучало с самой высокой трибуны. Здесь уже границу между действительными убеждениями «солдат партии» и рвением идеологических лакеев, принимающих к неукоснительному исполнению указание своих хозяев, провести много труднее. Показательно в этом отношении письмо в ЦК КПСС автора «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого (док. № 2), которое вряд ли нуждается в комментариях. «Хотелось бы получить указание», — этим все сказано.

Особая роль, как уже сказано, выпала на долю К.А.Федина. Беспартийный писатель старшего поколения занимал ведущее место в Союзе писателей, многие годы считался другом Пастернака. И именно ему ЦК поручил уговорить Пастернака отказаться от премии (док. № 3). Заметим, что на участии Федина в этой акции особенно настаивал М.А. Суслов. В трагический момент, когда доведенный до отчаяния угрозой высылки Пастернак готов был покончить жизнь самоубийством, Федин умело провел «предохранительную» опера-

---

[1] См. об этом О.В. Ивинская. Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М. 1992. С. 246, 247.

цию, связав имевшую большое влияние на Пастернака О.В. Ивинскую с Поликарповым (док. № 6). Результатом явились два известных письма Пастернака — Н.С. Хрущеву и в редакцию газеты «Правда», благодаря которым Пастернак остался жить в России, но которые стоили ему, надо полагать, нескольких лет жизни и приблизили его кончину. Впоследствии В.А. Каверин бросил Федину тяжелое обвинение в том, что тот превратился в послушного, далекого от подлинного искусства чиновника. Касаясь поведения Федина в «деле» Б.Л.Пастернака, Каверин писал: «Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобой. Может быть из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?» (письмо В.А. Каверина К.А. Федину от 25 января 1968 г. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 60. Д. 61. Л. 43. Копия была прислана из КГБ в ЦК КПСС для информации).

Для царившей в тот момент в литературной среде атмосферы характерен и эпизод с И.Г. Эренбургом. Маститому писателю, уважаемому члену бюро Всемирного совета мира, редактор предлагает вычеркнуть имя Пастернака из статьи, готовящейся к переизданию. Эренбург возмущен, он категорически отказывается. Однако, поразмыслив, предлагает компромиссное решение (док. № 8). Директор же издательства считает своим долгом немедленно информировать ЦК КПСС о «непонимании» Эренбургом политической ситуации.

Старый, опытный, не раз битый Эренбург и позднее не вышел за пределы дипломатической уклончивости, пытаясь в интервью иностранному журналу списать дело с «Доктором Живаго» всего лишь на «холодную войну» (док. № 11). Зато классик советской литературы М.А. Шолохов чувствовал себя явно более свободно и решил, что может позволить себе вольность. На вопрос корреспондента газеты «Франс Суар» о «деле Пастернака» Шолохов заявил, что, по его мнению, «коллективное руководство Союза советских писателей потеряло хладнокровие» — надо было опубликовать роман Пастернака: «требовательные» советские читатели сами нанесли бы «поражение» этому «бесформенному произведению», не заслуживающему «названия романа» (док. № 9).

Но даже и столь невинная вольность распалившегося классика, не забывшего, однако, засвидетельствовать, что, с его точки зрения, «творчество Пастернака в целом лишено какого-либо значения»,

вызвало у его партийных хозяев резкое недовольство. И потом: что это он подразумевает под «коллективным руководством Союза»? Отдел культуры ЦК КПСС реагирует немедленно: послу СССР во Франции предлагается сделать писателю соответствующее внушение...

Из публикуемых документов следует, что никто из советских литераторов не осмелился поднять тогда голос в защиту Пастернака. Самые порядочные решились лишь не прийти, не выступить, не подписать, не вычеркнуть...

Все предлагаемые вниманию читателя документы, за исключением письма Федина[1], печатаются на русском языке впервые. Их публикацию, которая, надеемся, пробудит интерес и наших русских издателей ко всему корпусу документов, изданных во Франции, подготовили Т.В. Домрачева, Е.Д. Орехова, И.И. Шевчук. Надеемся также, что увидит свет по-русски и обширное введение, написанное к французскому сборнику госпожой Жаклин де Пруайяр, — известной французской слависткой, которая была большим другом Пастернака.

Е. Орехова

1. Письмо К.М. Симонова в ЦК КПСС 7 декабря 1957 г.[2]

В связи с выходом в Италии романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»[3], прошу рассмотреть следующее предложение:

В первых числах сентября 1956 года пять членов редакционной коллегии журнала «Новый мир» (Федин, Лавренев, Агапов, Кривицкий, Симонов), прочитав предложенную журналу рукопись романа Пастернака, написали автору письмо, в котором подробно излагались мотивы безоговорочного отклонения рукописи. Письмо это, объемом в тридцать пять страниц, было написано с широкой аргументацией

---

1 См. Литературная газета. 1992. 26 февраля.

2 В ЦК КПСС получено 9 декабря 1957 г.

3 Роман Б.Пастернака «Доктор Живаго» в переводе П. Цветеремича был выпущен миланским издательством Дж.Фельтринелли в конце 1957 г.

всех политических пороков романа с тем, чтобы в случае появления романа в заграничных издательствах можно было бы при помощи публикации этого письма предпринять одну из ряда возможных контрмер. Сама идея написания письма возникла при совместном обсуждении этого вопроса с товарищами Поликарповым и Сурковым[1] в Отделе культуры ЦК КПСС.

Сейчас роман только что опубликован в Италии, и почти одновременно, в декабре, в Венеции состоится очередная встреча «Европейского общества культуры», на которую приглашены, и очевидно поедут, наши писатели.

Можно предполагать, что на этой встрече наши противники постараются активно использовать против нас выход романа Пастернака на итальянском языке.

Мне кажется, что в этих условиях было бы целесообразно, чтобы во время этой встречи один из беспартийных писателей старшего поколения, подписавший в свое время письмо Пастернаку, К.А. Федин или Б.А. Лавренев, передал от себя, для опубликования в итальянской коммунистической или социалистической печати, письмо Пастернаку, выражавшее мнение о его романе, сложившееся уже полтора года назад у нескольких известных советских писателей.

Мне кажется — было бы особенно хорошо, если бы это мог сделать К.А. Федин, в свое время не только участвовавший в коллективном редактировании этого письма, но и своей рукой вписавший в него несколько наиболее резких страниц[2]. Такая мера, наряду с использованием собственных писем Пастернака, просившего издательство отложить печатание романа[3], могла бы и помочь работе наших

---

[1] Поликарпов Д.А. — в 1955—1962 возглавлял отдел культуры ЦК КПСС; Сурков А.А. — советский поэт, в 1953—1959 первый секретарь правления Союза писателей СССР.

[2] См. об этом: К.Симонов. Уроки Федина. 1978. — Сб.: Воспоминания о Константине Федине. М. 1981. С. 192, 193.

[3] В феврале 1957 Пастернак и Гослитиздат просили Фельтринелли задержать издание романа до его выхода в СССР. Тот согласился ждать до сентября. 21 августа и 23 октября того же года Пастернак подписал предложенные ему отделом культуры ЦК КПСС тексты телеграммы и письма к Фельтринелли, в которых он категорически возражал против публикации романа по находящейся у издателя рукописи и требовал ее возвращения для доработки. Действия эти послания не возымели, т.к. работа по подготовке издания к этому времени зашла уже очень далеко, а кроме того Фельтринелли им попросту не поверил, т.к. имел с Пастернаком специальную договоренность вести переписку только на французском языке.

товарищей во время встречи в Венеции, и вообще иметь положительный для нас резонанс.

Мне так же придется быть в командировке во Франции в конце декабря, ко времени выхода там романа Пастернака. Быть может целесообразно и там передать наше письмо для опубликования во французской печати.

В 1956 году письмо, о котором идет речь, было направлено в ЦК КПСС, его читал Отдел культуры ЦК КПСС, читали секретари ЦК КПСС товарищ Суслов и товарищ Поспелов, и содержавшаяся в письме критика романа Пастернака была сочтена правильной.

Копия находится в Отделе культуры ЦК КПСС[1]

К.Симонов
Главный редактор журнала «Новый мир»
7 декабря 1957 г.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 37. Л. 24—25. Подлинник.

2. Письмо Б.Н. Полевого в ЦК КПСС

17 сентября 1958 г.[2]
Секретно
ЦК КПСС

Через писателей-друзей Запада Союз писателей СССР уже давно был осведомлен, что связанные с Соединенными Штатами реакци-

---

[1] 23 октября 1958 (в день присуждения Пастернаку Нобелевской премии) предложение о публикации письма редакции «Нового мира» в «Литературной газете» и «Новом мире» было внесено М.А. Сусловым на обсуждение Президиума ЦК КПСС. Отдельным пунктом оно вошло в принятое в тот же день постановление «О клеветническом романе Пастернака» (см.: Источник. 1993. № 4. С. 104). В «Литературной газете» опубликовано 25 октября, в «Новом мире» с предисловием от редакции — в № 11 за 1958 г.

[2] Дата получения документа в ЦК КПСС. На нем пометы: «Тов. Ярустовскому Б.М. Тов. Фурцева просит срочно подготовить предложения отдела. 19/IX. Н. Калинин». «ЦК КПСС. Необходимые меры в связи с кампанией реакционной печати за рубежом вокруг романа Б. Пастернака и присуждением ему Нобелевской премии Отделом культуры ЦК КПСС были приняты. Зав. сектором Отдела культуры ЦК КПСС Б. Ярустовский. 10/XI-58 г». «Тов. Фурцева Е.А. ознакомилась. С мерами, принятыми Отделом ЦК КПСС и Союзом Сов. писателей, согласна. Н. Калинин 12/XI-58». Н.С. Калинин — помощник секретаря ЦК КПСС Е.А. Фурцевой.

онные силы, действующие в комитете по Нобелевским премиям, предполагают в пику Советскому Союзу дать премию по литературе Борису Леонидовичу Пастернаку за его творческую деятельность, а также за его неопубликованный в Советском Союзе, но широко и сенсационно публикующийся в западном мире роман «Доктор Живаго». Друзья предупреждают, что из этого на Западе может быть сделана новая антисоветская сенсация, поводом к которой будут разговоры об отсутствии свободы творчества в Советском Союзе, о зажиме из политических соображений ряда писателей и т.д.

Ставя Центральный Комитет в известность об этом, хотелось бы получить указание, какую позицию мы должны заранее занять в этом вопросе, и какие меры нам следовало бы предпринять[1].

Б. Полевой

ЦХСД. Оп.3 6. Д. 61. Л. 39, 40. Подлинник.

---

[1] Приведем место из выступления Б.Н.Полевого на общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 г.:

«Горячая война, которая отшумела, знала своих предателей. Был такой генерал Власов, который вместе со своими приближенными людьми перешел в стан наших врагов, воевал против нас и как предатель закончил свою отвратительную жизнь. Холодная война тоже знает своих предателей, и Пастернак, по существу, на мой взгляд, это литературный Власов, это человек, который, живя с нами, питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших советских издательствах, пользуясь всеми благами советского гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том лагере. Генерала Власова советский суд расстрелял (с места: повесил), и весь народ одобрил это дело, потому что, как тут правильно говорилось — худую траву из поля вон. Я думаю, что изменника в холодной войне тоже должна постигнуть соответствующая и самая большая из всех возможных мер. Мы должны от имени советской общественности сказать ему: «Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хотим дышать с вами одним воздухом». (Из стенограммы собрания. — См.: С разных точек зрения. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сборник. М. 1990. С. 98).

3. Записки Д.А. Поликарпова М.А. Суслову

Ранее 25 октября 1958 г.[1]

Михаил Андреевич!

К.А. Федин осуществил разговор с Пастернаком. Между ними состоялась часовая встреча[2].

Поначалу Пастернак держался воинственно, категорически сказал, что не будет делать заявления об отказе от премии и могут с ним делать все, что хотят.

Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумывания позиции. После встречи с К.А. Фединым Пастернак пошел советоваться с Всеволодом Ивановым. Сам К.А. Федин понимает необходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отношению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведения.

Д. Поликарпов

Михаил Андреевич!

К.А. Федин сообщил сейчас по телефону, что в условленное с ним время Пастернак не пришел для продолжения разговора. Это следует понимать так, что Пастернак не будет делать заявления об отказе от премии[3].

Д. Поликарпов

ЦХСД. Ф. 5 Оп. 61. Л. 64, 65. Подлинник.

---

1 Датируется по делопроизводственной пометке.

2 Встреча состоялась утром 23 октября 1958 г.

3 29 октября 1958 Б.Л. Пастернак послал в Шведскую Академию наук телеграмму об отказе от Нобелевской премии: «Ввиду того значения, которое приобрела присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я вынужден от нее отказаться. Не примите в обиду мой добровольный отказ» (цит. по книге: Е.Б. Пастернак. Борис Пастернак. Материалы для биографии. М.: 1989. С. 650).

4. Письмо Б.Л. Пастернака в президиум Союза писателей СССР[1]

27 октября 1958 г.

1. Я искренне хотел придти на заседание[2] и для этого приехал в город, но неожиданно почувствовал себя плохо. Пусть товарищи не считают моего отсутствия знаком невнимания. Записку эту пишу второпях и наверное не так гладко и убедительно, как хотел бы.

2. Я еще и сейчас, после всего поднятого шума и статей, продолжаю думать, что можно быть советским человеком и писать книги, подобные «Доктору Живаго». Я только шире понимаю права и возможности советского писателя и этим представлением не унижаю его звания.

3. Я совсем не надеюсь, чтобы правда была восстановлена и соблюдена справедливость, но все же напомню, что в истории передачи рукописи нарушена последовательность событий. Роман был отдан в наши редакции в период печатания произведения Дудинцева[3] и общего смягчения литературных условий. Можно было надеяться, что он будет напечатан. Только спустя полгода рукопись попала в руки итальянского коммунистического издателя[4]. Лишь когда это стало известно, было написано письмо редакции «Нового мира», приводимое «Литературной газетой». Умалчивают о договоре с Гослитиздатом, отношения по которому тянулись полтора года. Умалчивают об отсрочках, которые я испрашивал у итальянского

---

[1] Письмо было зачитано и прокомментировано на общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 председательствующим на нем писателем С.С. Смирновым. См.: С разных точек зрения. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Сборник. М.: 1990. С. 62—64.

[2] Имеется в виду совместное заседание президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР. См. о нем док. 5.

[3] Роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым», в котором впервые прозвучала острая критика советской бюрократической системы, печатался в 1956 в журнале «Новый мир» № 8—10. Пастернак отдал свою рукопись в редакцию журналов «Новый мир» и «Знамя» в начале 1956.

[4] Рукопись «Доктора Живаго» была передана итальянцу Д'Анджело, работавшему в Москве в итальянской редакции Главного управления радиовещания Министерства культуры СССР, в мае 1956. В том же месяце Д'Анджело переправил ее в Милан издателю Джанджакомо Фельтринелли. Последний был в то время членом ИКП и оказывал ей значительную материальную поддержку.

издателя и которые он давал, чтобы Гослитиздат ими воспользовался для выпуска цензурованного издания, как основы итальянского перевода. Ничем этим не воспользовались.

Теперь огромным газетным тиражом напечатаны исключительно одни неприемлемые его места, препятствовавшие его изданию и которые я соглашался выпустить, и ничего, кроме грозящих мне лично бедствий, не произошло. Отчего же нельзя было его напечатать три года тому назад, с соответствующими изъятиями.

4. Дармоедом в литературе я себя не считаю. Кое-что я для нее, положа руку на сердце, сделал.

5. Самомнение никогда не было моим грехом. Это подтвердят те, кто меня знает. Наоборот, я личным письмом Сталину просил его о праве трудиться в тишине и незаметности.

6. Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества, часть которого я составляю. В моих глазах честь, оказанная мне, современному писателю, живущему в России, и, следовательно, советскому, оказана вместе с тем и всей советской литературе. Я огорчен, что был так слеп и заблуждался.

7. По поводу существа самой премии ничто не может меня заставить признать эту почесть позором и оказанную мне честь отблагодарить ответной грубостью. Что же касается денежной стороны дела, я могу попросить Шведскую Академию внести деньги в фонд Совета Мира, не ездить в Стокгольм за ее получением, или вообще оставить ее в распоряжении шведских властей. Об этом я хотел бы переговорить с кем-нибудь из наших ответственных лиц, быть может с Д.А. Поликарповым, спустя недели полторы—две, в течение которых я приду в себя от уже полученных и еще ожидающих меня потрясений.

8. Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоятельства могут вас заставить в расправе со мной зайти очень далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в прошлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и счастья вам это не прибавит.

Б. Пастернак

АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 269. Л. 58, 59. Копия.

5. Записка Отдела культуры ЦК КПСС

28 октября 1958 г.[1]
ЦК КПСС

Докладываю о собрании партийной группы Правления Союза писателей СССР и совместном заседании Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, Президиума Правления Московского отделения Союза писателей, состоявшихся 25 и 27 октября сего года.

На этих заседаниях был обсужден вопрос «О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя».

На собрании партийной группы 25 октября присутствовало 45 коммунистов-писателей.

В обсуждении вопроса приняло участие 30 человек. Все выступавшие в прениях товарищи с чувством гнева и негодования осудили предательское поведение Пастернака, пошедшего на то, чтобы стать орудием международной реакции в ее провокациях, направленных на разжигание холодной войны.

Единодушное мнение всех выступавших сводилось к тому, что Пастернаку не может быть места в рядах советских писателей. Однако в ходе прений некоторые товарищи высказывали мнение о том, что Пастернака не следует исключать из членов Союза писателей немедленно, так как это будет использовано международной реакцией в ее враждебной работе против нас. Эту точку зрения особенно активно отстаивал тов. Грибачев. Он говорил о том, что исключению Пастернака из Союза писателей должно предшествовать широкое выступление советской общественности на страницах печати. Решение Союза писателей об исключении Пастернака из своих рядов должно явиться выполнением воли народа. Позиция тов. Грибачева была поддержана писателями Л. Ошаниным, М. Шагинян, С. Михалковым, Ф. Яшиным, С. Сартаковым, Н. Анисимовым, С. Герасимовым и некоторыми другими. С.А. Герасимов заявил, что «надо дать просто выход народному мнению на страницах широкой печати». В выступлениях тт. Грибачева и Михалкова была высказана мысль о высылке Пастернака из страны. Их поддержала М.Шагинян.

---

[1] К документу приложена записка «Разослать членам Президиума ЦК КПСС и кандидатам в члены Президиума ЦК КПСС. 27.X.58. В. Малин». В.Н. Малин— заведующий общим отделом ЦК КПСС.

Многие выступавшие в прениях товарищи резко критиковали Секретариат Правления Союза писателей и, в частности, тов. Суркова за то, что Секретариат не исключил Пастернака из Союза тогда, когда стало известно о передаче им своего клеветнического сочинения буржуазному издателю — особенно за то, что не было в свое время опубликовано в советской печати письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку.

Участниками прений указывалось, что Секретариат Союза писателей, не опубликовав ранее письма, поставил сейчас Союз в более затруднительное положение. Будь это письмо опубликовано полтора года тому назад, говорил т. Грибачев, «не было бы у Пастернака Нобелевской премии, так как прогрессивная пресса мира все сделала бы, чтобы не допустить этого». Это мнение т. Грибачева разделяли в своих выступлениях т.т. Кожевников, Софронов, Кочетов, Караваева, Анисимов, Ермилов, Лесючевский, Турсун-заде.

Писатели А. Софронов и В. Ермилов остро ставили вопрос о запущенности идейной работы в Союзе писателей. Вопросы идейной жизни Союза писателей, отмечал А. Софронов, за последние годы не стояли в центре внимания всего Союза.

Наряду с правильной и обоснованной критикой недостатков в работе Секретариата Правления Союза писателей и его первого секретаря тов. Суркова в выступлениях т.т. Грибачева, Софронова и отчасти тов. Кочетова была сделана попытка представить дело так, что чуть ли не вся деятельность Секретариата Правления была компромиссом в литературной политике, отступлением от принципиальной линии. По отношению к Пастернаку Секретариат проявил либерализм, говорил А. Софронов, и в то же время тов. Сурков всячески унижал первого писателя мира тов. Шолохова. Моя реплика о том, что нельзя говорить о литературной политике как политике компромисса не встретила поддержки.

В результате широкого обмена мнениями партийная группа приняла единодушное решение вынести на обсуждение Президиума Правления Союза писателей резолюцию об исключении Пастернака из членов Союза писателей СССР.

<...> 27 октября состоялось совместное заседание Президиума Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и Президиума Правления Московского отделения Союза писателей, обсудившее вопрос о поведении Пастернака, не совместимом со званием советского писателя.

На заседании присутствовало 42 писателя — члена Правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей

РСФСР, президиума Московского отделения Союза писателей и 19 членов Правления Союза писателей СССР и ревизионной комиссии. Не приехали на заседание 26 писателей. Из числа не приехавших на заседание не были по болезни т.т. Корнейчук, Твардовский, Шолохов, Лавренев, Гладков, Маршак, Тычина; находятся в заграничной командировке т.т. Бажан, Эренбург, Чаковский; на лечении в санатории — т.т. Сурков, Исаковский, по занятости служебными делами т. Лацис; без указания причин т.т. Леонов и Погодин. Не пришел также сказавшийся больным личный друг Пастернака писатель Всеволод Иванов. Сам Пастернак на заседание не явился, сославшись на болезнь. Он прислал в Президиум Союза советских писателей письмо, возмутительное по наглости и цинизму[1]. В письме Пастернак захлебывается от восторга по случаю присуждения ему премии и выступает с грязной клеветой на нашу действительность, с гнусными обвинениями по адресу советских писателей. Это письмо было зачитано на заседании и встречено присутствующими с гневом и возмущением.

Председательствовал на заседании тов. Тихонов Н.С.; с сообщением выступил тов. Марков Г.М.

На заседании выступило 29 писателей. В числе выступавших — видные беспартийные писатели т.т. Тихонов Н.С., Соболев Л.С., Николаева Г.Е., Панова В.Ф., Ажаев В.Н., Чуковский Н.К., Антонов С.П. Выступавшие в прениях при полной поддержке и одобрении всех участников заседания разоблачали и гневно осуждали предательское поведение Пастернака. Они характеризовали Пастернака, как порвавшего с народом и страной перебежчика в лагерь врага. Говоря о морально-политическом падении Пастернака, его клеветническом сочинении, беспартийный писатель В. Ажаев заявил: «Мы с гневом и презрением осуждаем это враждебное нашему социалистическому делу и художественно убогое, копеечное сочинение. Мы осуждаем не совместимые со званием советского писателя поступки Пастернака, отдавшего свое злобное сочинение в чужие руки и ныне готового вприпрыжку бежать за «наградой». Поступки эти окончательно изобличают в нем человека, которому чуждо все то, что бесконечно дорого каждому советскому человеку».

Беспартийная писательница Г. Николаева, характеризуя предательские действия Пастернака, заявила: «Я считаю, что перед нами — власовец». Касаясь вопроса о мерах по отношению к Па-

---

[1] См. док. № 4.

стернаку, она сказала: «для меня мало исключить его из Союза, — этот человек не должен жить на советской земле».

В очень резких тонах говорил беспартийный писатель Н.Чуковский о враждебной сущности Пастернака, о его провокационных поступках: «Во всей этой подлой истории, — сказал Н. Чуковский, — есть все-таки одна хорошая сторона — он сорвал с себя забрало и открыто признал себя нашим врагом. Так поступим же с ним так, как мы поступаем с врагами».

Писательница Вера Панова такими словами определила свое отношение к Пастернаку: «В этой озлобленной душе, которая раскрывалась во всем этом деле, начиная с написания романа и заканчивая письмом, — нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма, неприемлемого в нашей стране, кроме невыносимой гордыни, неприемлемой в коллективистском обществе. Видеть это отторжение от Родины и озлобление даже жутко».

По поводу письма Пастернака армянский писатель Н.Зарьян сказал так: «Уже это письмо — антисоветское враждебное письмо. И на основе этого письма необходимо было бы человека исключить из Союза писателей. Этим письмом Пастернак ставит себя вне советской литературы, вне советского общества».

На этом заседании, как и на собрании партийной группы, в выступлениях С. Михалкова и Ю. Смолича были высказаны острые критические замечания по адресу Секретариата Правления Союза писателей за то, что до сих пор не было опубликовано письмо членов редколлегии журнала «Новый мир» Пастернаку и последний оставался в рядах Союза писателей.

Обращает на себя внимание тот факт, что лишь в отдельных выступлениях указывалось на то, что в течение длительного времени некоторые писатели всячески превозносили значение Пастернака в советской поэзии. Присутствовавший на заседании поэт С.М. Кирсанов, в свое время превозносивший Пастернака, не высказал своего отношения к обсуждавшемуся на заседании вопросу.

Присутствовавшие на заседании писатели единодушно приняли решение об исключении Пастернака из членов Союза советских писателей.

В решении по этому вопросу говорится: «Учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания войны, президиум правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета

Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР[1]».

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
Д. Поликарпов

АП РФ. Ф. 3. Оп. 34. Д. 269. Л. 53—57. Подлинник.

6. Письмо К.А. Федина Д.А. Поликарпову

28 октября 1958 г.[2]

Д.А. Поликарпову
28.X. Дача

Дорогой Дмитрий Алексеевич,

сегодня ко мне, в 4 часа, пришла Ольга Всеволодовна (не помню ее фамилию, — друг Пастернака[3]) и — в слезах — передала мне, что сегодня утром Пастернак ей заявил, что у него с ней «остается только выход Ланна»[4]. По словам ее, П., будто бы спросил ее, согласна ли она «уйти вместе» и она, будто бы, согласилась.

---

[1] Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР «О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя» 28 октября 1958 г. было опубликовано в «Литературной газете», 29 октября — в газете «Правда».

[2] В ЦК КПСС получено 29 октября 1958 г. К документу приложена записка: «Ознакомить секретарей ЦК КПСС. (Указание тов. Фурцевой Е.А.). Н.Калинин. 29/X-58 г». На документе визы М.А. Суслова, Л.И. Брежнева, Н.А. Мухитдинова, А.Б. Аристова. И помета: «Тов. Кириченко А.И. ознакомился. Речмедин».

[3] О.В. Ивинская.

[4] Е.Л. Ланн (1896—1958), советский писатель и переводчик. Он и его жена, считая себя неизлечимо больными, покончили жизнь самоубийством.

Цель ее прихода ко мне — узнать, «можно ли еще (по моему мнению) спасти П., или уже поздно, а если не поздно, то просить меня о совете — что (по-моему) надо сделать, чтобы его спасти».

Я ответил, что такое заявление есть угроза, в данном случае, мне, а во всех иных случаях — тому, кому оно сделано, и что под такой угрозой ни о каких советах просить нельзя. Вместе с тем я сказал, что единственно, что я считаю безусловно нужным посоветовать ей, это то, что она обязана отговорить П. от его безумного намерения.

Я сказал также, что не знаю, мыслимо ли теперь, после всего происшедшего, «спасти» П., наотрез отказавшегося от «спасения», когда оно было достижимым.

О.В. заявила, что готова составить «любое» письмо, кому только можно, и «уговорить» П. подписать его.

Я ответил, что не представляю себе, какого содержания могло бы теперь быть письмо и кому его можно было бы направить.

Не в состоянии с уверенностью сказать, должен ли я рассматривать приход О.В., как обращение ко мне самого Пастернака (она клялась, будто ничего об этом не сказала ему, хотя немного позже говорила мне — он не хотел, чтобы она пошла ко мне).

Но я считаю, Вы должны знать о действительном, или мнимом, серьезном или театральном умысле П., о существовании угрозы, или же о попытке сманеврировать ею.

В долгом разговоре с О.В. она не раз спросила меня, к кому «лучше» адресовать письмо П., или к кому «пойти». Я не мог ей ничего на это ответить и только обещал, что напишу Вам о том, что она ко мне приходила, а Вы, конечно, поступите так, как найдете нужным и может быть захотите вызвать ее[1], либо Пастернака. На этот случай я взял ее телефон, чтобы передать его Вам (Б-7-33-70).

Уважающий Вас Конст. Федин

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 61. Л. 44, 45, 46. Подлинник.

---

[1] О беседе Ивинской с Фединым и встрече с Поликарповым см. ее воспоминания: Годы с Борисом Пастернаком. В плену времени. М.: 1992. С. 276—280.

7. Решение расширенного заседания партийного бюро Литературного института имени А.М. Горького при Союзе писателей СССР

30 октября 1958 г.

СЛУШАЛИ: 1. Сообщение тов. Серегина И.Н. о заседании Президиума СП СССР и парткома (по вопросу о поступке писателя Б. Пастернака).

ПОСТАНОВИЛИ:

Партбюро на расширенном заседании совместно с партийно-комсомольским активом обсудило решение Президиума Союза писателей СССР о лишении Б. Пастернака звания советского писателя и исключении его из членов СП СССР.

Партбюро и актив единодушно одобряют решение Президиума СП СССР, а также инициативу группы студентов, обратившихся в Союз писателей с письмом, выражающим возмущение предательским поступком Пастернака и требованием сурового наказания изменнику нашей Родины.

Наряду с этим партбюро и актив возмущены поведением некоторых студентов нашего института (Панкратова, Харабарова, Ахмадуллиной), которые поддерживали связь с Пастернаком, разделяли его взгляды на наше общество и литературу и пытались распространять их среди студентов. Несмотря на критику и неоднократные предупреждения и предоставленную им в течение двух лет возможность исправиться, они на деле остаются до сих пор на прежних позициях, что наглядно выявилось в период общего возмущения присуждением политическому ренегату и эмигранту Пастернаку Нобелевской премии.

Партбюро и актив считают, что Правление СП СССР не оказывает должной поддержки институту в решении ряда важных вопросов, а порой мешает идейной борьбе, которую ведут партийная организация, дирекция и общественность института.

Так, например, по решению Секретариата СП СССР восстановлены в правах студентов исключенные по требованию общественности института за недисциплинированность и творческую несостоятельность Мориц, Миль. Секретариат СП СССР не считается с мнением общественных организаций при распределении жилплощади (Вопрос о предоставлении жилплощади Бабенышевой С.Э.).

Несмотря на обещание, данное студентам, в Союзе не дали возможности студенческой делегации выступить на заседании Прези-

диума СП СССР и огласить текст письма, осуждающего предательские действия Пастернака.

ПАРТБЮРО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить решение Президиума СП СССР об исключении Пастернака из членов СП СССР и инициативу группы студентов, обратившихся с письмом в Союз писателей.

2. Обязать коммунистов, комсомольцев института и профессорско-преподавательский коллектив усилить идейно-воспитательную работу, вести решительную борьбу с проявлениями формализма, являющегося скрытой разновидностью ревизионистских настроений;

рекомендовать кафедре творчества и комитету ВЛКСМ выяснить идейно-творческие позиции студентов, которые недостаточно проявляют себя в коллективе (Воронель, Флоров, Шаферен, Жданов, Андрочников, Бжезовский и другие).

3. Довести до сведения ЦК КПСС о неправильных действиях Правления Союза писателей СССР по отношению к Литературному институту имени А.М. Горького[1].

Секретарь партбюро Литературного института
Н.Зарбабов

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 59. Л. 200, 201. Подлинник.

8. Информация председателя правления издательства «Советский писатель» Н.В. Лесючевского в ЦК КПСС

5 ноября 1958 г.
ЦК КПСС

Считаю нужным информировать ЦК КПСС об инциденте, в котором проявилось отношение И.Г. Эренбурга к вопросу о Пастернаке.

Издательство «Советский писатель» выпускает книгу И. Эренбурга «Французские тетради. Заметки и переводы». Книга печатается и находится накануне выхода в свет. Она состоит из статей, посвящен-

---

[1] 28 ноября 1958 документ поступил в ЦК КПСС. Вопрос, затронутый в п. 3 настоящего решения, по указанию Е.А. Фурцевой, рассматривался Отделом культуры ЦК. Заместителю секретаря партбюро Литературного института Н.М. Зарбабову и секретарю Союза писателей СССР В.А. Смирнову были даны рекомендации по улучшению работы и взаимодействия обоих учреждений (ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д.59. Л. 199, 202, 203).

ных культуре, литературе и искусству Франции. В ней, в частности, содержится статья «Поэзия Франсуа Вийона», которая была опубликована в № 1 за 1957 год журнала «Иностранная литература». В этой статье И. Эренбург, высказывая мысль о том, что «формы искусства, родившиеся в эпоху Возрождения, живы», говорит: «Такие произведения, как «150 000 000» Маяковского или «Всеобщая песнь» Пабло Неруды, родились не случайно, их эпичность связана со временем; однако лирика жива, о чем свидетельствуют стихи Элюара и Мартынова, Арагона и Твардовского, Пастернака и Тувима, Альберти и Светлова, Исаакяна и Незвала, Назыма Хикмета и Гильена».

Издательство, естественно, не могло не обратить внимание автора на то, что включение Пастернака в ряд лучших, передовых современных поэтов, неоправданное вообще, теперь тем более неуместно и вызывает особенное возражение. По этому поводу 31 октября с.г. состоялся телефонный разговор зав. редакцией критики и литературоведения В.М. Карповой с И.Г. Эренбургом. На вопрос Карповой о том, как думает автор поступить с этим местом статьи, поскольку еще есть производственная возможность исправить его, И.Г. Эренбург раздраженно ответил:

— Это относится не к роману, а к лирике. Статья эта была опубликована. Это уже история. Конъюнктурно менять, вычеркивать слова я не буду. Если книга не подходит, можете ее не выпускать. Можете исключить статью, можете не выпускать статью. Так исключается возможность работать. Вы изводите автора. Я старый человек, я уйду на пенсию. Я могу и не работать. Я отрицательно отношусь к поведению Пастернака и к его роману. Но я писал о лирике и конъюнктурно менять не буду.

Так безрезультатно разговор и закончился.

Но на другой день секретарь И.Г. Эренбурга телефонограммой передала издательству следующее заявление писателя:

«В дополнение к вчерашнему разговору по телефону, нахожу необходимым сообщить Вам нижеследующее:

а) политические и общественные события, как в нашей стране, так и за рубежом, непрерывно меняются. Моя книга находится в Вашем издательстве 14 месяцев, несмотря на ее небольшой листаж. Если она будет находиться там еще 14 лет, то, вероятно, весь ее текст потребует тех или иных изменений. Все это заставляет меня серьезно усомниться в намерениях издательства опубликовать мою книгу[1].

---

[1] Книга вышла двумя изданиями в 1958 и 1959 годах.

б) Если издательство все же намерено мою книгу выпустить, но считает необходимым перепечатать лист со статьей о старой французской песне[1], то оно может выбрать одну из следующих возможностей: 1) выпустить очерк о французской народной песне; 2) выпустить текст статьи о песне и оставить только переводы песен; 3) оставить статью и переводы, выпустив из статьи все имена современых поэтов.

Илья Эренбург».
1.XI-58

3 ноября с И.Г. Эренбургом велись телефонные переговоры через его секретаря, в результате которых издательству было сообщено, что И.Г. Эренбург согласен заменить перечисление поэтов следующей фразой: «Однако лирика жива, о чем свидетельствуют стихи многих современных поэтов различных стран». Издательство приняло это исправление и внесло его в текст статьи.

В связи с приведенной выше телефонограммой И.Г. Эренбурга должен добавить следующее.

1. У И.Г. Эренбурга не было причин заявить: «Все это заставляет меня серьезно усомниться в намерениях издательства опубликовать мою книгу». Тов. Эренбургу известно, что книга его отпечатана и в ближайшие дни должна выйти в свет. Доброжелательное по отношению к автору замечание относительно места, в котором неправомерно упоминается Пастернак, И.Г. Эренбург пытается представить как какой-то подвох, как надуманный повод якобы для того, чтобы не выпустить книгу. Это можно объяснить лишь тем, что И.Г. Эренбург, видимо, еще не понял политической недопустимости выступления сегодня с той возвеличивающей Пастернака аттестацией, которую он дал в своей статье <...>[2]

Председатель правления издательства «Советский писатель»
Н. Лесючевский

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д .61. Л. 75—78. Подлинник.

На документе резолюция: «т. Поликарпову Д.А. Е. Фурцева» *и помета:* «ЦК КПСС. Работники Отдела культуры ЦК КПСС с данным материалом ознакомлены. Письмо носит информационный характер. Зав. сектором Отдела культуры ЦК ЦКСС А. Сазонов. Инструктор отдела Е. Трущенко. 8.1.1959».

---

[1] Здесь И.Г. Эренбург допустил ошибку: как сказано выше, требующее исправления место содержится в статье «Поэзия Франсуа Вийона», а не в статье о старой французской песне. (Примечание документа — *ред.*).

[2] Опущен текст, касающийся сроков выпуска книги И.Г. Эренбурга.

9. Записка отдела культуры ЦК КПСС

23 апреля 1959 г.
ЦК КПСС

По сообщению ТАСС, французская буржуазная газета «Франс суар» напечатала интервью своего корреспондента с находящимся в Париже М. Шолоховым[1]. В интервью говорится, что на вопрос корреспондента по поводу «дела Пастернака» М. Шолохов заявил: «Коллективное руководство Союза советских писателей потеряло хладнокровие. Надо было опубликовать книгу Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе вместо того, чтобы запрещать ее. Надо было, чтобы Пастернаку нанесли поражение его читатели, вместо того, чтобы выносить его на обсуждение. Если бы действовали таким образом, наши читатели, которые являются очень требовательными, уже забыли бы о нем. Что касается меня, то я считаю, что творчество Пастернака в целом лишено какого-либо значения, если не считать его переводов, которые являются блестящими. (Пастернак перевел Гете, Шекспира и произведения крупных английских поэтов.) Что касается книги «Доктор Живаго», рукопись которой он читал в Москве, то это бесформенное произведение, аморфная масса, не заслуживающая названия романа».

Считал бы необходимым в связи с этим поручить советскому послу во Франции проверить достоверность сообщения «Франс суар» и, если такое интервью имело место, обратить внимание М. Шолохова на недопустимость подобных заявлений, противоречащих нашим интересам. Если сообщение газеты ложное, рекомендовать тов. Шолохову опровергнуть его публично[2].

Проект телеграммы совпослу прилагается.

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
Д. Поликарпов

---

[1] Имеется в виду заметка корреспондента Мишеля Гордэ, опубликованная в газете «Франс суар» 22 апреля 1959.

[2] Пока вопрос рассматривался в ЦК КПСС, стало известно, что Шолохов выехал в Англию. Разговор с ним решено было отложить до его возвращения в Москву. Послу СССР во Франции была отправлена телеграмма с просьбой выяснить, имело ли место «подобное высказывание» Шолохова.

Проект телеграммы советскому послу во Франции

Согласно сообщению ТАСС, «Франс суар» опубликовала интервью с М. Шолоховым, в котором он касается вопроса о Пастернаке.

Если подобное высказывание имело место, передайте Шолохову, что такое заявление, не отвечающее нашим интересам, вызывает в Москве недоумение.

Если сообщение газеты ложное, необходимо, чтобы Шолохов публично опроверг его.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 93. Л. 25, 26. Подлинник.

10. Письмо Б.Н. Полевого в ЦК КПСС

29 мая 1959 г.

Направляю Вам докладную записку консультанта Иностранной комиссии СП по литературе Италии Г. Брейтбурда[1], в которой очень весомо рассказывается о новых антипатриотических хамствах Б. Пастернака.

Прилагаю также три стихотворения из включенных Пастернаком в его новую книгу, вышедшую в Италии. Значительная часть вошедших в эту книгу стихотворений в Советском Союзе не печаталась.

Очевидно, Пастернак пользуется своими контактами с иностранными корреспондентами для того, чтобы через них пересылать свою пачкотню за границу.

Б. Полевой

ЦХСД. Ф. 5 Оп. 36. Д. 61. Л. 139. Подлинник.

---

[1] В упоминаемой докладной записке речь шла о выпущенной Фельтринелли в декабре 1958 книге Б. Пастернака «Автобиография и новые стихи», в которую автор включил несколько новых стихотворений («Вакханалия», «Душа», «Перемена», «Ветер»). В ответ на настоящую информацию Полевому было сообщено, что «отдел культуры ЦК КПСС не видит необходимости принимать в настоящее время какие-либо меры по данному вопросу».

11. Из интервью И.Г. Эренбурга американскому журналисту Норману Казинсу 3 октября 1959 г.

ЧИТАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ В РОССИИ
Беседа с Ильей Эренбургом в Москве[1]

В кабинете своей московской квартиры Илья Эренбург разговаривает о книгах, о проблемах, встающих перед писателями, о Пикассо, Пастернаке и американо-советских отношениях. Почти все время он изъясняется по-французски, широко используя мелодичность и тончайшие оттенки языка, который он, судя по всему, любит...

Когда г-жа Эренбург налила мне вторую чашку чая, я спросил Эренбурга, как он относится к делу Пастернака.

«Мы живем в трудное время. Мне представляется, что Пастернак и его книга относятся к числу жертв холодной войны. Им не так восхищались бы за границей и его не так порицали бы у нас, если бы между Соединенными Штатами и Советским Союзом не было бы такой напряженности в отношениях».

Я поинтересовался, не хочет ли г-н Эренбург узнать мнение многочисленных американских писателей и критиков. Улыбнувшись, он возразил, что вероятно хорошо знаком с их аргументацией. Я ответил, что старался, собственно, как можно вежливее подготовить почву для изложения моей собственной точки зрения. Не переставая улыбаться, Эренбург попросил меня продолжать. Я сказал, что в разговоре со мной о деле Пастернака русские критики и писатели заявляли, что не сомневаются в контрреволюционной направленности книги. Когда я слушал их аргументы, у меня складывалось впечатление, что русские критики считают своим долгом доказать, что книга была обвинена по заслугам.

С нашей точки зрения, однако, это совершенно не относится к делу. Предположим, «Доктор Живаго» действительно контрреволюционное произведение. Какое это имеет значение? Почему автор не имеет права ошибаться, вернее говоря, ошибаться, если судить с общепринятых или предписанных позиций? Почему публике — а не писателям — не дать право оценить истинную позицию автора? Кроме того, наказание Пастернака внутри Советского Союза началось только после присуждения ему Нобелевской премии. Именно

---

[1] Заголовок документа. Публикуется часть, касающаяся Б.Л. Пастернака.

тогда его осудили столь энергично. Где же справедливые пропорции? Какое преступление совершил г-н Пастернак, чтобы оно могло вызвать такое суровое наказание, фактически, отлучение? В конце концов г-н Пастернак не был членом жюри по присуждению Нобелевских премий, которое выразило ему всемирное одобрение.

Г-н Эренбург поднялся и подошел к окну. Ему уже 68 лет и мне рассказывали, что он изнуряет себя работой. Я почувствовал угрызения совести за то, что отнял у него так много времени, и встал, чтобы попрощаться.

Он снова усадил меня. По его словам, он встал не потому, что ждал еще кого-нибудь из посетителей, а просто ему хотелось размяться.

«Относительно Пастернака. Конечно, у меня есть свое собственное мнение. Я его очень ценю как поэта. Как писатель он вызывает у меня известные оговорки. Но дело совсем не в этом. Только что я сказал, что все дело с «Доктором Живаго» представляет собой трагическое последствие холодной войны. Что случилось, то случилось. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у всякой проблемы выискивать самую суть. Если бы мы смогли каким-либо образом избавиться от напряженности и уменьшить страх перед войной, творческий и культурный климат улучшился бы <...>»[1]

ЦХСД. Ф.5. Оп.36. Д.93. Л.51, 60–62. Подлинник.

На документе резолюция: «Ознакомить (по Комиссии). Е. Фурцева». *Визы П.Н. Поспелова, О.В. Куусинена, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова.*

---

[1] Интервью напечатано в американском журнале «Сатердей ревью». 18 ноября 1959 перевод интервью переслан главным редактором «Литературной газеты» С.С. Смирновым Е.А. Фурцевой.

Журнал «Континент» продолжает знакомить своих читателей с тем опытом существования Церкви в условиях современного мира, который накоплен христианами Европы.

Сегодня в религиозном разделе мы предлагаем вашему вниманию три материала. Статью митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа), интервью с епископом Сергиевским Василием (Осборном) и статью декана философского факультета Папской теологической академии в Кракове отца Юзефа Тишнера.

Биографические сведения о митрополите Иоанне и епископе Сергии читатели найдут, как обычно, в наших традиционных сносках, а статья Юзефа Тишнера предварена небольшим предисловием профессора Московской Католической семинарии Марии-Царицы апостолов, доктора философии Юлия Шрейдера.

Три столь разных автора — греческий иерарх, русский викарный епископ на островах Великобритании и польский католический теолог — представлены на страницах «Континента» не случайно. Несмотря на их конфессиональные и культурные различия, их объединяет открытость и способность к диалогу, которые, на наш взгляд, являются необходимым условием нового самоопределения Церкви, ее утверждения на «камне веры» в условиях «неверной современности».

Митрополит Пергамский
ИОАНН (ЗИЗИУЛАС)

ОБЩЕНИЕ И ИНАКОВОСТЬ[1]

I

Присутствие Православной Церкви в Западной Европе — это одно из наиболее важных знамений Божественного Провидения в наше время, историческая реальность, оказывающая влияние на жизнь Христианской Церкви — и не только Церкви — в течение долгого времени. Неведомы и неисповедимы пути Господни! Из перипетий человеческой истории рождаются новые реальности, которые Бог

[1] Публикуемый текст — подготовленная к печати версия выступления митрополита Иоанна на Восьмом конгрессе Православного братства Западной Европы (Бланкенберг, Бельгия, 30 октября 1993 года).

использует в качестве проводников, чтобы благословить Свой мир. События, потрясшие Россию в 1917 году, стали причиной эмиграции наиболее авторитетных церковных деятелей и богословов в Западную Европу, где, благодаря им, Православное стало не только известно, но и глубоко почитаемо. С другой стороны, бедствия, обрушившиеся в годы второй мировой войны и непосредственно после ее окончания на народы Греции и других стран Южной Европы, повлекли за собой беспрецедентное увеличение числа православных христиан в Западной Европе. Сегодня Православие в Западной Европе имеет впечатляющее представительство, и это налагает на него громадную ответственность. Ибо не ради самой себя Православная Церковь получила это благословение, но ради всего человечества, и даже более — ради всего космоса.

Каким может быть вклад православных в Западной Европе в жизнь сегодняшнего мира? Для некоторых людей их миссия в Европе заключается в том, чтобы как можно большее число западных христиан обратить в Православие. Это, безусловно, очень ограниченное и узкое понимание. Миссия Православной Церкви в Европе гораздо более широка и, главное, более существенна. Она двуедина.

Митрополит Пергамский ИОАНН ЗИЗИУЛАС — родился в 1931 г., закончил богословский факультет Афинского университета и богословский факультет Гарвардского университета, где был учеником о. Георгия Флоровского. Несколько лет работал во Всемирном Совете Церквей в Женеве, был профессором богословия в университетах Эдинбурга и Глазго (Шотландия). В настоящее время — профессор Фессалоникийского университета в Греции и Кингсколледжа (Лондон), член Афинской Академии. В 1986 рукоположен в епископы и назначен Титулярным Митрополитом Пергамским Константинопольского Патриархата. Автор книг «Церковное бытие» (1985), «Единство Церкви в Евхаристии и Епископе в первые три века» (1965 — греч., Афины, 1994 — англ., Лондон). Один из наиболее влиятельных богословов в современном Православии.

С одной стороны, это должно быть свидетельство об особом этосе, характерном для православной традиции, перед лицом этоса и ценностей западного христианства и западной культуры. С другой стороны, смысл этой миссии в том, чтобы самим православным дать истолкование образа мышления, который может быть назван «западным». Только православные Западной Европы могут справиться с этой задачей. Они могут быть аутентичными интерпретаторами и проводниками между историческим Православием и западной культурой — так, как этого не могут сделать другие православные.

Важность этой миссии вряд ли стоит подчеркивать. В настоящий момент в мире доминирует западная культура. Политическое и экономическое превосходство стран Запада превратило их в образцы для остального мира. Православие не может рисковать, превращаясь в «экзотическую» религию, дающую убежище тем, кто ищет мистического или какого-либо иного экстраординарного опыта, подобно тому, что предлагают различные восточные религии и культы. Мы должны противостоять такому пониманию православной миссии, ибо оно не соответствует тому наследию, которое оставила нашей Церкви великая патристическая эпоха. Великие отцы Церкви, в том числе и те, кто ушел в пустыню, отвечали на вызовы культуры своего времени. Вместо того, чтобы проповедовать экзотическую религию, они стремились преобразовать греко-римскую культуру той эпохи. И они в высшей степени преуспели в этом деле. Западное Православие, более, чем какие-либо другие части Православной Церкви, призвано именно к этому в наше время: соотнести традицию с проблемами современного западного человека, которые все более становятся проблемами человечества в мировом масштабе. Именно это сегодня придает Западному Православию чрезвычайное значение — значение, которое по крайней мере Вселенский Патриархат, от лица которого я могу говорить, осознает и глубоко понимает.

II

Общение и инаковость, общение и «другой»: как могут быть согласованы эти слова? Не являются ли они взаимоисключающими и несовместимыми? Не правда ли, что по определению «другой» — это мой враг и мой «первородный грех», если вспомнить слова французского философа нашей эпохи? (Ж.-П. Сартр, «Бытие и Ничто»; J.-P. Sartre, «L'Etre et le Neant», 1949, p. 251). Наша западная культура, кажется, во многих отношениях разделяет этот взгляд. Индивидуализм положен в самое основание этой культуры.

С тех пор, как Боэций в V в. отождествил личность с индивидуумом («Личность есть индивидуальная субстанция рациональной природы») и св. Августин почти в то же время подчеркнул значение сознания и самосознания для понимания личности, западная мысль никогда не прекращала строить себя и свою культуру на этом основании. Счастье индивидуума было даже введено в американскую конституцию наряду с «правами индивидуума», которые защищены хартиями и международными документами. Все это означает, что в нашей культуре защита от другого является фундаментальной необходимостью. Мы все более и более ощущаем угрозу от присутствия другого. Нас вынуждают и даже побуждают к тому, чтобы воспринимать другого как своего врага, прежде чем мы сможем принять его как своего друга. Общение с другим — не спонтанно; оно строится поверх барьеров, которые защищают нас от опасностей, заключенных в присутствии другого. Мы принимаем другого лишь постольку, поскольку он не угрожает нашей отъединенности или поскольку он полезен нам для достижения индивидуального счастья.

Без сомнения, все это прямое следствие того, что на богословском языке мы называем «падением» человека. В самом основании нашего существования заложена некая патология, наследуемая нами от рождения, и это не что иное, как страх другого.

Это есть результат отвержения Другого par excellence, нашего Творца, первым человеком — Адамом, а прежде него — демоническими силами, восставшими против Бога. Сущность греха — это страх Другого, страх, являющийся частью этого отвержения. После того, как однажды утверждение своего «Я» было осуществлено через отвержение и неприятие Другого — а это то, что свободно избрал и совершил Адам, — «другой» совершенно естественно и неизбежно стал врагом и угрозой. И поэтому примирение с Богом есть необходимое предварительное условие для примирения с любым «другим».

Следствием того, что страх другого патологически наследуется в нашем существовании, является страх не только другого, но и всякой инаковости. Этот тонкий момент, я думаю, нуждается в серьезном рассмотрении, ибо он показывает, насколько глубоким и распространенным является страх другого: мы боимся не просто определенного другого или других, но даже если мы принимаем некоторых других, мы принимаем их на том условии, что они в каком-то смысле подобны нам самим, похожи на нас. Радикальной инаковости — анафема. Различие само по себе есть угроза. О том, что это явление универсальное и патологическое, свидетельствует тот факт, что даже

когда различие не представляет для нас действительной угрозы, мы отвергаем его просто потому, что не любим его или испытываем к нему отвращение. Например, если даже представитель черной расы никоим образом нам не угрожает, мы отвергаем его исключительно по причине его инаковости. Это крайний пример, по поводу которого мы все сегодня стараемся придти к соглашению. Однако существует множество менее ярких примеров, которые показывают, что страх другого фактически есть не что иное, как страх различия; мы все в какой-то мере стараемся проецировать на другого образ нас самих, нашего «Я» — и это показывает, насколько глубоко укоренился в нашем существовании страх другого.

Поскольку мы выяснили, что страх другого есть не что иное, как страх инаковости как таковой, постольку можно говорить здесь об отождествлении различия и разделения. Это в высшей степени усложняет и затемняет человеческое мышление и поведение; в этом случае моральные последствия очень серьезны. Мы разделяем нашу жизнь и человеческие существа в соответствии с различиями. Мы организовываем государства, клубы, братства, даже Церкви на основании различий. Когда различие становится разделением, тогда общение есть не что иное, как достижение мирного сосуществования. Последнее сохраняется до тех пор, пока существуют взаимные интересы, и может легко обернуться конфликтом и конфронтацией, как только эти интересы перестают совпадать. Наши общества и мировая ситуация в целом достаточно красноречиво об этом свидетельствуют.

Если бы это смешение различия и разделения было бы просто моральной проблемой, этика могла бы разрешить ее. Но это не так. Святой Максим Исповедник видит не только всеобщее, но даже космическое измерение этой проблемы. Весь космос разделен в соответствии с различиями, и его части различаются на основании разделений. Это органически связывает проблему общения и инаковости с проблемой смерти. Смерть существует потому что в творении общение и инаковость не могут совпасть. Различные существа становятся отстраненными (distant) существами: потому что различие становится разделением, различение становится отстраненностью. Св. Максим использует эти термины для описания универсальной и космической ситуации. Diaphora (различие) должно быть сохранено, ибо оно — благо. Diairesis (разделение) есть извращение diaphora (различия), и оно — зло. То же самое справедливо и относительно diastasis'a (distance, отстраненность), который равно-

значен diaspasis'у (decomposition, распад, разложение), и поэтому — смерти.

Все это является следствием — как показал уже св. Григорий Нисский — diastem'a («пространственный» разрыв в отношении как самого пространства, так и времени), что является характеристикой творения ex nihilo (из ничего). Мораль связана с тварностью — с творением из ничего, и именно с этим связано отвержение Другого — Бога — и «другого» в любом другом смысле.

Превращая различие в разделение через отвержение другого, мы умираем. Ад, вечная смерть, есть не что иное, как изоляция от другого, по утверждению отцов пустыни. Мы не можем разрешить эту проблему с помощью этики. Мы нуждаемся в новом рождении. Это приводит нас к экклезиологии — учению о Церкви.

III

Как взаимоотношение между общением и инаковостью реализуется в Церкви? Каково место «другого» в церковном общении? К этому вопросу мы должны теперь обратиться.

Церковь есть общность, которая живет внутри истории и поэтому в рамках «падшей» экзистенции. Все наши соображения относительно трудности примирить общение и инаковость в нашей культуре также приложимы и к жизни Церкви. Грех как страх и отвержение другого — это реальность, переживаемая также и внутри Церкви. Церковь состоит из грешников, и она вполне испытывает онтологическое и космическое измерения греха, которые суть смерть, разрыв в общении и окончательный diastasis (разделение и разрушение) живущих существ. И вместе с тем мы утверждаем, что Церковь в ее сущности — святая и безгрешная. Этим мы, православные, отличаемся от других христиан, в особенности от протестантских Церквей. Что это значит в отношении темы общения и инаковости?

Первое, что предполагает эта позиция православных: сущность христианского существования в Церкви есть metanoia (покаяние). Будучи отвергаемым нами или просто вызывая у нас страх, другой провоцирует нас и побуждает к покаянию. Даже существование в природном мире боли и смерти, причиной чего никто из нас не является индивидуально, должно вести нас к metanoia. Ибо мы все соучаствуем в грехе Адама и все мы должны испытывать скорбь и печаль оттого, что нам не удается привести творение к общению с Богом и победить смерть. Путь к святости в Церкви проходит через искреннее и глубокое покаяние. Все святые плачут, потому что

некоторым образом чувствуют личную ответственность за падение Адама и его последствия для безвинного творения.

Второе, что отличает позицию православных в отношении святости Церкви: покаяние является истинным, настоящим покаянием только в том случае, если Церковь и ее члены сознают, что есть истинная природа Церкви. Нам нужен образец — эталон, которым мы могли бы поверять наше существование. И чем выше этот образец, тем глубже покаяние. Вот почему нам нужны максималистская экклезиология и максималистская антропология, — и даже космология, из них проистекающая. Православная экклезиология, подчеркивая святость Церкви, тем самым не порождает и не должна порождать триумфализма, но глубокое чувство сострадания и покаяния.

Каков же образец, или модель такой максималистской экклезиологии, задача которой — понять и соответственным образом «прожить», осуществить в жизни общение с Другим? Что может нас направить и просветить в том, что касается реализации нашего общения с Другим и другими в Церкви? Позвольте мне поделиться с вами соображениями на этот счет, опираясь на некоторые фундаментальные принципы православного богословия.

1. Наша вера в Триединого Бога

Нет другого образца, или модели для понимания правильной взаимосвязи между общением и инаковостью — как для Церкви, так и для человека — кроме Триединого Бога. Если Церковь хочет быть верной своему истинному существу, она должна стремиться отражать то общение и инаковость, которые существуют в Боге-Троице. То же самое верно и относительно человеческого существа как «образа Божия». Взаимосвязь между общением и инаковостью в Боге есть «модель» как для экклезиологии, так и для антропологии. Что же говорит нам об общении и инаковости учение о Троице?

Первый вывод, который мы можем сделать из этого учения, заключается в том, что инаковость констатирует единство, а не является его следствием. Бог не есть сначала «один», а потом «три», но одновременно Один и Три. Его единство обеспечивается не единством сущности, как утверждали св. Августин и другие западные богословы, но монархией Отца, Который Сам есть один из Трех («един от св. Троицы»). Это также выражается через неразрывную кинонию (общение), которая существует между тремя Лицами и которая означает, что инаковость не является угрозой для единства, но есть его sine qua non (необходимое условие).

Во-вторых, учение о Троице показывает, что инаковость абсолютна. Отец, Сын и Дух абсолютно различны (diaphora), и ни один из них не подлежит смешению с двумя другими.

Третий — и наиболее важный — вывод заключается в том, что инаковость эта — онтологическая, а не нравственная или психологическая. Мы не можем сказать, что есть каждое Лицо; мы можем лишь сказать, кто Оно есть. Каждая Личность в Св. Троице отлична от других не через различие качеств, но через простое утверждение ее в качестве того, Кто Она есть.

И, наконец, как следствие этого: инаковость немыслима вне взаимоотношения. «Отец», «Сын» — это имена, указывающие на отношение. Личность может быть отлична не иначе, как через соотношение. Общение не угрожает инаковости: оно порождает ее.

2. Наша вера во Христа

Мы не можем быть «образом Божиим» — ни на экклезиологическом, ни на антропологическом уровнях, — если мы не включены в изначальный и единственно подлинный образ Отца, который есть Сын Божий воплощенный. Это предполагает следующие выводы, касающиеся нашей темы:

(а) Общение с другим требует опыта Креста. Если мы не жертвуем своей волей и не подчиняем ее воле другого — повторяя в себе то, что наш Господь совершил в Гефсимании по отношению к воле Отца, — мы не можем верно отразить в истории то общение и инаковость, которые видим в Триедином Боге. С тех пор, как Сын Божий обратился к другому, Своему творению, чтобы встретиться с ним через истощение, через самоопустошение, то есть через кенозис Воплощения, кенотический путь — это единственный для христиан способ общения с «другим» — будь это Бог или «ближний».

(б) В соответствии с этим кенотическим подходом к другому, общение никоим образом не определяется теми или иными качествами, которыми этот другой может или не может обладать. Принимая грешника, Христос осуществляет в общении «тринитарную модель», которую мы описали выше: другой идентифицируется не качествами, ему присущими, но самим фактом того, что он — есть и есть в качестве себя самого. Мы не можем различать тех, кто «достоин» или наоборот «недостоин» нашего принятия. Именно это предполагает христологическая модель общения с другим.

3. Наша вера в Духа Святого

Дух Святой ассоциируется, помимо прочего, с кинонией (1Кор. 13,13) и вхождением «последних дней» в историю (Деян. 2, 17, 18),

то есть с эсхатологией. Дуновение Святого Духа создает не добрых индивидуумов-христиан, не индивидуальных «святых», но событие общения, которое преобразует все, чего бы ни касался Дух, в соотносительное бытие. Другой в этом случае становится онтологическим аспектом моей собственной идентичности (то есть меня самого, взятого в моей самотождественности). Там, где Дух веет, Он де-индивидуализирует и персонализирует существа.

С другой стороны, эсхатологическое измерение присутствия и действия Духа также глубоко влияет и на идентичность другого: мы идентифицируем и принимаем другого, исходя не из его прошлого или настоящего, но из его будущего. А поскольку будущее находится в руках Божиих, в нашем подходе к другому мы должны быть свободны от суждения о нем. Каждый «другой» есть в Духе потенциальный святой, даже если кажется, что он — грешник и продолжает оставаться грешником.

4. Наша вера в Церковь

Все эти соображения относительно веры в Троицу, во Христа и в Духа находят свое конкретное выражение в Церкви. Именно здесь общение с другим вполне отражает взаимосвязь между общением и инаковостью в Св. Троице, во Христе и в Духе. Рассмотрим теперь некоторые конкретные формы церковного общения.

КРЕЩЕНИЕ. Это таинство ассоциируется с прощением. Каждый крещеный, получив прощение, перестает быть идентифицируем через свое прошлое и становится гражданином грядущего Града, то есть Царства. То, что было сказано ранее о прощении, находит свое конкретное выражение в Церкви через крещение.

ЕВХАРИСТИЯ. Это сердце Церкви, где общение и инаковость реализуются par excellence (по преимуществу). Если Евхаристия не совершается соответствующим ей образом, Церковь перестает быть Церковью.

Церковь не случайно дала Евхаристии имя «общения» (communio, koinonia). Ибо в Евхаристии мы находим все измерения общения: Бог со-общает Себя нам; мы вступаем в общение с Ним; причастники таинства входят в общение друг с другом; и творение в целом включается через человека в общение с Богом. Все это происходит во Христе и в Духе, который вводит «последние дни» в историю и дает миру предощущение Царства.

Однако Евхаристия не только утверждает и освящает общение, она также освящает и инаковость. Это есть место, где различие перестает разделять и становится благом. Diaphora не ведет к diairesis'y, и

единство, или общение не уничтожает, но утверждает разнообразие и инаковость в Евхаристии. Там, где этого не происходит, Евхаристия терпит урон и более того — становится недействительной, даже если были выполнены все иные условия для «действительной» Евхаристии. Так Евхаристия, которая так или иначе исключает представителей другой расы или пола, или возраста, или профессии, — это ложная Евхаристия. Например, Евхаристия, совершаемая специально для детей или молодежи, или белых, или черных, или студентов и т.п., — ложна. Евхаристия должна включать всех, ибо именно в ней различия природного или социального порядка могут быть превзойдены. Церковь, которая не совершает Евхаристию в этом инклюзивном смысле, рискует утратить свою кафоличность.

Существуют ли, однако, пределы инаковости для евхаристического общения? Не предполагает ли Евхаристия в некотором смысле «закрытую» общину? Разве не существует у нас исключения из евхаристического общения? На эти вопросы можно ответить только утвердительно. Действительно, существует экскоммуникация, то есть отлучение от общения на Евхаристии, и «двери» собрания действительно закрываются в определенный момент литургии. Как мы должны понимать это исключение другого?

Ответ на этот вопрос заключается в том, что существует только один вид исключения, которое допускает евхаристическое общение: это исключение исключения, то есть исключение того, что в себе самом заключает отвержение и разделение. К последнему относится все, что в принципе и в самом акте веры (но не в неудачном способе осуществления истинной веры) ведет к типу общения, разрушительному для тринитарной, христологической, пневматологической и экклезиальной веры, которую мы описывали выше. В этом отношении ересь содержит в себе разрушительную веру, и это неизбежно имеет практические последствия, касающиеся общения и инаковости. Если, например, кто-то отрицает Троичное бытие Бога, он неизбежно отрицает и экзистенциальные следствия троичности в отношении общения и инаковости. То же самое справедливо и относительно христологии, пневматологии и экклезиологии: еретические взгляды в этих вероучительных областях приводят к иному экзистенциальному отношению к «другому». Схизма (раскол) есть также акт исключения. Когда происходит раскол, евхаристическое общение неизбежно приобретает характер исключительности. В обоих случаях — ереси и схизмы — мы не можем претендовать на то, что пребываем в общении с другим, в то время как фактически в нем

не пребываем. Это имеет отношение к известному вопросу об «интеркоммунионе». Отрицая практику «интеркоммуниона», мы не проповедуем исключительности и не исключаем другого: мы просто констатируем, что подобное исключение существует, и пока его причины не будут устранены, общение с «другим» не совершается.

СВЯЩЕНСТВО. Быть может нигде в церковной жизни общение и инаковость не сосуществуют столь глубоко, как в церковном священнослужении. Священство предполагает харизмы Духа, а харизмы в свою очередь предполагают множественность (многообразие) и различие. «Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители?.. Все ли имеют дары исцелений?» (1Кор. 12,29). На эти вопросы, которые ставит апостол Павел, он дает резко отрицательные ответы. Тело Христово состоит из многих членов, и эти члены представляют различные дары и служения. Ни один из этих членов не может сказать другому: «Ты мне не нужен» (1Кор. 12,21). Существует абсолютная взаимозависимость среди членов — церковных служений: ни одно из служений не может быть изолировано и понято в отдельности от «другого». Инаковость относится к сущности священнослужения.

Говоря это, мы должны добавить, что инаковость допустима только тогда, когда она ведет к общению и единству, а не к разделению. Когда различие (diaphora) становится разделением (diairesis), употребляя терминологию св. Максима, о которой мы говорили ранее, тогда мы непосредственно сталкиваемся с «падшим» состоянием человеческой экзистенции. Для того, чтобы избежать этого, в Церкви необходимо служение единства, то есть нужен тот, кто, сам по себе нуждаясь в «других», вместе с тем может предотвратить превращение различия в разделение. В этом и заключается предназначение или служение епископа.

Не может быть церкви без епископа, и это не случайно. Также не случайно, что в Церкви может быть только один епископ (Правило 8-е Никейского собора). Церковь без епископа содержит в себе опасность превращения различия в разделение. Тогда как более, чем один епископ в церкви, приводит к тому, что различие становится решающим фактором. Сегодняшняя ситуация в православной диаспоре являет собой реальность такого печального, опасного и всецело неприемлемого феномена. Она позволяет этническим и культурным различиям становиться основой для церковного общения, которое имеет своим центром одного из многих епископов. Епископ, который в себе самом не преодолевает этнических и культурных различий,

являет пример служения разделения, а не единства. Православным необходимо обратить на это положение самое серьезное внимание, если они, конечно, сознают, что должны избегать искажения самой природы Церкви.

IV

Все эти соображения приводят нас к важным антропологическим выводам. Богословие и церковная жизнь предполагают определенное понимание человеческого существа. Это понимание может быть суммировано в одном слове: личность. Этот термин, освященный тем, что он употребляется в отношении самого бытия Бога и Христа, столь богат в своих импликациях, касающихся нашей темы, что нам необходимо рассмотреть его здесь, хотя бы и кратко.

(а) Личность есть инаковость в общении и общение в инаковости. Личность возникает через отношение (schesis, по терминологии греческих отцов). Она есть «Я», которое может существовать только постольку, поскольку оно находится в отношении к «Ты», утверждающему его существование и его инаковость. Если мы изолируем «Я» от «Ты», мы утратим не только инаковость «Я», но также и само его бытие; оно просто не может быть без другого. Это то, что отличает Личность от индивидуума. Православное понимание св. Троицы — единственный путь к этому понятию о Личности, или личностном бытии: Отец не может быть ни на мгновение помыслен без Сына и Духа; и то же самое нужно сказать о двух других Лицах в их отношении к Отцу и друг к другу. Вместе с тем, каждая из этих Личностей настолько уникальна, что ее ипостасные, или личностные свойства всецело несообщимы — от одной Личности к другой.

(б) Как в антропологическом, так и в богословском отношении личностное бытие немыслимо без свободы; это — свобода быть другим. Я воздерживаюсь от того, чтобы говорить «отличным» вместо «другим», так как «отличный» может быть понято в смысле качеств (умный, красивый, святой и т.д.), которые не суть то, что обозначает слово «личность». Здесь важно отметить, что в Боге все подобные качества являются общими для всех трех Личностей. «Личность» предполагает не просто свободу иметь качественные отличия, но прежде всего свободу просто быть самим собой. Это означает, что личность не подчинена нормам и стереотипам; она никоим образом не подлежит классификации; ее уникальность абсолютна. Это значит, что только Личность свободна в истинном смысле.

И вместе с тем, именно потому, что одна личность не есть личность, как мы уже отмечали, эта свобода не есть свобода от другого, но

свобода для другого. Свобода в этом случае тождественна любви. Бог есть любовь потому, что Он есть Троица. Мы можем любить только как личности, то есть позволяя другому поистине быть другим и в то же время быть в общении с нами. Если мы любим другого не только несмотря на то, что он отличен от нас, но и потому, что он отличен от нас, а, точнее, потому, что он другой по отношению к нам, тогда мы живем в свободе как любви и в любви как свободе.

(в) Личность есть творчество. Это относится к человеческой личности и является следствием понимания свободы как любви и любви как свободы. Свобода есть свобода не от, но для чего-то другого, чем мы сами. Это означает, что личность эк-статична, то есть выходит за пределы «Я», или «самости». Но этот экстасис не должен быть понят как движение в неведомое и бесконечное; это движение, утверждающее другого.

Движение личностного бытия, направленное на утверждение другого, столь могущественно, что оно не ограничивается «другим», которое уже существует, но стремится утвердить «другое», которое всецело — свободный дар самой личности. Подобно тому, как Бог творил мир всецело как свободный дар, так же и личность желает творить свое собственное «другое». Это то, что происходит в искусстве, и только личность может быть художником в подлинном смысле, то есть творцом, который создает всецело другое в результате акта свободы и общения. Жить в Церкви в общении с другим означает, поэтому, творить культуру. Православная Церковь всегда была источником культурного творчества.

Все это приводит меня к утверждению, которое может показаться вам мало связанным с нашей темой. И вместе с тем надо сказать, что оно вполне соответствует теме, хотя и непростительно исключено из наших рассуждений об общении и инаковости. Я имею в виду экологическую проблему. Как она связана с нашей темой?

Говоря кратко, что только мы и можем здесь сделать, экологическая проблема, ставшая столь угрожающей для Божиего творения, есть следствие кризиса в отношениях между человеческим существом и инаковостью прочего творения. Человек не уважает инаковость того, что не является человеческим; он стремится абсорбировать его, поглотить самим собой. Это и есть причина экологической проблемы.

Трагичность этой ситуации состоит в том, что, в отчаянной попытке исправить ее, человек может сегодня впасть в языческую альтернативу: человек будет поглощен природой. Мы должны быть очень осторожны. Православие в особенности призвано дать правильный

христианский ответ на эту проблему, исходя из своего Предания. Природа есть «другое»,с которым человек призван вступить в общение, утверждая его как «добро зело» через личностное творчество. Это то, что совершается в Евхаристии, когда природные элементы хлеба и вина получают такое утверждение, что воспринимают личностные качества (Тело и Кровь Христовы) в событии общения Духа. Подобно этому, но параевхаристическим образом, все формы подлинной культуры и искусства суть способы отношения к природе как инаковости в общении, и они — единственное здравое противоядие против экологической болезни.

V

Сказанное — это только некоторые скоромные соображения на обширную тему. Они возникли из попытки осмыслить экзистенциальную значимость нашего православного богословия и веры. Мы живем во время, когда общение с другим становится крайне трудным не только вне, но нередко и внутри Церкви. Православие обладает верным видением общения и инаковости в своей вере и своем евхаристическом и экклезиальном существовании. Именно об этом мы должны свидетельствовать в контексте западной культуры. Но для того, чтобы это свидетельство было успешным, мы должны стремиться осуществлять это видение в нашем «образе бытия». Отдельные православные христиане могут не преуспеть в этом деле, но Церковь в целом не может себе этого позволить. Именно поэтому Православная Церковь должна внимательно всматриваться в свой «образ бытия». Если другой оказывается отвергнутым по причине природных, расовых, социальных, этнических и даже моральных отличий, православное свидетельство теряет свою силу.

Позвольте мне закончить, повторив то, что я говорил вначале. Православие присутствует здесь — в Западной Европе не для того, чтобы заниматься обращением в свою веру или чтобы впечатлять и «очаровывать» своей «экзотической» внешностью. Оно здесь как зерно и как растение, которое должно быть посажено в почву западной культуры в качестве интегральной и органической ее части для того, чтобы помочь Западной Европе достичь, осуществить общение с другим личностным образом на основе тринитарного, христологического и евхаристического видения человеческого существования. Это может произойти только в результате длительного процесса, «кенотического» характера присутствия Православия и подлинной интеграции. Это может состояться только в тесном и

творческом сотрудничестве и истинном диалоге с Западным Христианством и культурой.

И пусть Господь Иисус Христос, Который совлекся Своей вечной славы, чтобы сообщить нам, пребывающим в падшем состоянии, Свой образ бытия, — пусть Он благословит, укрепит и направит Духом Святым Православную Церковь в Западной Европе в ее жизни и свидетельстве, к славе Бога Отца, и Сына, и Святого Духа.

БРИТАНСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Интервью с епископом Сергиевским Василием[1]

— Владыко, не могли бы Вы в нескольких словах нарисовать общую картину «православного присутствия» в нынешней Великобритании?

— Чтобы составить себе представление о Православной Церкви в Великобритании, важно иметь в виду, что наиболее крупной православной общиной является греческая церковная община, большая часть которой — это греки-киприоты: они приехали сюда еще в 1950—60-е годы, не имея к этому никаких препятствий, так как Кипр в то время был частью британского Содружества. Греки как правило приезжали по экономическим мотивам, в поисках работы. С другой стороны, была и политическая эмиграция: это те, кто выехал из России после революции, в 1920-е годы, и также украинцы, вывезенные во время второй мировой войны на работы в Германию и затем перебравшиеся в Англию. Существует также большая группа сербов, которую в основном составляют те, кто в конце войны был на стороне противников Тито; поддерживавшее их английское пра-

[1] Епископ Василий (Осборн) — по происхождению американец, принял православие в 1962 году. С 1966 года он живет в Англии, где с 1969 служил диаконом, а с 1973 — священником в православном приходе в Оксфорде, где уже долгое время является настоятелем. В прошлом году он был хиротонисан во епископа Сергиевского, викария Сурожской епархии Русской Православной Церкви.

вительство после войны разрешило им приехать в Великобританию. Понятно, что это были почти одни мужчины, и они уже позже привезли себе невест из Югославии и создали семьи. Сербская община в целом довольно замкнута, в ней совершаются «внутренние» браки, впрочем так же, как и греческая община. Есть небольшие румынская и болгарская общины — тоже послевоенные иммигранты. Православные арабы из Ливана и Сирии приехали в Англию после того, как там начались серьезные политические трудности около 15 лет назад. Эта община довольно молодая, но и достаточно богатая: многие из арабов — преуспевающие бизнесмены, причем были ими еще у себя на родине.

В процентном соотношении можно сказать, что греки составляют около 85% (250 000 чел.), а остальные 15% — последовательно украинцы, сербы, русские, а также небольшие общины (по 500 чел.) арабов, румын и болгар.

— *Украинцы объединены в свои собственные общины?*

— Украинцы почти не имеют контактов с другими православными. Они образуют автономные общины в юрисдикции Вселенского Патриархата, но не поддерживают актуального евхаристического общения с другими православными общинами, тогда как другие группы взаимно признают друг друга.

Кроме этого в Лондоне существуют две общины т.н. Русской Православной Церкви в изгнании («карловацкой»). К ним почти нет притока новых членов, только отдельные британцы, которые ищут наиболее традиционную и консервативную Церковь, в частности с подчеркнутой анти-экуменической ориентацией.

В некоторых городах существует обычай в День Торжества Православия устраивать совместное богослужение представителей всех православных юрисдикций. В Лондоне ежегодно совершается общеправославная воскресная вечерня попеременно в храмах четырех крупнейших общин: русской, греческой, сербской и арабской, — у которых самые большие храмы. После богослужения бывают совместные встречи и собеседования на актуальные церковные темы, а затем общий прием, где люди могут общаться друг с другом. Обычно бывает 2—3 епископа, 10—12 священников, разные церковные хоры и верующих около 2.500 человек. Это мало в сравнении с масштабом такого города, как Лондон, но это гораздо больше, чем бывает по воскресеньям в православных храмах.

Кроме этого недавно в Великобритании, по инициативе Вселенского Патриархата, создан комитет глав и представителей всех право-

славных юрисдикций, целью которого является выработка единой, согласованной позиции по вопросу отношения к англиканам, которые желают стать православными именно в настоящий момент. После того, как Англиканская Церковь приняла решение о рукоположении женщин в священный сан, многие ее члены выражают желание перейти в Православие. В прошлом каждая православная юрисдикция самостоятельно — без обсуждения с другими — решала вопросы об индивидуальном принятии в православие инославных христиан, но теперь мы чувствуем, что у нас должна быть общая политика в этом вопросе. Комитет уже собирался несколько раз; в него входят представители Константинопольской, Антиохийской, Русской, Румынской, Сербской и Болгарской Церквей в Великобритании.

— А как вообще происходит рост православных общин и происходит ли он? Кто становится новыми членами — люди, родившиеся в православных семьях, или же «обращенцы» в православие?

— Только греческая и сербская общины могут поддерживать свой состав и даже расти за счет «внутренних ресурсов», что нельзя сказать о других, которые не в состоянии продолжать существовать просто как иммигрантские общины. Русская епархия в основном росла за счет приема в православие англичан. Не могу сейчас сказать в целом о всей епархии, но в нашем Оксфордском приходе динамика следующая: в момент своего основания в 1959 году он полностью состоял из русских (5 семей, 20—25 чел.); к 1989 году его члены, говорящие по-русски, составляли только 20%. Поскольку за последние годы он пополнился русскими, приехавшими в Англию, то сейчас русских около 25%, однако подавляющее число прихожан — всего их 110 человек — это британцы и другие западноевропейцы. Наш приход в Оксфорде — второй по времени основания и по численности в епархии — после лондонского.

Интересно, что проведенный несколько лет назад обзор всех британских Церквей в отношении их динамики показал рост только двух религиозных групп: это пятидесятники и православные, — то есть те, кто представляет две крайние точки спектра. Другие Церкви количественно только уменьшаются.

— Часто приходится слышать, что Сурожская епархия — самая динамичная из православных юрисдикций. Что это значит?

— Думаю, имеются в виду наши активные контакты с христианами других конфессий, а также активность в области публикаций: издаются книги митрополита Антония, двухнедельный бюллетень кафедрального собора (на двух языках), журнал «Сурож» на английском

языке, тираж которого — 700 экз. — распространяется по подписке во всех англоязычных регионах: в Америке, Австралии, Южной Африке, — а также в Англии, причем в основном здесь его получают инославные христиане.

«Динамика» означает также и вообще изменение «лица» Православной Церкви в Англии, и мы могли в этом участвовать, потому что русская иммиграция предшествовала другим. Теперь и греческие иммигранты все более чувствуют себя «дома» в Англии. Например, в университетах вы можете встретить православных студентов, которые родились и всегда жили только в Англии, то есть они уже — не иммигранты. Они культурно — британцы, но по вере — православные. Двадцать лет назад этого еще не было. Это реальные исторические изменения: не то, что мы сделали, но определенные социальные процессы.

— Можно ли сказать о греческой общине, что она стремится заявить именно свое религиозное, православное присутствие в обществе?

— Я думаю, что было время, когда можно было говорить об исключительно этническом характере этой общины. Но сейчас, когда выросло молодое поколение непосредственно в Англии, у его представителей появляется другой взгляд на вещи. Некоторые из них богословски сознают смысл и значение Православия именно как церковной традиции, то, что Православие нельзя интерпретировать только в этнических терминах, но что оно — это часть религиозной жизни в стране.

— А какими путями англичане — в частности, англикане — становятся православными?

— До недавнего времени трудно было делать какие-либо обобщения: каждый индивидуально приходил к православию. Я помню, однажды в конце всенощной в Оксфорде я увидел человека, который сидел в дальнем конце церкви, но которого я никогда раньше не встречал. Я подошел к нему, и он мне сказал: «Я хочу стать православным». Это был студент, изучающий русский язык в университете. Мы здесь ничего не делали — он сам принял решение, хотя до этого никогда не был в православной церкви.

Часто это бывают люди, у которых друзья или знакомые — члены нашего прихода. Недавно я крестил молодого человека 27-ми лет, у которого и родители неверующие, и сам он был всегда неверующим, но его коллега стал православным два года назад, и личный пример другого человека оказался решающим. Они оба

по профессии — социальные работники, которые работают с престарелыми.

Интересно, что англичане часто жалуются, что мы — православные — не имеем социальной программы и социальной работы, но при этом почти все члены нашего прихода — из числа работающих — заняты социально значимой работой: учителя, врачи, социальные работники... Хотя мы, как приход, не имеем специальной программы социальной деятельности.

Очень различная бывает «скорость» перехода или прихода в православие. Кто-то приходит на литургию и — принимает решение; кто-то приходит и говорит: «Я хочу стать православным; я стремился к этому 20 лет и теперь должен это совершить». 11 лет назад я принял женщину 92-х лет; сейчас ей 103 года...

До недавнего времени было очень много различных личных путей. Одни были крещены в Англиканской Церкви, другие вообще были некрещеные. Но теперь, после тех изменений, которые произошли в Церкви Англии и вызвали приток желающих стать православными, нам приходится иметь дело с людьми, которые были активными англиканами; они создают особые группы, иногда целые приходы хотят перейти в Православную Церковь. Позиция наша такая: мы не считаем, что ординация женщин в Церкви Англии, то есть ее неприятие, может быть достаточной причиной, чтобы стать православными. Стать православным — это действительно серьезный шаг, который определяется множеством различных факторов. Поэтому мы предлагаем этим людям пройти длительную подготовку — около одного года, — которая включает посещение православного богослужения, встречи со священником. Я приглашаю их на встречи раз в две недели: мы говорим в течение часа, я задаю вопросы, стараюсь передать наш опыт... Потому что главное — это не то, что можно узнать из книг; главное — это жизнь в общине, в приходе, осмысление опыта этой жизни, попытка понять, как ты можешь в этой общине жить. И только затем принимается решение, но решение принимает не только тот, кто хочет стать православным, но также и священник, который определяет, пришло время или еще не пришло.

— *Что Вы имеете в виду под опытом жизни в общине, которому нельзя научиться из книг?*

— Во-первых, ты должен научиться молиться в Православной Церкви. Большую часть приходящих к нам очень привлекает православная молитва, — иначе мы их не увидели бы вообще. Однако они должны учиться не только молитве на литургии, — что не трудно,

потому что литургия предполагает довольно активное участие присутствующих, но и более аскетической молитве — во время всенощной, которая очень необычна для западных христиан: провести два часа в церкви, «ничего не делая»... Этому надо учиться, иначе не войдешь в Православную Церковь. Кроме этого у них должна быть личная молитвенная жизнь, то есть они должны молиться дома. Это очень важно, потому что в Англии у православных нет никакой социальной поддержки: когда вы выходите из православной церкви, она исчезает... Вы оказываетесь или в англиканском мире, или в секулярном мире. Поэтому если у человека нет личной духовной жизни, он не может оставаться православным, жить как православный христианин. Основное — это молитва утром и вечером: мы не хотим делать из этих людей монахов, но они должны знать, что необходимо поддерживать духовную жизнь на некотором уровне, а это дело личного усилия, потому что Церковь не может это обеспечить человеку, общество — тем более.

Затем — чтение Священного Писания, хотя многие из приходящих гораздо лучше знают Писание, чем сами православные, так что это не проблема. Наконец, они должны найти свое место в общине, иначе я их не принимаю — если они не обрели этой ниши, своего собственного места в приходе, так как, опять же, вы не можете быть православным — в одиночку, вам нужно стать участником общины.

— Существует ли в Вашем приходе какое-то разнообразие мнений, тенденции к «правой» или «левой» ориентации — в религиозном отношении?

— У нас существует весь спектр мнений. Некоторые люди очень традиционно настроены, предпочитают славянскую службу, так как считают, что православное церковное пение требует славянского языка (мы используем русскую церковную музыку для богослужения как на славянском, так и на английском языке). Так что у нас в приходе с 1966 года идет дискуссия о языке богослужения. Моя пастырская задача заключается в том, чтобы это не приводило к разделениям: чтобы все голоса были услышаны и решение принималось бы всеми вместе. Поскольку мы в Оксфорде делим один храм с греческой общиной, у нас недавно был произведен опрос среди членов обеих общин по вопросу: иметь в месяц одну или две воскресные литургии на английском языке? За то, чтобы совершать еще одну литургию по-английски, высказалось 60%. Мнения разделились, однако мы с епископом Каллистом, настоятелем греческой общины, считаем, что пришло время для перемен (обычай совершать

одну литургию в месяц на английском языке возник уже 20 лет тому назад). Я надеюсь, что мы в конце концов придем к единодушию в этом вопросе.

— *А сколько человек в греческой общине?*

— Больше, чем у нас — около 200. Это особенно чувствуется на Пасху, когда приходит очень много народу, и наш приход почти растворяется. Среди членов греческой общины есть также несколько англичан, и надо сказать, что в целом оксфордская греческая община гораздо более разнообразная, более открытая и активная, чем другие греческие общины в Англии; гораздо больше людей бывает в храме на воскресной литургии.

— *Скажите, Владыко, а как проходит приходская жизнь в смысле ее формальной организации?*

— У нас бывает общее приходское собрание два раза в год. Хотя и не все члены прихода в нем участвуют, обычно на нем бывает представлено все разнообразие мнений; мы обсуждаем все интересующие нас вопросы. Относительно богослужения и таинств люди высказывают свое мнение, но решения принимаются священством. Вопросы, касающиеся финансов и различных форм приходской активности, решают совместно члены прихода. Общее собрание также избирает членов приходского совета (10—12 чел.), который собирается гораздо чаще — 3—4 раза в год, помимо общих собраний.

— *Кроме богослужения, какие формы общинной жизни у вас существуют?*

— В нашем приходе есть люди, которые живут за 50—60 км от храма, поэтому это, так сказать, «собирающаяся община», а не приход в узком пространственном смысле. Они регулярно приезжают на воскресную литургию, а также на вечернюю службу, когда могут; но для тех, кто живет далеко, не всегда возможно совершать этот путь до храма два раза в неделю. Также бывает невозможно приезжать на службу в будни, так как большинство прихожан работают. Но после каждой литургии мы устраиваем кофе, и люди имеют возможность встречаться и общаться после богослужения. В этих встречах, которые продолжаются около часа, принимают участие и священники.

Кроме этого у нас бывают беседы, лекции, вечерние встречи, на которых выступают епископ Каллист, богослов и профессор университета. На эти встречи приходят обычно не только прихожане, но и студенты из университета, и просто люди, интересующиеся Православием.

— А Вы встречаетесь с прихожанами индивидуально? Приходят ли они к Вам — не только для исповеди?

— Да, и все знают, что достаточно мне позвонить, чтобы придти в любое время: если не сразу, то в какой-то другой день. Я часто вижусь с членами нашего прихода; и, конечно, есть люди престарелые, которых я специально посещаю.

— Вы видели еще старый, совсем русский приход, но с течением времени в него влились британцы, которые составили большинство. Изменилась ли община в целом — атмосфера, стиль, представления людей — и если да, то как?

— Да, произошло определенное изменение. У русских, так же как и у греков, более прямой, непосредственный стиль отношений друг с другом и с другими людьми. В этом смысле англичане по природе своей иные — гораздо более сдержанные. Но я думаю, каждый англичанин, который становится православным, старается преодолеть эту черту, стать более открытым — как человек, живущий в более открытой общине. Это трудно найти в других местах. У меня есть личные друзья — англиканские священники, которые знают наш приход, и они говорят, что они, как священники, более отдалены от своего прихода, чем это у нас, потому что люди приходят ко мне домой, звонят в любое время, мы разговариваем. То есть по сравнению с обычными англиканскими общинами у нас гораздо более тесное общение, и люди, которые становятся православными, это очень ценят. Поэтому можно сказать, что, конечно, английские православные общины отличаются от русских и греческих как более этнически выраженных, но также и от англиканских общин. То есть это именно общины, в более реальном смысле, и даже там, где одни англичане — у нас есть приходы, где только 1—2 русских, — есть открытость и тепло, которые они восприняли из православной традиции.

— Чувствуют ли православные англичане потребность продолжать обращаться к традициям исторически Православных Церквей, русской в том числе? Нет ли опасности, что собственно «английское православие» станет в какой-то степени самодостаточным, оторванным от живой церковной традиции Православного Востока?

— Я думаю, что здесь есть проблема, и мы ее сознаем. Очень важно для православных англичан посещать Грецию и Россию, ибо только там они могут что-то увидеть непосредственно своими глазами — то, что нельзя узнать иначе. Те, кто совершают такие поездки, очень это ценят.

— Что их впечатляет прежде всего?

— Большинство англичан, обратившихся в Православие, — образованные люди, окончившие университеты и т.д. Они читают книги о богословии, истории, духовной традиции Православия. Но когда они приезжают в Грецию или Россию, они видят Церковь, которая живет в традиции, сохраняя непосредственную преемственность, подчас даже не зная того, о чем написано в книгах. Они видят ту сторону православной жизни, которую не могли бы узнать никак иначе. Это позволяет им, в частности, снять некоторое внутреннее напряжение, которое сохраняется, когда внешние условия требуют постоянного усилия «быть православным»... Они видят «натуральное православие»...

Юзеф ТИШНЕР

У ИСТОКОВ ИНТЕГРИЗМА

Отец Юзеф Тишнер, декан философского факультета Папской теологической академии в Кракове, принадлежит к числу ведущих современных католических философов и теологов. Знаменитый современный философ Поль Рикёр в честь его 60-летия выступил в Кракове со специальным циклом лекций.

Отцу Юзефу присуще острое ощущение болевых точек современного христианства и ясное понимание стоящих перед Церковью и обществом проблем. В опубликованной в Польше в 1994 г. статье, перевод которой «Континент» предлагает вниманию читателей[1]*, обсуждается весьма острая проблема, связанная с самим существом христианского понимания истины, свободы и достоинства человека, — проблема так называемого интегризма, обосновывающего необходимость тесного союза, если не просто сращения Церкви и Государства, сопровождающегося целым рядом характерных симптомов.*

Впрочем, в конце статьи Юзеф Тишнер дает достаточно развернутое определение того, что он понимает под интегризмом, и российский читатель, знакомясь с этими строками, вполне может вспомнить, думаю, рассказ А.И. Герцена («Былое и думы», гл. XV) о том, как в 1835 году некий православный священник обращал черемисов из Вятской губернии в христианскую православную веру с помощью исправника-мусульманина Девлет-Килдеева, получившего впоследствии за свое апостольское усердие крестик

---

[1] См. Tygodnik powszechny. Krakow, 1994, № 25, 19 czerwca.

Св. Владимира. Да и применительно к нынешней России актуальность обсуждаемой Юзефом Тишнером проблемы объяснять российскому читателю, вероятно, не нужно, хотя проф. Тишнер и исследует феномен интегризма не вообще, а интегризма именно католического, даже ультракатолического, не вмещающегося в церковные рамки.

Речь в статье идет об архиепископе Марселе Лефевре, инициаторе церковного раскола после Второго Ватиканского собора. О нем вспоминают обычно как о противнике перевода католического богослужения с латыни на национальные языки и как о критике других новаций, что сочетается с образом этакого симпатичного консерватора-традиционалиста. С присущей ему проницательностью и силой аргументации о. Юзеф Тишнер показывает, что это совсем не так: Лефевр резко порывает с евангельской истиной о том, что Христос явился, чтобы спасти мир.

Второй Ватиканский собор (1962—1965), о котором идет речь в статье и который был созван почти через 100 лет после Первого, сыграл очень большую роль в развитии Католической Церкви после Второй мировой войны. На нем был принят ряд важнейших решений, которыми были определены основные направления деятельности Католической Церкви в новых исторических условиях, в том числе — разрешение использовать в богослужении не только латынь, но и национальные языки. Однако Второй Ватиканский собор отнюдь не был оплотом либерализма в смысле проповеди какой-либо «вседозволенности», «фальшивой религиозной свободы» или эмансипации субъекта от объективной истины, как это выглядит в изображении М. Лефевра. Пафос соборных постановлений был направлен на создание в Церкви атмосферы открытости к человеку — для распространения в мире евангельской истины, делающей человека свободным. В своей новой книге «Перешагнув порог надежды» Иоанн Павел II выражает этот пафос так: «Не бойтесь свидетельствовать о достоинстве каждого человеческого существа от момента его зачатия до смерти». Собор призвал к диалогу с другими религиями и даже с неверующими, исходя именно из абсолютности евангельской истины об искуплении — исходя из того, что тайне спасения сопричастны все люди. И это было вовсе не какой-то «модернистской новацией», а следованием словам самого Иисуса: «И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12; 47).

Интегристская позиция Лефевра отнюдь не консервативна, но утопична. В ее основе лежит скудость веры и исключительное упование на авторитет Церкви, подкрепляемый Государством. Практически это означает освящение государственной власти — передача кесарю того, что принадлежит только Богу.

Проф. Тишнер очень тонко подмечает, что интегризм, в сущности, полностью пренебрегает этическим измерением христианства, утверждающего моральный абсолютизм (чему уделено много места в энциклике «Сияние истины»). В связи с этим отметим только, что этические требования к поступку не зависят от того, на кого этот поступок направлен. В этом смысле христианские моральные ценности общечеловечны — основаны на признании достоинства любого человеческого существа как образа и подобия

Бога. Моральный поступок предполагает наличие у субъекта свободы воли, а христианское учение о человеке предполагает способность души свободно откликаться на действие благодати. Именно в этом смысле христианское вероучение либерально в самой своей основе, а подлинный и плодотворный христианский консерватизм и есть не что иное, как обоснованная забота о том, чтобы скороспелые церковные реформы (которые всегда происходили и неизбежно будут происходить) не исказили именно это содержание христианского вероучения, бережно хранимое Церковью. Недаром папа Иоанн XXIII, инициатор Второго Ватиканского собора, уличаемого М. Лефевром в опасном «либерализме», имел прочную репутацию церковного консерватора. Интегризм же радикально искажает это содержание, отходит от евангельской истины, отвергая свободу и достоинство человека, и потому с христианством, в сущности, не совместим.

Юлий Шрейдер

Несколько месяцев назад, работая над статьей, посвященной папской энциклике «Veritatis splendor» («Сияние истины»), я задал себе вопрос: «не было ли одной из целей энциклики также и ответить всем тем, кто считает, что Папа слишком «либерален»? Иными словами: не выступает ли здесь Иоанн Павел II против религиозного *интегризма* — как внутри современной церкви, так и вне ее?»

Я не сумел тогда ответить на этот вопрос, поскольку сначала необходимо было четко уяснить, что такое «интегризм». Ведь это слово сегодня столь многозначно, что им трудно пользоваться. Потому-то я и хочу вновь обратиться к этой теме, представив читателю один из классических примеров интегризма, но — nota bene! — уже вне Церкви. Речь идет о взглядах архиепископа Марселя Лефевра, противника Второго Ватиканского Собора и инициатора глубокого раскола в Церкви. Архиепископ Лефевр не принял соборной литургической реформы и даже отказался подписать документы Собора.

Что им руководило?

Предо мною главный труд архиепископа: «Они лишили Его короны: От либерализма к отступничеству. Трагедия собора» (Ed. «Fideliter», Escurolles, 1987). На обложке Христос-Царь — с короной на голове.

«Они» — это кто?

Это Отцы Собора и те папы, которые позднее одобрили решения Собора. Особую ответственность несет Павел VI — «Папа с двумя лицами и расстроенной личностью».

Книга состоит из четырех частей:

1. Либерализм, принципы и применение.
2. Либеральный католицизм.

3. Заговор либералов против Церкви и папства.

4. Революция тиары и мантии.

В третьей части — раздел, посвященный масонству, «сделавшему Собор».

Книжка содержит несколько фотографий с характерными подписями.

Например, Жак Маритэн — «отец соборного постановления о религиозной свободе».

Кардинал Бийо (Billot) — противник либерализма, чья критика принципов либерализма — «небольшое произведение искусства».

Под ними — фотографии отца Конгара, «одного из тех, кто несет ответственность за трагедию Собора», и Папы Павла VI, приведшего «Церковь к саморазрушению».

В конце книги помещены еще две фотографии. На одной — фрагмент последней сессии Собора с подписью «Революция тиары и мантии», а на другой — группа молодых клириков после рукоположения. Подпись гласит: «новое поколение будущих священнослужителей».

Во вступительном слове от издателя читаем: «В монсиньоре Лефевре нет ни грана ностальгической меланхолии по прошлому. Это человек веры и дела: 21 рукоположенный им священник и 252 семинариста — живое тому свидетельство».

Книга представляет собой запись лекций, прочитанных перед семинаристами в Эконе «о самом тяжелом и самом опасном заблуждении нового времени, о последствиях и проявлениях атеистического либерализма и либерального католицизма». Архиепископ хочет «облегчить будущим священнослужителям процесс выработки собственного и одновременно основанного на истине и вере мнения».

Опорой для излагаемых взглядов служат высказывания пап XIX века, в особенности Пия IX и Льва XIII, не принявших идеологию Великой Французской революции. Главным образом критике подвергаются два документа Собора: Декларация о религиозной свободе и Конституция о Церкви в современном мире. Эти два документа, по Лефевру, — проявление «революционного либерализма». Вслед за кардиналом Суэнсом (Suenens) Лефевр повторяет: «Собор — это 1789 год в Церкви».

Начнем прямо с «камня преткновения» — с Декларации о религиозной свободе. Прежде всего попытаемся найти в прошлом то, что вызвало к жизни эту Декларацию, истоки разрушительного процесса. Затем обратимся к авторскому проекту будущего: как представляет себе автор место Церкви в современном мире?

О РАВНОПРАВИИ ИСТИНЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Согласно Лефевру, наиболее сомнительный фрагмент Декларации звучит так: «Ватиканский Собор провозглашает право человеческой личности на религиозную свободу. Эта свобода состоит в том, что все люди должны быть свободны от принуждения со стороны как отдельных лиц, так и общественных группировок, либо какой бы то ни было человеческой власти, таким образом, чтобы никто не принуждался действовать против своей совести или не лишался возможности действовать, в справедливых границах, по своей совести, как в частной, так и в общественной жизни, сам или в сообществе с другими. Кроме того, он провозглашает, что право на религиозную свободу зиждется в самом достоинстве человеческой личности, как она познается откровением Слова Божия и самим разумом. Это право человеческой личности на религиозную свободу должно признаваться в правопорядке общества так, что оно станет гражданским правом».

По мнению архиепископа Лефевра, Декларация о религиозной свободе — это не что иное как привнесение в Церковь идеалов Великой Французской революции. Об этом свидетельствуют, считает он, и приводимые им (цитированные выше) слова самого кардинала Суэнса. Заявление кардинала — безобразие. Ведь чем была эта революция? «Она была переложенным на правовые нормы протестантским натурализмом и субъективизмом, навязанным обществу, которое все еще остается католическим. Отсюда провозглашение прав человека без Бога, возвеличивание индивидуальности за счет объективной истины, отсюда предоставление равных прав любой религиозной «вере», отсюда организация общественной жизни без Бога и независимо от Господа нашего Иисуса Христа. Эти теории в целом можно объединить одним словом: либерализм».

Итак, напомним, во-первых, в каком смысле и на каких принципах построил Собор теорию о «равноправии истины и заблуждения».

Аргументация Собора состоит в следующем. Разумеется, между истиной и заблуждением существует принципиальная разница. Тем не менее она исчезает, если сравнивать д о с т о и н с т в о человека заблуждающегося и д о с т о и н с т в о человека, живущего в истине. Поскольку же достоинство равноценно, то и права человека — права каждой религии — должны быть равными.

Рассмотрим теперь аргументацию архиепископа Лефевра, который различает достоинство «радикальное» (или исходное) и достоинство

«обретенное» (т.е. полное, реальное). Согласно Лефевру, все люди — и живущие в истине, и заблуждающиеся — обладают идентичным «исходным достоинством». Совсем по-другому обстоит дело с «обретенным достоинством»: живущие в истине находятся в состоянии освящающей их благодати. Поскольку же это так, то сама справедливость требует, чтобы католики (поскольку именно они живут в истине — *Б.Ф.*) имели в государстве больше прав, чем все остальные.

Далее: «Исходное (радикальное) человеческое достоинство является, понятно, достоинством всякого разумного существа, способного к совершению личного выбора, тогда как обретенное достоинство основывается уже на приобщении к истине и добру реальным действием. Этот тип достоинства обеспечивает каждого моральной свободой (способностью действия) и свободой действовать (властью преодоления препятствий в деятельности). В той мере, в какой человек склоняется к заблуждению и привязывается ко злу, он теряет свое обретенное достоинство или не достигает его вообще, и на таком основании не удастся вообще ничего построить».

Следует внимательно присмотреться к представленным аргументам. Они обращены прямо к тому основанию, на котором вырастает особое Соборное видение человека, Церкви и демократии. Без этого невозможно понять ни творчество Собора, ни ту роль, какую в современной Церкви играют идеи Иоанна Павла II.

Коротко, аргументы состоят в следующем: «исходное» достоинство имеет собственно естественный характер и как таковое присуще в равной мере и добрым и злым, католикам и еретикам, верующим и неверующим. Поэтому человек обладает разумом и свободой воли. Но на этом основании ничего нельзя «построить», поскольку человеческий разум убог, а воля непостоянна. «Обретенным» же достоинством обладают лишь те, кто «в истине» и кто не уклоняясь пребывает в освящающей его благодати. Они находят свою опору в Церкви и таинствах. Такая благодатная свобода «позволяет построить нечто». Если Собор и Иоанн Павел II этого не видят, то это означает, что они идут на уступки «либерализму» и полностью игнорируют «сверхъестественный» масштаб человека.

Прав ли архиепископ Лефевр?

Общепринято, что главный комментарий к соборной концепции человеческого достоинства содержится во фрагменте энциклики «Redemptor hominis» («Искупитель человека», 1979), где Иоанн Павел II говорит: «Как же должен ценить человека Творец, если человек заслужил такого могучего Искупителя, ибо Бог «Сына своего еди-

нородного послал», чтобы человек, не «погиб, но имел жизнь вечную».

На чем же, — согласно этому тексту — основывается достоинство человека?

Не на том, что он обладает разумом и свободной волей, хотя и это не лишено смысла. И не на том, что «он приник к истине и добру» и оказался в освящающей любви, хотя и это не лишено смысла.

Исходное (радикальное) достоинство человека заключается в том, что Христос за него умер. А Христос умер за всех — за заблудших и просвещенных. Если же это так, то нельзя ограничивать права ближнего только потому , что он заблуждается. Мистическая их основа — смерть Сына Человеческого.

Таким образом, аргументация Иоанна Павла II исключительно «религиозна». Сравнительно с ней архиепископ Лефевр скорее впадает в грех «натурализма»: он выводит «радикальное» достоинство из самой человеческой природы, из разумности человека и свободы его воли, тогда как Иоанн Павел II обнаруживает нечто более «радикальное» (что создает и более «радикальные обязательства»), чем сама по себе разумная человеческая природа. Это более «радикальное» — пролитая за человека кровь Сына Человеческого — и предопределяет достоинство человека.

Перейдем теперь к вопросам о прошлом.

Какие ошибки прошлого позволили духу Великой Французской революции проникнуть вглубь Собора? Кто несет за это ответственность? Из каких доктрин такого рода создался «соборный либерализм»?

БОЛЕЗНЬ ЛИБЕРАЛИЗМА

В чем суть либерализма?

Напрасно мы будем искать в книге точные определения и глубокий анализ. Вместо этого нам предлагают изображение чудовища. Читаем: «Либерал — это фанатик независимости, которую он доводит до абсурда в любой сфере» (цитата из о. Roussel, 1926 г.).

Как видно, в самом определении уже содержится оценка: либерал — значит фанатик; либерал не может быть нормальным человеком. Другим характерным признаком является независимость. И здесь также кроется оценка. Ибо все знают, что каждый человек зависит от других людей. Как можно быть столь слепым?

Либерализм — это крайнее зло. Почему? Зло либерализма основывается на том, что самые его источники были злы. Злое древо дало

злые плоды. А в чем истоки либерализма? Вот они: Лютер, Декарт, Кант и Руссо.

Таким образом, мысль бежит по кругу: либерализм проистекает из злых истоков и одновременно их питает. Разве можно сомневаться в изначальном зле «отцов» либерализма? Нет, это не вызывает сомнений. Тем более, что они породили либерализм. Самый либерализм показал, чего стоят доктрины Декарта, Лютера, Канта и Жан-Жака Руссо.

Ясно, что движущая сила подобной аргументации — не в анализе понятий, а в эмоциях. Именно они гоняют мысль по кругу. Нельзя вырваться за его пределы. Невозможно его разомкнуть. Можно лишь выражать эмоции. Какие эмоции?

Посмотрим на текст и его логику. Прежде всего утверждается, что «плодом либерализма является субъективизм». Субъективизм означает «эмансипацию субъекта по отношению к объекту». Вот, скажем, разум вместо того, чтобы распознавать, «конструирует истину». «Субъект становится центром всех вещей. Вещи не являются уже тем, чем они были, но только тем, что о них мыслится. Человек располагает истиной по своему усмотрению: это заблуждение, с философской точки зрения, называется идеализмом, а с точки зрения моральной, социальной, политической и религиозной — либерализмом. Впоследствии истина дифференцируется в зависимости от индивидуумов и социальных групп. Отныне истина поделена. Уже никто не может претендовать на обладание истиной в ее интегральной целостности; истина сама себя создает и сама себя ищет до бесконечности. Каждый может сам убедиться, насколько все это противоречит Господу нашему Иисусу Христу и Его Церкви» (с. 15).

Далее:

«Историческая эмансипация субъекта от объекта (того, что существует)» была осуществлена тремя лицами. Во-первых, Лютер, восторгаясь Библией, отверг учительную функцию Церкви (magisterium) и тем самым отверг любое созданное посредничество между Богом и человеком. Исходя из фальшивого понимания официальной инспирации, он вводит свободную совесть (libre examen) — индивидуальную инспирацию. Затем Декарт, а вслед за ним Кант систематизируют субъективизм: разум затворяется в себе, не исследуя ничего кроме своих мыслей: это cogito Декарта и «категории» Канта. Вещи сами по себе непознаваемы. В завершение — Руссо: эмансипированный от своего объекта, утративший здоровый рассудок, он оставляет субъект совершенно беззащитным перед лицом обществен-

ного мнения. Мысль индивидуума расплывается в общем мнении — или в том, что думает большинство, что думают все. А мнение это создается при помощи специальной техники, организованной, в свою очередь, находящимися в руках финансистов, политиков и масонов средствами информации. Интеллектуальный либерализм разгоняется в интеллектуальный тоталитаризм. «Отвергнув объект, мы становимся свидетелями все большей буйности субъекта, созревающего для любого рабства. Вынося свободу мысли на первое место, субъективизм стремится к уничтожению мысли» (с. 15).

Это тоже неплохой пример кружения мысли по кругу. Либерализм рождается и является существующим. Субъективизм рождается и является существующим. Тоталитаризм рождается и является существующим. Но то, что рождается, непрестанно порождает свое отрицание и от него погибает. Погибает вопреки рождению. Либерализм порождает рабство. Субъективизм становится объективизмом. Природа — сверхъестественным... Но и это еще не все, ибо появляется новая сила — масонство...

«Невозможно вообразить себе ничего более двуличного в Церкви, чем папа — сторонник либеральных идей, чем папа, использующий ключи Петровы на службе анти-Церкви, а разве не этому являемся мы свидетелями со времени Второго Ватиканского Собора, со времени нового канонического права? А весь этот экуменизм и вся эта провозглашенная Вторым Ватиканским Собором фальшивая религиозная свобода, с холодной решимостью им одобренная, несмотря на производимые вот уже двести лет разрушения?» (с. 148).

Круг невозможно разорвать. Никакой новый опыт, никакое новое емкое знание, никакая критика не в состоянии пробиться сквозь этот обруч, поскольку изначально известно, что может означать критика и откуда она исходит. Отверзлось ядро мира. Для такой мысли в мире и истории уже нет никаких тайн. Этой мысли «открыто все».

Как это возможно?

Ответ прост: это мышление суть ф у н к ц и я в л а с т и. Эмоции, которые ее наполняют,— это эмоции власти. И прежде, чем что-либо будет сказано о либерализме, — уже прежде всего этого и во-первых ясно, что либерализма не любят, поскольку он ограничивает любую власть, а границей этой является свобода человека.

К ВОПРОСУ О ВЛАСТИ

На обложке книги виднеется статуя Христа в короне.

Припомним заглавие: «Они лишили Его короны». Царь низложен.

Что скрывается за этим заглавием? Ностальгия французского роялиста? Надежда на обновление мира под скипетром Христа? А быть

может только стремление обвинить мир, хотя обвинение ничего не изменит и лишь на время улучшит самочувствие обвинителя?

Одно несомненно: вопрос о форме существования Церкви в современном мире стал вопросом о характере господства Церкви над современным миром.

Читаем: «Самое печальное — это последствия провозглашенной II Ватиканским Собором религиозной свободы — уничтожение публичных прав Церкви, смерть социальной власти Господа нашего Иисуса Христа, а в итоге — религиозное равнодушие индивидуумов. Церковь еще могла бы пользоваться de facto специальными привилегиями со стороны Государства, но не имеет естественного и прирожденного права на это признание даже в странах с католическим большинством. Так пришел к концу п р и н ц и п католического Государства, бывшего счастьем для народов, еще остававшихся католическими. Однозначно реализовались решения Собора в ликвидации католических стран, в их секуляризации по требованию Ватикана на основе решений Собора. Все католические народы (Испания, Колумбия и др.) — в результате прописанных Собором средств — были преданы самим Святейшим Престолом! По случаю реформы итальянского конкордата Иоанн Павел II и кардинал Казароли восхваляли отделение Церкви от Государства, видя в этом «идеальный режим».

Церковь видит, что признанием установленного Государством принципа всеобщего права она была сведена на уровень всякой иной религии; беспримерное варварство сравняло ее с ересью и вероломным идолопоклонством. Ее публичные права были радикальным образом ликвидированы (с. 207).

Архиепископ Лефевр — непримиримый враг демократии. Послушаем его:

«... факты говорят сами за себя: то, что не удалось французской монархии, того добилась демократия: пять кровавых революций (1789, 1830, 1848, 1870, 1945), четыре внешних нашествия (1815, 1870, 1914, 1940), два ограбления Церкви, изгнание монашеских орденов, запрещение католических школ, секуляризация институтов (1789, 1901). Некоторые, однако, утверждают, что Лев XIII просил французских католиков, чтобы они «поддержали» республиканский режим (что, между прочим, привело к религиозной и политической катастрофе). Некоторые критикуют этот шаг Льва XIII, называя и самый его поступок, и его автора либеральными. Не думаю, чтобы Лев XIII был либералом, а тем более демократом. Нет, но он надеялся

таким образом способствовать созданию выгодных для Франции добрых политических отношений. Ясно одно, что он забыл об истоках и о конституции французской республики, неизлечимо либеральной, о масонской и антицерковной французской демократии» (с. 50, 51).

Можно спорить о различной интерпретации истории. Но вернемся к пониманию принципов. Архиепископ Лефевр утверждает: «При каждой возможности, оказываясь перед лицом проникающего (посредством коллегиальности) вглубь Церкви демократизма, я люблю повторять, что истина не устанавливается голосами большинства; и можно ли выстроить что-нибудь прочное вне истины и вне подлинного отношения к Богу?» (с. 51).

Здесь, таким образом, возвращается проблема человеческого достоинства. Только истина является мерой подлинного достоинства. И чем дальше от правды, тем меньше права.

Поэтому, считает Лефевр, необходимо и дальше защищать идею католического государства. Католическое государство терпимо, ибо оно не преследует иноверцев, хотя ограничивает их деструктивное влияние на общество. Оно защищает «христианские ценности» как ценности «для всех». Не соглашается на их «размывание» в море «естественных ценностей».

В приложении к книге помещен интересный документ: предложенный Собору кардиналом Альфредо Оттовиани вариант «Конституции о Церкви». Он не был принят Собором. В нем написано: «Все это (речь идет о терпимости по отношению к иноверцам) не препятствует тому, чтобы гражданская власть создавала интеллектуальные, социальные и моральные условия, чтобы верующие (даже слабые в понимании учения) могли легко выстоять в полученной вере. Ибо точно так же, как власть совершенно справедливо претендует на защиту публичной морали, так и — с целью защиты граждан от искушений заблуждения и ради сохранения единства веры в стране — власть вправе сама регулировать и определять меру публичных манифестаций иных культов, как и право защищать граждан перед распространением фальшивых доктрин, которые — по мнению Церкви — угрожают их спасению» (с. 259).

Следовательно, речь идет о сотрудничестве на основе «уважения к истине» Церкви и государства, причем как для Церкви небезразлично отношение граждан — подданных — к власти, так и государство неравнодушно к делу вечного спасения души. На практике это выглядит следующим образом — архиепископ Лефевр в качестве примера ссылается на случай с епископом, а в дальнейшем карди-

налом Пием, давшим императору Наполеону III «урок того, чем являются публичные права Церкви». Вначале епископ Пий похвалил императора за оказанные Церкви услуги в первые годы его правления. «Реставрация не сделала больше, чем Вы». Затем он перешел к критике: «Социальное Евангелие, которым государство вдохновляется, — это все та же Декларация прав человека, являющаяся ничем иным как формальным отрицанием прав Бога». Исходя из Декларации, следуют признать те же самые «права на защиту» католической религии, как и других культов. Наполеон прервал речь, заметив, что еще не пришло время перемен и что подобная попытка «могла бы вызвать самые опасные страсти». На это епископ ответил: «Государь, когда большие политики, такие, как Ваше Величество, говорят мне, что еще не время, то мне не остается ничего иного, как склониться перед их величием, ибо я не большой политик. Однако я епископ и как епископ скажу: «Что же, значит, еще не настало время для господства Христа, но в таком случае не пришло время и для прочной власти» (с. 28).

ПРОТИВ ДИАЛОГА

С проблемой отношения Церкви с миром тесно связана проблема д и а л о г а. Собор прояснил особую ценность диалога. Диалог — это способ существования Церкви в плюралистическом мире. Вера сама по себе является диалогом, диалогом выбора, в котором Бог избирает человека, а человек — Бога.

Что понимает под диалогом архиепископ Лефевр?

Диалог означает прежде всего отказ от убеждения в том, что верующий «прав». При диалоге уже нет веры, а на ее месте — вечный поиск правды. Но где есть поиск, там нет «духа миссионерства».

Читаем:

«Соборное сознание утратило надежду, что когда-либо можно обрести истину: нет сомнений, что истина существует, но она является предметом бесконечных поисков». Ключом к пониманию веры становятся слова: стремление, ориентация, блуждание, вызов, поиск. «Собор на первый план выдвинул исследование перед наставлением и перед воспитанием. А ведь в действительности все по-другому: религиозные убеждения передаются при помощи воспитания детей, и раз они уже усвоены, укоренены в мыслях и выражены в культе, то зачем еще их искать?» (с. 174)...

Учение Собора, утверждающее, что другие религии не лишены «значения и ценности в mysterium salutis», вызывает следующую

отповедь: «Но ведь это ересь! Вне католической Церкви нет спасения. Протестантские общины, отпавшие от общей веры, не могут наслаждаться Духом Святым» (с. 176). И еще раз о диалоге:

«... миссионерский дух всегда основывался на том, что больным (ради их исцеления и необходимой помощи) открыто говорилось об их болезни. Встать перед не-христианами и не сказать о том, что им необходима христианская вера и что они не спасутся иначе, чем только с Иисусом Христом, — это бесчеловечная жестокость... Наш Господь послал апостолов не для диалога, но для проповеди» (с. 181).

Еще раз посмотрим на ход мысли архиепископа Лефевра. Чем он руководствуется? Какое беспокойство, какой страх движет им (ибо в нем явно ощущается заряд беспокойства)?

Налицо требования.

Какие?

Налицо жажда власти и страх ее потерять. Спасение связано с властью. Если «всякая власть от Бога», то и «всякая власть ведет к Богу». Отсюда происходит особый интерес к размышлениям о государстве: государство нуждается в религии для л е г и т и м и з а ц и и; религия нуждается в государстве ради конечного результата. Государство благодарит Церковь за свою устойчивость, Церковь — за свое существование. Человек идет к Богу по тропе власти.

Но у этой точки зрения есть изъян. Отсутствует э т и к а. Отсутствует то, что столь существенно в учении Иоанна Павла II сегодня, — нет открытой моральной перспективы. А посему доблестный епископ не видит иной возможности, кроме как «оцерковить» государство даже за счет «огосударствления» Церкви. Фундамент должен быть общим. Рассматривая взгляды архиепископа Лефевра с исторической перспективы (с учетом опыта тоталитаризма), мы видим, как представленная им концепция Церкви в современном мире опасно приближается к идее института, в некотором смысле глубоко (и одновременно — мнимо) «религиозного» — и в то же время совершенно «аморального». Для каждого, кто еще ощущает за своими плечами дуновение тоталитарной идеологии, такое видение Церкви попросту ужасающе.

СУЩНОСТЬ ВЕРЫ

А может быть весь этот спор с Собором — лишь видимость спора? Может быть речь идет лишь о самой по себе философии ценностей? Или о самом по себе понимании либерализма? И можно было бы избежать споров, отказавшись от того или иного «определения»?

К сожалению, проблема гораздо серьезнее и касается она сущности веры.

Архиепископ Лефевр подвергает критике — добавим, критике справедливой — концепцию веры как «религиозного убеждения», аналогичного «убеждениям» из иной сферы: человек «вырабатывает» себе «убеждения» в результате обучения и опыта. Разумеется, веру не удастся свести до уровня «религиозных убеждений». Но это, в свою очередь, не означает, что она не является «убеждением».

Чем является вера?

Архиепископ Лефевр отвечает кратко: «покорностью разума авторитету открывающего Себя Бога, вызванной свободной волей, приведенной в движение милостью» (с. 202).

Сравним это понимание с тем, который содержится в Катехизисе католической Церкви (ст. 5): «Вера — личный акт: она— свободный ответ человека на приглашение открывающего Себя Бога. Вера не есть акт изолированный. Никто не может верить только для себя, подобно тому, как никто не может жить лишь для себя. Никто не уделяет сам себе веры, подобно тому как никто не может сам себе дать жизнь. Получая веру от других, верующий должен так же передавать ее дальше (другим)».

В определении Катехизиса отсутствует слово «авторитет». Оно излишне. Место «авторитета» занимает слово «ответ». «Ответ» появляется как ответ на вопрос, на призыв и как таковой выступает составной частью диалога избрания. Бог выбирает и вопрошает, но не навязывает себя. Катехизис приводит в доказательство сцену Благовещения. Но не только эту сцену, ибо вот-вот появятся и другие призванные. Причем каждый вырастает из какой-либо традиции. Кем являются «эти другие?» Это те, кому мы обязаны верой, и те, кто обязан верой нам. Никто не является одиноким островом.

Что все это означает? Открываем ли мы более широкий контекст предлагаемой характеристики? Что ее обусловливает? Что делает ее возможной?

Это означает, что в описании веры мы решительно вышли за пределы сферы господства и подчинения и оказались в сфере любви. Понимание веры требует своего рода предвосхищения некоей исходной точки. Если ею является опыт власти — даже самой распрекрасной — то мы никогда не избавимся от страха перед свободой. Если же этим предвосхищением будет любовь,

благодать, то вера становится фундаментом освобождения[1].

* * *

Итак, спросим: кто же такой интегрист?

Интегристом является тот, кто, размышляя о вере, не в состоянии освободиться от схемы власти и подчинения; интегристом является тот, кто не способен к диалогу; интегристом является тот, кто освящает государство и огосударствляет религию; интегрист — это тот, кто не замечает этического масштаба религии; интегрист — это тот, для которого достоинство человека основывается на исповедуемой им «истине».

И что еще?

Лучшим способом для опознания интегриста являются его враги. Скажи мне, кто твой враг, а я скажу тебе, кто ты.

Интегристом является тот, кто от критики либерализма неизменно переходит к критике свободы. Для интегриста нет большего скандала, чем свободный человек — то есть обладающий властью над любой властью и способный разбить оковы порабощенного страхом разума.

Таким образом, различия не удастся смазать: для одного вера является выражением потребности в покорности, для другого — свидетельством стремления к свободе.

Другая вера, *другая* свобода, *другой* человек.

Перевод с польского Б.А. Филиппова

---

[1] Обратим внимание на характеристику веры из посвященной мысли св. Иоанна Креста (Хуан де ла Крус) докторской диссертации Кароля Войтылы: «При помощи веры и под защитой понятий Откровения разум встречается с самой сущностью Божьей; эти выражающие Божью сущность содержательные понятия веры, которыми живет разум, со временем начинают как бы раздвигать тесные рамки человеческих понятий, в которые они облачились в Откровении; их четкие контуры постепенно затираются, а блуждающий во мраке своих понятий человеческий разум все глубже и непосредственней постигает сущность Божию при помощи веры, внутреннее богатство которой ему является тогда в большей полноте» (Цит. по Galarowicz J. Człowiek jest osoba. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. — Krakow, 1994. S. 30.). И в этом случае мотив «покорности власти» или «авторитету» уступает место мотиву особого познания — познания «при помощи веры».

Андрей ЗУБОВ

ЕВРОПА И МИР

РУБЕЖИ ЗЕМЛИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

I

Корабль истории проходит свой путь единожды. Та веха, которую ставят у его борта, отмечая курс, в начале кажется значительной, а после, все более и более уменьшаясь, растворяется в бескрайности прошлого. Но человеку открыта возможность на быстром глиссере памяти — и собственной, и родовой, и научной — пройти вспять от вехи к вехе с единственной целью — объяснить плывущему на корабле человечеству смысл им же пройденного пути. Чем дальше в прошлое — тем больше вех сгнило, рухнуло, исчезло, тем сложнее в зыбкой пучине времен проследить путь. Но вехи, поставленные недавно, видны еще ясно даже с борта самого корабля, и пассажирам, то есть нам с вами, очень соблазнительно пытаться осознать себя, вовсе не доверяя жизнь утлому суденышку фундаментальной науки, не путешествуя в туманное прошлое, но оставаясь в сегодня, прочерчивать будущий курс, основываясь на только что пройденном пути.

Вехи — это не столько сами события, сколько их осознание, рефлексия. Ведь для человечества, как и для отдельного человека,

---

Андрей ЗУБОВ — родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО. Доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН. Автор двух монографий и многих десятков статей по политологии, религиеведению, истории русской философии.

важно не только то, что с ним происходит, но и то, как сознает он происходящее.

Две наиболее известные в последние годы историософские рефлексии — это «Конец истории?» Фрэнсиса Фукуямы и «Столкновение цивилизаций?» Самуэля Хантингтона. Вехи эти разделяют всего четыре года — но сколь различны они по тональности, две эти, нашумевшие в свое время статьи!..

Ф. Фукуяма остается верен своему интеллектуальному деду — Гегелю, объявившему битву под Иеной (1806 г.) «концом истории». Система совершенных в абсолютном смысле государственно-политических и экономических идей хозяйственного либерализма и народовластия, свободы совести и творчества уже проявила тогда себя, и последующие десятилетия стали временем только все более полного воплощения этих совершенных принципов. К настоящему времени, отмечает Фукуяма, принципы эти уже воплотились на больших пространствах «первого мира», в развитых странах Европы, Северной Америки, в Японии. Два вызова, брошенные им — расовая теория фашизма и классовая теория коммунизма — отвергнуты, исключены из области действительного, а, следовательно, и разумного (в гегелевском смысле). Другие вызовы внутри самого достигшего абсолютного совершенства мира — немыслимы. Конфликты религиозные, этнические, классовые — преодолены. Национальные и религиозные «импульсы с успехом удовлетворяются в сфере частной жизни, допускаемой либеральным обществом»... «Хотя они и могут представлять собой источник конфликта для либеральных обществ, этот конфликт вытекает не из либерализма, а скорее из того факта, что либерализм осуществлен не полностью»[1]. Этот бесконфликтный, абсолютно гармоничный мир Фукуяма называет «постисторическим». Второй и третий миры существуют еще в истории и в конфликте, хотя сумма либеральных идей все более оплотняется, и тут «Переход к рынку» в Китае, «Перестройка» в СССР, демократизация новых индустриальных гигантов Дальнего Востока — свидетельства постепенного распространения плодов Йены на все новые и новые народы. Но как внутри еще исторической части мира, так и между историческими и постисторическими сообществами конфликты пока возможны.

«Конец истории печален, — завершает свою статью Фукуяма. — Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто

---

[1] Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии. 1990. № 3. С. 144.

абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма, — вместо всего этого — экономический расчет, бесконечные технические проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя. В постисторический период нет ни искусства, ни философии; есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории»... «Быть может, именно эта перспектива многовековой скуки вынудит историю взять еще один, новый старт»[1].

История «взяла новый старт» и излечила нас от «скуки» существенно скорее, чем предполагал Фрэнсис Фукуяма. В Югославии заполыхала война, человеческой кровью окрасились воды Днестра и холмы Арцаха, Абхазия и Осетия, Таджикистан и Тибет, а сегодня — и Чечня. Да и в благополучной Западной Европе исподволь многое стало меняться. Безмятежная самоуверенность либерального европейца была смущена расовыми столкновениями в Германии, успехом радикалов и даже откровенных неофашистов в Италии и Франции, ослаблением «духа европейского единства» и популярностью различных национальных и особенно региональных движений. Сомнительная война «за Кувейт» и провал «миссии белого человека» в Сомали и Руанде заставили гражданина «постистории» скорее кожей, чем умом, ощутить дискомфорт, который он совершенно отучился выносить.

Схема Фукуямы в действительности оказалась последней в долгом ряду работ, доказывавших на протяжении полутора веков с привлечением различных аргументов и средств достаточно элементарную мысль о неизбежной европеизации всего человечества. Лорд Маколей и граф де Гобино, Х.С. Чемберлен и Н.Я. Данилевский, Маркс и Гитлер, равно как и легионы их читателей и почитателей, делили все человечество на высшую и низшие расы. Причем, если судьба высшей была понятна сама собой, то низшим, в зависимости от добросердечности мыслителя, предлагалось либо исчезнуть, либо раствориться, либо навсегда остаться слугами, этакими шудрами самозванных брахманов, либо — и это предельное проявление доброты — превратиться в смуглокожих европейцев.

После Второй мировой войны, когда расовая теория, последовательно воплотившись в практику нацистского государства, явив себя освенцимами и бабьими ярами, обнаружила всю свою отвратительность, англо-саксонские победители предложили миру гуманный

---

[1] Фукуяма Ф. Конец истории?//Вопросы философии. 1990. № 3. С. 148.

проект «всеобщей и полной вестернизации». С конца 1950-х годов примерно на два десятилетия аксиомой мировой культурологии стала идея, впервые высказанная и аргументированная Сеймуром Липсетом,[1] что образование, урбанизация, индустриализация постепенно приведут весь мир к либерализму в экономике и к парламентаризму в политике, а следовательно — сделают его неотличимым от Запада, западообразным. Может показаться парадоксальным, но национально-освободительное движение 1930—60-х годов прошло под знаменем вестернизации. Индия, Индонезия, Гана, Кения освобождались, ожидая, что вскоре они превратятся в азиатские и африканские Британии, Франции, Америки. Европейское образование, религиозная теплохладность Неру, Сукарно, Кваме Нкрума и Кениаты помогали тешить себя иллюзией, что за модернизацией лежит вестернизация.

Одним из самых блестящих и известных идеологов вестернизации в конце 1960 — начале 1970-х гг. был Самуэль Хантингтон[2].

Что же заставило этого ученого через двадцать лет написать, отбросив всякие сантименты: «Интересы Запада явно требуют: укрепления сотрудничества и единства в рамках собственной цивилизации, прежде всего между Европой и Северной Америкой; интеграции в состав Запада стран Восточной Европы и Латинской Америки, чья культура близка к западной; поддержания и расширения сотрудничества с Россией и Японией; предотвращения разрастания локальных межцивилизационных конфликтов в полномасштабные войны между цивилизациями; ограничения роста военной мощи конфуцианских и исламских стран; замедления сокращения военной мощи Запада и сохранения его военного превосходства в Восточной и Юго-Западной Азии; использования конфликтов и противоречий между конфуцианскими и исламскими странами; поддержки представителей других цивилизаций, симпатизирующих западным ценностям и интересам; укрепления международных институтов, отражающих и узаконивающих западные интересы и ценности, и привлечения к участию в этих институтах незападных стран... Незападные цивилизации и впредь не оставят своих попыток обрести богатство, технологию, квалификацию, оборудование, во-

---

[1] Lipset S.M. Some Social Requisites of Democracy//American political Science review. 1959. Vol. 53. № 1. P. 69—105.

[2] Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven. 1968. Huntington S., Nelson J. Socio-Economic Change and Political Participation. Harvard: 1973.

оружение — все то, что входит в понятие «быть современным». Но в то же время они постараются сочетать модернизацию со своими традиционными ценностями и культурой. Их экономическая и военная мощь будет возрастать, отставание от Запада — сокращаться. Западу все больше и больше придется считаться с этими цивилизациями, близкими по своей мощи, но весьма отличными по своим ценностям и интересам. Это потребует поддержания его потенциала на уровне, который будет обеспечивать защиту интересов Запада в отношениях с другими цивилизациями... Ибо в обозримом будущем не сложится единой универсальной цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих друг на друга цивилизаций, и каждой из них придется учиться сосуществовать со всеми остальными»[1].

II

Веха, забитая Хантингтоном, очень и очень существенна. Корабль человечества изменил курс по меньшей мере румбов на девяносто. От попытки распространить себя на весь мир и от убеждения, сквозившего у Фукуямы, что вестернизация человечества — почти свершившийся факт, Запад переходит к утверждению своей уникальности, к стремлению отчлениться от прочего мира, защитить себя.

Но, может быть, Хантингтон — это еще не Запад? Может быть это только экстравагантное суждение интеллектуала—одиночки? Увы — нет. Еще десять лет назад, на всемирном политологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро, вопрос о причинах уникальности европейской цивилизации и констатация невозможности ее воспроизведения другими сообществами был, пожалуй, ключевым[2]. Скорее уж позиция Фукуямы — реплика семидесятых, а то и шестидесятых годов, простительная только потому, что была вдохновлена неожиданным крахом коммунистической системы. На год-два не одному Фукуяме, но и миллионам простых западных обывателей показалось, что западный либерализм одержал великую победу и процесс вестернизации мира завершается. К главному герою этой иллюзорной картины, этой фата-морганы на Западе вспыхнула сильнейшая любовь — горбомания. После такого порыва самообольщения всегда наступает горькое отрезвление.

---

[1] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?//Политические исследования. 1994. № 1. С. 47, 48.

[2] Салмин А.М. Религия, плюрализм и генезис политической культуры Запада//Ретроспективная и сравнительная политология. Вып. 1. Москва. 1991.

В Восточной Европе на выборах побеждают былые коммунисты, в России — национал-патриоты, в странах Востока — Алжире, Египте, Индии, Пакистане, Турции — растет влияние традиционалистов, интегристов. Идеологическое противостояние двух великих систем просто скрывало возвращение цивилизованного самосознания незападных народов, их растущий антивестернизм и, одновременно, противостояние западному либерализму иной мощной цивилизации, которую Арнольд Тойнби еще в 1930-е годы наименовал «православно-христианской в России».[1] Хотя в 1930—80-е годы и Западу и России удобней было говорить о борьбе идеологий, исследователь цивилизаций легко усмотрел бы в этом противостоянии обычный цивилизационный конфликт, закамуфлированный в идеологию только для придания ему иллюзий нравственной значительности и оправдания его реальной глобальности. В прошлом идеологические покровы были иными, но сущность конфликтов — той же самой. Фараоны Нового Царства Египта в середине II тысячелетия до Р.Х. обосновывали захваты в Сирии и Нубии велениями Амона-Ра, творца и держателя мира. Цари Ассирии составляли победные реляции богу Ашшуру, волю которого они исполняли. Когда религиозность угасала, идеи мира и порядка, благоустроенности и образованности служили достаточным обоснованием захватам — например, Римского государства. Но столкновение эллинско-византийской цивилизации с западно-европейской или с сиро-арабской, начиная даже не с халифа Омара, а с маздаистов Сасанидов, вновь облекается в одежды религиозной войны.

В действительности в мировой истории не было, кажется, момента, когда одна цивилизация подчиняла себе и, тем более, растворяла в себе иные. Пакс Романа оставался политическим единством нескольких цивилизаций, которые, взаимно обогатив друг друга за века теснейшего общения, вновь распались, когда внешняя сила имперской власти стала утрачиваться. Греческая, кельто-германская, «дальнезападная» бритто-иберийская, сирийская и хамито-египетская цивилизации, не утратив своих оригинальных черт под гримом римско-эллинистического бытия, воскресли уже в IV веке. Риму при этом политически противостояла и внешняя цивилизация — иранская, которая при Аршакидах была не менее эллинизирована, чем нынешняя Япония — вестернизирована. Однако, переворот Ардашира, сына Папака в начале III века привел к возрождению внешних

[1] Тойнби А. Постижение истории. Москва. 1991. С. 78, 79.

форм цивилизационного своеобразия, сохраняющихся и по сей день под чадрой шиитского интегризма.

В конце XIX века Европа не без ужаса смотрела на крепнущую Японию и на просыпающийся Китай. «Панмонголизм» стал темой поэтов, а Владимир Соловьев в апокалиптическом видении Пансофия писал, что японо-китайские армии победоносно пройдут по России и Европе. Через три года после смерти мыслителя эти фантастические картины воплотились на полях Маньчжурии и в темных водах Цусимского пролива. Взрывы японских бомб на Оаху, гибель «Принца Уэльского», капитуляция Сингапура, сражение у Соломоновых островов, Халкин-Гол должны были вновь напомнить миру о пророчестве Соловьева.

Но победа Запада была столь триумфальной, демократизация Японии такой убедительной, коммунистические драпировки России — настолько непроницаемыми, что о противостоянии цивилизаций мир крепко забыл. Именно поэтому крах коммунистической системы, понятый как фиаско альтернативной либерализму идеологии, побудил Фукуяму провозгласить «конец истории».

III

В десятилетия безудержных упований на победу вестернизации Арнольд Тойнби, «отъявленный цивилизационщик» оставался на Западе мыслителем, безусловно уважаемым за свои колоссальные познания и многотомные труды, но немодным. Еще при жизни он «безнадежно устарел». Причину такой неприязни понять несложно:

«Обратившись к трудам современных западных историков, мы пришли к заключению, — указывал Тойнби, — что их мировоззрение находится в плену «индустриализма» и «демократии» — двух главных институтов, которые западный мир выработал в предыдущей главе своей истории, ответив этим на вызовы *своего* (курсив мой — *А.З.*) времени. В этой связи мы заметили, что наблюдается тенденция рассматривать историю всех обществ и всех эпох под углом зрения демократии и индустриализма. Подобный подход к познанию истории представляется нам ложным, причем касается это не только исследования других эпох и цивилизаций, но и истории нашего общества на ранних его этапах, когда современные западные версии индустриализма и демократии еще не были выработаны»[1].

---

[1] Тойнби А. Постижение истории. Москва. 1991. С. 288, 289.

Арнольд Тойнби решительно возражал, когда вестернизацию приравнивали к экономической системе и политическому порядку. И хозяйственный либерализм и либерализм политический — только открытия, достижения мысли и праксиса западного человека, но ни в коем случае не его суть. Человек бесконечно больше тех политических институтов и форм материального производства, которыми он оснастил себя, так же как «душа больше пищи, а тело — одежды». Чтобы лучше и глубже понять дух цивилизации, надо войти в его «святая святых», присутствовать на священнодействиях, посетить места вечного упокоения, прочесть самые любимые народом тексты, вслушаться в музыку речи и в лад напевов.

Беда в том, что Фрэнсис Фукуяма, делая скетч своего «постисторического человечества», лишенного отваги, воображения и идеализма, искусства и философии, ограниченного «экономическим расчетом, технологическими и экологическими проблемами и изощренными запросами потребителя», — создавал не антиутопию, и даже не утопию, но писал с натуры. Ведь постистория для него уже стала плотью в странах «первого мира». Разумеется, скетч этот очень груб. В действительности и на Западе есть место и идеализму, и поэзии, и философии, и высокому религиозному чувству. Лурдские исцеления и стигматы отца Пио — тоже явления современной западной жизни. Но они оказались не центром, не сердцем бытия современного западного человека, но отдаленнейшей провинцией его культурного ландшафта. Фукуяма прав, что экономические и политические моменты значат для большинства западных людей бесконечно больше, чем ценности духовные и эстетические. Он именует такое состояние западного человека постисторической гармонией совершенного бытия, но проще и точнее его можно наименовать одичанием. Поскольку предпочтение внешнего внутреннему, телесного — духовному, временного — вечному иначе, чем грубостью, очерствелостью, дикостью, не назовешь. Философия, искусство, подвиг и любовь уходят от тех, кто недовольство собой ограничил неудовлетворенностью содержимым своего кошелька, безмятежность — бытовым комфортом, искание идеала — новой любовной даже не интригой, а физиологической связью, стремление к совершенству — служебной карьерой.

Когда всю огромную, почти неограниченную силу своего духа цивилизация обращает на внешнее благополучие этой временной жизни, она достигает очень многого в усовершенствовании тех средств существования, которые сами по себе нужны для решения

иных, выходящих за пределы этого временного существования задач. Сами же абсолютные задачи оказываются крепко забытыми или превращаются в «религиозные импульсы, с успехом удовлетворяемые в сфере частной жизни», подобно голоду или сексу. Какая уж тут поэзия и философия? Средство превратилось в цель. Это ли «конец истории»? Может быть это только предвестье конца современного уклада западной цивилизации?

Исключив из поля своего интеллектуального виденья духовные реальности и цели, сосредоточившись на экономике и политике, западный мыслитель и в иных культурах умеет различать лишь те уровни, которыми он живет в своей собственной цивилизации. Англия, Индия, Япония и Бразилия сливаются для такого мыслителя в общечеловеческое единство не потому, что над всей суммой культурных различий, своеобразных дерзаний национального духа, субъективности эстетических форм он зрит единство того Источника, от которого исшла и к которому возвращается любая человеческая личность, независимо от представлений о прекрасном, от символики неизобразимого, от навыков богообщения, но потому, что эти представления, символика, навыки попросту не замечаются им.

В Индии регулярно проводятся местные и национальные выборы, работает двухпалатный парламент, производятся компьютеры и автомобили, вносятся на поля искусственные удобрения, печатаются газеты, существуют банки и акционерные компании — следовательно, никакой существенной разницы между Индией и Англией уже нет. Факиров, женщин, грациозно носящих сари, и соус карри такой мыслитель, подобно немецкому принцу, сопровождаемому Алексеем Вронским, сочтет «национальными развлечениями», а Свами Вивекананду, Шри Чайтанью, Кабира, Рамануджу и миллионы их последователей или не заметит или, походя поворотившись, назовет «чокнутыми пророками».

Мир может казаться вестернизированным только такому современному человеку, который вместе с самой западной цивилизацией утратил начисто способность к проникновению с поверхности повседневной «бытовухи» в глубины человеческого бытия.

Интеллектуальный отец Фукуямы, русский гегельянец, эмигрант Александр Кожев под конец жизни усомнился в свершившейся победе «общечеловеческих ценностей», заметив в индустриальной Японии иную, не «общечеловеческую» культуру, не имевшую никакой тенденции к озападниванию при всем внешнем технологическом

и политическом сходстве Японии и Европы[1]. Но самого Фукуяму это уже не смущает. «Японцы конечно преобразовали почти до неузнаваемости западный капитализм и политический либерализм... Тем не менее... следуя по стопам Соединенных Штатов, Япония пришла к истинно универсальной культуре потребления — этому и символу и фундаменту общечеловеческого государства». Для американца японского происхождения Фрэнсиса Фукуямы «традиции и институции» его прародины превратились из проявления сути японской цивилизации в изящную национальную виньетку из японского зала исторического музея единого постисторического человечества.

Как тут не вспомнить опять великого Тойнби. «Компонентами культуры общества являются экономический, политический и собственно культурный элементы. Когда одна культура вторгается в другую, проникающая сила каждого из элементов прямо противоположна его социальной ценности. Так, экономический элемент воспринимается чужой культурой с наибольшей готовностью, за ним следует политика, а на последнем месте оказывается культурный элемент. И в этом причина того, что разложение интегральной культуры кончается социальной катастрофой. Война и торговля — вот два главных канала отношений между распадающейся цивилизацией и ее внешним пролетариатом. Причем господствующая роль принадлежит войне»[2].

IV

Мало кто решится ныне оспаривать сформулированный еще романтиками тезис, что европейская цивилизация приняла в себя три важнейших структурных компонента — античную культуру, германское варварство и христианскую религию. Одним из поздних продуктов этого синтеза стала промышленная революция и представительная демократия. Генезис этих институтов, несмотря на блестящие интеллектуальные построения Мосса, Вебера и Токвиля, по сути остается малопонятным. Но при этом не вызывает сомнений, что приступив в XVI веке к созданию вселенской империи (что само по себе присуще любой, достигающей расцвета, цивилизации), Западная Европа не смогла, да вскоре и перестала стремиться к трансплантации «культурного элемента». Когда же в XIX — начале XX века колониальные империи достигли самых отдаленных уголков

---

[1] Фукуяма Ф. Конец истории?.. С. 141.

[2] Тойнби А. Постижение истории... С. 543.

земного шара, в Европе самой начал быстро усиливаться кризис духа и «овнешнивание» жизненных ценностей. Кроме политики и экономики Запад не сумел ничего принести иным, покоренным им цивилизациям. В сфере религии и в расходящихся от нее кругами философии, эстетике, искусстве Бенарес, Лхаса, Мекка и Йезд продолжали значить для населения Востока существенно больше, чем Лондон, Берлин или Рим. Западная наука, в частности текстология, только укрепила культуры других цивилизаций, позволив им лучше понять собственные истоки, но не заместила туземные культуры культурой европейской.

В этом также прослеживается некоторая закономерность. Современная Европа оказалась далеко не первой из создавших вселенскую империю цивилизаций, которая не смогла передать «внешнему пролетариату» свою культуру, веру, строй духовной жизни. С тем же столкнулись эллинистические монархи, империя Рима, Египет Нового Царства. Удачливей были индийские «культуртрегеры» I тысячелетия, Китай, Месопотамия III—II тыс. до Р.Х., обратившийся в ислам сирийский мир.

В тех же случаях, когда религия империи не смогла стать верой покоренных народов, заместить их строй культуры и ритм духа, вскоре начиналась духовная «реконкиста», либо такая импотенция метрополии всегда говорила об исчерпании ее собственных духовных ресурсов, о сохранении только политической и экономической оболочек отлетевшего духа. Митраизм, культы Великой богини, Исиды, Астарты, наконец — христианство заместили собой олимпийскую религию античности и совершенно преобразили древнюю цивилизацию Европы. Не являются ли теософия, бахаизм, «Сознание Кришны», трансцендентальная медитация, дзен-буддизм, ламаизм, суфизм, распространяющиеся нынче в когда-то христианском мире, свидетельствами подобной же культурной экспансии покоренных народов в духовно опустошенной «имперской» цивилизации? Сейчас в западном мире часто говорят о «реванше Бога», но в росте интереса к духовной сфере традиционное «историческое» христианство занимает здесь очень скромное место.

Одновременно происходит и известный из истории древних империй процесс перемещения «варварского» населения на внутренние земли имперской цивилизации. В Европе уже живут миллионы, а скорее всего десятки миллионов представителей арабо-сирийской, южно-азиатской, дальневосточной цивилизаций, выходцев из стран, не создавших цивилизации в формальном, тойнбианском смысле, —

черной Африки, Латинской Америки, Океании. Внешне, экономически и политически, они вполне адаптируются к цивилизации европейской, но духовно, религиозно большей частью остаются вполне самобытны.

Поэтому призывы Самуэля Хантингтона укрепить единство Запада, возродить его идентичность звучат немного наивно. Западная цивилизация размыта изнутри, ее способность ассимилировать носителей иных культур ослабла, почти исчезла. Сами носители западной цивилизации большей частью утратили свою историческую культурную идентичность и «роковая пустота» их сердец все еще заполняется незападным, нехристианским содержанием.

Масштабность этого процесса отчасти скрыта от глаз западного человека только тем, что из-за равнодушия к духовно-культурной компоненте собственной личности он перестал обращать внимание на таковую и у представителей иных цивилизаций, если она не проявляется в очевидных внешних формах, например, мусульманского интегризма. Успокаивая себя тем, что политически и экономически жизнь незападных обществ стала напоминать европейскую, он простодушно ожидает скорого появления «общечеловеческого государства». В культурном же плане европеец собственную пустоту сердца считает наивысшим достижением цивилизационного развития и отход от тысячелетних духовных традиций представителями иных цивилизаций полагает «модерностью» (термин Витторио Страды). Но за пределами цивилизации западной такая «модерность» ныне — большая редкость.

Только современный человек западной цивилизации может назвать нынешнее общество массового потребления «удовлетворяющим все более изощренные запросы». Запросы как раз становятся все проще, все элементарней. Самые «изощренные» человеческие запросы вообще не относятся к сфере телесного бытия, они направлены на решение вечных, потусторонних задач, которые философы и богословы так и называют «предельными», эсхатологическими. На них в иных цивилизациях тратились и продолжают затрачиваться огромные материальные и душевные средства, ради них люди ограничивают удовлетворение своих естественных импульсов, идут на жертвы и лишения. Ради вечности, а не славы и золота творят художники, ваяют скульптуры, воздвигают храмы зодчие, поют поэты, пишут мыслители. Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие по каплям собирается океан духовной культуры цивилизации, дабы в него мог войти, в нем омыться, очиститься человек, рожденный в этой циви-

лизации. Уход от этих бесценных вод в область телесного комфорта и физиологической пресыщенности может ли считаться бытийной целью человечества?

Впрочем, этот уход весь мир и не совершал. Его совершил Запад, где эсхатологическое упование почти исчезло и даже церковь для многих из пути в вечность стала одним из инструментов для достижения посюсторонней социальной и политической гармонии. Конфликт цивилизаций, о котором говорит Хантингтон, по сути есть конфликт цивилизации умирающей с культурами, набирающими жизненные силы.

V

Если быть предельно схематичным, то можно определить следующие характерные черты возраста цивилизации. Общество, становясь цивилизацией, в начале переживает бурный внутренний, культурный рост, от которого отстают внешние материальные формы политики и экономики. Ощущающая потребность в более развитых внешних институтах, в оболочках, растущая цивилизация легко заимствует необходимое у иных культур, соседних во времени или в пространстве. Заимствованное быстро преобразуется и становится цивилизационно своеобразным благодаря мощным жизненным токам, исходящим от духовного средоточия развивающейся цивилизации.

Достигнув акме, цивилизация начинает расти не только интенсивно, но и экстенсивно. Создается «империя», на организацию и сохранение которой обычно затрачивается существенная часть тех сил, которые в юности шли на удовлетворение запросов духа. Постепенно растрачивается накопленный ранее высокий духовный потенциал, цивилизация сущностно опустошается, но внешне предстает могущественной и ладно организованной.

К старости она уже не нуждается в заимствовании материальных форм — они и так доведены до большого совершенства. Заимствоваться начинает дух, в котором стареющая цивилизация ощущает все большую нехватку. Окружающие цивилизацию народы перенимают ее формы самоорганизации «в обмен» на духовные ценности. Усилившись за счет заимствований элементов политического и экономического устроения, варварские народы вторгаются на пространства дряхлой империи, которая не способна сыскать для самозащиты ни свежих духовных порывов, ни, даже, принципиально не известных варварам политических и военно-технических навыков.

Цивилизация исчерпывает себя, в новом синтезе передавая новым культурам накопленное ею.

Как раз XX век стал временем довольно быстрого перехода от зрелости к старости европейской цивилизации. Предсказанный Николаем Данилевским и Освальдом Шпенглером, он вполне обозначился к концу столетия. Энергия внешней экспансии ослабела, колониальные империи распались, иные цивилизации вновь обрели независимую от Запада активность. Научившись внешним достижениям европейской цивилизации, арабы и японцы, индийцы и иранцы, корейцы и турки все более активно противопоставляют себя миру Запада в экономическом и политическом планах. От имперской доктрины вселенской модернизации-вестернизации Европе приходится переходить к самозащите, к изоляционизму «цивилизационных» моделей. Поэтому поворот корабля мировой истории между вехами Фукуямы и Хантингтона показался столь резким.

«На вершине своего могущества Запад сталкивается с незападными странами, у которых достаточно стремления, воли и ресурсов, чтобы придать миру незападный облик» — констатирует Хантингтон[1].

VI

Обращение от «конца истории» и предсказанного Раймоном Ароном «конца идеологии» к полнокровному цивилизационному конфликту — безусловная заслуга Хантингтона. Но дальнейший его дискурс ставит больше вопросов, чем дает ответов. Начнем с определения понятия цивилизации. Оно предельно расплывчато: «культурная общность наивысшего ранга, самый широкий уровень культурной идентичности людей. ...Цивилизации определяются наличием общих черт объективного характера, таких как язык, история, религия, обычаи, институты»[2]. Цивилизацией у Хантингтона оказывается и мир ислама от Рифских гор и Боснии до Целебеса и Малакки, «англоязычные жители островов Карибского бассейна». Тут же вспоминается и Тойнби с его 21 цивилизацией, из которых шесть существуют ныне. Однако, у Тойнби нет ничего подобного цивилизации островов Карибского бассейна, нет у него и исламской цивилизации, нет цивилизации африканской. Автор «Постижения истории» готов предположить, что более тщательный анализ умень-

---

1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?.. С. 36.

2 Там же. С. 34.

шит число цивилизаций до десяти, и к концу своего многотомного труда называет уже цифру 12 вместо 21. Тойнби, кстати, избегает точного определения «цивилизации». И, наверное, он прав.

Но хотя пронумеровать цивилизации не удалось никому, безусловно в современном мире их несколько, а не одна западная. Южная Азия, Дальний Восток, Передний Восток — это наиболее крупные цивилизационные сообщества сегодняшнего дня, максимально отличные друг от друга. Это — различные человеческие миры, где эсхатологические представления столь же отличны, как и навыки приготовления пищи и приемы организации семейной жизни. Многотысячелетняя история и богатая доистория этих цивилизационных совокупностей делает их обитателей весьма несходными друг с другом.

Между этими цивилизациями лежат общества контактных зон, которые всегда затрудняются причислить к одной из макроцивилизаций и иногда выделяют в цивилизации особые. В различные периоды эти контактные сообщества попадают в цивилизационную зависимость то к одному, то к другому из своих древних соседей, то обретают культурную самостоятельность и немалую значительность.

Хантингтон рассматривает цивилизации как жизненные, экзистенциальные константы. Между тем они могут переживать различные состояния, которые мы, конечно символически, именуем юностью, зрелостью, старостью. Заводя речь о «конфликте цивилизаций», нельзя игнорировать нынешнюю точку их жизненного цикла. Когда Ассирия сокрушалась мидянами, Египет — персами, императорский Рим — германцами, Харапа — индо-ариями — это были именно такие столкновения различных возрастных категорий с печальным для старца исходом.

Хантингтон полагает, что «в течение столетий самые затяжные и кровопролитные конфликты порождались именно различиями между цивилизациями»[1]. Действительность, увы, печальней. Гражданские войны и смуты уносили не меньше жизней чем войны межцивилизационные. Начиная с трагедии, описанной египтянином Ипуером и вплоть до войн в Камбодже и Руанде социальные, межплеменные, династические конфликты не прекращались и вряд ли прекратятся, пока существует на земле, «проклятой за Адама», его падшее потомство. Войны межнациональные также очень почтенны по возрасту и также очень кровавы. Конечно, если полагать,

---

[1] Хантингтон С. Столкновение цивилизаций?.. С. 35.

что до Великой Французской революции наций не было, то и войны такого рода надо числить с 1789 года. Но если язык считать древнейшей формой коллективной идентификации, то и конфликт разноязычных сообществ мы обнаружим чуть ли не у стен Вавилонской башни. А иначе как мы назовем, скажем, средневековые войны между Сиамом и Бирмой, Византией и Болгарией, Орденом и Польшей? И, наконец, очень сомнительно определение Хантингтоном Второй мировой войны как войны между западной и православной цивилизациями. Цивилизационный, национальный, династический, классовый моменты в соперничестве людских совокупностей порой переплетаются до полной неотделимости.

В то же время цивилизации вполне могут сосуществовать мирно, как, например, Южная Азия и Дальний Восток, Китай и Япония на протяжении веков.

Наконец, полагать религиозный фактор цивилизационно-определяющим — может быть, самая существенная ошибка Хантингтона. Ни исламский, ни христианский, ни буддистский миры не являются едиными цивилизациями. Неужели сообщество ливанских маронитов и обитателей Лусона нам соединять с испанцами и немцами, а калмыков — с сингалами? Столь же абсурдно мусульман Сулу цивилизационно объединять с мавританскими арабами и славянами-боснийцами. В какие-то моменты истории единоверцы, принадлежащие к различным цивилизациям, могут переживать заботу и даже готовность принести себя в жертву «за други своя», но в следующий момент мы застаем их уже планомерно уничтожающими один другого.

Форма религиозности — безусловно одно из ярчайших проявлений цивилизационного своеобразия, но великие религии, отрываясь от породившей их почвы, даже при сохранении полного догматического единства с духовной метрополией, изменяются столь существенно в обычае, народном веровании, фольклоре, что перестают являться цивилизационно объединяющим фактором. На уровне религиозной практики латышское лютеранство ближе сейчас к русскому православию, нежели к лютеранству мюнстерскому, а сама вера Руси на народном уровне обнаруживает массу черт обрядового магизма, равно как в Византии — языческой эллинской мистериальности. Буддизм Тибета настолько отличен от буддизма Цейлона, что с великим трудом удается считать их одной религией, а обычай хариджитов Пембы так несходен со строем жизни памирских исма-

илитов, что тезис о «едином фронте ислама» теряет добрую половину своего смысла.

Напротив, православные, католики, униты, шииты, сунниты и друзы Ливана, сколь бы они ни идентифицировали себя с различными сообществами, на деле, при анализе поведенческих форм и объективных ценностных ориентаций оказываются вполне сходными друг с другом и с миром передневосточной цивилизации. То же можно сказать об индуистах, буддистах и мусульманах Кашмира, индуистах и сикхах Панджаба, мусульманах и католиках Минданао. Повторим, что речь идет не о догматике, но о навыке жизни и обычае веры, которые цивилизация формирует существенно активней, чем догматика — цивилизацию.

И если под стенами Вены в 1683 году или на реке Ялу в 1904 году действительно имело место лобовое столкновение цивилизаций, то в сегодняшней Югославии, Абхазии, Карабахе мы сталкиваемся с обычными племенными и клановыми конфликтами, лишь прикидывающимися религиозными войнами.

«Настало время сказать, что народы на этих пространствах не должны уничтожать друг друга, что всякое действие, попирающее жизнь, права, свободы и достоинство соседнего народа, неизбежно направлено против твоего собственного народа... Настал час вспомнить, что трагическая распря на Балканах есть грех любой религии. Причины войны ни в коей мере не связаны с религиозными принципами вовлеченных в нее людей. Использование веры для оправдания вражды и разделений — безнравственно и преступно» — духовная принципиальность этого заявления, сделанного в Сараево православным патриархом Сербии Павлом и католическим примасом Хорватии кардиналом Кухаричем, вполне созвучна его интеллектуальной точности. Сербы, хорваты и боснийцы убивают, пытают, насилуют и грабят не из-за несходства воззрений на исхождение Святого Духа, наличия в Деве Марии последствий первородного греха или несогласия в вопросе о возможности посмертного теозиса. Это — война за землю, а не за Истину. За Истину всегда жертвуют собой, за имущество — приносят в жертву ближнего.

VII

Но современному европейцу спокойней и проще видеть в Югославской бойне религиозную, цивилизационную войну. Дряхлеющей Европе хочется провести границу, за которую конфликты не переступят, как Вий за черту магического круга. Внутри постисториче-

ского пространства войны невозможны, — утверждает Фукуяма. Столкновение из межнационального становится ныне межцивилизационным, межрелигиозным — объявляет Хантингтон. Все эти модели подсознательно хотят «заговорить» войну стран Запада друг с другом.

Драва и Дубровник, это совсем не то же самое, что Мец и Ардены. В сердце Европы нет цивилизационных рубежей, а потому больше не может быть и войн. Но аргумент этот скорее эмоциональный, чем строго научный. И в конце прошлого века в Европе было распространено убеждение, что войны впредь если и будут, то на варварской периферии человечества. Вспомним хотя бы спор «Политика» с «Генералом» в первом из «Трех разговоров» Владимира Соловьева[1] или волошинское:

«Мы вышли в путь в закатной славе века,
в последний час всемирной тишины,
когда слова о зверствах и о войнах
казались всем неповторимой сказкой».

Потомкам (во время террора)
21.5.1921

Но прошло двенадцать лет после написания диалогов, и на Балканах разразилась столь свойственная этому региону война всех против всех. Ее можно было счесть, подобно нынешней Балканской войне, конфликтом периферийным, цивилизационным. Но и года не минуло с Бухарестского мира, как уже вся Европа оказалась вовлеченной в самую страшную из известных дотоле войн. Первая мировая война тоже стала войной «всех против всех» и искать в ней цивилизационные или национальные разломы очень непросто, хотя они безусловно и имелись.

Первую мировую войну почти никто не ждал. Вторую — ждали все, готовились к ней, стремились ее предотвратить то в Мюнхене, то в Москве. Но она все же пришла, показав западной цивилизации глубину ее внутреннего опустошения. И в России, и в Германии, и в Италии совершенные технологии и отработанные политические механизмы только яснее проявляли деградировавшую духовную природу человека.

После Катыни, Освенцима, Магадана, Дахау места для иллюзий в отношении западной, христианской, если угодно, цивилизации,

---

[1] Соловьев В.С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории//Сочинения. Т. 2. Москва. 1988. С. 677—681.

кажется не осталось. Но нравственно-очищающий шок пережила Германия, обретшая после военной катастрофы силы для духовного покаяния. Послевоенный духовный ренессанс Германии, точнее — западной ее части — это чудо, крайне редко происходящее в истории. Экономическое чудо и превращение Германии в мощнейшее государство Старого Света, ее мирное объединение на фоне распрей и расколов, поразивших Россию, Чехословакию, Югославию, Румынию, особенно назидательно. Эти экономические и политические успехи случились не только по причине разрушенности старой немецкой промышленности и не из-за умелых дипломатических шагов Бонна, но благодаря осознанию и исповеданью народом своей вины перед человечеством и горячему желанию по возможности исправить содеянное.

Для данной работы даже не столь важно, что именно явилось импульсом покаяния, существенно — что народ нашел в себе силы для такого духовного подвига любви, отбросив желчь ненависти к оккупантам и безумное воспаление реванша. Однако, начиная с 1970-х годов, и особенно после успешного объединения это живительное чувство мало-помалу угасает в душе немецкого народа, заменяясь банальной национальной гордостью и надеждой на экономический реванш там, где полвека назад потерпели поражения дивизии Рейхсвера. Если этот процесс нравственной энтропии пойдет дальше, отливаясь то в расовую нетерпимость к туркам-гастарбайтерам, то в геополитические амбиции — спокойного будущего у Европы не будет. И никакой переход мира в «постисторию» не спасет Запад от новой междоусобной брани.

А ведь Европа находится ныне в таком состоянии, что каждая война подтачивает основания ее цивилизации, ускоряя процессы старения, приближая смерть. Достаточно сравнить Европу викторианскую с межвоенной, межвоенную — с нынешней, чтобы согласиться с этим тезисом. Если, конечно, речь вести о духовно-нравственной переменной, а не об экономике или представительной демократии. Страх Европы перед войной в Югославии столь силен не потому, что война эта переживается как мусульманский джихад или православная агрессия. Ужас Югославской войны в том, что это — война европейская. Вуковар и Сараево разрывают магический круг заговоренной от войны Европы, как разрывали его Балканы в 1912 г., Испания — в 1936—39 гг.

Разрушение системы блокового противостояния в 1989 году отнюдь не принесло покой победившему в «холодной войне» Западу.

К изумлению большинства наблюдателей напряженность в европейском мире только усилилась, приобретая к тому же совершенно неконтролируемый характер. Гасить этнические распри оказалось существенно сложнее, чем сдерживать вселенские притязания коммунистических московских вождей. Оказалось, что лобовое столкновение двух мировых гигантов только притушило, затушевало всегдашние конфликты. Исчезло противостояние — и старые, казалось, залеченные болячки опять начали мучить дряхлеющее тело.

И все эти явления европейской жизни протекают на фоне постоянно растущего могущества и энергии незападных цивилизаций. Оно ныне ощутимо в Европе сильнее, чем когда-либо после 12 сентября 1683 г., когда турецкие армии были отброшены от стен Вены.

Что ждет цивилизацию Запада?

VIII

Счет, понятно, идет тут не на годы и даже не на десятилетия. Самым тривиальным, но, увы! и самым вероятным может считаться для Европы повторение античного сценария. Тогда, в казалось бы навсегда объединенном и замиренном Средиземноморье вновь обнаружились прежние цивилизационные разломы, варвары наводнили Империю и «гунн теснил и грабил грека». Тогда возникшее в Палестине вероучение одержало полную победу над верованиями и ценностями античности, а восхищавшие Полибия синтетические политические модели восстановленной Августом res-publica заместились примитивным деспотизмом, сначала самих ромеев, а потом и их германских военачальников. Наступили века, когда неграмотность стала уделом и простолюдинов и вельмож, когда перестали плавить стекло и разучились выкладывать свод. Какие-то четыре века отделяют салон Мецената от первого варварского разорения Рима. Всего четыре века.

Античная цивилизация завершилась, и ко времени Карла Великого обозначился контур новой, западно-христианской цивилизации, «закат» которой мы имеем честь наблюдать ныне.

Нас не должно смущать очередное доказательство того, что все «созданное из частей обречено распадению». В этом, падшем мире смерть — неизбежный спутник жизни. Но нас должно заботить, как мы будем умирать. Всей жизнью готовит человек свой смертный час, и цивилизация также завершает свой путь не без связи со всей прошлой своей жизнью. Бесславный конец западной античности напрямую связан с ее неспособностью дать ответ на духовные

запросы жизни. Отсюда культурная смерть, наступившая при изысканности и совершенстве внешних экономических и политических форм. Но уже в тоне размышлений Марка Аврелия видятся призраки нашествия Гейнзериха, а образы Петрония Арбитра и жизнеописания Светония объясняют темные века раннего Средневековья не хуже точнейших исторических изысканий последователей Люсьена Февра.

Восточная империя Константинополя, несколько лучше решившая культурную задачу духовного возрождения, смогла устоять в те страшные века, передав со временем Западу бесценное наследие их общей матери — античности. Дальнейшая судьба Византии печальна, но, оказавшись под властью османов, греки старались не забывать, что империя рухнула «по их грехам».

Сумеет ли нынешняя цивилизация Запада передать себя будущему иначе, чем античность или Византия? Разжиганием вражды «между конфуцианскими и исламскими странами» и даже «изучением фундаментальных религиозных и философских основ этих цивилизаций», — как предлагает Хантингтон, западную цивилизацию не спасти.

Европейской цивилизации, которую любят именовать «иудео-христианской», нужно восстановить, укрепить, создать, быть может, заново, свою духовно-нравственную компоненту. Как не может жить тело без души, так и цивилизация — без придающего ей силу и смысл внутреннего, духовного начала.

Другим великим цивилизациям, южноазиатской и дальневосточной удавалось достичь этой цели внутреннего духовного обновления. После упадка ведической карма-марги, после кризиса эзотерического упанишадического знания, в те века, когда человек ощущал себя подобным лягушке на дне пересохшего колодца, пламенная проповедь пути божественной любви в формах Кевал-Адвайты шивлита Шанкары и Вишишт-Адвайты вишнуита Рамануджи воссоздали индийскую цивилизацию. Буддизм, грозивший разрушить самые основы индийской культуры, был полностью вытеснен с пространств субконтинента, закрепившись только на его северной, южной и восточной границах — в Тибете, Ланке и Бирме. И хотя современная индийская цивилизация находится в тех же формально-родственных отношениях с арийской цивилизацией II—I тысячелетий до Р.Х., в каких нынешняя западная — с античной, в Южной Азии генезис новой цивилизации произошел не через внешнее завоевание, а через внутреннее духовное возрождение.

Найдет ли в себе силы для подобного возрождения цивилизация Запада? На фоне всеобщего упадка веры и деградации художественных проявлений культуры, массового увлечения исключительно внешними формами жизни при полном забвении ее сути и смысла, духовный подвиг послевоенной Германии является одним из немногих обнадеживающих свидетельств.

И не случайно Германия, долгое время лежавшая на грани западной цивилизации и не входившая в цивилизацию античную, Германия, своеобразие которой позволяло именовать ее порой даже особой субцивилизацией, противопоставляя южной, романской Европе, — именно эта цивилизованно пограничная страна дала пример и живительный духовный импульс западному миру во второй половине XX века.

Цивилизационная периферия вообще часто приходит на помощь дряхлеющему центру, как бы воздавая добром за былые дары. И в Индии великий Шанкара родился в малаяльской деревушке на дравидском Декане, то есть в той земле, которая белокожим индоариям всегда виделась варварской и полной асурических суеверий. Но бледнолицего Сиддхартху Гаутаму через двенадцать веков победили в Индии смуглокожие проповедники, дети некогда варварского юга. Они вернули индийской цивилизации ее идентичность.

Германский и, возможно, славянский миры, по-своему пережившие древнее римское христианство и создавшие свои субцивилизации на границах Запада, могут, разумеется, раствориться без остатка в эвдемоническом обществе массового потребления, забыв или так и не обнаружив в себе жар божественной любви и горькие слезы раскаяния. Но если в тех или иных уголках европейского космоса смогут вспыхнуть новые звезды духа, то жизнь Запада не завершится бесславной гибелью под обломками ставшей ненужной материальной потребительской «культуры». Напротив, не утратив ничего подлинно значимого из своих прошлых достижений, очистив те духовные родники, от которых пили создатели Великой Хартии и хранители «протестантской этики», народ Запада начнет новый цивилизационный эон, исполняя до конца величайшее предназначение любой цивилизации — обогащать мир не столько экономическими достижениями и политическими формами — сколько сокровищами духа.

Надежда эта в наш жестокий и самообольщающийся век кажется неисполнимой только потому, что она очень ответственна и слишком прекрасна.

Михаил КУРАЕВ

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ...

«Я почитаюсь загадкою для всех,
никто не разгадает меня совершенно».
Гоголь

Казалось, большего кавардака, неразберихи, суеты, бестолковщины и вздора не случалось в Москве за всю долгую и пеструю ее историю: Москва после двадцати девяти лет подготовки открывала, наконец, памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю[1].

Мысль о том, чтобы соорудить памятник Гоголю в Москве, родилась сразу же в день торжественного открытия на Тверском бульваре памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Это был счастливый день народного торжества, единения, взлет национального самосознания — такое хотелось пережить еще раз, и как можно скорее.

Тут же объявили *всенародную* подписку на памятник Гоголю, и собрали четыре тысячи рублей.

Михаил КУРАЕВ — родился в 1939 г. в Ленинграде. Окончил театроведческий факультет Ленинградского театрального института. С 1961 г. по 1988 г. работал в сценарной коллегии киностудии «Ленфильм», автор семи сценариев художественных фильмов. С 1987 г. выступает как прозаик. Печатался в «Новом мире», «Знамени», «Дружбе народов» — повести «Капитан Дикштейн», «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Зеркало Монтачки» и др.

---

[1] Подробности этого дня — в превосходном очерке В. Порудоминского «26 апреля 1909 года», «Панорама искусств», № 5, М., «Сов. художник», 1982 г.

Да вот беда, деньги на *всенародный* монумент не хлынули рекой, даже не побежали ручьем, их пришлось выдавливать по капле. Если монумент в переводе с латинского значит — напоминание, то сбор денег «на Гоголя» напоминал извлечение Петром Ивановичем Бобчинским денег из прорехи в правом кармане Петра Ивановича Добчинского. За последовавшие за тем десять тысяч дней собрали еще сто тысяч рублей, почти по червонцу в день. Не густо, если учесть многолюдство читателей Гоголя и безмерную продолжительность срока, ушедшего на сборы. Правда, семья промышленников Демидовых пожаловала меди 110 пудов, по двадцать два рубля за пуд, вклад существенный.

Из глубины 1880 года казалось, что времени достаточно, чтобы в 1902 году пятидесятилетие со дня кончины писателя отметить открытием достойного монумента. Но дело двинулось таким неумышленным образом, словно вожжи всего предприятия отдали в руки Селифана, только что обласканного *тонкими приятелями* из маниловской дворни...

Едва-едва поспели к столетию со дня рождения, которое с неотвратимостью наступило в 1909 году.

Ну как не восхититься ни с чем не сравнимой российской неспешностью!

Обществу любителей российской словесности, тому самому Обществу, где на публичном заседании, посвященном открытию памятника Пушкину, произнес свою речь-завещание Достоевский, давший определение *всечеловеческой отзывчивости* русской души, понадобилось всего лишь десять (!) лет, чтобы учредить Комитет по сооружению памятника.

Прошло после этого радостного и долгожданного события всего-навсего три года, и государь сподобился своей монаршией милостью повелеть Комитету «открыть действия».

Воля государя — свята, слово самодержца — закон.

Однако, будто для какой-то исторической симметрии, опять же ровно через три года после монаршего повеления Комитет собрался на свое первое заседание, то есть *открыл действия*.

Наконец-то была оглашена и фамилия члена Комитета, к которому следовало обращаться по вопросам, касавшимся до сооружения задуманного памятника. Фамилия члена Комитета была — Нос! А.Е.Нос.

« — Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!»

Вот, вот, иногда только ссылками на шутки черта и можно объяснить все происходившее с самим Николаем Васильевичем Гоголем и вокруг него.

Промелькнул двадцать один год со дня рождения счастливой идеи, и как раз накануне пятидесятилетия со дня смерти Гоголя Комитет, украшением которого был безусловно господин Нос (где только отыскали?) объявил «условия на составление памятника».

Без проволочек, всего лишь за шесть лет (проницательные критики находят в этой кратности цифре «три» бездну смысла!) был проведен конкурс. Поданные скульпторами известными, именитыми, авторитетными проекты были отмечены почетными местами, наградами, премиями и... к исполнению не приняты.

Неукротимо приближалось 100-летие со дня рождения, а вместе с ним и необходимость дать отчет в потраченном времени и деньгах.

Тут же родилась новая счастливая идея — поручить памятник только одному скульптору, а конкурс — ну, как бы конкурс — сделать из мнений участников Комитета. А что?..

«... Русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения... поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога».

Если Селифан таким традиционно национальным способом привезет Чичикова к Коробочке, а Коробочка-то и приведет предприимчивого героя к краху, то в нашей истории дело пошло вовсе фантастической дорогой, конца которой и по сей день не видно, поскольку история с памятником Николаю Васильевичу Гоголю в Москве не может считаться оконченной, впрочем, как и в Санкт-Петербурге, где зародышу памятника скоро исполнится полвека, и вся его дальнейшая жизнь как бы еще впереди.

Итак, для важности и ответственности каждого члена Комитета наделили правом «вето», чтобы будущий проект, если и будет принят, так только единогласно. Да как же быть ему не принятым, если неизбежное единодушие было гарантировано надвигающейся датой, отступать за которую некуда?!.

Выбор Николая Андреевича Андреева для исполнения памятника Гоголю был в высшем смысле провидческим: именно из рук этого скульптора выйдут и будут как бы руками этого скульптора соеди-

нены два самых фантастических и до нынешних времен до конца не разгаданных героя нашей отечественной истории — Гоголь и Ленин.

Вершиной творчества Николая Андреевича Андреева будет признан памятник основоположнику фантастического реализма, Гоголю, и *лениниана*, серия скульптурных изображений человека, сумевшего самые казалось бы невероятные свои фантазии обратить в плоть и кровь.

Гоголь, не обидевший в жизни мухи, будет сидеть на постаменте сгорбленный то ли от боли, то ли от стыда. Владимир же Ильич в исполнении Н.А. Андреева с натуры во множестве ракурсов предстанет перед зрителями благостно задумчивым и умудренно мечтательным.

Собственно Н.А. Андрееву было рукой подать и до самого Гоголя, и даже до Пушкина. Работая над гоголевским портретом, он встречался с младшей сестрой Николая Васильевича, Ольгой Васильевной, и по преданию изобразил ее на барельефе, опоясывающем постамент, в виде Анны Андреевны Сквозник-Дмухановской. Только этим преданием и можно объяснить, почему на барельефе Анна Андреевна вовсе не молодящаяся модница, а особа пожилая и строгая. А в апреле 1906 года в обсуждении модели будущего памятника участвовал сын Пушкина...

К своим тридцати годам Андреев был уже скульптором известным, даже баллотировавшимся по рекомендации Репина и Опекушина, автора памятника Пушкину на Тверском бульваре, в действительные члены Академии художеств. К этому времени уже и бюст Гоголя работы Андреева украшал железнодорожный вокзал в Миргороде, однако, всезнающая пресса решительно возражала против поручения памятника «малоизвестному скульптору».

Памятник, предъявленный Андреевым Комитету в завершенном виде, как и следовало ожидать, был одобрен единодушно, поскольку возражение хотя бы одного из членов могло обернуться катастрофой для всего Комитета.

А что публика?

Одни сочли памятник оскорблением и писателя и публики, другие столь же убежденно объявили сгорбленную, утонувшую в кресле, закутанную в шинель и обращенную носом к земле фигуру, поднятую на высоком прямоугольном постаменте, — шедевром.

Андреев изваял фигуру человека, если не сломленного, то придавленного, согнутого незримой для нас тяжестью.

Это несомненно Гоголь, фигура трагическая, не спешащая посвятить нас в свою заботу, в свою печаль, а потому мы почти не видим

лицо, опрокинувшееся вниз; он то ли прячется от нас, то ли всматривается в *не для всех доступный кладезь* своей души.

Да, одни находили памятник замечательным, другие отвратительным.

Софья Андреевна Толстая была на торжествах и на следующий день записала в дневнике: «Памятник Гоголю — отвратительный».

А вот Лев Николаевич Толстой, увидев памятник впервые лишь осенью, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, сказал: «Мне нравится, очень значительное выражение лица».

Нет согласия, нет единомыслия, как было с памятником Пушкину, да и могло ли быть иначе, речь-то идет о Гоголе! о Гоголе, которого читать необычайно интересно и легко до радости, но так трудно проникнуть и понять его загадочную душу, спрятанную за множеством выставленных им самим завес... В попытках угадать и рассчитать движения этой души исписаны сотни, тысячи страниц, превышающие числом все им самим написанное, но какие тут могут быть отгадки, если под одной оболочкой догадал Бог соединиться несоединимому?Кто загнал Гоголя в пост и молитву, в самоуничижение, в страх жизни и в страх смерти?

Кто подталкивал его всю жизнь объясняться с публикой, оправдываться, просить быть верно понятым?

Кто от имени Гоголя, чьи сочинения вызывали восторг и поклонение современников, давал несбыточные обещания, раздавал векселя, суля превзойти все прежде сделанное и возвыситься до тех вершин, где творческая сила художественного гения сравняется с силой чуть ли не самого творца небесного?..

Кто отказал гениальному Гоголю в праве быть свободным, верить лишь своему внутреннему непревзойденной тонкости слуху, верить своему и только своему проницающему и вещи и души глазу, и не поверять каждый свой шаг и каждое свое слово меркой рассудочного практицизма?..

Кто непрестанно сыпал яд сомнений в чашу жизни, из которой пил себе на погибель Гоголь, Николай Васильевич?..

...Так как же можно одним портретом, одной фигурой соединить Моцарта и Сальери, сходных лишь париками, чулками да камзолами? Именно эти два пушкинских образа, два характера, два способа жить и сознавать искусство соединились в одной оболочке под именем

«ГОГОЛЬ»

Именно так, без имени, без отчества, без дат и титулов обозначен вдавленный в кресло, погребенный в себя человек, кутающийся в просторную дорожную шинель, прячущийся от мира, где у него не было ни дома, ни семьи, ни любви...

Пожалуй, так и есть — «моцарт» и «сальери».

Это же «сальери», трудолюбивый, начитанный, с юности воспаленный тщеславием, дотошно изучал примеры и образцы, а после в тишине и тайне изготовил «Ганса Кюхельгартена», поэму громоздкую и выспреннюю, местами напоминающую перевод с чужого языка. Впрочем, сходство это автор, надо думать, видел, стремился к нему и почитал достоинством, поскольку с первого шага намеревался войти в мировую поэзию, где царили в ту пору немецкие романтики. Метил на мировую арену, а попал на задний двор русской литературы, уже обретшей свое достоинство и самосознание. Заслуженно получил щелчки, из снисхождения к провинциалу вполне щадящие.

Это «сальери» в трагическом осознании неудачи послал слугу скупить непроданные экземпляры поэмы и предал их огню...

Два факела, два костра, словно задуманные кем-то для симметрии, испепеляющие первое и последнее творение Гоголя, осветят его художническую судьбу с двух сторон.

«Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали!..»

Это «моцарт» отобрал у растерянного «сальери» перо и, дав волю своему воображению, разгоняя припадки тоски, стал выдумывать смешные лица и характеры, ставить их в смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это и для чего и кому от этого выйдет какая польза.

В одночасье, сидя в промозглом Петербурге, никому не нужный и не интересный провинциал написал блещущие всеми красками благоуханной Украины веселые, загадочные и таинственные истории, названные с подсказки нового питерского знакомца «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Написал первую часть, а с разбегу и вторую, и стал знаменит!

Это «моцарт», обожженный изморозью петербургских камней, напишет «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», открывающие новую эпоху в отечественной литературе, а пекущийся о понятности и *пользе* «сальери» оснастит «Арабески» статьями, где будет просить снисхождения за молодость и незрелость, и даже немножко сжульничает, «омолаживая» даты некоторых сочинений.

Дальше так и пойдет. «Моцарт» напишет бессмертного «Ревизора», а обеспокоенный тем, чтобы все было верно и в пользу автора понято,

«сальери» станет писать «Театральный разъезд», не успокоится и напишет еще и «Развязку «Ревизора» и даже в двух редакциях. Все это из опасения, чтобы моцартовский смех, смех свободного человека, не был принят за клевету, за насмешку и не повредил во мнениях, с которыми необходимо считаться.

Каков Сальери!?..

Вот паспорт, выданный ему самим Белинским: «Человек действительно с талантом, а главное — с замечательным умом, способностью глубоко чувствовать, понимать, и ценить искусство».

Это «сальери» склонял «моцарта» к *трудам, усердию и самоотвержению* и вовсе не бесплодно заставлял без конца возвращаться к своим сочинениям, переписывая и «Тараса Бульбу», и «Портрет», и «Ревизора», казалось бы уже снискавших автору славу.

«Моцарт» создаст «Мертвые души», ставшие величайшим праздником отечественной словесности, славой нашей литературы, а опьяненный успехом хлопотливый «сальери» пообещает блестящее и несбыточное продолжение, для чего немедленно возьмется за воспитание и публики и автора... В исступленном стремлении к *пользе* явятся миру «Выбранные места...» из выдуманной переписки с несуществующими друзьями. И вместо обещанного шедевра появится книга болезненная, чуждая «моцарту» духом несвободы, приторным слогом, назойливой нравоучительностью и трагическим отсутствием того спасительного юмора, которым были полны сочинения, питающие читателя живительной силой и по сей день.

Книга, призванная пояснить деятельность автора и пользу от его труда, породила лишь вопросы, обиды и недоумения, потребовавшие новых объяснений в «авторской исповеди», так и не увидевшей света при жизни автора, хотя и содержащей на немногих своих страницах двадцать шесть упоминаний слова *польза.*

Разумеется «моцарт» и «сальери» — не больше чем персонажи трагической коллизии, метафорическое обозначение двух начал, в разной мере, но непременно сосуществующих в творческой натуре. Когда гармония этих двух начал нарушается, происходит трагическое самоубийство Гоголя, бунт Льва Толстого, творческий кризис Зощенко... Непосредственная творческая стихия, повелительно-безотчетная, вдруг ощущает свое бессилие перед рефлектирующим сознанием, испытывающим неодолимое желание, потребность осмыслить не столько процесс творчества, сколько судьбу своих созданий, их место и роль в жизни, окружающей художника, их пользу...

И вот, непосредственная творческая сила, та, что сродни любовному смятению, та, что не ищет себе ни оправдания, ни объяснения,

вдруг цепенеет, замирает перед судом рассудка, здравого смысла и... умирает, угасает в рассуждениях практического ряда, прямо как у Подколесина...

«Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом...» и уже не вкусишь блаженство, какое точно, бывает только разве в сказках...

На барельефе, опоясывающем постамент, герои гоголевских сочинений.

Может показаться, что Гоголь опустил голову вниз как раз для того, чтобы самому вновь разглядеть свои создания, укрепиться или усомниться в своих симпатиях и отвращении.

Отношение Гоголя к своим героям, к чертам, в них воплощенным, не раз публично объявленное, чрезвычайно интересно в своих глубинных, не на поверхности лежащих мотивах.

Сколько бы ни радовались обличению *существователей*, ни одно желание которых «не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик», и чья жизнь движется по заведенному маршруту от еды ко сну и от сна к еде, нежность и ласковость, с которой говорится о добродушных, беззлобных, чистосердечных Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче, искренна и несомненна. «Неизъяснимая прелесть» низменной буколической жизни обнаруживает себя в сравнении с той жизнью, что пышно буйствует как раз за частоколом, где «страсти, желания и неспокойные порождения злого духа» возмущают мир. За частоколом — украденный и вывезенный обманом лес, за частоколом шляется где-то беспутный племянник, за частоколом воруют, блудят, хищничают.

Горькая ирония — вовсе не обличение, душевное сострадание перед лицом рушащейся жизни, рвущихся человеческих привязанностей — не сатира; скорбное сознание бессилия благостыни и добродушия удерживают от насмешки и карикатуры.

Но если симпатия к *старосветской* жизни и сострадательная печаль, сменяющая ироническую улыбку во взгляде на миргородских обывателей, объяснимы мирным характером этой жизни и беззлобностью нрава главных героев, то откуда же любование *лыцарями* Сечи Запорожской, запросто забивающими насмерть провинившегося товарища, или снимающими кожу с живых пленников? Откуда, из каких душевных запасов взяты торжественные звуки и праздничные краски для песен в честь сыноубийцы Бульбы и славных его козаков, поддевающих младенцев концом копья и закидывающих в окна полыхающих домов прямо в простертые руки заживо горящих матерей?

«Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!» — приговаривал только Тарас. И поминки по Остапе справлял он в каждом селении...»

Почему симпатии автора на стороне героев, чьи поступки «побольше, чем обыкновенное разбойничество»?

Надо думать, не сами по себе эти герои и эта жизнь, лишенная сколько-нибудь развитого самосознания и взгляда на себя со стороны, не душевная узость и неспособность к взрослому размышлению делают привлекательными для автора и безобидных старичков с глухого подворья, и мечущихся от Варшавы до Константинополя неугомонных *лыцарей*, вершащих дела, превосходящие обыкновенное разбойничество. Не поворачивается душа увидеть обличение и в живописнейшем портрете Ноздрева с непропорционально ободранными бакенбардами, бесконечно смешны воры и взяточники вместе со своим предводителем, который если и брал с иного, то, право, без всякой ненависти, смешон и фитюлька Хлестаков, которого можно принять за *персону* только со страха великого да от убеждения, что дым с шапок на головах воров виден аж в Петербурге...

ВЛАСТЬ и БОГАТСТВО, два главных искусителя, два главных извратителя человеческих душ, — не ваше царство во всей своей разъязвляющей бесчеловечности приковало к себе взгляд автора, эти-то смешны, а те — страшны, а потому этим и простится, простится не ведающим, что творят.

Иное дело власть — не та, что дана вместе с атаманской булавой на казачьем круге, и богатство — не то, что служит минутным знаком доблести и бесстрашия...

К власти, служащей для возвышения над другими, к богатству, ставшему целью жизни, не стремятся, не ведая той цены и платы, которую приходится отдать за вожделенное благо. Власть всегда идет об руку с унижением и насилием. А богатство и приобретательство лишь для безукоризненного Констанжогло не сопряжены с преступлением. Чичиков, поэт и подвижник приобретательства и накопительства, стяжательства и обирательства, не верит ни минуты в возможность честно разбогатеть.

«Позвольте спросить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?» — поинтересуется Чичиков, изумленный достатком и процветанием Костанжогло.

«Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами», — скажет Костанжогло, более похожий на агит-плакат, чем на живого помещика.

Гоголь еще в давнюю пору, когда власть над крепостными передавалась по наследству и не подлежала сомнению, уже чуял тлетворный

запах беспощадной и бесконтрольной власти денег, чье царство будет подольше рабовладения, и здесь-то его печаль и сознание бессилия приобретают по-настоящему трагические тона.

«Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правленье, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность».

Мы знаем эти *условия*, когда во всеобщую известность приведены цены на место в парламенте, то есть в Думе, когда во всеобщую известность приведены цены на убийство, на подкуп, на шантаж...

А еще он заметил «то мелкое сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем, затем чтобы жить на счет бедных».

С той же прямотой, как и о старосветских помещиках, говорит Гоголь о герое, занявшем его воображение так надолго. «Кто же он? стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает... Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель».

Слово сказано!

«Приобретение всего; из-за него позавелись дела, которым свет дает название не очень чистых».

«Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Копейка не выдаст... Все сделаешь и все пробьешь на свете копейкой...» Этот завет отца поможет Павлуше Чичикову стать скотиной Чичиковым, определит идеологию, психологию и жизненное поведение огромного числа людей в надвигающуюся эпоху.

Дворовый человек Плюшкина, Попов, откроет в отечественных летописях бесконечную череду лиц, *проворовавшихся благороднейшим образом.*

Николай Васильевич Гоголь предвосхитит поразительные гримасы наступающей эпохи: «Обокрадет, обворует казну, да еще, каналья, наград просит! Нельзя, говорит, без поощрения, трудился..».

Вот она эпоха *кипящей меркантильности*, вот он век, обретающий *физиономию банкира.*

Только и осталось, что крикнуть во всеуслышание: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!»

Надвинувшаяся и набравшая силу эпоха, в утверждении своих прав на все лучшее, что дала жизнь, воздвигла своему обличителю памятник.

Несусветица, вздор, торжественное головотяпство, помпезная глупость, сопутствовавшие открытию памятника, служили как бы живой иллюстрацией и подтверждением тому, что взгляд художника на свое непостижимое здравым умом отечество был верным и, к сожалению, дальнозорким. Не то что десятки лет, но и целое столетие мало что поменяло в нравах, повадках и житейских приемах соотечественников.

Если дом Собакевича, как и вещи в доме, казалось, кричали: «И я Собакевич!», благодаря своему сходству с характером и статью хозяина, то и подробности тридцатилетней истории сооружения, водружения, открытия, а затем и последующего «закрытия» памятника Гоголю каждой своей подробностью кричали: «И я из Гоголя! И мы из Гоголя!»

Первоначально памятнику было отведено почетное место на самой Арбатской площади, знаменитой, многолюдной и просторной. Однако поставлен монумент был в начале Пречистенского бульвара, как бы и на площади, но и в сторонке. Кто же одолел, у кого поднялась рука и хватило сил и власти потеснить самого Гоголя. Да Селифан и потеснил, вернее — «селифаны». Извозчичья биржа. Вот оно, увиденное, названное и предсказанное на годы *управление, гораздо сильнее всякого законного.*

Автору «птицы-тройки», бесприютному путешественнику, проведшему в дороге чуть ли не полжизни, именно «селифанами» было указано его место, где стоять, вернее, сидеть. И все равно, место оказалось не окончательным, может и здесь взяла верх неведомая сила, всю жизнь перемещавшая бездомного из края в край?

Когда новые «селифаны», всевластные и безотчетные, воздвиглись на облучке, стали править Русью и «пустились вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога», видно генеральному «селифану», ежедневно проезжавшему через Арбатскую площадь на свой кремлевский облучок, мозолил глаза и заставлял думать о постороннем сгорбленный человек, не пожелавший ни разу встать перед лицом отца народов. И монумент, напоминание о Гоголе, угнетенном великой мыслью и великой скорбью, вовсе уберут с глаз подальше, хотя и недалеко, во двор дома недоброй памяти графа А.П. Толстого, где в муках и бреду прекратилась жизнь великого писателя.

...Но пока на дворе лишь 1909 год, Россия, не глядясь в зеркало, примеряет новомодный *столыпинский галстук*; Москва еще не знает ни своей судьбы, ни судьбы монумента, и потому спешит явить во всей широте и многообразии нравы, вкус и причуды ума, вызывавшие смех и содрогание души автора «Мертвых душ».

Гоголевский юбилей широковещательно отмечали рестораны, соревнуясь в составлении меню, пестревших яствами со стола Коробочки, Собакевича, городничего и, конечно, Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Скородумки, шанишки, пряглы, *припеки со сняточками*, ну, разумеется и бараний бок с кашей, и пудря с молоком, сами того не ожидая, оказались возведенными в яства сакральные, в средство причащений к великому художнику и страдальцу.

Профиль Гоголя, узнаваемый легко даже в самых скверных и неряшливых исполнениях, запестрел черт знает на чем, добро бы только на школьных тетрадках и календарях, но и аптечные товары украсились острым силуэтом. И карамельки были с «гоголем», и шоколадки были с «гоголем», а уж печенье «Гоголь. С. Сиу и К°» трудно превзойти и нынешним пошлякам.

Готовились все, в газетах можно было прочесть приватные приглашения на официальный праздник: «Окна на торжество Гоголя сдаются, открытый вид. Арбатская площадь, трактир Григорьевой...»

Вот оно — торжество Гоголя!

Поставив соображения утилитарные выше эстетических, Собакевич, как известно, двигал колонны на фасаде своего жилища; бессмертные его наследники, опять же для удобства, поставив интересы практические выше исторических, сдвинули дату открытия монумента с конца марта, где размещается день рождения героя, в конец апреля, где больше надежд на благоприятную для публики погоду.

Но черт, надо думать, не оставил своими заботами давнего своего врага; накануне торжества, 25 апреля, что для Москвы редкость невиданная, зима бросила в город все свои нерастраченные запасы. Снега навалило пропасть, тяжелого, сырого, улицы покрылись снежной жижей, в воздухе повисла промозглая сырость.

А может быть, всю эту дрянь принесло на торжества из Петербурга, так и не дождавшегося своего памятника лучшему из его портретистов?..

К открытию монумента готовились основательно, вокруг памятника, еще покрытого материей, на живую нитку были выстроены трибуны для участников торжеств. Трибуны расположили в виде буквы «П», заняв чуть ли не все свободное пространство на подходах. Несколько рядов скамеек были воздвигнуты народом не только бойким, но и вороватым, а потому дощатое сооружение было подвергнуто накануне праздника испытанию общественной критики.

Разнесся слух, что трибуны хлипкие и под тяжестью гостей непременно рухнут.

Однако, сам городской голова Гучков, убежденный в умеренной вороватости подрядчиков, лично требовал заполнить трибуны публикой.

И хотя *голова*, по Гоголю, в мирской сходке всегда должен брать верх, но Москва не Диканька, и верх здесь берут частенько пронырливые и крикливые. Да и слишком свежи были еще воспоминания о раздавленных на Ходынском поле участниках другого праздника, так что страх был велик.

В последний час, в последнюю минуты правители Москвы родили решение, которому мог бы позавидовать и сам Сквозник-Дмухановский. Недаром же Гоголь уверял: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных».

Ну разве можно выдумать из головы историческое решение московских правителей: «Трибуны укрепить — публику на трибуны не пускать!» Да, такая действительность любого выдумщика изумит, хотя бы и самого Николая Васильевича! Помните у него историю со скамейками для публики? Это когда Нос пустился фланировать по городу, а публика собиралась на него смотреть: «Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами... нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя». Прекрасные скамьи. Прочные. Умеренная цена. И это *фантастический реализм*?! Нет, «трибуны укрепить — публику не пускать», вот это наш, российский фантастический натурализм.

Праздник начался ранним утром молебствием в храме Христа Спасителя на Волхонке, внизу Пречистенского бульвара, а двадцатитысячная толпа, жмущаяся около пустых трибун, охраняемых городовыми, в промозглом холоде ждала несколько часов, пока служба закончится и молящиеся с клиром поднимутся к Арбатской площади. Вместе со взрослой публикой на деревянной эстраде три часа томился и мерз детский хор в три тысячи голосов, прежде чем возгласил сочиненную к случаю сладенькую кантату.

Венки, возлагаемые к монументу во множестве, были несколько помяты, поскольку доставить их по назначению сквозь стиснутую толпу было не так-то просто...

Где-то на площади затерялся забытый всеми, никому не нужный депутат из Сорочинец...

Праздник национального единения не вышел, на новую вершину самосознания взойти не удалось. Ярких речей, как при открытии памятника Пушкину, не прозвучало, но и не яркие речи расслышать можно было лишь с великим трудом, даже стоя рядом...

Предуведомляя тех, *которые пожелали бы как следует сыграть «Ревизора»*, Гоголь будто бы впрок описал и тех, кто разыграл представление с открытием ему памятника: «Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшею задачею своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы. Но сами они не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется».

Сдернули покрывало...

Гоголь сидел, опустив голову вниз, ни на кого не глядя, ему было не до смеха... Легкий поворот головы влево и слегка накинутая на левое плечо шинель, потоком спадающая на колени и дальше направо вниз, выглядывающая из-под правого борта шинели рука с открытыми пальцами, то ли выронившими перо, то ли готовыми его взять снова — все делало памятник живым...

Многим памятник не понравился и даже резко, вскоре появятся предложения его взорвать.

В общем, что удалось, так это выдержать «гоголевский» стиль праздника; все здесь было — и комедия, и фарс, и лубок, не хватало лишь завершающей неожиданной черты, окончательной точки, замыкающей гармоническое в своей гротескной остроте торжество.

Явилась и необходимая точка.

Проницательный патриот, Василий Васильевич Розанов, в своей статье, обозревавшей только что установленный памятник, назвал свой отклик со всей определенностью: «Отчего не удался памятник Гоголю?»

Морально низвергнув едва воздвигнутый долгожданный монумент, автор с пророческой категоричностью объявил: «Памятника, по крайней мере в Москве, второго Гоголю не будет: и то, что испорчено «на этом месте и в этот год», естественно, никогда не исправится. Это конечно, безмерно печально».

Нет, не зря писал юный Николай Васильевич своей матушке: «никто не разгадает меня совершенно».

Не разгадали при жизни, но и после смерти все, что связано с Гоголем, ни угадать, ни предвидеть все так же невозможно. И

приключения с памятниками — тому свидетельство. И чтобы понять, вернее, отказаться что-нибудь понимать, надо коснуться хотя бы и вскользь необъяснимого в самих сочинениях Гоголя.

Ну почему, к примеру, майор Ковалев, отказываясь жениться на дочке штаб-офицерши Подточиной, ссылается на свою молодость — дескать, послужить надо еще лет пяток, «чтобы уже ровно было сорок два года». Смешно — «ровно сорок два»! Что за вздор, начинать новую жизнь «ровно в сорок два»? Ковалев решительно смешон. Но вот и Поприщин внесет эту даты в свои «Записки»: «Ноябрь 6... Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба». Грех смеяться над сумасшедшим, но только в безумную голову придет дожидаться до начала службы по-настоящему сорока двух лет. Но в тридцать восемь лет уже не от имени Поприщина, а от своего собственного Гоголь скажет: «Мне захотелось служить — в какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности... я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место».

Можно было бы и не заметить эти сорок два года, если бы они не означали число лет, прожитых Николаем Васильевичем Гоголем.

Так кто же был примером для вступления в должность в сорок два-то года?..

Не о себе ли писал Гоголь за десять, за пятнадцать лет до поджидавшей его трагедии, когда описывал муки несчастного Чарткова, вдруг сознающего цену своего отступничества, пытающегося преодолеть пропасть, отделившую его от подлинного искусства: «Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, охвативши и бросивши на полотно, можно было бы сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей...»

Существует множество описаний последних дней, конца Гоголя, но душа робеет, когда читаешь написанное им почти за двадцать лет до своей смерти —

«Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и общее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе...»

«Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот...»

«К счастью для мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее...»

«Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал...»

«Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания.»

Нет, не даром же по завершении первой части, первого тома «Мертвых душ», адресуясь к читателям, автор скажет: «Все мои последние сочинения — история моей собственной души»...

Хорошо, но откуда он знает, что ждет эту душу?

Счастлив читающий Гоголя в первый раз, но и перечитывающего ждут впечатления новые; например, ни с чем не сравнимое чувство открытия, заглядывания в судьбу писателя, ему самому еще неведомую. Вот у Тараса Бульбы вдруг мелькнуло ноздревское словечко «бабиться», а оброненная в майскую ночь под Диканькой люлька еще не предвещает ни плена, ни страшной казни, а только упрек, дескать, «не козак, да и только», а чтение комиссаровой записки, адресованной отцу влюбленного в Ганну Левко, лишь напомнит о том, как будут читать выуженное почтмейстером Шпекиным безжалостное письмо Хлестакова...

Гофман в «Невском проспекте» схватит Шиллера за нос, пригрозит его отрезать, а мы уже знаем, что впереди похождения этого странного органа, оповещающего о вертикальной симметрии мужского тела...

А когда Башмачкин, упрятавшись от всех невзгод в новую шинель, будет вдыхать и впитывать в себя неведомые до той поры ароматы счастливой, блещущей многоцветьем жизни, мы вспомним, что у витрины, где какая-то красавица *так ловко скинула башмак, что обнажила всю ногу*, мы уже останавливались вместе с одним *заслуженным полковником*, явившимся на Невский проспект посмотреть прогулки носа, отделившегося от коллежского асессора...

Да и в «Мертвых душах» мелькнет сольвычегодский купец, вышедший из драки с устьсысольскими купцами безусловным победителем, но без носа...

И многоголосый собачий хор, которому вместе с читателем будет изумляться Чичиков, прежде, чем выступить в усадьбе Коробочки, репетировал во дворе тетушки Ивана Федоровича Шпоньки...

Эти зеркальные отблески, эти дальние рифмы не хочется считать случайными, они создают ощущение эха, отзвучия, переклички,

соединяющей в единое целое гоголевские тексты. Это малая из примет, подводящих к мысли о единстве и цельности творческого наследия писателя. Быть может противоречивость личности Гоголя, о чем так много и разнообразно было сказано, вовсе не нарушила художественной цельности его творческого наследия, а то, что противоречило, он сам сжег.

Он сжег «Ганса Кюхельгартена», собрание своих сочинений открыл «Сорочинской ярмаркой», написанной вовсе не первой даже среди повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Он сжег и второй том «Мертвых душ», завершив собрание сочинений ликующим гимном России, которым обрывался том первый.

Все сделано прочно, основательно, навсегда.

Но кто водил его рукой, когда в последней сцене «Сорочинской ярмарки» он написал пляску полумертвых старух? В финале первого сочинения мелькнули мертвые души. Странный финал забавной и вроде бы непритязательной истории (мы еще к нему вернемся) приобретает значимость, требует осмысления, порождает вопросы, на которые навряд ли удастся когда-нибудь найти ответ.

«Никто не разгадает меня совершенно»!

И вот так же неожиданно и так же несогласно со всем предшествовавшим повествованием завершит Гоголь и последнее свое творение, увенчав похождения афериста восторженным акафистом земле, по которой летит, унося ноги, предприимчивый подлец.

Эти странные, загадочные рифмы магнетически притягивают к себе, требуют разрешения.

На полях «Сорочинской ярмарки», в книге, принадлежащей кинорежиссеру Г.М. Козинцеву, готовившемуся к постановке фильма «Гоголиада», отчеркнута финальная сцена, где пляшут старухи, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы», и сделана пометка: «Ср. «Птица тройка».[1].

Ну конечно, эта перекличка двух как бы несообразных финалов первого и последнего сочинений Гоголя знаменательна.

Вряд ли автор сам видел эту странную рифму. Скорее всего, нет. Но эта рифма как бы замыкает, как бы окольцовывает все написанное Гоголем в прозе, она же наводит на мысль о том, что все тексты, лежащие между первым и последним произведениями собрания сочинений, составленного самим автором, как бы единое создание.

---

[1] Я знакомился с библиотекой Григория Михайловича Козинцева как член комиссии по его творческому наследию.

Скорее всего связь между финалом «Сорочинской ярмарки» и «Мертвых душ» глубоко укоренена не только в художественный стиль, присущий Гоголю, но и в его мироощущение. И не случайно со смелостью музыканта, убежденного в том, что слух ему не изменяет, Гоголь завершает оба произведения как бы резким введением контр-темы:

— Звенит и плещет веселая свадьба Параски и Грицько... на краю бездны небытия...

— Бежит разоблаченный авантюрист из города, а тройка выносит его на такой простор, в такую даль, в такое море жизни, где и тысячи мутных, нечистых ручьев, и сотни извилистых тропок, натоптанных всевозможными пронырами и мазуриками, смешавшись и растворившись в могучей и вольной стихии, становятся ничтожной, неразличимой малостью перед лицом неизбывной силы и необъятного простора...

То, что так и не удалось Гоголю сказать в несбывшемся втором и лишь мерещившемся третьем томах «Мертвых душ», он сказал музыкой финала первого тома...

Откуда же возникает, чем порождается эта неотвратимая, и по здравому как бы рассуждению алогичная контр-тема, позволяющая совершенно неожиданно и по-новому увидеть все рассказанное?

Для русского художника, для русского писателя, мне кажется, потребность творчества всегда сопряжена с полнотой ощущения жизни, с готовностью выразить, назвать, запечатлеть ее загадочное существо. И вот, когда вещь завершена, сюжет исчерпан, с обжигающей очевидностью надвигается печаль от неисполненного замысла, от невыраженности того, важнейшего, ощущения, для раскрытия которого и понадобилось рассказать историю. Автор поднимает глаза от последней страницы и видит, как огромна, как необъятна жизнь, ускользнувшая, оставшаяся за пределами уже завершенного сочинения.

Вот здесь-то, свободный от пут и обязательств сюжета, автор волен сказать свое последнее слово до того, как читатель вынесет свой приговор.

И эта минута была предчувствована и предсказана в разгар поэмы, в самой ее середине: «И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облаченной в святой ужас и блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» И вот на последней странице грянул величавый гром других речей, выплеснулось одушевляющее автора чувство, с кото-

рого все, быть может, и началось и с которым еще жить до последней страницы последнего тома, — выплеснулось с блеском и полнотой, на какую способен лишь гений, разом озирающий всю громадно-несущуюся жизнь!..

Говорят, неинтересно читать, когда знаешь, чем кончится. Верно, но это только тогда, когда содержание сочинения адекватно рассказанному анекдоту. Зная загодя, что «Мертвые души» закончатся «птицей тройкой», необычайно интересно наблюдать, как сам автор, быть может того еще и не подозревая, лишь доверяя своей гениальной интуиции, готовится к прямому диалогу с Русью.

На протяжении сравнительно небольшого повествования, каким оказался первый том «Мертвых душ», Гоголь чуть ли не сорок раз впрямую адресуется к чертам и повадкам русского человека, рассуждает и комментирует с необычайной полнотой предъявленные нравы, укоренившиеся на Руси. Ирония, восторг, горькая усмешка, недоумение, восхищение, скорбь — сколько чувств, сколько мыслей пробуждает в авторе вид своего отечества! И уж никак не ждешь, что вся пестрая мозаика мелодий, тем, мотивов, иронических и насмешливых пассажей вдруг сольется в финальном апофеозе, и станет гимном России...

Существует целая традиция, поддержанная высокими авторитетами, рассмотрения творчества Гоголя как бы в противоположении вещей, созданных в разные периоды... Периоды! да когда им случиться, и сколько их надо считать, если от «Вечеров на хуторе..» до выхода первого тома «Мертвых душ» пройдет всего-то двенадцать лет! Загляните в первые письма из Петербурга, в них вы найдете «цитаты» из «Выбранных мест», а в неопубликованном при жизни раннем критическом опыте уже читаем описание Петербурга, которым восхитимся в «Невском проспекте»: «...чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов» — это написано до «Ночи перед Рождеством», до «Страшной мести», стало быть, в какой период?

Мысль о внутренней художнической цельности замечательно аргументирована Андреем Синявским в его глубоком и увлекательном исследовании «В тени Гоголя»: «...в своем литературном развитии он не так развивался, как открывался новыми сторонами души, не столько наследуя себе, сколько переходя от одной книги к другой, от одного своего облика к другому».

Но разве на Гоголя может быть один взгляд, одна точка зрения?

«В период создания «Диканьки» и «Тараса Бульбы» Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти... Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки» и «Миргороды» о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Это мнение В.Набокова, писателя значительного и проницательного комментатора судьбы и творчества Гоголя.

Страхи Набокова, как мне кажется, напрасны, Гоголю не грозило стать автором «украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй», поскольку он не был таким автором ни в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», ни в «Миргороде», которые читал Набоков с невыносимой скукой.

Здесь есть смысл чуть отступить в сторону, или приподняться, чтобы увидеть и «Вечера» и «Миргород» в широком пространстве отечественной литературы.

Десятилетие с 30-й по 40-й год — время в русской литературе фантастическое.

Это время, когда родилась наша проза!

Именно в эти десять лет Пушкиным созданы повести Белкина, «Дубровский», «Капитанская дочка», именно в эти десять лет Гоголем написано практически все, что создало бессмертие имени писателя, в это же время новым и блистательным словом русской литературы явился «Герой нашего времени».

Это десятилетие можно сравнить со Среднерусской возвышенностью, где зародились, взяли исток, набрали неиссякаемую силу все главные европейские реки нашего отечества, соединившие разбросанные по дебрям и степям народцы в единую и весьма интересную нацию. Не так ли и литература, именно проза, всего лишь на пространстве одного десятилетия образовала столь значительную возвышенность, таящую в недрах живительную силу, способную и по сей день питать три главных направления — эпическое, гротескное и психологическое.

Энергия этих источников определяется вовсе не значительностью сообщенных нам историй о станционных смотрителях, днепровских русалках или кавказских дуэлянтах, энергия этих источников по моему убеждению определяется языком прозы, фундаментальным словарем русской прозы, созданной гением Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Не боясь ошибиться, можно сказать, что во всем сколько-нибудь значительном, что будет создано в отечественной литературе за последующие полтора века, в разной мере, но можно обнаружить «проценты на капитал», принятый от Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Это в «Старосветских помещиках», читая про Афанасия Ивановича, взирающего на бездыханную свою Пульхерию Ивановну, «как бы не понимая значения трупа», мы-то понимаем, что из этой фразы, как из зерна разрастается дивное поле прозаического языка Андрея Платонова.

Без труда можно показать, как уже в первых своих прозаических опытах Гоголь явился как новое слово отечественной литературы, и то, к а к он рассказал свои истории, стоит едва ли не больше того, о ч е м он нам поведал.

Первые же слова Рудого Панька о «господах в ливреях» и о «великом лакействе», первые же слова «Сорочинской ярмарки» о горшках на возу, закутанных в сено и *скучающих своим заключением и темнотою*, возвещают появление в литературе нового языка, что естественно бывает реже, чем появление новых сюжетов.

Это у какого же *фольклорного писателя* найдешь такое странное, почти страшное завершение чудных, красочных, забавных и насмешливых водевильных картин, чем в сущности и предстает перед нами ярмарка в Сорочинцах до последних страниц. И вот, страница последняя: «Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету...»

Зачем же последние аккорды этой веселой пасторали полны трагического предчувствия?

«Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно

становится сердцу, и нечем помочь ему». Точка. Веселый водевиль окончен.

Но может быть это случайность, как бы оговорка? Тогда и в «Майской ночи» с первых же слов оговорка: «...парубки и девушки шумно собрались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразрывные с унынием».

И в каких это романтических повестях, нагоняющих скуку на изощренного читателя, сдирали с живых людей кожу и бросали в окна к горящим заживо матерям поддетых на копье младенцев?

Нет, оговорки были в подражательном «Кюхельгартене», а в «Диканьке» и «Миргороде» уже заговорил Гоголь, и каждый, кто захочет это услышать, услышит.

...А вот сам Николай Васильевич не может больше сказать ни слова в свое оправдание, он пригнул голову, обреченный покорно слушать.

Что же он слышит сегодня? Может быть с противоположной стороны бульвара, из Центрального дома журналистов до его слуха доносится речь сегодняшних газет, сегодняшних политиков и публицистов. Каково ему, верившему в магическую, преобразующую силу искреннего, чистого, неожиданного слова, слушать полузаморскую тарабарщину, на которой привыкла выказывать себя на Руси торжествующая пошлость и глупость. Не Пушкин ли заметил: «Леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны».

А не сегодня ли произнесены эти слова Гоголем: «Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не должен теперь всякий истинный поэт и мыслитель думать прежде всего о воздержании, произнося: «Господи, положи хранение устом моим».

Слово, язык творений Гоголя — сами по себе величайший памятник национальной культуры, ее богатство, его гротескное письмо с поразительной естественностью вбирает в себя широту и беспристрастие эпоса, точность и строгость психологического письма, остроту иронии, пафос лирики и горечь сатиры.

Русский прозаический язык Пушкина и Гоголя появился как неправильный!

Пушкин сам пишет о том, что за шестнадцать лет публикаций критики нашли у него лишь пять погрешностей в грамматике, которые он признал и с благодарностью поправил: «Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже, почти так, как пишет Гоголь».

Признание дорогого стоит. Стало быть, Гоголь пишет... как говорит Пушкин! то есть языком живым, свободным, заряженным энергией гения!?

Читатели, а главным образом писатели, ревнители правил, были не готовы к явлению Гоголя. Его обвиняли, упрекали, высмеивали, а Булгарин, Сенковский и Полевой даже по выходе первого тома «Мертвых душ» призывали автора прежде «поучиться русской грамоте, а потом уже писать».

Но упрямому хохлу было тесно в узаконенном пространстве, как юному Гвидону, не по дням растущему, в засмоленной бочке. «Правильный язык» не охватывал и не выражал всех чувств, мыслей, наблюдений, оттенков человеческой природы и повадки, вот и приходилось искать слова особенные и ставить их в непривычные сочетания.

Рассказывая о художнике, он скажет и про себя: «Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете».

И вот — пожалуйста: «Стенным часам пришла охота бить».

Скольким неодушевленным предметам и самым неожиданным вещам Гоголь дал жизнь, оторвав их от привязи правил и норм, показал нам привычный предмет с необычайной стороны. И конечно прав был Набоков, когда говорил, что до Пушкина и Гоголя русская проза была подслеповата.

Это какое же пристальное и насмешливое нужно иметь зрение, чтобы коротенькие и густые усы под носом у винокура показались «мышью, которую винокур поймал и держал во рту, подрывая монополию амбарного кота». А вот и «широкая труба с винокурни какой-нибудь, наскучa сидеть на крыше, задумала прогуляться...» Глядишь, и Тарас Бульба вдруг раз — и «моргнул усом».

А по каким правилам нужно составлять слова, чтобы описать невиданное, небывалое, ошеломляющее, что-то *чрезвычайно безотчетное*?

Какими словами, по каким правилам описать Невский проспект, когда он «лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в ненастоящем виде».

А как он умел описать звук, сообщая самой фразе, самим словам особую мелодичность: «...зашумели все, будто приречный тростник тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра».

И той печальной струне, что зазвенит в отуманенной голове безумного Поприщина, еще долго звенеть и отзываться эхом в сочинениях прямых и косвенных наследников Гоголя.

Да что ж выуживать, выбирать и выписывать слова и фразы, изумляясь свободе и гениальному чутью на слово, если читателя этого тома ожидает — на каждой странице! — возможность самому пережить радость от встречи с метко сказанным русским словом!

...Так почему же он, сделавший нас зрячими, открывший нам глаза на самих себя, на жизнь нас окружающую, позволивший увидеть и услышать то, что без него навсегда осталось бы для нас неизреченной тайной, — сидит, опустив голову, не поднимая глаз?

Эта зоркость далась ему великим трудом, далась напряжением души и верой в своей предназначение.

Мы можем заглянуть в «Ганса Кюхельгартена» и увидеть, как он искал, как пробивался к *своему* слову, не страшась быть даже смешным.

«И с невыразною тоской слезу невольную уронит...»

И «заплата малая моя» вместо «плата»...

И «трепетанье серебряных крыл, когда ими звукнет, резвясь, Исраил...»

«А голос — как звуки сиринды ночной»...

— все это было, через все это надо было пройти, чтобы наконец подвыпивший Каленик «косвенными шагами пустился бежать» за «замысловатыми девушками», чтобы перецеловать их всех разом, чтобы «высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок», «всеобщий хохот разбудил почти всю дорогу», а Павел Иванович Чичиков, предотвращая покушение на его личность, «схватил Ноздрева за обе задорные его руки».

... На пьедестал возведен великий труженик в утомлении труда и мысли, обративший загадочную энергию своего гения в живую кровь отечественной речи, попираемой и предаваемой повсеместно и ежечасно!

Здесь, посреди Москвы, сегодня он один из немногих, кто знает, что «до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства; так же бесприютно и неприветливо вокруг нас, точно, как будто бы мы до сих пор не у себя дома, не под родной крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и

дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей».

«Давно оставши и угаснув для всех волнений и страстей, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастье, выше всех мирских несчастий».

Эти ли строки вставали в цепкой и злой памяти «корифея всех наук», проезжавшего через Арбатскую площадь в Кремль для управления Россией? Неуместный ли трагизм памятника, согнутая ли в вопросительный знак фигура, не желание ли поднять голову и увидеть преображенное Отечество, трудно сказать, что раздражало устроителей всеобщего счастья, повелевших памятник убрать.

Безмерная печаль Василия Васильевича Розанова и всех, кто разделял его авторитетное мнение, была утешена, трагические прогнозы не подтвердились, и ровно через сорок два года, через срок длиной в жизнь Николая Васильевича Гоголя, в начале Пречистенского бульвара, ставшего отныне Гоголевским, вознесся новый монумент...

В день рождения Гоголя был открыт памятник надломленному, скорбному, но живому, страдающему человеку, столь непохожему ни на кого на свете, каким и является в мир гений. В столетнюю годовщину со дня смерти на пьедестал взошел благообразный, узнаваемый по тетрадочным обложкам, карамельным оберткам и аптечным упаковкам двойник писателя, быть может и похожий на него, но не больше, чем призраки, населяющие его волшебные создания, похожи на живых людей.

Если на цоколе андреевского памятника значилось одно слово: ГОГОЛЬ, и этим было сказано много, то на пьедестале, поддерживающем стоящего в рост молодого и миловидного человека с книжечкой в руке, золотом по черному мрамору была начертана как бы выписка из трудовой книжки о вынесении благодарности: «Великому мастеру русского слова от Советского правительства». Число. Месяц. Год.

Кто же был у нас тогда в Советском-то правительстве, в марте 1952 года? Сталин. Берия. Молотов. Каганович. Маленков Георгий Максимилианович... Какие имена!

И даже сам Гоголь на пьедестале кажется чуть-чуть смущенным той честью, на которую он от этого правительства уж никак не рассчитывал, хотя к славе был чрезвычайно ревнив.

Знаменательно то, что автора этой работы, и по сей день украшающей одну из центральных площадей преобразившейся столицы, не помнят даже те, кто предлагает этот памятник обязательно уничтожить, взорвать, например. Да, да, точно так же как и андреевскую работу, вызывающую ярость и раздражение, призывали «взорвать и уничтожить» вовсе не пустые люди («тогда по крайней мере когда-нибудь, кто-нибудь воздвигнет достойное Гоголя и Москвы»), ну вот, воздвигли достойное, и опять же люди серьезные и не пустые призывают сокрушить.

Времена меняются, а мы остаемся все те же, то есть сами собой; то-то нам хочется во все времена доказать свою правоту обязательно динамитом!

А вот сам-то Николай Васильевич Гоголь может быть как раз и хотел бы видеть себя перед лицом потомков в полный рост, на высоком постаменте, в хорошо отглаженной шинели и с приветливым выражением на лице, а в руке томик с «Выбранными местами...»

Стоит вспомнить, как осерчал он, чуть не до ссоры, на одного из самых близких ему людей, на превосходного человека и великолепного живописца А.А. Иванова за то, что тот пустил в свет портрет Гоголя, не одобренный Николаем Васильевичем.

Современники находили много схожего с оригиналом, сам же оригинал был недоволен и некоторой растрепанностью усов, присутствием халата и отсутствием того самого выражения на лице, известного нам по его повести «Портрет», — «всегда стоял за правду».

И почему это Гоголю должен быть один памятник? и почему это столь многоликий и неуловимый в самых разных своих чертах человек вдруг оскорбляет своим бронзовым благообразием души, жаждущие всей правды разом?

Гоголю, как минимум, необходимо иметь три памятника, и он их обрел.

Один — андреевский, во дворе на Суворовском бульваре, второй, «от Советского правительства», на Гоголевском бульваре, и третий... ну, не то чтобы в прямом смысле памятник, но как бы напоминание о памятнике, монумент монументум, в общем, красного камня невысокий такой кукиш, красующийся вот уже сорок два года (все те же сорок два!) на одной из площадей города, обретшего в нетерпении «возрождения» имя Санкт-Петербург и утратившего улицу, носившую имя Гоголя.

Петербург — открытый для русского сознания так, как открывают новые земли, Николаем Васильевичем Гоголем, Петербург, предъяв-

ленный соотечественникам фантастической своей сущностью, Петербург, приманчивый, прельстительный, всесильный, чем отплатил ты, чем воздал своему выдающемуся первооткрывателю и великому портретисту?

В мелкотравчатом педантизме «возрождения» отнял имя у улицы, забыл про обещание воздвигнуть памятник...

В тот самый день и час, когда упало полотнище, скрывавшее подарок Советского правительства «великому мастеру русского слова», тогда еще в Ленинграде, на Манежной площади, рядом с Невским проспектом, в скверике, захватившем середину довольно обширной площади, установили красного камня урезанную призму в полметра высотой, с надписью, уверявшей отдыхающих в сквере старушек в том, что «Здесь будет сооружен памятник Н.В. Гоголю». И дата — «4 марта 1952 года».

Долговечность обещания служит наглядным указанием на то, что «гоголевский период» в русской литературе быть может и закончили, а в русской истории — нет.

Пусть Москва, о которой Гоголь Николай Васильевич не написал ни одного сочинения, украсилась двумя памятниками, но все-таки именно с Петербургом малороссийского насмешника и остроумца связывают особые, неизъяснимые нити.

Он ли не воздал должное всей этой куче «набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безотрадной куче мод, нарядов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности»?..

Если андреевский памятник насмешники называли памятником «носу», то закладной камень на Манежной площади не что иное как сам по себе уже памятник «преглупому, ровному и гладкому месту», на котором у каждого порядочного человека должно быть что-нибудь осязаемое.

Стало быть, не дошел этот город еще до *порядочного* состояния, если продолжает уже чуть не полвека терпеть это «преглупое и пустое» место.

Нет, что ни говори, а Николай Васильевич Гоголь во всем равен сам себе, и предугадать, что с ним или вокруг него может случиться, просто нет никакой возможности.

Так что же это за явление такое — Гоголь, если любовь к нему выворачивается фарсом, если и сам он ускользает от дотошного внимания комментаторов и не дает возможности сказать о нем

окончательное слово, если не только жизнь его, самим же Николаем Васильевичем изрядно мистифицированная, но и сама смерть и события после смерти последовавшие, — все та же «гоголиада»?

«Как странно, как непостижимо играет судьба наша! Получали мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли... Все происходит наоборот».

Ну что ж, понять хоть что-нибудь в Гоголе можно лишь вчитавшись в его сочинения, лишь вглядевшись после этого в ту жизнь, которая породила его, которую он так замечательно зорко увидел и подлинную ее суть запечатлел. И жизнь эта не осталась в прошлом веке, как не в прошлом веке и началась.

«Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени...» Это Виссарион Григорьевич Белинский.

«Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке». Это Чернышевский, Николай Гаврилович.

А что же памятник, нельзя же без памятника!?

Одна из самых обширных и подробных глав «Завещания», составленного и широчайше обнародованного тридцатишестилетним Николаем Васильевичем Гоголем, касается его портрета и хлопот вокруг портрета, который был без его ведома кем-то опубликован, в то время, как «сделан дурно и без сходства». Купивших портрет автор просит покупку тут же уничтожить, а покупать тот, «на котором будет выставлено: Гравировал Иорданов».

Что же касается памятника, то здесь воля автора не требует от нас, потомков и почитателей, ни поисков, ни затрат, ничего, кроме душевного усилия:

«ЗАВЕЩАЮ НЕ СТАВИТЬ НАДО МНОЮ НИКАКОГО ПАМЯТНИКА И НЕ ПОМЫШЛЯТЬ О ТАКОМ ПУСТЯКЕ, ХРИСТИАНИНА НЕДОСТОЙНОМ. КОМУ ЖЕ ИЗ БЛИЗКИХ МОИХ Я БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОРОГ, ТОТ ВОЗДВИГНЕТ МНЕ ПАМЯТНИК ИНАЧЕ: ВОЗДВИГНЕТ ОН ЕГО В СЕБЕ САМОМ СВОЕЙ НЕКОЛЕБИМОЙ ТВЕРДОСТЬЮ В ЖИЗНЕННОМ ДЕЛЕ, БОДРЕНЬЕМ И ОСВЕЖЕНЬЕМ ВОКРУГ СЕБЯ».

С.-Петербург 1994 г.

Игорь ВИНОГРАДОВ

МЕЖДУ ОТЧАЯНИЕМ И УПОВАНИЕМ

От автора

Этот очерк был заказан мне издательством «Терра» в качестве предисловия к Собранию сочинений Вл. Максимова еще тогда, когда мое время за письменным столом ограничивала разве лишь весьма необременительная преподавательская работа в Литературном институте. Но завершать его мне пришлось уже после того, как я принял предложение Вл. Максимова взять на себя редактирование «Континента», «переселяющегося» в Москву, и наша новая московская редакция на собственные уже плечи взвалила все мыслимые и немыслимые заботы по его изданию. Оно и продолжается вот уже четвертый год благодаря решающей поддержке «Инкомбанка», предоставленной нам для обеспечения независимого и достойного существования нового, «русского», «Континента» на родной земле.

Словом, свалившееся на меня редакторство обеспечило мне такую загруженность, что закончить очерк мне удалось уже только тогда, когда он не только как предисловие, но даже и как послесловие к последнему тому Собрания никак не успевал. С тех пор он так и лежал в столе и лишь в весьма сокращенном виде был напечатан в одной из зарубежных русскоязычных газет.

Игорь ВИНОГРАДОВ — родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет Московского университета. Автор книг «Проблемы содержания и формы литературного произведения» (1958), «Как хлеб и вода. Искусство в нашей жизни» (1962), «В ответе у времени» (1964), «Искусство, истина, реализм» (1974), «По живому следу. Духовные искания русской классики» (1986) и многих статей по проблемам эстетики, классической и современной культуры. С 1992 г. — главный редактор «Континента».

От публикации же очерка в «Континенте» или в каком-нибудь другом «толстом» отечественном журнале я все эти годы воздерживался — по соображениям, может быть, и ложным, но, думаю, понятным. И даже — извинительным, хотя, по существу говоря, остерегаться давать какие-либо поводы к пустым кривотолкам, охотники до которых все равно в любом случае, всегда, найдутся, — не самый разумный и достойный способ жизненного поведения. Лучше на всю эту суету вообще не обращать никакого внимания. С тех пор, как я стал редактировать «Континент», я имел особенно много возможностей лишний раз убедиться в этой истине, и отчасти именно поэтому мне и захотелось, наконец, напечатать этот очерк в России. Именно сегодня. И притом — именно в «Континенте».

Конечно, главное в этом желании — это все-таки то, что, может быть, некоторые мысли и наблюдения, изложенные в очерке, окажутся небезынтересными читателю «Континента» и сами по себе. Во всяком случае, мне хотелось бы на это надеяться.

Но не скрою: именно сегодня, когда резкие высказывания Вл.Максимова о том, что происходит в России, по-прежнему не находят себе места на страницах нашей так называемой «демократической» печати и ему приходится публиковать их в чуждых ему по духу и позициям изданиях; когда имя его, как и в былые времена, становится все более одиозным не только для властей, но и для некоторых кругов лояльной к режиму интеллигенции; когда даже иные из прежних его друзей начинают честить и поносить его, а лихие нынешние литературные рэкетиры, зарабатывающие себе имя и средства к существованию на охаивании чужой славы, пытаются перечеркнуть его и как писателя, — именно сегодня, публикуя этот очерк (к тому же существенно дополненный и обновленный) в журнале, который был когда-то Вл. Максимовым создан, мне хотелось бы засвидетельствовать и подтвердить этой публикацией и мое давнее и неизменное к нему уважение.

И — как к публицисту, с суждениями которого я далеко не всегда согласен (и нередко не по частностям только), а полемическая манера которого кажется мне порою слишком опрометчивой и даже бесцеремонной, перехлестывающей допустимые в обращении с оппонентами границы, но безусловная искренность, нравственное бескорыстие и честная жизненная выношенность даже самых резких убеждений и высказываний которого никогда не вызывали у меня сомнений.

И — как к писателю, эстетика которого тоже далеко не во всем мне близка, а качество прозы вызывает иной раз и немалое огорчение очевидными для меня слабостями и просчетами, но общий выдающийся уровень и масштаб незаурядного художественного таланта которого для меня так же очевиден и дорог, как и глубочайшая жизненная серьезность и человеческая подлинность его книг.

* * *

Творчество Владимира Максимова принадлежит — если воспользоваться известным определением Александра Солженицына — к «ядру» современной русской прозы. Кстати, и сам Солженицын называл его имя едва ли не всякий раз, когда ему приходилось

упоминать ведущих писателей нынешней России. И я не думаю, чтобы кто-либо способен был сегодня всерьез оспорить его в этом.

Разумеется, даже в самых строгих пределах здравого смысла и вкуса, исключающих какую-либо податливость на шумную славу модных знаменитостей нынешнего постмодернизма, можно очень по-разному видеть такое ядро. Одни, может быть, согласятся здесь с Солженицыным, другие его оспорят; одни сузят его состав лишь до имен такого, например, ряда, как Распутин, Белов, Астафьев или Абрамов, другие наверняка предпочтут иным из них имена Трифонова или Искандера, Окуджавы или Битова, Аксенова или Владимова.

Однако какие бы ряды при этом ни выстраивались, в любом из них, при любых акцентах и сдвижениях, имя Максимова вряд ли окажется все-таки обойденным. Он действительно из «ядра» — самого, как говорится, самого.

Показательно, однако, что в любом из возможных перечислений такого рода мы вряд ли найдем писателя, с чьим творчеством творчество Максимова могло бы обнаружить такую же очевидную родственную связь, какая соединяет, например — при всем индивидуальном своеобразии каждого — Белова и Распутина или Можаева и Абрамова. Или, если взять иной ряд, — Искандера и Окуджаву или Битова и Аксенова. Все-таки параметрами ни одного из таких сочетаний Максимова не охватишь. В любом из них он выглядит на особицу.

Часто, впрочем, имя его сближают с именем самого Солженицына. И такое сближение уже более убедительно. Даже при самом общем сопоставлении их творчества, в них действительно проступает что-то глубинно общее. Правда, степень этой общности настолько, вот именно, глубинна, что позволяет им не только индивидуально, но, в сущности, даже и типологически быть очень разными художниками. И все же резон в такой параллели есть, и я воспользуюсь ею, чтобы подойти к решению той единственной задачи, какую я только и берусь перед собою поставить в рамках этого очерка, — попытаться обозначить хотя бы общие контуры того духовно-художественного мировидения, которое определяет собою прозу Максимова.

1

Начну с напоминания о том, что хотя возрастная разница между Солженицыным и Максимовым равна целому поколению, оба они вошли в литературу в одно и то же время. Это были годы так

называемой «хрущевской оттепели», когда в прозу и поэзию, в кино и театр, в публицистику и критику хлынул вдруг целый поток новых талантов, обозначивших своим появлением начало совсем иного, чем прежде, периода в развитии нашей культуры.

Чем был стимулирован этот процесс, этот поразительный и все быстрее набиравший силу подъем новой творческой энергии и воли?

Несомненно— прежде и более всего теми надеждами на кардинальное обновление всей жизни страны, которые были возбуждены в обществе знаменитым хрущевским докладом на XX съезде компартии о так называемом «культе личности Сталина». И его же, Хрущева, попытками отказаться от сталинского наследия, вывести страну на путь либеральных реформ. Это важно здесь подчеркнуть потому, что без этих надежд трудно понять природу той страстной гражданской активности, дух которой был столь характерен для шестидесятых годов и на которой я — в контексте моей темы — как раз и хотел бы задержать сейчас внимание читателя. Ведь именно этот дух страстного гражданского активизма почти безраздельно господствовал тогда и в литературе, и в кино, и в театре; именно он властно понуждал художников идти навстречу той жадной общественной потребности в правде и только в правде, которая звала даже самых робких и осторожных к творческой честности и смелости; именно он, этот дух, заставлял подниматься и против привычных цензурных запретов, и против столь же привычных командных понуканий партийного начальства, и против иных проявлений той общественной мертвечины, что отчаянно сопротивлялась тогда обновлению страны. В том-то и дело, что подавляющему большинству шестидесятников она, эта мертвечина, казалась тогда вполне доступной искоренению — даже несмотря на всю половинчатость, непоследовательность и ненадежность хрущевского реформаторства. Потому-то, кстати, их творчество и не было почти затронуто в те годы настроениями какого-либо уныния и пессимизма; напротив, даже и тогда, когда им приходилось сталкиваться с самыми, казалось бы, безотрадно-неприглядными сторонами тогдашней жизни, это вызывало у них лишь еще большую жажду противостояния открывавшемуся злу, упрямую, а порой и веселую, как в «Созвездии Козлотура» Фазиля Искандера, злость беспощадной с ним схватки. Дух искреннего исторического оптимизма водил в те годы пером шестидесятников, причем оптимизм этот — и снова важно это подчеркнуть — у подавляющего большинства был неразрывно связан с верой в возможность радикального реформирования именно того общественного

строя, который реально и существовал тогда в стране. Это была вера в возможность построения «подлинного», «настоящего» СОЦИАЛИЗМА, свободного от «деформаций» сталинщины, — идеология, получившая позднее имя «социализма с человеческим лицом». Недаром тот же Фазиль Искандер числил себя в те годы «наследником великих революций», а Булат Окуджава вел свою родословную от «комиссаров в пыльных шлемах».

Так вот, — в этот общий фон Солженицын и Максимов уже и тогда вписывались с большим трудом. Во всяком случае, в них уже тогда чувствовалось что-то диссонирующее с общим настроением. И если, например, те или иные мотивы «Ивана Денисовича», «Матренина двора», других рассказов Солженицына, опубликованных в шестидесятые годы, кого-то и могли навести на мысль, что их автор тоже верит в социалистические идеалы, то это было, конечно, чистой аберрацией зрения. И Солженицын не раз потом это засвидетельствовал. Точно так же, если какие-то строки из «Баллады о Савве» или «Дороги», из повестей «Мы обживаем землю» или «Жив человек» и давали повод обнаружить у Максимова шестидесятых годов призвуки тех или иных надежд на обновление именно коммунистического режима, то они имели либо явно наносный, поверхностный, либо попросту цензурно-маскировочный характер. Глубинный же духовный напор этих вещей куда более соответствовал тому состоянию главного героя повести «Жив человек» Сергея Царева, о котором он сам, вспоминая арест отца, рассказывал так:

«С сегодняшней ночи враги для меня — не маски с книжных страниц и кинолент, а зримые, осязаемые люди. Это все те, кому дано право обыскивать, уводить, ставить отметки, требовательно свистеть на перекрестках, заставлять «расписываться в получении». Я ненавижу их всех, вместе с их кокардами, бляхами на фуражках, разноцветными околышками и нарукавными повязками. Во мне просыпается исступленное желание противостоять этой силе, и я мысленно кричу: «Не хочу! Не желаю! Идите вы все к черту!..»

Конечно, и для творчества Солженицына и Максимова в шестидесятые годы тоже совсем не характерны были настроения уныния, безнадежности, гражданского бессилия или общественного равнодушия — как не характерны они были, впрочем, для них и впоследствии. Однако уже в те годы их видение мира было куда более трезвым, горьким, даже трагическим, чем у большинства их современников. Да и под их гражданской неуступчивостью, твердостью и упорством

в противостоянии той силе, которую они ненавидели, уже тогда ощущалась какая-то гораздо более прочная и надежная опора, чем романтическая вера в грядущий «социализм с человеческим лицом». Уже тогда было ощутимо, что они обретают эту опору, вдохновляясь вовсе не лукавым, обманно-прельстительным этим ликом (что другим открылось лишь позднее), а вглядываясь в живые, реальные человеческие лица, вслушиваясь в некие глубинные зовы человеческой природы, которые делают человека способным к упорному личному и даже гражданскому мужеству в самых кризисных ситуациях, без всякой надежды на победу. В этом отношении их художническая гражданственность уже в шестидесятые годы уходила своими корнями в ту область человеческой свободы, которая многим из их современников стала открываться лишь позже, к концу хрущевской «оттепели». И особенно — после вторжения в Чехословакию в августе 1968 года, когда со всеми надеждами не только на какие-либо близкие перемены к лучшему, но и вообще на способность душившего страну «реального социализма» к сколько-нибудь решительному обновлению и оздоровлению было покончено. Именно тогда многие вчерашние шестидесятники, бодрый гражданский активизм и оптимизм которых еще вчера питался этими ожиданиями и иллюзиями, оказались в духовной ситуации, в чем-то очень похожей на ту, которая после второй мировой войны породила на Западе литературу так называемого «потерянного поколения».

Здесь, таким образом, возникает возможность нового сопоставления, и я опять-таки не премину им воспользоваться, чтобы сделать новый шаг в нашей теме.

2

Духовный мир западного «потерянного поколения» возник, как известно, в результате катастрофического разочарования западной интеллигенции в официальных моральных ценностях европейской цивилизации, внутренне связанных с программной для XIX века верой в неостановимость и даже как бы гарантированность исторического прогресса. Именно эта вера была взорвана апокалиптическим безумием первой всеобщей мировой бойни, в результате чего возникла ситуация, потребовавшая резкого размежевания личной, индивидуальной человеческой нравственности и обанкротившейся официальной гражданской морали. Она, эта ситуация, и породила литературу «потерянного поколения» — великую западную литературу экзистенциального человеческого самостояния, литературу Фолкнера и Хемингуэя, Ремарка и Олдингтона.

Несомненно, что-то подобное произошло и у нас в конце 60-х — начале 70-х. Ведь это были годы, когда живой злободневностью для совсем недавно еще опьяненного первым глотком свободы, а теперь все более трезвеющего общества стали уже не прекраснодушные порывания к тому, как изменить и улучшить строй «реального социализма», как его «перестроить» и «оздоровить», а все более острая и безотлагательная забота о том, как в этом «реальном социализме» всего лишь выстоять, как остаться человеком в этом мире тотального коммунистического зла, безумия и фальши. На этом выросло целое новое поколение. И вот тогда-то и наиболее чуткие и вменяемые среди вчерашних шестидесятников тоже начали постепенно избавляться, наконец, от привычных гражданско-социальных способов нравственной ориентации в окружающем мире. И искать опору для своей человеческой и художнической порядочности в каких-то иных, более надежных ценностях нравственно-экзистенциального порядка, в личном нравственном выборе. Они и стали в литературе выразителями тех новых умонастроений, которые охватили общество. И в особенности — молодежь, сознательная жизнь которой как раз и начиналась в 70-е и 80-е гг.

Так возникло в русской литературе что-то вроде своего — и очень яркого — «потерянного поколения», поначалу почти сплошь состоявшего из вчерашних энтузиастов социалистически-гражданского активизма.

Это был совсем новый Юрий Трифонов, начинавший когда-то бодрыми «Студентами», а теперь скептик и пессимист, утвердившийся постепенно на позициях совершенно безнадежного, в сущности, этического стоицизма.

И это был тоже совсем не тот уже, что прежде, Булат Окуджава, начавший в своих песенках и романах отстаивать безусловный приоритет частной жизни с ее теплотой и простыми человеческими радостями — перед любыми заманками любой политики.

Это был новый Андрей Битов, попытавшийся отыскать свою территорию, на которой человек может свободно и чисто дышать, через глубинное погружение в самоценный мир культуры и эстетизма.

И это был новый Фазиль Искандер, отыскавший такое же оазисное духовное пристанище для своей прозы в памяти своего абхазского детства, в уходящих, но еще не исчезнувших устоях патриархальной нравственности горной Абхазии.

Это были новые Аксенов и Маканин, Рощин и Владимов, Коржавин и Галич, тоже усиленно искавшие в своем творчестве спасительное

экзистенциальное пространство духовной устойчивости и свободы. И та же самая, в сущности, жажда породила, наконец, и так называемую «деревенскую прозу» второго призыва — прозу В. Распутина, В. Белова, Е. Носова и других странников за живой водой русской народной нравственности, родники которой оказались уже настолько отравлены и замусорены, если не просто завалены отбросами советской колхозной цивилизации, что припадать этим странникам осталось разве лишь к ностальгическим полулегендам о прошлом, да к собственноручно творимым новым мифам...

Вот с этой-то литературой нашего «потерянного поколения» у Солженицына и Максимова уже гораздо больше, конечно, общего. Это общее — прежде всего в схожей первичной ориентации тех и других не столько на мир общественно-институциональных ценностей, связанных с теми или иными идеальными программами и моделями гражданского, политического и экономического обустройства общественных структур, сколько на мир ценностей первичных, личностно-экзистенциальных, исходных в своей нравственной безусловности. Это та ориентация, которая, как уже сказано, была очевидно опорной для Солженицына и Максимова уже тогда, когда будущие создатели нашего собственного, российского художественного экзистенциализма еще предавались социально-гражданским страстям и иллюзиям. Недаром, кстати, и само становление литературы нашего «потерянного поколения» происходило под достаточно сильным и непосредственным влиянием именно автора «Ивана Денисовича» и «Матренина двора».

Однако и в фокусе этого более позднего (весьма, впрочем, относительного, предельно общего) сближения никак не размывается, не перестает быть отчетливо видным отнюдь не индивидуальное только, но и некое более глубокое, корневое отличие художественных миров Солженицына и Максимова, с одной стороны, и любого из наших «экзистенциальных» прозаиков 70-х — 80-х годов, с другой. И это отличие весьма своеобразно — я сказал бы даже, почти парадоксально — выявилось, в частности, в той своеобразной эволюции, которую от шестидесятых к семидесятым и восьмидесятым годам претерпела в творчестве тех и других собственно гражданская тема.

В самом деле, — прослеживая динамику творческого развития тех наших шестидесятников, которые от гражданского «оттепельного» утопизма перешли к личностно-экзистенциальным принципам жизнеориентирования, нельзя не заметить, что эта трансформация их духовно-художественного мировидения привела к соответствующим

изменениям и в самом предметно-тематическом наполнении их прозы. Это сказалось, в частности, в очевидном ослаблении их интереса к той собственно-гражданской тематике, которая была связана с реформаторской активностью их прежних героев по отношению к тем или иным сторонам самого устройства советского общества — социально-политического, экономического, идеологического, правового и т.д. Ситуации и конфликты, укорененные в этом социальном пространстве и столь значимые и в «Утолении жажды» или «Отблеске костра» Ю. Трифонова, и в «Созвездии Козлотура» Фазиля Искандера, и в «Коллегах» Василия Аксенова, и в «Братьях и сестрах» Федора Абрамова, и в «Хочу быть честным» Владимира Войновича, явно отходят в литературе 70-х — 80-х г.г. на второй план. Благородный общественный пафос молодых идейных героев молодого Аксенова уступает место у их преемников, вчерашних «звездных мальчиков», уже почти анархическому выламыванию из всякой социальности, дерзкому вызову официальной морали. Овечкинских и абрамовских деревенских борцов за социальную справедливость сменяет незаметный беловский Иван Африканыч, сосредоточенный исключительно на заботах своей частной жизни и принимающий и осваивающий эту жизнь как *ПРИВЫЧНОЕ* житейское *ДЕЛО*. А герои Трифонова начинают подводить грустные *ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ* пройденному ими жизненному пути и вглядываться в неласковое лицо совсем *ДРУГОЙ*, чем прежде, *ЖИЗНИ*... Сдвиги эти, повторяю, были слишком очевидны, чтобы их можно было бы не заметить.

Но ведь так же трудно не заметить, что в творческом и жизненном поведении Солженицына и Максимова перелом в общественной жизни страны, совершившийся во второй половине шестидесятых годов и вызвавший перемену общественной атмосферы, отозвался существенно иначе. Как это ни парадоксально на первый взгляд, но в то самое время, когда их современники, утратившие надежды на очеловечивание господствовавшего в стране режима, как бы потеряли соответственно и сколько-нибудь серьезный интерес к его непосредственному портретированию, обратившись к совсем другим сюжетам и темам, — в это самое время в творчестве Солженицына и Максимова происходит как раз не ослабление, а, напротив, заметное и резкое усиление их «ангажированности» гражданской темой. Явно не разделявшие гражданских иллюзий большинства своих современников в годы хрущевской «оттепели» и не выказывавшие никакого сколько-нибудь заметного интереса даже к самым старательным

потугам режима выглядеть поприличнее, Солженицын и Максимов теперь, с началом брежневской эры, не только не отказывают окончательно этому режиму в своем внимании, но, напротив, обнаруживают энергичное желание представить читателю как можно более полное и точное его изображение, выявить его истинную природу.

К решению этой задачи Солженицын в какой-то мере приступает уже в романе «В круге первом», даже для облегченного варианта которого ему, однако, так и не удалось найти хоть какую-нибудь легальную лазейку на страницах позднехрущевских советских журналов. И вот теперь, когда под мертвенным дыханием начавшегося резкого похолодания быстро начинают гибнуть даже те хилые ростки хрущевской полугласности, что взошли было на оттаявших проталинах российской общественности, — теперь Солженицын не только не отказывается вообще от мысли обнародовать свой роман и не запрятывает его куда-нибудь от греха подальше, до лучших времен, но, напротив, решительно открывает ему дорогу в «Самиздат». Более того, — с удвоенной энергией он принимается за работу над самой знаменитой своей книгой, великим «Архипелагом», где дает беспрецедентный по своей масштабности анатомический разрез античеловечной системы коммунистического общественного устройства. А в промежутках, отрываясь от этой главной своей подпольной работы, создает еще один художественный образ-символ советского общества — роман «Раковый корпус». Высланный за границу, он немедленно принимается открывать глаза благодушному Западу на сталинское коварство коммунистического детанта, предупреждая о том, чем грозит миру уже начавшаяся негласно третья мировая война. И все двадцать лет своего изгнания отдает новой грандиозной исторической панораме, многотомной исторической эпопее «Красное колесо», призванной показать, каким образом Россия пришла к роковому октябрю 1917 года...

Сходную эволюцию наблюдаем мы и у Максимова.

Уже в ранних повестях, не случайно собранных в первом томе его Сочинений в единый цикл под общим названием «Сага о Савве», можно заметить, что молодого прозаика все более влечет к масштабно-панорамному охвату российской жизни, нацеленному на то, чтобы индивидуальные судьбы персонажей, которые интересуют Максимова всегда и прежде всего в их самозначимом человеческом содержании, обладали вместе с тем и определенной совокупной портретной репрезентативностью по отношению к обществу «реального социализма» в целом.

В «Семи днях творения» эта пристальность становится еще напряженнее. И еще масштабнее — эпическая широта охвата самых разных социальных слоев общества, представленных поистине почти переизбыточным уже множеством персонажей, их очень разными — и драматическими, и просто-таки трагическими, а то и вполне как бы «обычными», даже более или менее благополучными, но всегда, в сущности, нещадно изуродованными — судьбами. И эпическая эта масштабность придает уже «Семи дням творения» звучание поистине убийственного в своей панорамной изобразительной неопровержимости тотального художественного приговора режиму, смрадно-ядовитая атмосфера которого повсеместно уродует, уничтожает и растлевает все живое — всякую человеческую личность и любые человеческие взаимоотношения, родственные связи и нравственность, души и характеры, умы и сердца...

В «Карантине» — последней, кажется, вещи, написанной Максимовым еще в России, до отъезда на Запад, — это стремление к обобщающей портретной символике обретает еще одно, особо, может быть, рельефное выражение — благодаря удачно найденному композиционному приему. Поместив своих героев, взятых опять-таки из самых разных слоев советского общества, в южный поезд, попадающий под Москвой в шестидневный холерный карантин, Максимов получает возможность воссоздать перед читателем как бы некую уменьшенную замкнутую модель этого общества. И вглядываясь в то, как ведут себя его герои, о чем они говорят и спорят, в чем исповедуются, чем мучаются и что пытаются избыть в себе во время почти беспрерывного шестидневного карантинного «пира во время чумы», он дает почти апокалиптический образ духовной исковерканности, опустошенности и выморочности этого чудовищного мира. А оказавшись в изгнании на Западе, он точно так же, как Солженицын, сразу же отдается напряженной и страстной гражданской деятельности — создает журнал «Континент», который за семнадцать лет своего существования под его редакцией превращается в один из главных эмигрантских органов духовного противостояния коммунистическому тоталитаризму. И именно через это противостояние, через энергию и напряжение его он так или иначе и пропускает в годы эмиграции все свое творчество — и художественное, и публицистическое...

Так и в новой ситуации, в годы, когда коммунистический монстр, без особых потерь преодолев опасную хрущевскую оттепель, стал разбухать от собственного цинизма и безнаказанности, расползаясь наглой идеологической, террористической и прямой военной экспан-

сией по всему миру и высасывая последние жизненные соки из страны, неудержимо сползающей в бездну национально-исторического краха, — так и в эти «застойные» годы вновь обозначилось некое явственное отличие Солженицына и Максимова от их коллег-современников. Причем на этот раз — даже и от более близких им как будто бы представителей нашего «потерянного поколения», в прозе и поэзии которых былая озабоченность состоянием окружающего их социума довольно заметно снизила свой накал. У Солженицына же и Максимова, как видим, происходит нечто обратное, — наглый застойный ренессанс коммунистического тоталитаризма, если и отзывается у них утратой каких-то возможных надежд (никогда, впрочем, и не бывших слишком воодушевляющими), то одновременно приводит к еще более резкому высвечиванию именно гражданственной нацеленности их художнического служения. Он приводит к мощному подъему в их творчестве энергии поистине фронтального уже гражданского противостояния коммунизму, отвергаемому во всей целостности его социально-политического, экономического, гражданского и духовно-идеологического существования. В них пробуждается еще более властная потребность как можно глубже проникнуть в природу и тайну этого чудовищного феномена нашего времени, дабы всей неопровержимостью его беспощадного художественного и публицистического портретного запечатления выставить его на всеобщий суд и позор, на страх и отвращение всему миру.

В чем же дело? В чем причина этой своеобразной духовно-проблемной сфокусированности их художнического внимания в 70-е — 80-е годы, столь заметно отличающей их даже от самых близких им как будто бы писателей тех лет?

А дело в том, что какой-либо иной динамика духовно-художественного развития просто и не могла быть в начавшуюся тогда новую историческую эпоху у писателей такого склада, как они. Ее властно продиктовала именно сама природа, само существо их человеческого и художественного мировидения. Дело было именно в самом свойственном им способе видеть мир вокруг себя и себя в нем, — способе, который уже в самой исходной своей, глубинной своей основе был структурирован существенно иначе, чем у большинства их современников — и не только у тех, кто так и закоснел если не в иллюзиях, то в мировоззренческой методологии «оттепельной» поры, но даже и у тех, кто уже с конца «оттепели» стал нащупывать иные, чем прежде, опоры для своего жизненного и художественного ориентирования в новой исторической действительности.

3

В самом деле, — если внимательно вглядеться в эти новые духовно-экзистенциальные опоры, на которых тот или иной представитель нашего «потерянного поколения» начинает строить теперь свой художественный мир, то можно с очевидностью констатировать: любая из них, сколь бы надежна, устойчива и даже масштабна она ни была, неизменно и даже как бы принципиально носит всегда все-таки достаточно ЛОКАЛЬНЫЙ характер. Оглядываясь в том мире, который вчера еще, может быть, и манил какими-то оттепельно-перестроечными надеждами, а сегодня заставляет заботиться только о том, как в нем духовно выстоять, в чем ищут спасения для себя и своего творчества и Трифонов, и Окуджава, и Искандер, и Битов, и наши «деревенщики»? В том, чтобы вычленить, выгородить из общего зараженного коммунистической чумой бытийного жизненного пространства некую относительно самостоятельную область личностно-нравственного, национально-культурного или культурно-эстетического существования, которую и осваивать можно было бы тоже относительно самостоятельно, как бы независимо от этого общего пространства. Конечно же — всегда имея его в виду, внутренне противостоя ему и духовно его отвергая, но отвергая прежде всего именно силой духовной положительности противопоставляемого ему бытия, — как бы отвернувшись от него, не стремясь к прямой художественной встрече с ним лицом к лицу.

Художественное мировидение Солженицына и Максимова опирается, напротив, не на какой-то локально вычлененный «плацдарм» достойного бытия внутри тотально торжествующего вокруг него бытия недостойного, а на некую ПОДЛИННО ОНТОЛОГИЧЕСКУЮ ТВЕРДЬ, охватывающую своим законом и властью не какой-то кусочек, а ВСЕ БЫТИЕ В ЦЕЛОМ — во всей той его целокупной неделимости, когда никакая его сфера не может быть отдана на откуп никакой иной власти и закону.

Этой онтологической твердью для Максимова и Солженицына всегда была их вера, их религиозность, их христианство.

Да, все дело именно в том, что Солженицын и Максимов — писатели религиозного духовного склада, писатели-христиане. И именно здесь лежит и разгадка их отличной от современников эволюции от шестидесятых к восьмидесятым годам, и вообще ключ к пониманию основных типологических характеристик их творчества.

Конечно, сказать, что Солженицын и Максимов — писатели религиозные, писатели-христиане, — значит сказать вещь настолько

уже известную и вместе с тем настолько общую, что, с одной стороны, это все равно что ломиться в открытую дверь, а с другой — ничего еще, в сущности, не сказать. И потом: мало ли у нас сегодня писателей, которые веруют и на этом основании искренне считают себя художниками тоже религиозными? И мало ли среди них таких, которых и мы тоже, со своей стороны, не обинуясь называем писателями-христианами нередко по той лишь причине, что там или здесь встречаем в их произведениях почтительные упоминания о Боге, Христе или Церкви?

Между тем, говоря о том, что ключ и к самому творчеству Солженицына и Максимова, и к пониманию их типологического отличия от большинства их современных российских собратьев по писательскому ремеслу лежит именно в их религиозности, я имею в виду религиозность совсем иного, если можно так выразиться, качества. Я имею в виду религиозность того уровня, которое позволяет, мне кажется, сказать, что оба они — подлинно религиозные художники. И, отдавая себе отчет в ответственности такого рода характеристики, я готов объяснить, какой смысл вкладываю в эти слова.

Разумеется, речь может идти в данном случае совсем не о том, что их вера уже и сама по себе какая-то более, например, «правильная», более горячая и твердая, чем у других. Кто вправе сказать такое не только о себе, но даже и о ком-либо еще? Кто возьмет на себя смелость утверждать, что его или чья-то вера не так доступна сомнениям, в его или чьей-то жизни — меньше соблазнов и падений, а в молитве — больше огня и упования?

Об этом может судить только Бог.

Говоря о том, что Солженицын и Максимов — подлинно религиозные писатели, я говорю о них лишь и прежде всего как о ХУДОЖНИКАХ. И — ИМЕННО как о художниках. Я говорю о самом КАЧЕСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРОВИДЕНИЯ, о самом «устройстве» той ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ, которая реально встает со страниц их рассказов, повестей и романов.

Есть писатели, христианские верования и даже церковность которых ни для кого не являются секретом, но в том, как и о чем они рассказывают в своих художественных текстах, присутствие этих верований тем не менее не ощущается или почти не ощущается: их вера как бы сама по себе, а искусство само по себе.

Есть и писатели, у которых, по известному определению Сергея Булгакова, вера превращается в их творчестве всего лишь в атрибут

русской народности, обретая характер ревниво оберегаемого чуть ли не исключительно НАЦИОНАЛЬНОГО сокровища.

У Солженицына и Максимова вера — не что-то такое, что принадлежит лишь сфере их индивидуального человеческого бытия, отделенного от их искусства. И не какое-то дополнительное свидетельство их «русскости», всего лишь некий опознавательный ее знак, хотя мало чьи художнические и человеческие судьбы до такой степени сопряжены с национальной судьбой России и ее культуры, как их.

У Солженицына и Максимова вера — это еще и самый центр их собственно ХУДОЖНИЧЕСКОГО мировидения, сам способ ХУДОЖНИЧЕСКИ видеть мир и воспроизводить его, — то, что пронизывает собою все художественное пространство создаваемой в их творчестве вселенной и структурирует собою это пространство. Они не просто живут в мире, укорененном в божественном космосе, — они ТОЛЬКО ТАК ЕГО И ВИДЯТ, только так и могут его воспроизводить. Он просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ НИХ, теряет весь свой смысл и весь свой строй, распадается на обломки и превращается в бессодержательный хаос, если не увиден изнутри этого духовного измерения. Только в его параметрах любая форма и движение жизни — индивидуальной или общественной, исторической или национальной, политической или культурной — способны обнаружить для них свой истинный лик и свою истинную природу. Только в этом своем содержании любая из них и приковывает к себе их художническое внимание, представая перед ними как одно из проявлений той вековечной таинственной и страшной борьбы Божественного Добра, Правды и Красоты с сатанинским Злом, Ложью и Безобразием, что составляет внутреннее содержание Мирового Процесса, великой Мистерии Божественной Жизни, рождающейся и продолжающейся лишь через одоление Греха и Смерти... Попробуйте вне этого измерения понять что-нибудь в «Матренином дворе» или в «Раковом корпусе», в «Семи днях творения» или в «Прощании ниоткуда», — что из этого получится?

Вот откуда и то, не только не ослабевающее, но по мере увеличения наглой силы коммунистического тоталитаризма лишь твердеющее упорство все более масштабного и пристального внимания к нему, которое мы наблюдаем у Максимова и Солженицына и о котором мы только что говорили. Истоки этой своеобразной динамики — именно в РЕЛИГИОЗНОЙ сфокусированности всего их человеческого и художнического мировидения. Ведь христианин не может чувство-

вать себя христианином, не сознавая себя принадлежащим к тому Воинству Божию, смысл бытия и крестное призвание которого — вставать на пути у всякого зла и насилия, всякой неправды и всякого греха, какими только и держится на земле власть «князя мира сего». И вставать тем тверже и решительнее, чем большую силу эта власть набирает, чем масштабнее и страшнее она становится. А в какой реалии XX века — за исключением, может быть, фашизма — дьявольская мощь смерти, лжи и насилия нашла свое более полное и более страшное воплощение, чем в коммунистической Империи Зла, придавившей собою одну шестую часть света и зарившейся заглотнуть при случае и остальные пять шестых?..

В тотальном и безусловном характере максимовского и солженицынского отрицания коммунизма состоит, кстати сказать, принципиальное их отличие от тех бывших наших «деревенщиков», которые тоже вроде бы считаются религиозными писателями, писателями-христианами, но которые вовсе не случайно эволюционировали ныне тем не менее к самому тесному союзу с прежними своими врагами из номенклатурной мафии коммунистических «государственников». И в этом же — отличие их, Солженицына и Максимова, отношения к коммунизму от отношения к нему со стороны разного рода либеральной, демократической или консервативной, но равно секулярной общественности. Ведь даже самые рьяные антикоммунисты из этой среды никогда не способны были, однако, вообще отказаться от мысли о возможности каких-то не просто тактических, но сущностных договоров и компромиссов с коммунизмом, какого-то на него воздействия в сторону его «смягчения» и даже реформирования. Я не говорю уже о более расхожих типах западного либерально-секулярного сознания, до сих пор не избавившегося от симпатий к социалистическим «идеалам». Недаром так характерна для этого сознания, когда оно берется объяснять реалии советского коммунизма, апелляция к разного рода маргинальным факторам и причинам, которые никак не затрагивают духовную природу атеистического коммунистического «гуманизма» и никак не подвергают сомнению саму жизнеспособность этого «гуманизма», но зато превосходно сопрягаются со всякого рода расхожими клише типа: «русский коммунизм — явление чисто русское, детерминированное традициями русской истории», «Ленин исказил и приспособил марксизм к условиям русского варварства», «сталинские извращения ленинских принципов» и т.п. И недаром вся амплитуда колебаний в отношении к СССР со стороны либерально-секулярного Запада полностью

умещалась всегда, как правило, в параметры чисто делового, прагматически-инструментального подхода, зависящего лишь от того, какова в данный момент перспектива «либерализации» советского режима и степень соблюдения им норм международной безопасности...

Для христианской гражданственности Солженицына и Максимова никакие тактические уловки и вынужденные либеральные послабления коммунизма (как бы ни была очевидна их относительная важность для реальной жизни людей внутри тоталитарной казармы) никогда не могли заслонить истинную природу этого строя, не способного к каким-либо действительно серьезным либеральным «перестройкам». Их отношение к чудовищной попытке устроиться на земле без Бога и абсолютных норм человеческой морали всегда проистекало из ясного и трезвого восприятия этой попытки как поистине дьявольского предприятия — как прямой дороги в земной ад, в черную дыру небытия, способную засосать в себя и превратить в прах и тлен миллионы человеческих судеб. Повторю: именно в этой неспособности видеть мир и любые его реалии иначе, чем из его с-тологической глубины, и заключается, несомненно, самая главная, коренная причина и той общности отношения Солженицына и Максимова к коммунизму, которая состоит именно в сакральном его отрицании, и самой динамики этого отношения, столь, казалось бы, парадоксальной и столь отличающей их от многих их современников.

4

Да, оба они, и Солженицын, и Максимов, — художники, видящие мир религиозно и неспособные видеть его иначе. Это действительно самое первое, что нельзя о них не сказать, говоря о самой природе, самом исходном качестве их художнического зрения. Именно это делает их — на какой-то последней глубине этого зрения — художниками и в самом деле куда более близкими друг к другу, чем едва ли не ко всем другим выдающимся русским писателям нашего времени.

Однако констатация этой глубинной общности, вне которой ни художественная вселенная одного писателя, ни художественная вселенная другого просто не могут быть адекватно увидены в самом исходном «принципе» их «устройства», — действительно только первое, самое начальное и общее, что можно и нужно о них сказать. Ведь даже видя мир в одной и той же религиозной перспективе его укорененности в абсолютном божественном центре, можно разным в

этом мире интересоваться, по-разному подходить к изображению даже одних и тех же его сторон и проявлений. И в разных его сферах и измерениях улавливать биение его сакрального пульса, подземный гул происходящей в его мистических глубинах смертной битвы Божественного Света и Дьявольской Тьмы, Жизни и Смерти, Добра и Зла.

И вот здесь, как только мы начинаем внимательнее вглядываться в художественный мир Максимова, подробнее различать, какими образными, тематическими и проблемными корнями растет он и впитывает в себя живительную энергию из той общей сакральной почвы, которая питает и художественную вселенную Солженицына; какое сплетение сюжетных стволов и ветвей образует общий художественный контур и композицию этого мира и кроной каких языковых, стилевых, интонационных и прочих своих бесчисленностей доносит он до нас и эту энергию и саму весть о сакральном смысле и строе бытия, — вот здесь черты сходства Максимова-художника с Солженицыным уже исчезают. И мы должны констатировать решительное отличие его художественного мира от художественного мира Солженицына, делающее их совсем не похожими друг на друга, даже и на типологическом, в сущности, уровне весьма разными художниками, — отличие, которое, однако раскрывается во всей своей полноте и значимости именно в пределах и через призму их исходной общности.

Солженицын — художник, которому никак не откажешь ни в огромной внимательности к лепке характеров персонажей, ни в несомненном и выдающемся даре художественно-психологического в них проникновения, ни в поражающем множестве именно таких, с полной индивидуальной психологической рельефностью и завершенностью выполненных характеров, которые населяют его мир в целом и крупные его полотна в частности. И все-таки ведущим, организующим его художественные тексты принципом является всегда скорее внутренняя нацеленность на создание некой общей концептуальной картины, складывающейся из пестрой мозаики отдельных судеб, чем самоценный интерес к каждой из них в отдельности. Хотя верно и то, что без придания каждой из этих отдельных судеб вполне самозначимого и вполне внутренне завершенного в этой их отдельности художественного бытия общая картина жизни, рисуемая Солженицыным, тоже составиться у него не могла бы. Феликс Давен как-то сказал о Бальзаке, что главный герой его романов — Общество, человек же в них — лишь подробность. Вот что-то подобное мы

наблюдаем и у Солженицына, хотя, повторяю, его и трудно упрекнуть в недостаточной внимательности к разработке этих «подробностей». А все же ход той битвы между Добром и Злом, которая всегда находится в центре внимания этого художника-христианина и в которой он сам участвует всей своей жизнью и всем своим творчеством, со страхом и восторгом ощущая себя Мечом в руке Божией, заговоренным рубить и разгонять нечистую силу, — ход этой битвы интересует его как художника всегда гораздо больше именно на поле того или иного ОБЩЕСТВЕННОГО столкновения и переплетения отдельных воль и судеб, чем внутри каждой из них.

И это сказывается, кстати, и в характере психологической разработки персонажей, типичной для его художественной манеры. Именно потому, что каждый из них интересует его более всего с той точки зрения, какое место занимает он на общественном поле жизненной битвы, обозреваемой им как бы сверху, в некоем общем панорамном ракурсе, — именно поэтому и сам подход его к изображению человека основан на ясном и твердом различении прежде всего той межи, которая пролегает в человеке между добром и злом и определяет его человеческую стоимость на этом общественном поле битвы. Подход, отдающий нередко у Солженицына даже излишней моралистической жесткостью, а то и прямолинейностью.

Но заметьте — его почти никогда не привлекает как художника то, что называется историей человеческой души, — разве лишь ретроспективно, описательно, констатирующе. И опять-таки — прежде всего именно для выявления достигнутой персонажем к данному моменту точки нравственного развития, определяющей его место и позицию на поле общей жизненной битвы. Ситуация же открытого сознания или сам процесс становления души, атмосфера подлинного духовного поиска или нравственной самовыработки во всей реальной динамике этих состояний, со всей их мучительностью, загадками, отчаянием и озарениями, которые и стимулируют действительное вовлечение читателя в художественное сопереживание и соучастие в таком процессе, — все это его почти не интересует. В этом — заметное отличие его героев от героев, например, Толстого и особенно Достоевского. Недаром даже в таких панорамно-интеллектуальных его романах, как в «В круге первом» и «Раковый корпус», есть интереснейшие диалоги, но нет диалогического движения самой художественно-философской мысли автора; есть, если можно так выразиться, полифония констатируемых и репрезентативно изображаемых мировоззренческих позиций, но нет той динами-

ческой полифонии, которая стремилась бы к итоговому духовному контрапункту, завершающему собою живую интригу самого вызревания этой мысли.

Зато в развертывании характерной для его романов констатирующей полифонии морально-мировоззренческих позиций на поле жизненного их столкновения Солженицын — истинный и вдохновенный мастер. Его композиции поражают своей выверенностью, своей продуманностью до малейших деталей, своей почти математической выстроенностью, обязанной, несомненно, той стороне его творческой натуры, которая — наряду с самородным изобразительным даром — свойственна ему как столь же самородному, поистине прирожденному физику и математику, наделенному даром рационалистически-комбинационного мышления.

У Максимова же все, можно сказать, наоборот.

Да, его композиции тоже нередко многофигурны и, как уже сказано, панорамны по отношению к той жизни страны в целом, обобщенный образ которой Максимов и стремится в них дать. Этот трагически-обобщенный образ впервые явственно возникает уже в «Балладе о Савве», где один из героев, Степан, говорит Савве:

«Рази можно без веры, какой ни есть... Зачем же ты живешь, коли привязи у твоей души нету, зачем? Потерял народ привязь, а теперь пойди по Расее, посмотри: на всех дорогах мертвые церквы, — он так и произносил: "церквы", и оттого слово это у него звучало густо и емко, — сердце холонет. Ты вникни, церквы мертвые...»

Вот этот образ земли, на дорогах которой стоят «мертвые церквы» и жизнь в городах и деревнях которой, в московских коммуналках или сибирских бараках, на таежных заимках или в ссыльных поселениях, тоже погружается от этого в пустоту и немоту какого-то призрачного, мертвенного, выморочного измерения, — вот этот как бы итоговый, завершающий панорамный образ страны всегда присутствует в прозе Максимова. И он и вбирает в себя все остальные образы и впечатления, которые читатель выносит со страниц «Семи дней творения», «Карантина» или «Ковчега для незваных». И, конечно же, Максимов сознательно к этому стремится, сознательно выстраивает свои композиции, ориентируя их подобного рода панорамными замыслами.

Но в том-то и дело, что в то же время как бы и не выстраивает, как бы и не стремится. Просто они как бы сами собою выстраиваются и сливаются в этот итоговый обобщающий образ из тех многочисленных отдельных человеческих историй, из которых и составлены

всегда его романы. Они-то — это ощущается сразу же, с непосредственной очевидностью — как раз более всего Максимова обычно и интересуют. Причем интересуют именно в их собственной, индивидуальной самозначимости, а не только в их соединении в ту или иную обобщающую композиционную полифонию. Этот проблемный ракурс максимовского художнического зрения всегда отчетливо в его прозе акцентирован, а нередко впрямую и декларирован. Недаром уже героя одной из ранних его повестей — крупного руководителя-хозяйственника Ивана Васильевича Грибанова — жизнь, круто взявшая его в оборот, поражает вдруг однажды неожиданным прозрением: ему открывается вдруг,*«что у людей, которых он привык считать десятками и сотнями, и заботиться, и думать о них как о десятках и сотнях, есть свои личные, единственные заботы, куда более важные для них, чем дело, которым он жил и заставлял жить других»* («Дорога»).

Та же тема звучит и в «Балладе о Савве»: *«Раньше Савва как бы не замечал людей, считал их предельно понятными, вроде объявления по оргнабору. Все в них было для него простым и объяснимым. И вдруг здесь, на допотопном кирпичном заводе, вырванные из общей безликой массы неумолимой логикой случайностей, они предстали перед ним как отдельные маленькие миры за семью печатями неведомых ему страстей и стремлений».*

И все тем же звуком пронзающего неожиданного озарения и открытия отзывается эта тема и через много лет, в одной из последних повестей Максимова «Как в саду при долине». Главный ее герой, попав в окружение под Киевом, бредет по страшным дорогам войны среди таких же, как он, и чувствует, как перегорает в нем душа, как прелою корой опадает его прежняя плоть и в обугленном его костяке зарождается другой человек — «с тем же именем и фамилией, но с иными глазами и другим слухом»:

«В общей мешанине вокруг я сразу увидел отдельные лица и в сплошном крике услыхал разные голоса. Они оседали во мне, как горячий раствор в полом каркасе, я словно заново складывался из них в другое, незнакомое мне еще самому существо»...

За этими внезапными и все переворачивающими в душе озарениями максимовских героев — и не одного, а многих — стоит, конечно же — и это тоже всегда чувствуется, — нечто глубоко личное, когда-то пережитое столь же остро и глубоко и самим Максимовым. И с тех пор, видимо, и определившее его судьбу как писателя: он стал художником, навсегда заболевшим чужими человеческими судь-

бами, жадным интересом к тому, что же открывается в этих отдельных «маленьких мирах за семью печатями» прежде «неведомых ему страстей и стремлений». Отныне они стали его отравой и отрадой, проклятьем и жизнью.

Вот этот-то первичный, исходный художнический интерес Максимова именно к отдельной, индивидуальной, живой человеческой душе и судьбе и есть главная порождающая и формообразующая его прозу энергия, — то, что определяет собою ее структуру. И это так не только в тех повестях — от ранней «Жив человек» до поздней «Как в саду при долине», — где именно отдельная человеческая история и заполняет собою все пространство повествования. Это так и в самых масштабных, самых многофигурных максимовских композициях. Они ведь тоже, как правило, составлены у Максимова из отдельных человеческих историй, которые хотя и существуют вместе и даже, несомненно, образуют некую целостную совокупность, но в то же время существуют как бы и независимо от этой своей совместности, каждая вполне самозначимо в своем собственном содержании. Попробуйте мысленно вынуть любую из таких индивидуальных человеческих историй из общего корпуса «Карантина» или «Семи дней творения»: если общая панорама как-то и пострадает (но и не разрушится окончательно), то сама эта история от такого своего вычленения и преобразования как бы в отдельную повесть не потеряет почти ничего. Каждая из них все свое содержание замыкает в себе самой, а то общее, что соединяет ее с другими и позволяет им вместе образовывать некое совместное содержательное поле, возникает не столько из сюжетного их сопряжения, сколько именно из самого их СОПРИСУТСТВИЯ на общем повествовательном поле. Возникает как бы само собой, а не задается специально, не «выводится» и не «выстраивается». Хотя заранее, конечно, и предусматривается, входит в общий замысел.

В этом — отличие Максимова от Солженицына, у которого порождающей, творящей само вещество его прозы является, несомненно, энергия общей, охватывающей именно всю композицию в целом художественной идеи. Недаром из его романов ни одну из отдельных историй невозможно вынуть без того, чтобы не разрушилось все, и ни одна из них сама по себе, в отдельности от других, не выявит до конца своей содержательности. Они слишком сплетены всегда у Солженицына в некое неразделимое целое, слишком завязаны на каком-то общем конфликте, ситуации, диалогической теме и т.д.: герои для него — прежде всего фигуры на поле некоей разыгры-

ваемой им сложной, многоходовой «шахматной» художественной партии, и потому-то все здесь у него и рассчитано так точно — выверено, прилажено и пригнано друг к другу, поражая виртуозностью, а то и щегольством, почти математической красотой комбинации.

Но то общее, что соединяет в одно целое максимовские композиции, основано на совсем ином принципе — как бы действительно чисто ПАНОРАМНОМ. Здесь в поле общего обзора захватывается некое количество человеческих существований, связанных не столько каким-то переплетающим их участием в тех или иных общих конфликтах и ситуациях, которые делают их неотделимо зависимыми друг от друга, сколько неким сходством того глубинного жизненного итога и закона, который каждая судьба несет в себе и выявляет собою при всей своей индивидуальной неповторимости. А все они вместе именно и удостоверяют этой своей общей итоговой значимостью действительную реальность, фундаментальную бытийную значимость и весомость выявляемой ими — каждой по отдельности и всеми вместе — жизненной истины. Потому-то в композициях Максимова и нет такой обязательности, такой филигранной пригнанности, как у Солженицына. Они гораздо более условны, более свободны — они часто так же лохматы, корявы, даже неряшливы, как сама жизнь. Но это не мешает им оставаться тем не менее несомненной художественной цельностью. Ибо каждая фигура хотя и ведет здесь свою самозначимую партию, но в то же время она ведет ее в рамках некой общей глубинной темы. Отсюда и своеобразный алгоритм этой темы: с одной стороны, ее звучание становится, естественно, тем явственнее, мощнее и убедительнее, чем больше голосов образует ее полифоническое наполнение и удостоверяет тем самым ее жизненную укорененность и значимость. Но с другой стороны — это звучание не может и слишком уж сильно ослабеть, тем более измениться или вообще пропасть, если какие-то из таких голосов мы — хотя бы мысленно — устраним из этой полифонии.

5

Что же это за тема, в общих рамках которой движется обычно у Максимова и всякая отдельная человеческая история, и совместное их параллельное развитие?

Истоки ее уходят, мне кажется, в те особенности личностного жизненного опыта Максимова, с которыми, в конечном счете, связа-

ны и уже упомянутые отличия максимовской прозы от прозы Солженицына.

Солженицына, как мы знаем, вера настигла поистине на краю бытия, там, где не оставалось как будто бы уже никакой надежды, — в лагерном аду Архипелага, в раковом корпусе больницы, лицом к лицу со смертельной и, казалось, неизлечимой болезнью. Свое избавление и от того, и от другого он принял как чудо, как неоценимый дар Божий, врученный ему для того, чтобы он стал Мечом в руке Его и исполнил долг перед миллионами погибших, замученных, искалеченных в преисподней ГУЛАГа, рассказав миру об увиденных и пережитых им там ужасах, раскрыв людям глаза на дьявольскую суть подмявшего под себя страну режима.

И Солженицын — СТАЛ таким мечом, это соответствовало его натуре борца и воина, каким он всегда и оставался. В любых, самых безвыходных положениях он всегда был весь сосредоточен на том, чтобы не сломиться, не поддаться злу, которое его окружало, которое он ненавидел и которому противостоял. И эта жизненная установка и задача настолько концентрировала на себе все его духовные и душевные силы, что как бы сама собою служила достаточно надежным защитным барьером, своего рода нравственным противоядием от проникновения зла внутрь его самого. Величие и чистота служения требовали и соответствующей внутренней чистоты, которая этим служением необходимо предполагалась. И хотя, понятно, и Солженицын отнюдь не лишен естественных человеческих слабостей, порой достаточно заметных, однако высота заданной планки как бы уже сама обеспечивала — по крайней мере, во внутреннем самоощущении — «равнение» на характер воина-рыцаря без страха и упрека, которому не пристало тратить силы на себя, когда весь он, как Божия гроза, должен быть обращен вовне, на полчища торжествующей вокруг нечисти.

Максимова мы тоже знаем как страстного и неутомимого борца со всякого рода общественной нечистью, которую он ненавидит всеми силами души и в твердом противостоянии которой тоже видит свой религиозный долг и призвание. Но к этой жизненной позиции он пришел не сразу и не был приготовлен к ней изначально, воспитанием или самовоспитанием, проделанным еще до того, как началась его жизненная одиссея. Да и когда такое приготовление могло произойти, если судьба совсем еще малолетним мальчишкой швырнула его в такие передряги, на такое страшное дно жизни, что просто и уцелеть-то ему было мудрено? Он поистине прошел, как любят говорить его герои, крым и рым, огонь, воды и медные трубы, и вера настигла его, судя по всему, на краю гибели не от смертной угрозы

какой-то внешней, нависшей над ним злой силы, а на той глубине собственного человеческого падения и человеческой гибели, когда исчезают уже все скрепы и запреты и человек с ужасом вдруг осознает, что еще шаг — и от него ничего не останется, он превратится в тлен и прах, в невменяемого зверя или подлеца, подзаборного забулдыгу или пресмыкающееся ничтожество, утратившее всякое сознание своего «я» хоть в какой-то его значимости и достоинстве. Из глубины греха, увиденного им во всех его мыслимых и немыслимых видах, полной чашей измеренного и изведанного им и на собственном опыте, воззвала его душа к небу, пронзенная однажды слепящим озарением и открытием, что лишь вера дает опору и смысл жить. И что во всякой человеческой душе, даже самой падшей, потребность в такой вере есть и непреходяща, ибо только до тех пор, пока она есть, жизнь и не уходит из человека совсем, продолжает теплиться и чего-то ждать...

Открытие это пришло к Максимову, иными словами, и из глубин его собственной души, из той ее еще не раздавленной, еще живой частички, с которой и началось ее медленное и тяжкое восхождение, и из глубин иных, чужих, порой даже враждебных ему душ таких же, как он, изгоев и бродяг на земле русской, в которые внезапная опасность или смерть, случайно затеплившийся разговор или совместная передряга давали ему вдруг нечаянную возможность заглянуть и поразиться их тоске и зову. И вот тогда-то и начали открываться у него глаза на людей, чтобы за семью печатями их страстей и стремлений разглядеть, чем жива их душа, и в жадном опыте этого захватывающе важного, смертельно нужного познания осознать, выверить опыт и собственной души, помочь ей в ее начавшемся покаянном пробуждении. Тогда-то и вошла в него та тема, которая и стала в конце концов, главной, всеохватывающей и единственной, в сущности, темой его творчества — темой неизбывной, вечно повторяющейся и вечно новой той всякий раз неповторимой и всякий раз уникально важной новизной, которою дарит нас всякая значимо прожитая судьба.

Тема эта — жизнь любой, даже самой «простой» человеческой души в ее падениях и озарениях, путь ее в грехе и путь ее высвобождения, выкарабкивания из греха, пустота и ничтожество ее существования в тоске бессмысленной самозамкнутости и обретение ею смысла и надежды в движении к Богу и его Свету, в чем бы первоначально этот Свет ей ни открывался — во внезапном сострадании к тому, через кого ты только что собирался переступить, или во всепоглощающей любви к женщине; в благодарном отклике на

чью-то бескорыстную тебе помощь и поддержку или даже в преданности воровской дружбе, испытываемой на излом измывательствами всесильного пахана. В сущности, ведь именно в художественном обнаружении и художественном воссоздании этого высшего закона жизни человеческой души и состоит глубинный смысл и тех сюжетов, которые рассказывает Максимов в повестях «Жив человек» или «Стань за черту», и жизненных судеб трех братьев Лашковых из «Семи дней творения» (равно как и других героев этого романа и прежде всего Вадима и Наташи, Антонины и Николая), и человеческих историй многочисленных героев «Карантина» или Федора Самохина, Золотарева и Мозгового из «Ковчега», отставного генерала Ивана Воробьева из повести «Как в саду при долине» и, наконец, главного героя автобиографического «Прощания из ниоткуда» — Влада Самсонова... Все они, эти десятки, если не сотни максимовских героев, идут нескончаемым человеческим потоком по своим дорогам жизни, постигая ее закон и смысл, одни — так и не добредая до желанного порога прозрения, другие — вступая в тяжбу с самим Богом, третьи — вверяясь ему, хотя даже и не подозревают о его существовании. И поистине можно только поражаться тому невероятному, фантастическому, громадному знанию русской жизни, которая воплощена Максимовым в этих бесчисленных человеческих характерах и судьбах, в каждую из которых он вглядывается со страстной, живой заинтересованностью, заставляя и нас почувствовать ее живое биение и принять ее в себя. Можно сопротивляться порою тому, как он это делает, ибо пытаясь освоить и выразить, донести до нас все буйное разнообразие этой не умещающейся ни в какие берега жизни, Максимов отважно пробует самые разные средства, от натурализма до стилизации и условной символики, не боится обращаться к творческим заветам одновременно и Горького, и Достоевского, а между тем его собственный художнический талант, вбирающий в себя и поразительное слышание живой речи, и психологическую проницательность, и страстную языковую экспрессию, далеко не всегда чувствует себя в этих опытах и в этой переимчивости естественно и органично. Проза Максимова действительно так же порою корява и неблагообразна, как сама жизнь, а по мнению многих страдает нередко и провалами вкуса. Но она так же, как сама жизнь, и неодолима вместе с тем в своем воздействии на читателя. Все качественное отличие этой наполненной подлинной жизненной силой художнической исповеди и проповеди от хилого поверхностного эстетизма выморочных литературных игр, столь распространенных

в наше время, не способна увидеть разве лишь безжизненно-инфантильная рафинированность обслуживающих эти игры литературных недорослей. И только отвлеченная умозрительность, счастливо избегнувшая знакомства с грубой прозой жизни, способна не почувствовать подлинный духовный масштаб, подлинное духовное напряжение этой прозы.

6

Этот масштаб и это напряжение измеряются, как уже сказано, шкалой не тех единиц, которые приложимы там, где борение сил Добра и Зла развертывается на арене гражданского прежде всего их противостояния — подобно тому, как это происходит, например, у Солженицына. Проза Максимова обращена к иному полю этой битвы — он ищет и находит его прежде всего в самих людях, в собственных их душах.

Но значимость этой битвы во всякой человеческой душе никак не меньше, чем на полях любых общественных схваток, исход которых, в конечном счете, всегда и зависит как раз именно от того, какой бывает исход этой битвы в душах самих людей. А это всякий раз — задача со многими, поистине неисчислимыми и почти непостижимыми в своей таинственной глубине неизвестными. И если кому-нибудь кажется, что Максимов, который так страстно хочет привести всегда своих героев, даже самых падших, к душевному обновлению и катарсису, а для этого иной раз даже как бы и подталкивает их, спрямляет их путь, — если кому-то кажется, что Максимов слишком оптимистически смотрит на возможности решения этой задачи и в душе каждого отдельного человека, и в душах людей, составляющих современное человечество в целом, то он очень ошибается. Напротив, за этим страстным стремлением, сбивающимся иной раз даже на своего рода «подыгрывание» героям, как раз и открывается вся мучительная бездна тех сомнений и терзаний, тех катастрофических прозрений и трезвой горечи, которые определяют собою отнюдь не оптимистический характер духовного состояния, господствующего в его прозе. Ибо если попробовать как-то это состояние обозначить, то, наверное, все-таки самым верным будет обозначить его как состояние, возникающее и удерживающееся в силовом поле постоянного и страшного натяжения между человеческой НАДЕЖДОЙ, человеческим УПОВАНИЕМ на всепобеждающую мощь божественного Света, Добра и Милосердия — и человеческим ОТЧАЯНИЕМ.

Почему — надеждой, это, наверное, понятно. А вот почему — отчаянием, когда так страстно утверждается и призывается ВЕРА?..

Увы, и в этом Максимова тоже можно понять. Пушкин сказал когда-то: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»... И это — Пушкин, которому — при всей трагичности его судьбы — не выпало изведать, увидеть в других и обнаружить в себе и сотой доли того, через что пришлось пройти его соплеменникам в XX веке!..

Вспомним, как герой одной из ранних повестей Максимова молодой журналист Виктор Суханов пишет своему старшему другу:

«А люди!.. Язык не поворачивается сказать о таких: "Борются за существование". Они не борются, они просто-напросто копошатся в собственной грязи, посильно оттирая ближнего своего от корыта бытия. Семейное сожительство называется у них любовью, житейская изворотливость — мудростью, павианье чванство — гордостью...»

И это ведь у Максимова еще только самый первый, самый легкий набросок тех подвигов, на которые способно существо по имени «человек» и о которых своими разнообразными картинками, списанными с живой натуры, щедро расскажет нам позднее проза Максимова. Здесь сдуревшие от беспробудного пьянства мужья будут нещадно избивать беременных жен ногами в живот, отцы — предавать детей, а дети — отцов, друзья — переступать через друзей, бросая их в тайге, на голодную смерть, молоденькие лейтенантики, шалея от крови и мутной ненависти к венгерским «контрреволюционерам», — в упор расстреливать в глухих подвалах старого Пешта пятнадцатилетних мальчишек с раскрытыми от ужаса и от неверия в ужас происходящего глазами, а превращенные безудержем похоти в сплошное копошащееся месиво сплошного свального греха человечьи твари обоего пола — захлебываться блевотиной собственного разврата и непотребства...

А ведь все эти и подобные им сцены, от которых, говоря словами героя повести «Как в саду при долине», «пахнет зверьем и тленьем», — тоже совсем еще не все. Ибо есть в прозе Максимова немало страниц, где он и сам останавливается в ужасе и опускает перед нами занавес, не смея рассказать, что скрывается за ним, за этим занавесом, — как в финале «Баллады о Савве», где Зяма попадает в руки «местных» и в ответ на саввино судорожное — пойдем, отобьем, — Валет отвечает: «Брось травить... Они не могли его взять. У них другой почерк... Я это знаю. Я сам из этих мест»... За этой сценой, завершающейся приходом Степана, который приносит то, что только что было Зямой, встает нечто такое, от чего волосы шевелятся, чего не должен знать человек, что не нужно ему знать. Но Максимов это

видел и знает. Это — то, что отзовется потом однажды в его прозе главкой из «Карантина», где героине романа Марии будет сниться, что она — на атомном бомбардировщике, летящем над огромным спящим городом. И она испытает смертельный искус нажать на маленькую красную клавишу:

«В ней не было места жалости, она ненавидела их всех, живых и мертвых, старых и молодых, бессеребренников и злодеев... Плевать Марии было на то, какой Туманян или Иванов, или Сидоров растлевал сейчас пьяную школьницу, сколько солдафонов выстраивалось в очередь к заезжей чувихе и чей нелюбимый муж валялся в ногах у жены, моля о снисхождении и ласке. Пускай они исчезнут, испепелятся все, заплатив за свои и чужие вины...»

Страшные страницы — страшные именно реальностью выплеснутого в них чувства — реальностью и понятностью! Той понятностью, которою так хорошо понимаешь и знаменитое «Расстрелять!..» Алеши Карамазова. Здесь поистине веет мрачным духом Великого Инквизитора, своим презрением к человечеству, к этому ничтожному роду бессильных бунтовщиков, так страшно обнаружившего мучительные мысли и чувства, терзавшие и самого Достоевского. И так же, как у Достоевского, лишь вера и надежда на бесконечное милосердие Божие только и способны еще как-то уравновесить это жуткое знание о человеке, доводящее до подлинного отчаяния...

7

Достаточно ли однако у Максимова этой веры и надежды, которые все еще пока позволяют его прозе удерживаться пусть в неустойчивом, колеблющемся, но все же спасительном духовном равновесии?

Когда — как. И иной раз кажется, что с годами натяжение между упованием и отчаянием становится в его творчестве все более напряженным, а нить между ними, связывающая их и удерживающая их от разрыва, все тоньше. Особенно она истончается в последнем романе Максимова — «Заглянуть в бездну», едва ли не самом значительном, на мой взгляд, создании позднего Максимова.

В этом романе Максимов — отчасти даже несколько неожиданно — как бы отходит вдруг от привычных для него принципов построения своей художественной вселенной. И главные герои романа — Александр Васильевич Колчак, знаменитый Адмирал и Верховный Правитель России в 1918—1919 годах, и Анна Тимирева, его гражданская жена и верная подруга, его любовь и жизнь, и герои им сопутствующие — ротмистр Удальцов, преданный Адмиралу начальник его конвоя, и его безотказный ординарец Егорычев, не

говоря уж об остальных эпизодических персонажах романа, — все они почти не интересуют уже здесь Максимова в той обычной для его героев внутренней динамике, в которой раскрывается их духовное становление. Они даны здесь такими, какими уже сделала их судьба, какими они себя уже выработали, — люди подлинной чести, достоинства, благородства, мужества. И в этом своем подлинном рыцарстве они интересуют здесь Максимова прежде всего в их отношении ко всему тому, что происходило вокруг них в эти страшные годы, когда рушилась старая Россия. Здесь он ближе как будто бы, таким образом, к тем путям, которыми идет обычно в изображении героев своих исторических полотен Солженицын. И похоже, что «Заглянуть в бездну» — это роман (впервые у Максимова тоже исторический!), который и задумывался не без оглядки на художественно-исторические опыты Солженицына. Это как бы своего рода творческий отклик Максимова на эти опыты.

Отклик этот отнюдь не отбрасывает из них то, что представляется Максимову достойным усвоения. Но до чего же вместе с тем это отклик типично максимовский, сердцевинно связанный с собственной его главной темой, с его собственным художническим мировидением!..

Дело даже не в том, что голос самого Максимова непрерывно присутствует в этом историческом повествовании не только интонационно, но и врываясь то и дело в текст — и прямым комментарием к происходящему, и непременным заглядом в будущее всякий раз, как речь заходит о палачах и убийцах, творящих свои черные дела, ничего не подозревая о грядущем неотвратимом историческом возмездии. Напряженный публицистический лиризм столь же свойственен, в конце концов, и Солженицыну — видно, уже само прикосновение к недавней истории, из недр которой родился сегодняшний ужас, не оставляет нашему современнику никакой возможности сохранить невозмутимую маску бесстрастного летописца. Слишком горячо.

Характернее поэтому, что у Максимова совершенно иной, чем у Солженицына, сам принцип организации этого тоже как будто бы вполне исторического повествования, сама его фактура.

Течение событий, завязывающих историю в ее тугие узлы, которые Солженицын и пытается распутать в своих многотомных «Узлах», он развертывает перед нами обычно в мельчайших деталях, прослеживая их день за днем, час за часом. Максимов же весь сосредоточен не на том, КАК происходили те события, о которых он рассказывает, а на том, ЧТО, собственно, в них и через них происходило в эти последние мгновения старой России, судорожно пытавшейся проти-

востоять историческому року. Перед нами не столько информация, сколько метафизика, не столько летопись, сколько мистерия, склоняющаяся скорее к поэтике сказа, мифа, притчи, чем литературно-кинематографической хроники. И потому если читатель этого романа надеется получить из него более или менее подробные сведения о жизни Колчака вообще или хотя бы о последних трагических его годах, ему лучше обратиться к другим книгам и пособиям. Максимов, строя свое повествование, и сам рассчитывает именно на некоторое необходимое предзнание читателя, которому не нужно объяснять, кто такой Колчак и что он делал во время гражданской войны. Он занят другой задачей — созданием сгущенного, лирико-обобщенного образа своих героев и столь же обобщенного, сгущенного почти до символа образа времени. Поэтому он берет из канвы жизни своего героя только те штрихи, эпизоды, сцены, которые нужны ему для решения такой задачи. И, опуская целые месяцы и даже годы, нисколько не заботится даже о временно́й последовательности. Недаром роман начинается сразу же с расстрела Колчака на иркутском снегу, и эта сцена задает трагическую тональность всему дальнейшему повествованию, той его главной трагической теме, которая — как бы уже в обратном развертывании — снова будет стремиться к той же последней иркутской точке, наращивая и наращивая свое отчаянное звучание, созидая собою тот последний итоговый образ, который с самого начала отважной попытки Адмирала спасти старую Россию станет овладевать его воображением:

«Случившееся теперь в России представлялось ему ненароком сдвинутой с места лавиной, что устремляется сейчас во все стороны, движимая лишь силой собственной тяжести, сметая все попадающееся ей на пути. В таких обстоятельствах обычно не имеет значения ни ум, ни опыт, ни уровень противоборствующих сторон: искусством маневрирования и точного расчета стихию можно смягчить или даже чуть придержать, но остановить, укротить, преодолеть ее было невозможно...»

В нарастающий обвал этой лавины оказалось вовлечено все, что ее же и стронуло — и бессилие монархии, не сумевшей дать простор своим собственным, до какой-то поры вполне еще животворным энергиям, и бессмыслица войны, и усталость, невежество и озверение народа, и собственная его, Адмирала, неспособность сплотить вокруг себя силы противоборства. И, главное, — тот всеобщий распад ценностей, то всеобщее помрачение и растление, которое приводит в ужас даже французского разведчика Бержерона. Недаром с таким

отчаянием вглядывается он не только в то, что происходит в России, но и в то, что начинает преобладать и в его западном мире, где слово чести уже перестает что-либо значить, а союзническая верность допускает и вероломство, и коварство.

Впрочем, с неменьшим ужасом вглядывается он и в самого себя:

«Отчего естественные ценности — благородство, великодушие, верность слову — даже мне начинают казаться безнадежно старомодными?»

И тот ответ, что он находит, признаваясь, что просто «страшится окончательно заглянуть в ту бездну», которая открывается перед ним, — это тот же самый ответ, который подозревают, но в котором боятся признаться даже самим себе и Адмирал, и другие герои романа:

«Россия вдруг представилась мне.., огромной опытной клеткой, в которой некой целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент... И если Сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее...»

Но когда мир представляется уже в такой стадии своего развития, что остается только взывать — «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?..»; когда не приходится сомневаться, что грядет цивилизация Дьявола, которая в конце концов истребит весь род человеческий до последнего, — что остается делать тем, кто это понял?

Да, драться до конца. Все-таки — до конца. Выполняя свой долг. И — достойно умереть.

В этом и состоит призвание трагических героев романа, Адмирала и Анны, этих чистых духом людей, чья любовь друг к другу воистину сильна, как смерть, и чья любовь к Богу и к России столь беспредельна, что именно в смерти ради них — последняя для героев романа и надежда. И это единственное, что может еще удержать в жизни и Удальцова, тоже понявшего, «что на этой земле ему уже нет места»...

Но какой же отчаянный, смертельный привкус у такой надежды!..

Да, и она, такая надежда, все еще держит в каком-то последнем духовном равновесии этот роман, не дает рваться тому натяжению, которое существует в прозе Максимова между отчаянием и упованием.

Но это совсем уже тонкая, похоже, нить, разрыв которой грозит отпустить на волю отчаяние — полное, всепоглощающее...

А потому-то тем и страшнее это натяжение, тем острее ощущение его опасности. И эта опасность и заставляет, видимо, Максимова так спешить порою и с преображением своих героев, и с той их сказовой идеализацией, которая столь откровенна в образах Адмирала и Анны.

Но если бы это было просто романтическим прекраснодушием или хотя бы художнической оплошностью!..

Увы, за этой романтикой и за этими «оплошностями» поистине хаос шевелится — древний подземный ужас...

Когда-то один умный человек с большим добрым сердцем сказал Владу Самсонову, герою автобиографического «Прощания из ниоткуда»: «Я верю, что вам дано больше, чем другим. И в любви, и в ненависти. Если Вы начнете ненавидеть, она поработит вас целиком. Но любя, вы сумеете сделать многое»...

Альтер эго Влада Самсонова Владимир Максимов приводит эти слова. Значит он не забыл их, помнит. А раз помнит — значит и посейчас сознает всю их для себя значимость, всю меру той опасности, которую таит для него разрывающее его натяжение между отчаянием и упованием, между ненавистью ко всему страшному, что есть в человеке, и любовью и милосердием, которые заставляют и помогают видеть даже в самых порой чудовищных развратниках и злодеях — несчастных заблудших детей. Для публицистики Максимова органичнее стихия первого состояния, нередко заводящая его в тупики и помрачающая его полемическое зрение. Зато для прозы — органичнее все-таки состояние иное. И потому, думая о том, чего же более и прежде всего хотелось бы пожелать самому Владимиру Максимову на его дальнейшем жизненном и художническом пути, можно, наверное, выразить это пожелание смыслом и страстью именно того главного, итогового зова, который обращает к нам именно проза Максимова — и своим отчаянием, бьющим из бесчисленных его образов и сцен, где Максимов не боится рассказать о всем том дьявольском, что заполняет нашу жизнь и на что способен человек, и той своей надеждой, которая светит нам в человеческих прозрениях его героев, в их человеческом восстановлении и в их человеческой высоте.

А смысл и страсть этого последнего и высшего ее зова можно передать, наверное, удивительными словами, которые великий святой нашего времени старец Силуан услышал в своем сердце от Христа, когда исходил слезами отчаяния, раздавленный внутренним созерцанием всего того зла, в которое погружен этот мир и человеческая в нем жизнь:

«ДЕРЖИ УМ СВОЙ ВО АДЕ И НЕ ОТЧАИВАЙСЯ»

1991—1995

Адам МИХНИК

ПЕПЕЛ, УЛАН, ПОЛОНЕЗ

Автор предлагаемой ниже вниманию читателей статьи, известный польский политический деятель, литератор и журналист Адам Михник принадлежит к тому послевоенному поколению поляков (он родился в 1946 году), которое, начиная с конца шестидесятых годов, играло все большую роль в событиях, сделавших Польшу одной из первых стран, вырвавшихся из так называемого «социалистического лагеря». Уже в 1965 и в 1966 годах, когда Михник учился на историческом факультете Варшавского университета, учебу крамольного студента взбешенные власти дважды прерывали, а во время мартовских студенческих волнений 1968 года Михник был арестован и осужден на три года, но в 1969 году — амнистирован. Два года он работал на заводе сварщиком, в 1975 — окончил экстерном историко-филологический факультет Познаньского университета, а в 1977—78 гг. стал одним из главных деятелей КОРа (Комитет защиты рабочих — ведущая организация польской демократической оппозиции тех лет). В 1980—81 гг. он уже в Совете «Солидарности» региона Мазовше, за что и был в декабре 1981 года интернирован. Подвергался преследованиям за нелегальную деятельность в «Солидарности» и позднее, вплоть до начала послаблений «перестроечной» эпохи: был осужден за попытку свержения государственного строя в сентябре 1982 года; затем, в 1984 году, амнистирован, но в феврале 1985 года снова осужден на 3 года — и снова амнистирован в 1986. Активный участник знаменитого польского Круглого стола (власть и оппозиция) 1989 года, он в том же году создает «Газету Выборчу», самую крупную и популярную ныне польскую газету, сыгравшую громадную роль в победе «Солидарности» на выборах в Польский Сейм, депутатом которого он был в 1989—1991 гг.

Сегодня Михник — по-прежнему главный редактор созданной им газеты, напечатавший и в ней, и в других изданиях множество публицистических статей на политические, социальные и культурные темы, автор таких знаменитых в Польше книг, как «Церковь — левые — диалог» (1977) и «Шансы польской демократии» (1984).

Имя Адама Михника известно мне было, естественно, еще во времена нашего так называемого «застоя», с особым вниманием стал следить я за его и его товарищей по «Солидарности» деятельностью непосредственно перед и с началом нашей «перестройки», но познакомился с ним лично недавно — весной прошлого года, когда мы встретились на польско-украинско-русской научной

конференции, организованной Жоржем Нива в Женеве. Встреча оказалась плодотворной — мы не только нашли очень быстро общий язык и достигли редкого взаимопонимания по многим русским, польским и украинским проблемам, и обсуждавшимся, и не обсуждавшимся на конференции, но и договорились о непременном взаимном сотрудничестве в наших изданиях. Я попросил, в частности, Адама Михника выступить в «Континенте» со статьей об Анджее Вайде — выдающемся польском кинорежиссере, творчество которого неизменно пользовалось огромным вниманием в нашей стране и оказало немалое воздействие на наш кинематограф. И вот в декабре прошлого года, когда мы вновь встретились с Адамом Михником на еще одной научной конференции в Варшаве, он, во исполнение нашей договоренности, передал мне текст обещанной статьи, незадолго до этого напечатанной им в своей газете.

Статья показалась нам всем в редакции «Континента» не только замечательно интересной по отношению к творчеству самого Вайды, но еще и впрямую перекликающейся с целым рядом весьма острых и актуальных проблем нашего собственного сегодняшнего культурного развития. В частности — наших сегодняшних взаимоотношений с культурой нашего недавнего советского прошлого.

Однако статья оказалась при этом весьма обильно насыщена специфическими польскими реалиями, которые хорошо понятны без каких-либо разъяснений всякому поляку, но во многих случаях вряд ли что-либо способны сказать русскому. Мы решили, что многим читателям «Континента» это может сильно затруднить восприятие статьи, и потому попросили Н.В. Прасолову, переводчицу статьи, сделать к многочисленным этим польским реалиям текста посильный подстрочный комментарий, способный помочь читателю лучше и полнее понять их смысл в контексте размышлений Адама Михника. Такая работа была тщательно Н.В. Прасоловой проделана, и мы надеемся, что читатель с благодарностью примет ее помощь и с истинным удовольствием прочтет эту яркую интерпретацию творчества замечательного польского художника, выполненную другим замечательным поляком, его и нашим современником.

Игорь Виноградов

Творчество Анджея Вайды просто вынуждает задать вопрос: кем является для нас этот художник, которого в эпоху ПНР и награждали, и пороли, который обвинялся и в польском национализме, и в национальном нигилизме? Не должны ли мы считать его нашим великим соотечественником, прославившим имя Польши в мире? Символом нового времени, который укреплял самоуважение поляков полонезом и уланской пикой? Или же это европейский космополит, проникнутый духом нигилизма, насмешник, который вслед за

С. Выспяньским[1] и С. Жеромским[2] сыпал соль в польские раны? А может быть, это мудрец или, скорее, человек, наделенный гениальным чутьем, творчество которого отличают понимание и вера в польскую национальную традицию?..

* * *

Для людей, которые читали в школьных учебниках ПНР о «бандитских группах» и «фашистской реакции», «Пепел и алмаз»[3] Анджея Вайды был реабилитацией подполья, возвращением человеческого лица людям, которые проиграли войну за Польшу.

И все же для людей АК-овского поколения[4] этот фильм был очередным унижением и клеветой.

В чем причина этого противоречия?

---

[1] С. Выспяньский — выдающийся польский драматург, художник, театральный деятель (1869—1907). В своих литературных произведениях о жизни Польши широко использовал метафоры, символы и картины, затрагивающие две принципиальные проблемы польской истории — проблему независимости и проблему социального неравенства.

[2] С. Жеромский — крупный польский писатель, драматург, публицист (1864—1925). В его произведениях описание борьбы польского народа за независимость дополнялось смелым изображением негативных сторон жизни польского общества начала XX века — социального бесправия и культурной отсталости его низших слоев.

[3] «Пепел и алмаз» — фильм А. Вайды, снятый в 1958 г. по повести Е. Анджеевского. В основе сюжета фильма — история убийства аковцем Мацеком Хельминским коммуниста Щуки. Необходимость выполнить приказ, несправедливость и жестокость которого ощущает сам Мацек, огромное человеческое обаяние главного героя, сыгранного З. Цибульским, усугубляют драматизм изображенной ситуации.

[4] Под АК-овским поколением понимаются поляки, принимавшие участие в движении польского Сопротивления в рядах Армии Крайовой. Армия Крайова (Отечественная армия) — военно-патриотическая организация, действовавшая на территории Польши в 1942—1945 гг. Подчинялась эмигрантскому правительству в Лондоне. Организатор Варшавского восстания в августе—сентябре 1944 г., в ходе которого погибло около 100 тыс. бойцов АК и городских жителей. Антикоммунистические взгляды и деятельность членов АК явились причиной умалчивания их вклада в борьбу с гитлеровскими оккупантами после окончания войны. До 1956 г. они часто подвергались преследованиям.

Збигнев Герберт писал в «Пане Когито»[1]: «Повторяй старые человеческие заклятья, сказки и легенды, ибо так ты получишь благословение, которого иначе не получишь, повторяй заветные слова, повторяй их упорно, как те, что шли сквозь пустыню и гибли в песках, а наградой тебе за это будет то, что есть под рукой, — порка смехом, убийство на мусорной свалке».

Для Збигнева Герберта гибнущий на свалке аковец нес в себе абсолютный трагизм. Как будто жизнь кончилась — жизнь свободной Польши. Для Анджея Вайды эта смерть была частью драмы поколения, после которого однако не наступал конец света. Жизнь продолжалась, потому что — как горько говорил герой «Пейзажа после битвы» — «живые всегда правее мертвых».

Для Герберта поражение АК оборачивалось испытанием верности погибшим, для Вайды — это был опыт, который он старался интеллектуально и художественно оценить — для того, чтобы жить дальше. Солдат АК из стихов Герберта — это Гильгамеш, Гектор, Роланд, аковец из фильма Вайды — это живой, молодой парень, которому присущи человеческие достоинства и недостатки, который знает минуты счастья и минуты отчаяния. Прежде всего, однако, он является человеком, который продолжает жить жизнью своего поколения, своего народа, своего времени. Армия Крайова для него — это фрагмент жизни, но не вся жизнь.

Станислав Бжозовский в «Легенде молодой Польши»[2] писал: «У нас существует такая точка зрения, согласно которой доброта и снисходительность являются единственными точками отсчета для культуры. В рамках ее добрым, ценным, правильным является то, что нас не ранит, что нас не раздражает, что не вступает в противоречие с нашими дурными и хорошими привычками. В своих размышлениях сторонники этой точки зрения ищут не правды, а снисхождения, стремятся добиться от мира понимания, полагая, что закон жизни, цель человеческого существования не могут, не должны состоять в том, чтобы и дальше терзать их измученные души. (...). И вот они, пережившие все несчастья и ничему не научившиеся,

---

[1] З. Герберт — известный польский поэт, драматург и эссеист. Принимал участие в движении Сопротивления в рядах АК. «Пан Когито» — одно из самых известных его произведений, навеянное мотивами вооруженной борьбы АК в годы оккупации и его личными переживаниями.

[2] С. Бжозовский (1878—1911) — польский философ и теоретик культуры, литературный критик, публицист, писатель. «Легенда молодой Польши» (1909) — одно из главных его произведений.

вновь и вновь стремятся к тому, чтобы ради своей горькой участи, которую они уготовили себе вместе с другими, быть по отношению к этим другим, ко всем, к самим себе снисходительными. Те, кто живет подавлением польской мысли, протестуют, когда она идет вперед, принимая форму острой, смелой, живой самокритики, не щадящей себя. У нас лихой писака-журналист, живущий за счет искажения смысла творчества, ссылается на величие народного страдания (...). Нет, никакие в мире казематы, никакая апухтинская школа[1] не превратит фальшь, иногда осознанно и целенаправленно написанную польской рукой, в правду, никакое насилие не сделает умело используемое незнание — гражданской добродетелью. Писатели, которые могли бы стать душителями духа в самом счастливом обществе, не станут у нас даже в результате введения военного положения заслуживающими жалости жертвами, особенно если они умеют свой писательский труд, свою полную благих намерений халтуру удивительно расторопно использовать и продавать».

Польская культура по-разному подходила к ответу на вопрос о смысле народного страдания. Збигнев Герберт сознательно выбрал героизм. Анджей Вайда отвечал на этот вопрос иначе, приняв решение отнестись к поражению как к реальности — для того, чтобы иметь возможность перешагнуть через горизонт отчаяния. Его герои не мудрее своего времени. Все они переживают столкновение своей нормальной человеческой природы с необыкновенной исторической судьбой польского народа. Вайда не сооружает им памятников. Каждым своим фильмом он пробуждает в зрителе беспокойство.

Он начинал столь же типично, сколь и скверно. «Поколение» — фильм, поставленный по повести Богдана Чешки[2], ничем не отличается от остальной художественной продукции соцреализма: ложь в

---

[1] А.Н. Апухтин (1840—1893) — русский поэт. Для него характерна нарочито старомодная эстетическая позиция, ориентированная на «чистое искусство» в соединении с брезгливой общественно-политической индифферентностью.

[2] Б. Чешко — польский прозаик, публицист. Участник польского Сопротивления в рядах Армии Людовой (Народной армии) — польской военно-патриотической организации, действовавшей на территории Польши в годы гитлеровской оккупации под руководством польских коммунистов. Фильм Вайды «Поколение» (1955) рассказывает о приходе в движение Сопротивления двух молодых поляков — Стаха и Яся Крона. При этом Стах вступает в ряды Армии Людовой осознанно; Ясь же, участвуя в партизанской борьбе, переполнен сомнениями. Символично, что в конце фильма он погибает.

изложении истории и большевистский морализм, сентиментализм и художественная дешевка.

В фильме показана просто исключительно лживая картина оккупации и антигитлеровского движения Сопротивления. Поляк-фабрикант сотрудничает с АК и наживается на поставках товаров в Германию. Армия Крайова — это какие-то мерзкие типы, вызывающие отвращение и плетущие военные заговоры. Религия — это опиум для народа, уводящий в сторону от борьбы за освобождение. Единственными носителями справедливости являются, естественно, коммунисты.

А ведь Роман Поланский[1] вспоминает «Поколение» как переломный, интересный, важный фильм. Видно, в атмосфере того времени скрывалось нечто такое, что позволило заменить какой-то оригинальный и неожиданный блеск в художественном произведении, которое сегодня уже только пугает мертвенностью.

Анджей Вайда никогда не открещивался от этого соцреалистического эпизода. Он не подправлял своей биографии. Он сознательно обратился к тому времени в «Человеке из мрамора» (1976), где, показав съемки вымышленного фильма на производственную тему, делавшегося в духе партийной пропаганды, он поместил в титрах, среди вымышленных фамилий, фамилию ассистента режиссера: *Анджей Вайда.*

В «Поколении» Вайда совершил насилие над собственной памятью и собственным мышлением. Возможно, таким образом он начинал конъюнктурную игру с властями. А может быть, и правда, «Поколение» было результатом чужой и собственной работы над мышлением талантливого художника? Ведь гитлеровская оккупация и польское движение Сопротивления были двумя совершенно различными вещами. И Вайда должен был об этом отлично знать. Он доказал это своим «Каналом»[2] — фильмом, который произвел революцию в распространяемых коммунистической пропагандой представлениях об Армии Крайовой и Варшавском восстании.

«Канал» представляет собой реалистическое изображение смерти города и смерти поколения. Он рассказывает о поражении народа

---

[1] Р. Поланский — польский, ныне французский кинорежиссер. Получил международную известность благодаря своим фильмам-триллерам.

[2] В «Канале» (1957) рассказывается о гибели во время Варшавского восстания одного из повстанческих отрядов, пробивавшегося с окраины к центру города, чтобы соединиться с теми, кто еще продолжал сражаться в уцелевших очагах варшавского сопротивления.

проникновенно и горько. Однако этот народ состоял не из Гекторов, Роландов, а из обыкновенных людей, терявших надежду и впадавших в отчаяние, прошедших через ад страданий и соблазн цинизма. И именно среди таких людей рождается героизм высшей пробы.

В фильме отсутствуют русские и русская тема, что стало не только компромиссом в игре с цензурой, но и выражением взаимопонимания с обществом. Умолчание превращается здесь в отказ лгать.

Я поясню свою мысль: в «Wielkiej Encyklopedii Powszechnej» нет раздела «Катынь». Редакторы и издатели стояли перед выбором: либо смириться с ложью, навязываемой советской пропагандой, и опубликовать фальшивую версию об ответственности гитлеровцев за это преступление, либо героически отказаться от участия в работе над энциклопедией. Было очевидно, что в то время цензура не позволила бы написать правду о Катыни. Редакторы и издатели выбрали третий путь — молчание. И читатель понял смысл этого молчания. Таким было в то время неписанное соглашение между автором и читателем. Хотя часто бывало и наоборот: умолчание было тождественно обману.

Где же в таком случае проходила граница между этими двумя видами молчания?

Я думаю — в самой структуре художественного творчества. А также в его внутренней сути.

Ян Юзеф Щепаньский не рассказывал в «Польской осени»[1] о боях польских и советских войск в сентябре 1939 г. Однако он сумел создать образ, атмосфера и детали которого и сегодня кажутся вполне достоверными, хотя этот образ и создавался в обстановке цензурных ограничений. Так же обстоит дело и с Вайдой. В «Канале» мы и сегодня не чувствуем даже следа фальши, его герои не выносят политических оценок, но в фильме есть правда страшной повседневности, которая становится при помощи цитаты из Данте[2] огромной метафорой судьбы поляка и судьбы человека.

«Канал» предложил иной способ понимания восстания, драмы Польши и поколения АК-овцев. Именно так Анджей Вайда, сын офицера, убитого в Катыни, рассчитался со своим предыдущим фильмом.

---

[1] Я. Ю. Щепаньский (р. 1919) — крупный польский писатель, публицист, переводчик. В 1980—1983 гг. — председатель Союза польских писателей. Повесть «Польская осень» (1947) была создана на основе его личных воспоминаний о катастрофе польской армии в сентябре 1939 г.

[2] Имеется в виду описание ада в «Божественной комедии».

А между тем отношение Вайды к своему ПНР-овскому времени было крайне неоднозначным. Особенно в эпоху польского Октября[1] на гребне великих надежд и веры в Гомулку, а также в польский путь к социализму, когда многие представители его формации стали думать, что ПНР хотя бы отчасти является их государством. Именно «Пепел и алмаз» был отличной иллюстрацией двойственности его отношения. Вайда тосковал по старой Польше уланов и полонезов, по Польше своих родителей, но прощался с ней навсегда. Он жил в новой Польше, сталкивался с тем, что в ней было, с вызовами и дилеммами новой эпохи. «Пепел и алмаз» стал прощанием с Польшей, за которую сражалось поколение Мацека Хельминского, Збышека Цибульского и Анджея Вайды. В связи с «Пеплом и алмазом» режиссер писал: «Под аккомпанемент танго и фокстротов герой фильма Мацек Хельминский ищет ответ на вопрос, как жить дальше — как сбросить с себя давящий груз прошлого, решает извечную дилемму солдата: слушать или думать? И все же Мацек убивает...

Он предпочитает убить человека, даже вопреки своим чувствам, но не расстаться с оружием: он поступает как представитель того поколения, которое рассчитывает только на себя и на хорошо спрятанный пистолет, безотказный и неспособный обмануть. Я люблю этих неуступчивых ребят, я понимаю их. Мне хотелось в моем скромном фильме раскрыть перед зрителем тот сложный и трудный мир поколения, к которому я и сам принадлежу».

Никто, вероятно, не обрушивался на этот фильм и книгу[2] столь остро и однозначно, как Славомир Мрожек[3] (Kultura, Paryz, 1983). Для него это было сведением счетов с эпизодом собственной биографии, потому что когда-то для Славомира Мрожека «Пепел и алмаз» был способом порвать с банальностью провинциального антикоммунизма краковских мещан, дорогой к взлелеянной в мечтах современности. А ведь как утверждал Мрожек по прошествии многих лет, книга и фильм фальсифицировали послевоенную действительность.

---

[1] Подразумеваются события октября 1956 г. в Польше, отмеченные многочисленными массовыми манифестациями, требованиями разрыва со сталинизмом в управлении обществом и государством и общей верой в возможность построения в Польше демократического социализма.

[2] Одноименная повесть Е.Анджеевского легла в основу сценария фильма «Пепел и алмаз».

[3] С. Мрожек — известный современный польский драматург, прозаик и сатирик. Автор нескольких театральных пьес (в т.ч. «Эмигрантов»), получивших международную известность.

Он писал: «Что же происходило в Польше после войны? Неужели и вправду последующую войну начали польские фашисты, напавшие на польских коммунистов? Или же это была отчаянная, безнадежная, конвульсивная самооборона народа от новой оккупации и новой потери независимости, но на этот раз от рук восточного, а не западного могущественного соседа?»

Анджей Вернер («Polskie antypolskie», Polonia, London, 1987), вдумчивый аналитик западной культуры, в принципе разделяет мнение Мрожека. Оба они отрицают точку зрения, согласно которой Анджеевский, Вайда и герои повести и фильма не знали определенных фактов: все они знали достаточно много. «Однако, — добавляет Вернер, — слышать о некоторых фактах — это одно, и совершенно другое — понимать их, составлять на их основе целостную картину и делать прогноз на будущее.

В 40-е гг. вера или, по крайней мере, стремление к этой вере, а после 1956 г. и надежда на улучшение положения, порожденная действительным улучшением положения, задерживали знание фактов перед порогом их понимания».

Вернер прав. Фильм Вайды обращался в 1958 г. к другому опыту зрителя, нежели тот, который был накоплен Мрожеком спустя четверть века. И не к тому, который был получен непосредственно после войны.

Давайте взвесим: Хельминский и Щука. Первый несет в себе что-то из опыта Анджея Вайды и Збигнева Цибульского. Молодой и храбрый солдат АК боролся за независимую Польшу — пока мог. Он проиграл не по собственной вине, неумелости или трусости. Он проиграл, потому что так решили сильные мира сего. И вот он перестал видеть смысл в дальнейшей вооруженной борьбе: в убийствах коммунистов и в согласии на то, чтобы они убивали его. Он не хотел умирать — он хотел жить. «Конвульсивная самооборона народа» представлялась ему чем-то бесперспективным, изначально обреченным на поражение. Точно так же, как и герою «Ройстув» Тадеуша Конвицкого[1]. Если бы Хельминский выжил, его бы ждали допросы и пытки в управлении госбезопасности, плакаты на стенах — «АК — плюгавый карлик реакции», бегство за границу, жизнь

---

[1] Т. Конвицкий — современный польский прозаик и кинорежиссер. Участник движения Сопротивления (АК). «Трясина» (1948) — его первое крупное произведение, созданное на основе воспоминаний о партизанской борьбе АК в 1944—1945 на территории Литвы.

на обочине, в нужде. Или же наркотическое одурманивание коммунистической идеологией.

В 1956 г. люди вышли из тюрем, вернулись с Колымы, перестали скрывать свое АК-овское прошлое. Они стряхивали с себя идеологические иллюзии. Все это произошло благодаря Гомулке[1] — польскому коммунисту, который сам вышел из коммунистического застенка и обещал построить «польскую дорогу к социализму» — демократическую, суверенную, рациональную. Гомулка стал в октябре 1956 г. идолом миллионов поляков, символом возрожденной польской надежды. Щука из вайдовского «Пепла и алмаза» несет в себе что-то от этого мифологического Гомулки — честного коммуниста, который желает Польше добра. И — как следствие геополитического расклада — только коммунист имеет шанс это добро принести. Сделать же доброе дело для Щуки-Гомулки означает протянуть руку в знак примирения ровесникам Мацека Хельминского.

Так я понимаю глубинное послание этого фильма. Тогда оно многих не удовлетворяло. Виктор Ворошильский, один из лидеров взбунтовавшейся коммунистической интеллигенции, обвиненный Гомулкой в «ревизионизме»[2], спрашивал: «Только пепел?» И напоминал о правоте представителей антикоммунистического подполья. Он спрашивал: «Достаточно ли соображений исторической справедливости одной стороны для лишения другой стороны какого-либо права на справедливость — моральную, человеческую, какую угодно?»

Казимеж Дембицкий, отвечая ему на страницах «Политики», газеты ПОРП, спрашивал: «Только алмаз?» И объяснял: «противопоставление внутренне погасших старых коммунистов столь же внутренне холодным, лишенным веры молодым контрреволюционерам, бегство от борьбы идей в сторону борьбы людей ослабляет впечатление от фильма».

Фильм Вайды не мог удовлетворить участников политического спора своей неоднозначностью. А также потому, что спор о смысле

---

[1] В. Гомулка (1904—1982) — польский политический и государственный деятель. Первый секретарь ПОРП в 1956—1970 гг.

[2] В. Ворошильский — современный польский поэт, прозаик. До середины 50-х гг. писал в основном стихи, проникнутые агитационным пафосом и историческим оптимизмом. В 1955—1956 гг. в его творчестве все чаще начинают звучать горькие ноты, явившиеся следствием разочарования поэта в идеалах и практике социализма.

эпохи, о которой рассказывает фильм, принадлежит к числу наиболее фундаментальных и постоянно открытых.

Дело в том, что тогдашнюю историю разные люди запоминали по-разному. Мне самому близка точка зрения Мрожека, а также Яна Блоньского[1], высказанная им в фундаментальном эссе «О повести Анджеевского». Меня тоже мучают вопросы, много лет тому назад поставленные Ворошильским. Но именно вопросы. Коллективная память — это не таблица умножения. Прошлое откладывается у нас в памяти по-разному, и заблуждением является вера в существование единственной правды о судьбе польского народа.

Станислав Стомма[2] написал в 1968 г.: «Легально существовавшее государство (anno 1944) не было реальным, реальное же проявило себя как опровержение традиции и легальности» (Tygodnik Powszechny, 1968, n. 29). Конфликт между тем, что существовало реально, и тем, что было легально, был данностью, разделявшей поляков.

Означает ли такая точка зрения стирание границы между добром и злом? Не является ли она выражением морального релятивизма?

Я отвечу на эти вопросы вопросом: являются ли коммунисты частью польской истории или же в них следует видеть просто советских парашютистов? В ответе на него я согласен с Анджеем Вайдой: да, коммунисты являются частью польской истории. Я утверждаю это с позиции антикоммуниста и многократного заключенного коммунистических тюрем. Я оцениваю коммунистов по-разному, в целом очень критично и часто думаю о них с отвращением. Однако в этих оценках я избегаю манихейства, глобальной «дьяволизации» коммунистов. В том числе и потому, что результатом ее является превращение в ангела самого себя. Помимо всего прочего «Пепел и алмаз» показал встречу с Польшей Щуки, коммуниста, который прошел через фашистский концентрационный лагерь, капитана Вроны из управления госбезопасности, циников и карьеристов, коммунистической диктатуры и тайной полиции, встречу с Польшей несостоявшихся надежд, страданий, но и с Польшей будущего. Именно в этой Польше должен жить Анджей Вайда, которому в психологическом, биографическом и эмоциональном плане был

---

[1] Я. Блоньский — современный польский литературный критик, историк литературы, профессор Краковского университета.

[2] С. Стомма (1908) — известный польский католический публицист.

ближе Мацек Хельминский, но который вместе с Цибульским жил и творил в Польше Щуки и Вроны, дававшим ему разрешение на постановку новых фильмов.

И все же он должен был достойно попрощаться со старой Польшей, страной своего отца-улана в фильме о лошадях, кавалеристах, атаках уланов на немецкие танки. Позже он никогда не выражал удовлетворения этой работой. Он говорил о ней неохотно, сам себя критикуя. Совсем иначе дело обстоит с «Поколением», которое он вспоминал с нежностью.

Между тем «Лётна»[1] (по рассказу Войцеха Жукровского) и по прошествии 25 лет производит огромное впечатление. Несмотря на определенные длинноты и непоследовательность сценария, она значительно реабилитирует в исторической памяти столько раз подвергавшихся насмешкам уланов времен сентябрьской кампании[2]. Безнадежный трагизм их ситуации в сочетании с простым, человеческим рассказом о чувствах и любви позволяет воссоздать картину катастрофы Польши и трагедию ее защитников, людей мужественных. Чтобы ни говорили, но знаменитая, столько раз критиковавшаяся сцена атаки уланов на танки является замечательным, впечатляющим символом этой драмы. Именно такими мы были — героическими и бессильными в своем одиночестве. И все же свободными в своем стремлении быть свободными.

Мчащиеся через экран белые кони — что-то большее, нежели только выражение любви Вайды к отцу-улану. Этот навязчиво повторяющийся мотив звучит каким-то настойчиво посылаемым зрителю сигналом о существовании закадрового пространства, информацией о вещах, отсутствующих на экране, но присутствующих в сознании или подсознании каждого поляка. Мчащийся конь в фильмах Вайды чем-то похож на «мазурку Домбровского» в эпоху

---

[1] Действие «Лётны» (1959) происходит в сентябре 1939 г. в уланском полку. Среди его офицеров разворачивается соперничество за обладание лошадью по кличке «Лётна», которая символизирует для них стихию кавалерийской отваги. В ходе боев с гитлеровскими танками герои фильма и сама Лётна погибают, а ее последний владелец, опираясь на сломанный сук, уходит через границу Польши.

[2] Подразумевается разгром польской армии в результате нападения на страну гитлеровской Германии 1 сентября 1939 г. и вступления на восточные земли страны советских войск.

разделов[1]. Это сигнал зрителю о том, что «jeszcze Polska nie zginela» («Еще Польша не погибла»).

Этот художественный мотив-напоминание ПНР-овской Польше о Польше минувших дней повторяется и в последующих фильмах Вайды. Он повторяется лирично и иронично, героично и издевательски, но при этом повторяется постоянно. Легионеры и кивера в «Пепле», усадьба в «Паннах из Вилька» и в «Земле обетованной», хохол в «Свадьбе» и лесничиха в «Березняке», прохождение войск в «Хронике любовных происшествий». И так постоянно: сабля, белый конь, красные маки, рябина.

По отношению к национальному sacrum Вайда умел быть нежным и умел быть жестким. И обычно он одновременно использовал нежность и жесткую пронзительность, которая всегда является спутником правды в изобразительном творчестве. Ни к одному из своих героев он не относится однозначно. В каждом из них он замечает польское добродушие и отвагу, польскую наивность и потерянность, наконец, неизбежность поражения. Его герои проигрывают как поляки, граждане, любовники. Их искуплением является несогласие смириться с судьбой, неминуемо ведущей к поражению.

Болеслав Михалек обратил внимание на то, что в «Канале», «Пепле и алмазе» или «Летне» Вайда рассказывал о людях, которые, будучи воспитанными на польской романтической литературе, обращаются в минуту поражения к романтическому жесту несогласия с действительностью и вынесенным Историей вердиктом.

К такому жесту Вайда относится критически. Однако, с другой стороны, он наделяет своих героев такой красотой духа и таким богатым внутренним миром, что их жест несогласия становится для зрителя в чем-то похожим на образец для подражания. Ответ Вайды звучал: «Да, разум приказывает встать на сторону истории, на сторону событий, не принять которые нельзя. Но тут откуда-то появляется герой из совершенно другого мира, немного фантастический. И я отлично понимаю этого персонажа, возможно, лучше, чем кто-либо другой».

---

[1] Мазурка Домбровского — написанная в 1797 г. польская патриотическая песня, пользовавшаяся в эпоху разделов (т.е. в период борьбы польского народа за национальную независимость) необыкновенной популярностью. С 1918г. — национальный гимн Польши. Посвящена генералу Домбровскому (1755 — 1818) участнику восстания Костюшки и одному из создателей Польских легионов, сражавшихся на стороне Наполеона за независимость Польши. Приведенные Михником слова — первая строка песни.

Говоря иначе: фильмы Вайды — это постоянный спор между велением памяти и необходимостью жить. Из этого спора никто не выходит победителем. За исключением художника.

Вайда не только принимает польскую историю. Он вступает с нею и в драматический спор. Он раскрывает чудесные запасники польской национальной мифологии, но перед трибуналом национального самосознания начинает против нее новый процесс. Он грубо спрашивает: какой же была наша история на самом деле?

«Пепел», «Свадьба», «Земля обетованная» — это трехактное драматическое сведение счетов с тем представлением о Польше, которое, как говорил Бжозовский, «в своем стремлении избавиться от боли жаждет ободрения и успокоения, а не правды».

Каждый из этих фильмов вызвал возмущение и протесты, хотя каждый по разным поводам. «Пепел» (по Стефану Жеромскому, 1965), как можно предположить,имел двойную подоплеку. Это был эпизод из предъявления счета АК-овским поколением мифам собственной молодости и мифам патриотического воспитания, идеализированным и приукрашенным в соответствии с патриотическими установками в духе Сенкевича[1]. С другой стороны, этот фильм был уже эпизодом нового, возникшего уже в ПНР спора о модели патриотического воспитания, в ходе которого «нигилистам» и «космополитам» или, говоря другими словами, «злым насмешникам над героическим прошлым», противостояли новые проповедники национального величия, объединенные вокруг шефа МВД Мечислава Мочара[2].

Вайда — быть может, неосознанно — выступил против двух противников одновременно: против утвердившегося в массовом сознании представления о традиционном патриотизме, согласно которому польские легионеры, сражавшиеся бок о бок с Наполеоном за польское дело, заслуживали глубокого уважения, а также против тех представителей властей, которые сделали ставку на националистическую риторику с целью получения поддержки общества. Вайда

---

[1] Генрик Сенкевич (1846—1916) — классик польской литературы, лауреат Нобелевской премии (1905), автор многочисленных романов об истории Польши.

[2] М. Мочар (1913) — польский государственный и политический деятель, занимал ответственные посты в польских органах государственной безопасности и разведки. В 1964—1968 гг. — министр внутренних дел Польши. Под его руководством в середине 60-х гг. предпринимались попытки сплотить польское общество на основе националистических лозунгов.

обратился к Жеромскому за поддержкой против Сенкевича — а ведь и сам Жеромский немало пострадал от обвинений своих современников в псевдобольшевизме и порнографии. Жеромский писал не ради «укрепления сердец», а ради «просвещения умов».

В «Пепле» был показан польский пейзаж. В польских лентах не так уж много сцен, столь же красивых и столь же сильно трогающих польскую душу, как шляхетский санный поезд на масленицу, прекрасные девушки из шляхетских родов, прекрасные лошади, скачущие по заснеженным полям. Однако эта идиллия немедленно вступает в противоречие с остро показанной картиной унижения крестьянина: симпатичный польский шляхтич издевается над обнищавшим польским крестьянином. Эти сцены из «Пепла» являются как бы прологом к памятной картине из «Свадьбы»: изображение Якубы Шели[1] и крестьянские косы, приставленные к шляхетским горлам.

В «Пепле» изложен конечный результат развития патриотического сознания польского интеллигента, вышедшего из шляхты, но не равнодушно воспринимающего социальную несправедливость. Отсюда и возникает его парадоксальный конфликт с шляхетским консервативным патриотизмом, который сочетал в себе отказ смириться с неволей с отказом осуществить земельную реформу. «Пепел» — это счет, предъявляемый слепой верности Наполеону, относившемуся к польскому вопросу прагматично, а также любви к свободе, ведущей к участию в подавлении чужой свободы.

Польский зритель — возможно впервые — столкнулся с необыкновенно неприглядным изображением польского солдата-патриота, который предательски убивал жителей Санто-Доминго или насиловал монахинь в испанском монастыре. Это изображение становилось похожим на вызов, брошенный массовому сознанию. Оно вызвало многочисленные протесты и голоса возмущения. И власти оказались в затруднительном положении. С одной стороны, им было выгодно защищать доброе имя Польши и поляков от непокорного художника. А с другой, было трудно однозначно осудить фильм, являющийся экранизацией шедевра, в котором открыто говорилось о социальной несправедливости и подвергались критике фрагменты шляхетского наследия польской истории. Русские и на этот раз отсутствовали в

---

[1] Я. Шеля (1787 — 1846) — руководитель крестьянского восстания в Галиции в 1846 г. В ходе восстания было разгромлено несколько усадеб и вырезана семья одного из помещиков. Напоминание об этих событиях содержится в «Свадьбе» Выспяньского и Вайды.

фильме Вайды: художник в очередной раз что-то говорил обществу при помощи недомолвок, а власть вела тонкую и рискованную игру.

В чем состояла эта игра?

Кинематограф всегда принадлежал в Польше государству, целиком зависел от спонсора, которым являлись коммунистические власти. Книги можно было писать в стол, а картины писать на чердаках, отказываясь от работы для официальных издательств и галерей. Можно было даже заниматься неофициальным театром, но быть кинорежиссером и творить на полку было нельзя. У спонсора тоже были свои требования. Он хотел видеть в художественном произведении определенное содержание и ждал от художника определенного поведения на публике. Тоталитарный спонсор нуждался в художнике, поскольку его работа и заявления были важным фрагментом легитимизации власти. Но и артист нуждался в спонсоре для того, чтобы иметь возможность творить. Эта взаимозависимость создавала силовое поле, в котором функционировала вся польская культура.

Быть режиссером в Польше означало не только снимать фильмы, но и получать согласие спонсора на постановку этих фильмов. И это согласие имело свою цену.

В сталинский период ею было полное одобрение коммунистической доктрины и поэтики соцреализма. Позднее возникла довольно широкая серая полоса между тем, что было запрещено, и тем, чему приписывался обязательный характер. На этой территории располагалась «польская школа», известные фильмы Анджея Вайды, а также взгляды художника как гражданина.

В первые послеоктябрьские годы открытой оппозиции не существовало — была только эмиграция. Анджей Вайда тоже не был «интегральным» оппозиционером. Он сумел, так же как и все его поколение, эффективно действовать «в рамках системы», которая в 1956 — 1968 гг. предоставила творческой интеллигенции значительную свободу и позволяла сохранять иллюзии относительно своей природы. По-прежнему были живы порожденные польским Октябрем надежды, которые способствовали сохранению критического отношения к действительности и спокойному дистанцированию от политики. Это время было не столько временем внутренней эмиграции, сколько чем-то вроде «снов под снегом» в эпоху «малой стабилизации»[1]. Приведенные здесь определения Во-

[1] Имеется в виду период 60-х гг., отмеченный замедлением темпов экономического развития страны.

рошильского и Ружевича[1] дают хорошее представление о царившей тогда атмосфере. В ней была горечь отказа от октябрьских мечтаний, согласие на существование в мире геополитики, данное в дыму горящего Будапешта, а также какие-то остатки согласия с социалистической идеей и остатки веры в реформируемость системы.

Это время было временем не борьбы с системой, а спора относительно ее формы. При этом задавался не вопрос «Нужен ли нам социализм?» вообще, а «Какой социализм нам нужен?».

Публичная дискуссия, которая разгорелась вокруг «Пепла», привела к поляризации общественного мнения. Она предшествовала той риторике, которая стала доминировать в польской интеллектуальной и политической жизни в 1968 г. — риторике, направленной против интеллигенции. Она предшествовала и той демагогии подкармливаемого сверху национализма, который пытался найти союзника в оскорбленном чувстве собственного достоинства поляков.

До конца ли понимал художник этот сложный контекст: попранное национальное достоинство, искавшее опору в мифологизированных картинах прошлого, и беззастенчивая наглость партийно-полицейских чиновников, которые начали грубую борьбу за власть, обратившись к патриотическим фразам и антисемитским выступлениям?

В совершенно других политических и культурных реалиях создавалась «Свадьба» (по Станиславу Выспяньскому, 1972). События Марта 1968 г.[2] принесли с собой много нового. Вайда через несколько лет сказал: «Наступает катастрофа 1968 г., в результате которой эти ужасные фигуры польских националистов исчезли (...). Польское кино было отдано в руки людей, пришедших со стороны, а также в руки наших коллег — Порембы, Петельского, Филипского, и вот уже власть не дискутирует о том, что можно и чего нельзя делать, и только эти коллеги являются нашими полицейскими».

---

[1] Т. Ружевич (р. 1921) — польский поэт.

[2] В марте 1968 г. произошли студенческие волнения, вызвавшие широкий общественный резонанс и отразившие недовольство интеллигенции проводившейся руководством страны политикой. С целью привлечения на свою сторону широких кругов населения некоторые представители руководства партии попытались использовать бытующие в польском обществе антисемитские настроения, подчеркивая тот факт, что значительная часть польской интеллигенции и студенческих лидеров являлась лицами еврейской национальности.

Что и говорить, последствия исторических катастроф для культуры не бывают однозначными: разгром польской интеллигенции и интервенция государств Варшавского договора в Чехословакию повлекли за собой моральное пробуждение элиты, которая новым взглядом окинула коммунистическую систему. Эта система предстала перед такими людьми, как Анджей Вайда, во всем своем гротесковом и отвратительном виде. Поэтому падение Гомулки после выступлений судостроителей в декабре 1970 г.[1] и обещания Герека[2] уже не породили надежд, сопоставимых с Октябрем 1956 г. Герек — прагматичный и осторожный политик, технократ — не вызвал больших иллюзий. После напряжения конца 60-х гг. пришло время тягостного спокойствия, безумного безволия.

В этой обстановке и возникла «Свадьба» Вайды. Автором сценария был Анджей Киёвский, непокорный дух польской литературы[3]. Он превратил шедевр Выспяньского в совершенное произведение о современности, отлично дополняющее атмосферу польских дискуссий. В очередной раз Вайда, обращаясь к экранизации произведения, принадлежащего к пантеону польской литературы, и пользуясь исторической тематикой, сказал что-то важное о польской современности.

Поистине парадоксом является то, что на «Свадьбу» обрушился с критикой Антоний Слонимский — писатель, известный своей смелостью и последовательно независимыми взглядами, пользовавшийся огромным моральным авторитетом[4]. Он обвинил Вайду в деформации художественного замысла Выспяньского, а в результате — в осмеянии вольнолюбивых традиций польской литературы. Я помню мои

---

[1] В декабре 1970 г. произошли столкновения рабочих-судостроителей Гдыни и Щецина с армией, в ходе которых погибло около 100 и было ранено более 1000 человек.

[2] Имеются в виду обещания пришедшего к власти в декабре 1970 г. Э.Герека повысить жизненный уровень населения путем проведения экономических реформ и развития экономических связей Польши с Западом.

[3] А. Киёвский (р. 1928) — литературный критик, прозаик, эссеист. Главная тема его литературоведческих работ — влияние художественного творчества на формирование общественного сознания. В своей прозе неоднократно обращался к морально-психологическим проблемам времен гитлеровской оккупации.

[4] А. Слонимский (1895—1976) — известный польский поэт, сатирик, публицист, драматург. В 1946—1948 гг. руководил секцией литературы ЮНЕСКО, в 1956—1959 гг. — занимал ответственные посты в Союзе польских писателей.

споры с Антонием Слонимским на эту тему, а также мое замешательство в ходе развернувшейся о «Свадьбе» дискуссии. Фильм представлялся мне необыкновенным по своей красочности, атмосфере и страстности, достойной Выспяньского. А также из-за написанной пером Киёвского сценой встречи австрийского патруля с русским на границах обоих разделов, недалеко от избы, в которой шла свадьба. Эта сцена придала фильму новое измерение — измерение чужеземного насилия. Но в то же время я не до конца понимал драматичную символику призрака Тарговицы, призрака Шели, погибшего рода, а прежде всего — изображение крестьянских кос у шляхетских горл.

В той обстановке безумного безволия первых лет правления Герека «Свадьба» Вайды казалась мне небезопасной смесью увлеченности историей с апофеозом вечной неудовлетворенности и неизбежного поражения.

Это изображение общества, которое, выпив водки, грезит о своем необыкновенном прошлом и говорит о необходимости действовать, а протрезвев — погружается в повседневный конформизм, казалось мне несправедливым. Однако эта картина невыносимости польской жизни, наблюдавшаяся вскоре после декабря 1970 г. и в условиях еще свежих воспоминаний о марте 1968г., — напомнила мне о центральной польской проблеме: взаимоотношениях между т.н. интеллигенцией и т.н. народом.

Пытаясь вновь сформулировать эту дилемму, Вайда обратился к «Свадьбе» Выспяньского не только как к литературному произведению, но и как к мифу польской культуры.

В результате «Свадьба» Вайды стала интерпретацией — и вполне оправданной — национального мифа. Образ Польши, оказавшейся в тесной избе, где чувство единения переплетено с враждебностью, где любовь пересекается с ненавистью, где сталкиваются разные варианты исторической памяти народа, где героизм соседствует с преступлением, где ксендз в сутане является таким же неотъемлемым элементом пейзажа, как еврей в ермолке, где поэт мечется в поисках понимания судьбы этого народа, — все это необыкновенное достижение Анджея Вайды.

Знаменательная вещь — польская критика очень живо среагировала на этот фильм, но разгоревшийся в ней спор велся в основном о второстепенных вещах. Великая притча о Польше переросла своих критиков, которые не слишком хорошо разбирались в состоянии духа собственного народа. Только через много лет стал виден пророческий

характер «Свадьбы»: от всеобщего бессилия ко всеобщему бунту. И все это на фоне отблесков кос в руках народа, которые вновь прочно вошли в польскую историю.

В «Земле обетованной» (поставленной по Владиславу Реймонту в 1975 г.) роль крестьянских кос выполнил камень, пущенный в окно управления фабрикой из взбунтовавшейся толпы рабочих.

Обратившись к повести Реймонта, Вайда вступил на малоисследованную почву: создание крупных состояний в промышленной Лодзи, возникающие в ходе этого процесса страсти и социальная напряженность. Польский шляхтич, герой подавленных восстаний и проигранных войн, становится капиталистом.

По мере развертывания сюжета «Земли обетованной» происходит превращение в ничто кодекса чести дворянских родов уходящей в прошлое Польши, чудесного мира дворянской усадьбы, синдрома польских добродетелей — верности традиции и религии, уважения и смелости, проявленной во время выполнения патриотического долга, милосердия к бедным и униженным. Этот мир уходит вместе с отцом Кароля и его ясноглазой невестой, с усадьбой, проданной хаму-нуворишу. На его место приходит цинизм, грубая алчность, забвение христианских принципов.

Люди, делающие большие деньги, презирают историческую традицию и идеалы отцов. Это презрение в равной степени демонстрируют и польский шляхтич Кароль Боровецкий, который после недолгого колебания обкрадывает самых близких ему людей и лжесвидетельствует на образе Богородицы, и немец Макс Блюм, который доводит до разорения собственного отца, и еврей Морис Вельт, который хладнокровно обирает друга семьи.

Этот своеобразный интернационализм в проявлении капиталистической мерзости в очередной раз дезориентировал критиков Вайды. В том числе и потому, что в основе «Земли обетованной», отлично сконструированной картины развития дикого капитализма в Лодзи, лежит весьма сложный контекст. Ведь все это происходило тогда, когда руководящие круги ПОРП бросили лозунг: «Обогащайтесь!». И художник обратился к истории, чтобы показать другую сторону возникающего богатства. Это было время, когда среди интеллектуальных элит возрождался миф о прекрасной Польше — Речи Посполитой — родине многих народов. Появилась потребность в новом обращении к традиции. И художник упорно раскрывал другую сторону польской многонациональной традиции. Одновременно он показал мир нищеты, несчастий, несправедливости — польской,

еврейской, немецкой. Несправедливость, которая становилась зерном будущего бунта. После выступлений рабочих в декабре 1970 г. и до их выступлений в Радоме и Урсусе в июне 1976 г.[1] этот фильм, следовательно, становился реакцией на происходящее и пророчеством на будущее.

Первой реакцией на «Землю обетованную» были, естественно, обвинения в антипольскости. На этот раз впервые им сопутствовали и появившиеся за границей обвинения в антисемитизме. Для польских националистов решающее значение имело то, что художник показал цинизм и подлость Боровецкого, польского шляхтича, у которого возникли общие деловые интересы с евреем Морисом Вельтом. Для еврейских националистов было ужасно увидеть подлинную картину еврейского общества в Лодзи — картину богатства, накопительства и ловкачества — но также картину бедности и несправедливости.

Нет смысла доказывать, что этот прекрасный фильм не был ни антипольским, ни антисемитским. Критиков и обвинителей, которые используют такого рода аргументы, ничто и никто не переубедит. «Земля обетованная» является рассказом и притчей. Рассказом о неизвестной предыстории польской современности и притчей о другом лице польского общества и его возможных персонификациях: алчном и безжалостном потомке рыцарского рода, немецком и еврейском бизнесмене, которые порывают с моральными канонами собственной религии и культуры.

В те годы среди стремительно богатевших людей появилось слово «роболь»[2]. И этот роболь потянулся в фильме Вайды за камнем...

А как власть отнеслась к фильму Вайды? В отделе идейно-воспитательной работы ЦК ПОРП была составлена инструкция для цензоров в связи с дискуссией, развернувшейся вокруг фильма. В ней, в частности, говорилось о том, что Вайда с «идейной и политической точки зрения стоит не на нашей стороне. Он скорее занял позицию, часто встречающуюся среди художников, — позицию «бесстрастного судьи» событий минувшей истории и сегодняшнего дня, полагая, что имеет право и объективную возможность оценивать в соответствии с имеющимися у него представлениями о гуманизме и морали все

---

[1] Летом 1976 г. в Урсусе и Радоме произошли волнения рабочих, недовольных своим экономическим положением.

[2] Синоним русского слова «работяга», но с отчетливым уничижительным оттенком.

существующие в мире проблемы и что для этого ему не нужен ни марксизм, ни какая-нибудь другая социально-философская система».

Далее мы читаем: «В "Земле обетованной" личный взгляд Вайды совпал с классовой интерпретацией истории. Для его творчества это факт новый и неожиданный. Этот факт дезориентировал нашу и без того слабую в методологическом и политическом отношении кинематографическую критику».

Затем специалисты из отдела идейно-воспитательной работы ЦК ПОРП охарактеризовали выявившиеся в ходе дискуссии позиции. У рецензентов, связанных с лагерем Мочара, они нашли обвинения Вайды в «антипольскости», поскольку «Вайда за счет поляков подчеркивает достоинства еврейских персонажей». Далее мы читаем: «Беспокойство выразили также сионистские круги, усмотревшие в фильме нападки на существующую у них систему ценностей».

Что же в итоге партийный чиновник велит делать цензорам и рецензентам?

«Вайда нарисовал ужасную картину эксплуатации рабочего класса, проявляемую капиталистами солидарность», в результате чего фильм является «хорошим подтверждением нашей исторической правоты». И затем: «Необходимо осторожно подчеркивать, что Вайда высказался с классовых позиций (...). Это может отдалить Вайду от кругов, недоброжелательно относящихся к вмешательству искусства в политику и приблизить его к нашему художественно-пропагандистскому тылу».

И, наконец, заключение: «Необходимо хвалить произведение, а не автора. Нельзя выставлять Вайду в качестве глашатая марксизма, но следует подчеркивать объективную, идейно-воспитательную ценность «Земли обетованной».

Этот архиинтересный документ показывает, каким образом власть предержащие рассчитывали защитить Вайду от агрессивных наскоков критиков типа Божены Кшивоблоцкой, а также как они пытались приручить и подкупить художника.

Я считаю, что Вайда вел упорную и последовательную игру с обществом и властью. Результатом игры с обществом был специфический язык фильма Вайды: тому, что называлось и показывалось, всегда сопутствовало то, что не показывалось и не называлось. Мчавшийся во весь опор белый конь, красные маки, сабли и рябина — все это были сигналы к взаимопониманию. Время от времени Вайда однако начинал сомневаться в ясности этого языка. Тогда он

обращался к однозначно современным темам. Приглядимся поближе: «Невинные чародеи», «Все на продажу», «Охота на мух», «Без наркоза», «Человек из мрамора».

«Невинные чародеи» (1960) — это изящный фильм, рассказывающий о природе «малой стабилизации», или , говоря иначе, о людях, которые считали вполне разумным отказаться от собственного прошлого и собственной памяти. Они были именно такими. Они не хотели помнить ни Варшавского восстания, ни Армии Крайовой, ни Союза польской молодежи[1], ни сталинских процессов, ни октября 1956 г., ни советской интервенции в Венгрию. Эти люди на самом деле увлекались джазом, действительно любили, страдали, радовались жизни. И все же жили ненастоящей, исполненной обмана жизнью.

Поражение героев «Невинных чародеев» Вайды являлось следствием их решения жить вне биографии и вне памяти, ориентируясь исключительно на потребности завтрашнего дня.

Это звучит хрестоматийно и декларативно. Ведь существуют люди, которые обожают музыку, влюбляются, живут, совершенно не интересуясь политикой. И Вайда обладает абсолютным слухом на такой тип человеческих судеб. Это именно о нем рассказывают «ивашкевичевские» фильмы художника — «Березняк» и «Панны из Вилька». Однако «невинные чародеи», молодые люди из поколения художника (Тадеуш Ломницкий в главной роли, а также Кшиштоф Комеда),[2] производят впечатление людей, пораженных коллективной амнезией. Они не являются людьми, сознательно живущими вне политики и истории, — это люди просто с ампутированной памятью. Но можно ли жить без памяти?

Во «Все на продажу» дело обстоит как раз наоборот. Это фильм о памяти, о том, что нельзя забывать о человеке, который помнит фрагменты собственной биографии и чувствует за нее ответственность. Это фильм о пустоте, которая возникла в поколении Анджея Вайды после смерти Збигнева Цибульского.

Збигнев Цибульский был мифом нескольких поколений. Десятки людей признавались в любви к девушкам теми же самыми словами, которыми признавался Цибульский своей любимой в разрушенном костеле. Этой популярностью он был обязан Вайде, потому что именно «Пепел и алмаз» создал из него польского Джеймса Дина,

---

[1] Союз польской молодежи — польский аналог ВЛКСМ.

[2] Т. Ломницкий, К. Комеда — известные современные польские актеры.

погибающего парня из АК, который любит жизнь и хочет жить. Его кинематографическая смерть была тем большей трагедией, что он хотел жить. Эта смерть возвращала чувство собственного достоинства тем людям, которые пережили смерть своих друзей и по-прежнему любили жизнь.

Однако вот он умер на самом деле.

И Анджей Вайда решился сделать фильм о легенде поколения, актере, идоле общества, символе проигравшего поколения. Таком же, как и сам Вайда.

Однако фильм «Все на продажу» — хоть и отлично задуманный, и мастерски сделанный — был уже только некрологом. Для поколения символичным являлось то, что Вайда сопоставлял свершения Цибульского с картинами Анджея Врублевского[1], преждевременно умершего художника из того же самого поколения. Это была, следовательно, элегия на тему прощания с поколением, которое в условиях несвободы и сосуществования с коммунистической властью, переживая драмы и идя на компромиссы, стремилось сберечь «гордость и благородство предшествующих поколений».

Этот прекрасный и проникновенный фильм о Збигневе Цибульском одновременно является выражением размышлений художника над собственным искусством, над кинематографом, над ролью собственной профессии. Фильм о фильме и кинематографистах с их запутанными взаимоотношениями с модой, традициями, обществом. Это очень личный и автобиографический фильм, очередной отличный фильм о собственной поколении, на жизнь которого легла тень.

Не случайно Анджей Вайда признался в одном из интервью, что он хотел в этом фильме показать «некоторых людей в нашей стране в 1968 г.».

В этом отношении он достиг частичного успеха. Он запечатлел элитарный варшавский салон, который скорбит по поводу смерти погибшего легионера в то время, когда молодые подхорунжии отправляются захватывать Бельведер[2].

Со смертью Збышека Цибульского АК-овский миф из современности переходил в историю. Через несколько лет Вайда говорил: «Осенью 1968 г. я не верил уже никому. Я не был студентом и со

---

[1] А. Врублевский (1927—1957) — польский художник. Его творчество отличалось склонностью к экспрессионизму и сюрреализму.

[2] Бельведер — дворец в Варшаве, ныне резиденция Президента республики, символ власти в Польше. В данном эпизоде — место пребывания русского наместника в Польше, с попытки захвата которого началась революция 1830г.

стороны наблюдал за их борьбой и их отчаянием, я везде видел обман и предательство. И тогда я начал снимать фильм о жизни артиста, фильм о себе: «Все на продажу».

В 1968 г. улицы польских городов жили уже другой жизнью. Люди смотрели в отвратительное лицо власти и на полицейские дубинки вместо того, чтобы совершать проникнутые ностальгией прогулки над Вислой. По крайней мере, сам я запомнил именно такую жизнь. Мой мир в 1968 г. был миром, в котором жизнь проходила без лирико-ностальгического наркоза.

Героями «Невинных чародеев» и «Все на продажу» стали ровесники Вайды. Точно так же, как и в фильме «Без наркоза» (1976). Однако этот фильм, снятый в атмосфере «морального беспокойства»[1], стал своеобразным сведением счетов с ранним Вайдой, избегавшим прямого вмешательства в современность. Кшиштоф Валицкий, критик и эссеист, связанный с демократической оппозицией, написал после премьеры в одной французской газете: «Анджей Вайда сделал решающий шаг! После захватывающего «Человека из мрамора», в котором он показал сталинизм в действии в Польше в 50-е годы, польская премьера «Без наркоза» вновь стала событием: это первый смелый взгляд на современную польскую действительность».

Михаловский, герой «Без наркоза», отчасти напоминает Ришарда Капущинского, автора «Императора»[2]. Этот человек добился успеха в жизни мало типичным для ПНР образом — сделав себя сам. Вайда наделил его чертами собственной биографии: молодостью, удавшейся в ПНР карьерой, наивной чистотой веры в правду и внутреннюю свободу, а также убеждением в том, что необходимо жить достойно — хотя бы ради своих собственных детей.

Михаловского бросает жена, избранником которой становится молодой журналист Рошчишевский, типичный продукт эпохи марта 1968г. с ее безудержной демагогией. Новоиспеченный карьерист, произносящий пустые фразы о «либералах» и «собирающихся в кафе» оппозиционерах, — это один из лучших психологических портретов людей,

---

[1] «Моральное беспокойство» — термин, обозначавший тревожные настроения широких кругов интеллигенции и польского общества в середине 70-х гг., связанные с ухудшением экономического положения страны и с недовольством нездоровым морально-политическим климатом, сложившимся в Польше к этому времени.

[2] Р. Капущинский — современный польский журналист и писатель. Получил известность своими острыми репортажами о жизни стран третьего мира. «Император» (1978) — полная гротеска и иронии повесть о жизни императора Эфиопии Хайле Селайссие I.

которые постепенно приходили к власти в Польше. Конфликт Михаловского и Рошчишевского — это столкновение двух существовавших в ПНР типов людей: «либерала» (прекрасно сыгранного Збигневом Запасевичем) и порождения Союза польской молодежи, имеющего покровителя (наподобие Юзефа Тейхмы[1]) где-то наверху, т.е., говоря иными словами, карьериста мартовского призыва, прекрасно сыгранного Анджеем Северином.

Этот конфликт хорошо показывает духовное состояние самого Вайды. Режиссер обрек своего героя на полное поражение, т.к. в его системе ценностей и жизненной позиции уже не осталось места ни на согласие с политическими хулиганами новой волны, ни на бунт. Режиссер отлично схватил новую дилемму, которая появилась одновременно с возникновением КОР[2] и демократической оппозиции: игнорировать эту оппозицию или поддерживать ее.

Писатель, ученый, артист, подписавший коллективное обращение относительно политических заключенных или цензуры, рисковал оказаться в «черном списке» подозрительных лиц. Затем он мог потерять возможность постановки фильмов, работы в театре, публикации книг, преподавания в вузе. Он смотрел на этих молодых оппозиционеров со смешанным чувством неуверенности и удивления. Он удивлялся их смелости и решительности, но не верил в их действенность. Да и как он мог поверить, что он выиграет, бросая вызов всей мощи советской империи?

Он не очень верил также в смысл своего вмешательства в политику. Ведь он уже столько раз обжигался на участии в политических играх. Стоя перед выбором между съемками фильма и подписью под письмом-протестом, он обычно выбирал фильм.

В результате он находился несколько в тени, хотя своим творчеством и способствовал выработке языка и этноса демократической оппозиции. Чем был бы этот этнос без фильмов «морального беспокойства»? (А ведь уже тогда оппозиционно настроенный фундаменталист не хотел вдаваться ни в какие нюансы: оценивая художника, он впадал в резкий и оскорбительный тон. Он говорил: «Гнида».

---

[1] Ю. Тейхма — польский государственный деятель. В 1974—1978 гг. — министр культуры ПНР.

[2] КОР (Комитет защиты рабочих) — организация, созданная в 1976 г. представителями польской интеллигенции и ставившая перед собой целью оказывать помощь участникам рабочих волнений в Радоме и Урсусе в 1976 г. Сыграла огромную роль в подготовке событий 1980 г.

Таким образом ненависть и презрение становились молочными сестрами свободы и смелости.)

Михаловский был не в состоянии пойти путем, по которому шла в этом фильме студенческая демократическая оппозиция. Молодые люди, собирающие подписи под письмами-протестами, были героями уже других историй: они являлись предшественниками революции, осуществленной «Солидарностью»[1].

На чем основана разница в этих историях, разница в перспективах?

Для людей поколения Михаловского из «Без наркоза», для режиссера из «Человека из мрамора» (1977) и для самого Вайды правила жизни в ПНР был чем-то обременительным, но в то же время естественным и само собой разумеющимся, как времена года. Зато те молодые студенты из «Без наркоза», взбунтовавшиеся подобно Агнешке из «Человека из мрамора», подобно моим коллегам по КОРу и студенческим комитетам самообороны[2], от этих правил игры ПНР отказались.

«Человек из мрамора», снятый по сценарию Алесандра Щчибора-Рыльского, автора выдержанной в духе соцреализма повести «Уголь», принадлежит к числу наиболее выдающихся, важнейших фильмов Вайды. И наверное, к числу самых личных. В этом фильме разные герои. Биркут, маляр, передовик сталинской эпохи, отважный защитник справедливости, позже арестованный по вымышленному обвинению. Режиссер (превосходно сыгранный в фильме Тадеушем Ломницким, тогдашним членом ЦК ПОРП), который в молодости снял пропагандистский фильм о Биркуте, а потом стал представителем истеблишмента, известным, отмеченным многими наградами человеком. Наконец, Агнешка — молоденькая выпускница школы кинематографии, которая хочет сделать на телевидении фильм о Биркуте. Она не снимет этот фильм, т.к. выяснится, что Биркут куда-то исчез, а шефов телевидения эта тема перестала интересовать.

---

[1] «Солидарность» — польский независимый профсоюз, созданный в сентябре 1980 г. Организатор массовых забастовок польских трудящихся летом 1980 г. с требованием проведения экономических реформ, свободных выборов, признания права профсоюзов принимать участие в решении важнейших проблем страны и т.д. В 1980—1981 гг. насчитывал в своих рядах около 10 млн. человек, что позволило ему стать наиболее влиятельной общественно-политической силой страны 80-х гг. Начавшие проводиться под его нажимом реформы знаменовали переход Польши от социализма к капитализму.

[2] Студенческие комитеты самообороны — оппозиционные организации польской молодежи, существовавшие в Польше в 70-х гг.

К счастью, Вайда свой фильм сумел закончить. Он говорил о нем: «Я не могу сказать — «они». Кто «они»? В 1959 г. я поехал... в качестве ассистента в Новую Гуту снимать фильм наподобие того, о котором рассказывается в «Человеке из мрамора». Что же, следовательно: ко мне это не относится? Я был безупречным? Нет, это неверно, ведь меня в то время к этой работе никто не принуждал. Я сам за нее взялся. И я хочу сегодня об этом рассказать».

И он рассказал.

Фильм вышел на экраны через несколько месяцев после волнений рабочих в Урсусе и Радоме в июле 1976 г. В дневнике Юзефа Тейхмы, тогдашнего министра культуры, можно прочитать заметку о его разговоре с Вайдой и Щчиборой-Рыльским. Под датой 11 декабря 1976 г. мы там находим:

«План разговора с Вайдой. Фильм выйдет на экраны. Необходимы определенные изменения. Главное: убрать из окончания кладбище в Гданьске, которое напоминает о событиях декабря 1970 г. Приглушить то, что имеет отношение к полицейским акциям властей в 50-е гг.; убрать фразу — "Какая это кошмарная архитектура" (замечание касается Новой Гуты, но ассоциируется с памятником Ленину). Убрать сцену выбивания стекол в здании госбезопасности.

Я добавил, что фильм вызвал бурю, но ей можно придать очищающий характер. Вайда и Щчибора-Рыльский спокойно отнеслись к моим замечаниям, но заявили, что они должны сохранить лицо перед кинематографической молодежью, которая знает сценарий и фильм. Если должен начаться процесс его сокращения (фильма) и должен появиться фильм, носящий имя Вайды, но противоречащий его убеждениям, то на это режиссер согласиться не может. Разговор был скорее предупреждением Вайды на будущее».

Цензура запретила какое-либо упоминание о фильме до премьеры, а позднее старательно ликвидировала положительные рецензии. Тейхма отметил в дневнике бешеную реакцию партийного аппарата на фильм Вайды, публичные нападки, требования наказания. Он отметил также мнение премьера Ярошевича: «Фильм Вайды плох с политической точки зрения, но привлекателен с художественной, и люди его должны увидеть».

Через несколько месяцев после премьеры «Человека из мрамора» Тейхма вновь встретился с Вайдой. Он записал 6 мая 1977 г.:

«Разговор с Вайдой. Он говорит: «Мне грустно. Почему на мой фильм начата охота? Почему некоторые не могут понять, что не существует знака равенства между искусством и политикой? А ведь

могла начаться хорошая дискуссия о важных для Польши вопросах. Единственное, что меня радует, это возникновение из небытия когда-то знаменитого строителя, передовика Краевского, который полемизировал с фильмом, хотя доброжелательно и культурно». «Более того, пан Анджей, — добавил я, — в этом году во время празднования Первого мая впервые несли портреты передовиков производства в прошлом». «Они говорят, — продолжает Вайда, — что я оскорбил рабочий класс. На встрече с режиссером один рабочий сказал, что не чувствует себя оскорбленным, т.к. те времена были еще более сложными, чем показано в фильме». «Важнее всего, что этот фильм вообще был создан», — так я закончил разговор».

Цензорские записи, заметки Тейхмы хорошо показывают климат, в котором возникали фильмы Вайды. Такую игру вели все выдающиеся художники, писатели, ученые, которые пытались найти какую-то точку равновесия между необходимостью присутствовать в официальной жизни и сохранением независимости по отношению к существующему диктату. Примером идеального конформиста может являться Ярослав Ивашкевич[1]. В течение десятилетий он поддерживал своим авторитетом коммунистическую власть, в качестве председателя СП Польши санкционировал все акции, направленные против оппозиционных писателей. А ведь одновременно он защищал тех же самых людей в закулисных разговорах, ходатайствовал об отмене идущих сверху приказов и смягчении репрессий. Он был главным редактором «Творчества», лучшего литературного ежемесячника между Эльбой и Владивостоком.

И одновременно он писал — очень часто необыкновенно хорошо и мудро — поэзию и прозу. Два его рассказа стали канвой для фильмов Вайды. «Березняк» и «Панны из Вилька» не имели ничего общего ни с политикой, ни с Великой Историей. Несмотря на это, оба эти фильма естественно нашли свое место в творчестве Художника. Оба они являются выражением раздумий над природой человека, над любовью и смертью, мечтами и их осуществлением, необузданной природой тела и миром природы. Оба они — это предложение иначе взглянуть на себя, создать другой пейзаж, выразить иную мечту.

На фоне официальной дешевки, распространявшейся официальными властями, прекрасные экранизации замечательных рассказов

---

[1] Я. Ивашкевич (1894—1980) — крупнейший польский писатель, общественный деятель. Председатель Союза писателей Польши в 1945—1949, 1959—1980 гг.

Ивашкевича приобретали новый смысл. Они защищали эстетический и человеческий этос среди мишуры пустых слов и верноподданнических деклараций. Новый смысл приобретали также компромисс Вайды и конформизм Ивашкевича: эта игра временами приобретала спасительный для польской культуры характер.

И все же недостатка в добровольных разоблачителях этой игры среди артистических неудачников, поддерживающих коммунистическую власть, не было.

В 1974 г. на страницах краковской «Литературной жизни» появилась острая атака на Вайду и Пендерецкого[1]. Оба обвинялись — а как же! — в отсутствии патриотизма.

Ярослав Ивашкевич ответил на страницах «Творчества»: «Эта полемика, это упоминание фамилии журналиста, выступившего с нападками на Вайду, Пендерецкого и др. in mente за отсутствие патриотизма и за антипольские тенденции в их творчестве, меня несколько смущает.

Сначала мне даже было приятно читать. Мне вспомнились те давние времена, когда боролись с Рытлем[2], со Станиславом Пеньковским[3], когда от подобных нападок защищали Кароля Шимановского[4]. Ну, а потом мне сделалось очень грустно. Из-за того, что эта дикость настолько не меняется, что она настолько устоялась и что с ней не могут совладать даже радикальные социальные перемены, происшедшие в нашей стране. Все же самым крупным писателем на свете был Эразм Роттердамский — это он прославил вечную и неизменную человеческую глупость».

Какая замечательная реплика! И насколько актуальная...

Я пишу эти слова не без внутреннего сопротивления. В то время меня раздражало стремление к компромиссам и конформизму, т.к. сам я придерживался иных взглядов. Я считал, что необходимо бороться с монополизмом тоталитарного государства в области культуры и старался это осуществлять на практике.

С этой точки зрения Ивашкевич представлялся мне оппортунистом. Однако сегодня я думаю, что я должен скорректировать этот

---

[1] К. Пендерецкий (р. 1933) — крупнейший современный польский композитор, автор симфонических, вокальных и инструментальных произведений, написанных часто на библейские сюжеты.

[2] П. Рытль (1874—1960) — польский композитор и педагог.

[3] С. Пеньковский (1875—1944) — польский литературный критик, публицист, поэт, сторонник крайне националистических взглядов.

[4] К. Шимановский (1882—1937) — крупнейший польский композитор и пианист XX в.

подход. Культура — это единое целое. Каждая ее составляющая неустранима настолько, насколько она несет правду и добро. Заслуги Ивашкевича в этой области сегодня столь же бесспорны, сколь бесспорным тогда был его конформизм.

Официальная идеология часто являлась полным отрицанием официальной практики. Этот разрыв отчасти развязывал человеку руки и предоставлял ему какую-то свободу маневра. Почти все фильмы Вайды возникали на этой территории и почти все симулировали некое сходство с официальной идеологией и политикой. С этой точки зрения «Канал» мог рассматриваться как совпадающая с линией партии реабилитация аковцев, «Пепел и алмаз» — как осуждение антикоммунистического подполья и одобрение настоящих коммунистов типа Щуки, «Лётна» — как разоблачение существовавшей накануне войны системы власти, «Пепел» — как критика шляхетского менталитета и т.д. А между тем эти фильмы совершенно иначе оценивали Польшу и поляков в процессе драматического диалога с польским зрителем.

Иначе дело обстояло только с «Охотой на мух» (1969), поставленной по рассказу Януша Гловацкого. Это ироничное повествование о молодой варшавской интеллигенции возникло в атмосфере волнений 1968 г.

Эти волнения начали литераторы и студенты, которые именно тогда стали ходить в студенческих фуражках. Эти фуражки, которые в принципе студентами ни раньше, ни позже не носились, были символом принадлежности к корпорации взбунтовавшихся и непокорных людей.

Именно такие фуражки носят молодые герои «Охоты на мух». И тем не менее они ничем не напоминают своих непокорных сверстников. Они пусты и циничны, как литератор Олубец, и ослеплены цинизмом, подобно студентке-полонистке Ирене, говорящей на языке, напоминающем жаргон сотрудников Института литературных исследований. Эти молодые люди — карикатура на золотую молодежь из памфлетов партийных публицистов. Они заслуживают только недоброжелательного отношения и язвительной насмешки.

Художественная ткань и внутренняя структура «Охоты на мух» замечательно подходят к насыщенному ненавистью к интеллигенции отвратительному климату того времени. Как будто его снял Рошчишевский из «Без наркоза».

После «Все на продажу», которое было прощанием с мифом собственного поколения, Вайда встретился в «Охоте на мух» с представителями последующего поколения. В качестве проводника он взял Януша

Гловацкого, писателя чуткого и талантливого, прекрасно знавшего литературные кафе и красивых девушек Краковского предместья, но совершенно лишенного искуса диссидентского бунта. Проникнутый самоиронией тон рассказа Гловацкого Вайда перенес в ядовитый, антиинтеллигентский памфлет на своего младшего брата.

Однако игры с властью окончились для художника наихудшим образом — он создал плохой фильм, интеллектуально бесплодный и двусмысленный в моральном отношении. А ведь тогда, в обстановке хулиганских нападок, в «Борьбе молодых», журнале агрессивных и бесталанных партийных публицистов, было напечатано открытое письмо Анджею Вайде. Его обвинили в предательстве: в том, что в фильме «Все на продажу» он снял в одной из главных ролей Эльжбету Чижевскую, которая незадолго до этого вышла замуж за американского журналиста с еврейской фамилией. В череде студенческих протестов, полицейских облав, нападок прессы на людей, окруженных всеобщим вниманием, крикливых митингов, участники которых принимали никчемные резолюции, нашлось место и для грубой атаки на Вайду. Ему вменялся в вину национальный нигилизм, припоминались «Лётна» и «Пепел», осуждался «недостаток национального чувства».

Вайда реагировал непоследовательно. Он закончил «Все на продажу», дал двусмысленное интервью, в котором заявил, что хочет снять фильм о Вьетнаме, снял «Охоту на мух». И все же он должен был чувствовать двусмысленность собственного положения. Тогда он обратился к прозе Тадеуша Боровского[1], писателя, который создал, вероятно, наиболее жесткий и совершенный в художественном отношении образ цивилизации концентрационных лагерей. Героями «Пейзажа после битвы» являются люди, прошедшие через ад Освенцима и навсегда обреченные в результате пережитых страданий на ужас безумия. Смысл этого фильма — рассказ о короткой любви поляка, прошедшего через Освенцим, к еврейке, пережившей кошмар гитлеровской оккупации, — носят глубоко гуманистический характер, совершенно несовместимый с националистической риторикой, навязанной в 1968 г. пропагандистами из службы безопасности.

С этим фильмом у меня связаны личные воспоминания. Мой друг был ассистентом Вайды и взял меня на работу — после моего выхода из тюрьмы — в качестве статиста. Я хотел заработать немного денег.

---

[1] Т. Боровский — современный прозаик, поэт, публицист. Узник Освенцима, покончил жизнь самоубийством. В своих произведениях показал моральную деградацию человека в условиях жизни концентрационного лагеря.

Обо всем этом быстро узнали ушлые патриоты из аппарата госбезопасности. Разразился скандал. Было приказано вырезать все сцены, в которых появлялась моя антисоциалистическая физиономия, а моего друга уволили. Я не могу забыть об этом контексте, смотря «Пейзаж после битвы».

Я думаю, что Вайда должен был поставить перед собой в 1968 г. вопрос о том, что же произошло с Польшей? Что произошло с этим народом, имеющим столь богатые и прекрасные традиции, но поддавшимся — хоть и ненадолго — идеологии и риторике подлости и неприкрытого хамства? Пытаясь найти ответ, Вайда обратился к рассказам Боровского, где была представлена картина шока и безумия людей, выпущенных из концентрационных лагерей, но отмеченных пороком рабства, уже неспособных жить нормально. Сцена линчевания немки, которая украла еду с кухни, поразительно точно показывает, как болезнь ненависти переходит с палачей на их жертвы.

В этом фильме сталкиваются два мира: мир людей, сохранивших традиционные представления о чести и патриотизме, которые ищут спасения от кошмара в возвращении к освященному традицией поведению, с миром сломавшихся людей, которые уже утратили веру в смысл патриотической литургии, но которые еще не смогли приобрести новую веру. Одни и другие знают, что для того, чтобы жить дальше, им необходимо забыть. Они и стараются забыть. Но — не могут.

Молодая еврейка, которая уехала из Польши, говорит любимому: «Я ни еврейка, ни полька». Она не полька, потому что по отношению к ней уже был использован расовый критерий. И по этой причине она не хочет быть еврейкой. Она говорит: «Ты не человек, ты поляк». Это звучит как обвинение, а ведь в этом слышится какой-то трагический отголосок затянувшегося узла польско-еврейских отношений.

Рафал Маршалек[1] заметил в интересных заметках о польском кинематографе 1968—1972 гг., что в «Пейзаже после битвы» впервые «в центре внимания встала моральная проблема нравственной деформации человека, который стал жертвой преступления и участвовал в нем в качестве подвергшегося насилию свидетеля».

«Пейзаж после битвы» является картиной о проигравшей и несчастной Польше, раздраженной и агрессивной в своем бессилии, измученной до крайности и в результате податливой на идиотские лозунги и бессмысленное поведение. Польше, которая еще не нашла дороги

[1] Р. Маршалек — современный польский театральный критик.

в нормальную жизнь. Именно такой она, вероятно, была в 1945 г. Именно такой она была в 1968 г.

Еврейская тема, столь актуальная в 1968 г., постоянно появляется в фильмах Вайды. Евреи и их драма присутствуют в «Поколении» и «Канале». Этому был посвящен фильм «Самсон»[1] по повести Казимежа Брандыса[2]. Еврейская трагедия была существенным элементом «Пейзажа после битвы». Однако ни один из этих фильмов не стал толчком к серьезному обсуждению еврейского вопроса. Буря разразилась после «Корчака», снятого по сценарию Агнешки Холанд в 1990 г., хотя первые ее признаки появились уже после «Земли обетованной».

Клод Ланцманн, автор фильма «Шоах», написал в «Le Nouval Observateur»: «Я видел фильм «Земля обетованная». В этом фильме евреи, жители Лодзи, показаны образом, достойным карикатур «Sturmer»а, антисемитского журнала Юлиуса Штрайхера, самого низкого из всех преступников».

Также и другие критики, связанные с еврейским меньшинством во Франции, называли «Землю обетованную» фильмом «явно антисемитским».

Я привожу эти дурацкие обвинения, поскольку они исходили от влиятельных и уважаемых в Париже людей. Именно они стали организаторами скандала вокруг «Корчака», который привел к тому, что фильм не вышел на парижские экраны.

Я не думаю, что этот фильм стал самым выдающимся произведением Вайды. Но я являюсь горячим сторонником наследия Корчака — прекрасного, гуманного, острого и полемического, прозвучавшего в обстановке зловещей банализации Холокауста. А также в контексте зловеще прозвучавшей осенью 1990 г. антисемитской риторики.

В то время французская пресса осудила «Корчака» за явный антисемитизм. Клод Ланцманн сначала вызвал скандал во время презентации фильма, а затем остро выступил против защитников «Корчака». Он писал: «Когда Финкелькраут радуется в «Telerame» по поводу того, что Вайда осмелился «сказать правду», показав «еврейских гангстеров и приспособленцев», я спрашиваю себя, что

---

[1] «Самсон» (1961) рассказывает о трагедии польских евреев в условиях фашистской оккупации. Главный герой фильма Якуб Голд, пройдя через нечеловеческие испытания в варшавском гетто, гибнет, подорвав себя и фашистов, ворвавшихся в подпольную типографию Армии Людовой.

[2] К. Брандыс (р. 1916) — известный польский прозаик.

он стремится этим доказать. Что евреи сами повинны в своем собственном несчастье? Что они были либо подлецами, либо баранами?... Возможно, действительно, в течение какого-то времени в гетто существовало кабаре — в конце концов там не было бесклассового общества. Однако почему для Вайды, для Финкелькраута это так важно? Это не имело никакого значения. Значение имели газовые камеры в Треблинке после долгих лет нужды, страха и унижений гетто. А здесь поляк смеет показывать «еврейских гангстеров», забывая обо всем остальном! Приезжают в Треблинку и — хоп! Улетают в тучи! А еврейская полиция! Разве он не видит польскую полицию! Этих людей в темно-синих мундирах, которые подкарауливали евреев, чтобы выдать их немцам? А немцы? Где немцы? Почему не показаны варшавяне, глазеющие на бои в гетто? Они стояли там и развлекались! Что мы из этого видим? Почему Вайда выбрал именно этих недостойных людей? Богатых евреев, распевающих немецкие песенки? Вайда повторял сцены, снятые отделом пропаганды вермахта».

Ален Финкелькраут ответил Ланцманну: «Клод Ланцманн... искренне думает, что кроме его фильма ничего больше делать не нужно. Что анализировать мысли Примо Леви[1], еще раз посмотреть «Ночь и мглу» Реснэ[2] или не чувствовать отвращения к «Корчаку» Вайды — это значит оскорблять память мертвых или убивать их во второй раз. Повинная в защите Вайды Элизабет Бадинтер начинает рассматриваться в качестве сторонницы Ле Пена. Что касается меня, то и я перешел на сторону врага: если верить Ланцманну, мною руководит низменное желание опорочить память о жервах ради оправдания палачей. Не важно, что вся моя семья была уничтожена в Польше и что я провел молодость среди людей-теней. Ланцманн нашел новое определение антисемитизма: это тот, кто не чтит Единство Правильного фильма «Шоах». Это самообожествление носит гротесковый и отвратительный характер».

В Польше фильм вызвал меньше эмоций, хотя и натолкнулся на острую критику диаметрально отличающихся друг от друга публицистов. Свое мнение высказала также Агнешка Холанд, автор сце-

---

[1] П. Леви — современный итальянский писатель. Его первая книга «Если это человек» (1947) описывает Освенцим, в который он был депортирован нацистами в 1944 г.

[2] А. Реснэ — французский кинорежиссер, участник движения Сопротивления. «Ночь и мгла» — его документальный фильм о фашистких концентрационных лагерях.

нария. В письме в «Le Mond» она писала: «У меня тоже есть счеты с польским антисемитизмом... Поляков можно обвинять в равнодушии, в соучастии в преступлениях, в антисемитизме, однако их нельзя считать ответственными за Шоах. (...) Это не поляки задумали и осуществили Endlosung, не они подписывали распоряжения о депортациях, не они умиротворяли гетто и не они убивали в лагерях. Эта трагедия разыгралась между немцами и евреями... Предположение о том, что Вайда выдумал немецких палачей, еврейскую полицию и трагическую дилемму для того, чтобы манипулировать исторической правдой ради обеления своих соотечественников, являются злонамеренными. Конечно, можно обвинять человека, который неоднократно в его жизни доказывал свою отвагу и неравнодушие (я кое-что об этом знаю, поскольку он сражался за меня, когда коммунистические антисемиты не давали мне работать в Польше и вынуждали эмигрировать в Израиль), человека, который всегда противостоял польским националистам, несколько раз превращая себя в объект нападок и обвинений в «антипольскости». Только кому это нужно? (...) И во Франции и в Польше легко можно найти настоящих антисемитов, но нет нужды искать их среди тех, кто пытается объединять людей, а не разъединять их».

Агнешка Холанд написала правду. Фильмы Вайды никогда не разжигали национальную ненависть. Вайда всегда являлся последователем той традиции в Польше, которая с отвращением отвергала ан- тисемитизм. Необходимо иметь странным образом искаженную психику, чтобы именно такое обвинение предъявить художнику. И наконец надо серьезно задуматься над механизмом функционирования в различных кругах еврейского общества антипольского стереотипа, который не имеет ничего общего с реакцией на настоящий антисемитизм.

Рассказом о гитлеровской оккупации и революционном движении должен был быть первый фильм Вайды «Поколение». Ведь все то, что привлекало сотни тысяч людей на белом свете — проект социализма и мечта о революции — в Польше с самого начала приобрело вид навязанного извне насилия и официального вранья. Настоящая польская революция совершилась гораздо позже — в августе 1980 г.[1]. И она стала широкомасштабным бунтом рабочих против коммунистической власти.

---

[1] Имеются в виду массовые забастовки лета 1980 г., в корне изменившие обстановку в Польше и ознаменовавшие неотвратимость коренных преобразований во всех сторонах жизни страны.

«Человек из железа» (1981) — это фильм о революции Августа 1980 г. Можно сказать и иначе — этот фильм был частью польской революции «Солидарности», которая продолжалась 16 месяцев.

В августе 1980 г. Анджей Вайда поставил свою подпись под письмом к властям, в котором содержалось требование пойти на компромисс с бастующими. Когда в бастовавшей верфи зачитывалось это письмо и фамилии подписавших его лиц, после фамилия Вайды рабочие хлопали дольше всего. А через несколько дней художник сам посетил бастующую верфь.

Этот визит носил символический характер. Для рабочих он был выражением поддержки миром культуры их борьбы. Для самого художника это было переходом границы. Вайда — уже не только как художник — становился по определенную сторону баррикады.

В «Человеке из железа» бросается в глаза идеализация мира демократической оппозиции. Эти люди вызвали у Вайды симпатию, также как они вызвали ее у всей Польши. Своей интеллигентностью, смелостью, чистотой намерений. Это они прокричали Польше и всему миру правду о польской истории, совершенно оболганной пропагандой: это они упорно напоминали этапы протеста... «Человек из железа» является апологией этих людей.

Но ни одна апология не является до конца правдивой. Этот фильм — вид революционного плаката: он упрощен, что не означает, что он лжив. В равной степени он столь же упрощен и при этом все же правдив и по отношению к коммунистической власти — людям продажным, циничным, низким, которые относились к августовским соглашениям как к клочку бумаги. «Человек из железа» привлекал размахом, новым изображением польской истории, созданием революционного мифа в новой исторической реальности. Революция в этом фильме несет в себе что-то от милосердия и надежды.

Другой показана революция и представление о ней — как об огромном потрясении в жизни людей и народов — в фильме Анджея Вайды «Дантон» (1982). «Делом Дантона» называлась театральная пьеса Станиславы Пшибышевской. В ней идеализировалась революция и ее неподкупный «герольд» Максимилиан Робеспьер. Таким же был смысл варшавского спектакля «Дело Дантона» (1975), который поставил Вайда на сцене Театра Повшехнего. Театральный спектакль отделяет от фильма время польской революции «Солидарность» и «Человека из железа». Я повторю: в «Человеке из железа» поддерживалась и идеализировалась революционная свобода, которая прошла путь от разрушения Бастилии до создания гильотины.

Именно там, на примере французской революции, художник выразил свое восприятие революции, которую он наблюдал своими собственными глазами в своей собственной стране.

Это, конечно, не был фильм-намек. Вайда не переодевал членов «Солидарности» в костюмы эпохи Робеспьера. Однако это был фильм, в котором художник поставил перед якобинской эпохой сугубо польский вопрос. Этот фильм стал разоблачением революционной мифологии, столь популярной в интеллектуальных кругах Парижа. Он вызвал скандал, который достиг дверей кабинета Президента республики. Потому что он показывал другое лицо революции, ее дикий и необузданный характер, славу, перемежающуюся с убожеством, величие, опускающееся до мелочности.

Осенью 1981 г. Анджей Вайда привел в региональное управление «Солидарности» в Варшаве Депардье — великого актера, создателя роли Дантона. Именно здесь Депардье мог вблизи наблюдать обычный день революции. Суетящиеся и измученные люди, истерики из-за ощущения собственного бессилия, грозный ропот толпы, стоящей в очереди перед пустыми магазинами. Спешка, в которой живут эти люди, валящиеся с ног от усталости, до бесконечности спорящие друг с другом, заглушающие свой страх алкоголем и не знающей жалости революционной риторикой. Уставшая революция — это толпа с ее переменчивыми настроениями: от преклонения до презрения и ненависти к собственным героям. Это мир революционеров в тот момент, когда революция пожирает своих собственных детей, когда она начинает руководствоваться дьявольской логикой, логикой взаимных столкновений и безудержной борьбы за власть. Этот этап развития революции, когда любое различие во взглядах ведет к обвинениям в совершении преступлений и измене, имеет ключевое значение для фильма Вайды. Революция, начатая во имя свободы, начинает действовать с целью уничтожения свободы во имя защиты революции. Ее улыбающееся лицо сменяется характерной гримасой фанатизма, смешанного со страхом. Огонь революции уже не освещает, а ослепляет и уничтожает все нормальные проявления человеческих чувств и взаимоотношений. Именно об этом рассказывает фильм Вайды.

Среди революционеров есть такие люди, которые ясно отдают себе отчет в природе разрушительной стихии. Они сами ее породили. Они хотят защитить смысл революции от убийственной логики революционного террора. Они хотят разорвать безжалостную спираль гильотины и закончить революцию во имя спокойствия рядовых людей,

которым она призвана была служить. Они хотят положить конец революции свободы, равенства и братства, хотя и знают, что мир после нее не стал сообществом свободных, равных и по-братски относящихся друг к другу людей. Однако их немедленно начинают обвинять в предательстве революции и народа, в коррупции и контрреволюционном заговоре.

Революция — после преодоления определенного рубежа — не располагает уже инструментами, способными остановить работающий по инерции механизм саморазрушения. Потому что остановить революционный террор — это то же самое, что умертвить революцию. Продолжить этот террор — означает обречь революцию на медленную смерть в кровавых конвульсиях. После Дантона, коррумпированного народного трибуна, который уже не хочет убивать и потому сам должен умереть, наступит время неподкупного, холодного, спокойного фанатика, который на фоне крови позирует для истории, — Робеспьера.

Осень 1981 г., внутренние конфликты в «Солидарности», о которых Вайда знал, хорошо сочетаются с атмосферой «дела Дантона». Образ маленького ребенка, заучивавшего наизусть Декларацию прав человека и получающего крепкие тумаки за каждую ошибку, является превосходной иллюстрацией двусмысленности, присущей каждой революции. Вайда мастерски ухватил это диалектическое напряжение между Свободой и Гильотиной.

Потому что революции всегда обещают все всем и никогда не в состоянии выполнить обещанное. Случается, что они задерживаются на полпути, приступая к созданию Государства Закона, опирающегося на компромисс. Тогда революционеры чувствуют себя отвергнутыми, а толпа — обманутой. Но бывает и так, что они доходят до своего конца, когда воцаряется кровавый хаос и устанавливается безжалостная диктатура.

Ничего такого в Польше не произошло. Внутреннюю логику революции сменила хорошо запрограммированная логика насилия коммунистической диктатуры и осуществленного военными государственного переворота. И только художник сумел переложить скрытые страхи польской «Солидарности» на язык универсальных размышлений о революции — великом и страшном опыте последних десятилетий.

Анджей Вайда после введения военного положения в январе 1981г. был одним из наиболее известных во всем мире представителей демократической оппозиции из деятелей культуры. Он подписывал

письма протеста, участвовал в работе оппозиционных структур. Это привело к тому, что в 1989 г. его избрали сенатором от «Солидарности».

Он не был ни политиком, ни теоретиком политики. Он был художником, который не уклоняется от ответственности в период политической нестабильности.

Он снял в течение последних 40 лет много фильмов, поставил много театральных спектаклей и телевизионных передач. Он добился огромного успеха в Польше и во всем мире. Его фильмы вдохновляли русских и французов, жителей ЮАР и Индии. Это доказывает то, что он сумел создать поистине универсальный кинематографический язык, хотя в основе его фильмов лежит напряженное раздумье над глубоко личной и необыкновенной природой такого явления, как «польскость».

Эти присущие польской школе кинематографа и фильмам «морального беспокойства» черты имеют свои эквиваленты у сербского, ирландского, украинского, еврейского, российского или испанского народов. «Польской школе», в том числе Вайде, иногда предъявлялось обвинение в излишнем критицизме по отношению к собственной истории или же в своеобразном партикуляризме. Я не разделяю этой точки зрения. Кинематографисты не выдумывали польскую историю. Последние два столетия, в течение которых происходило формирование современного самосознания польского народа, были чередой несчастий, жертв и несправедливости, героизма, предательств и поражений. Такие уж мы есть. В литературе, в кино, везде.

Осознанная принадлежность к национальному сообществу и его культуре всегда является следствием выбора своеобразия в ущерб универсализму и неопределенности. Однако это не выбор национализма с оттенком ксенофобии, который является лишь деградировавшей и бесплодной в культурном отношении формой национального своеобразия. Творить в рамках национальной культуры означает прежде всего бороться с внешними силами, которые пытаются ее покорить. Однако это означает также бороться с постоянно возникающим между самим собой и сообществом конфликтом, между дисциплиной и потребностью в свободе, которая всегда находится в разладе с существующей в обществе тягой к конформизму и фальши. Наконец, это столкновение между солидарностью и одиночеством, солидарностью перед лицом насилия извне и одиночеством среди своих, тех, кто не любит слушать о себе неприглядную правду.

Национальная культура всегда скрывает в себе какую-то метафизику сообщества, хотя и приобретает достоинство универсализма только тогда, когда отказывается от метафизики.

Вайда принадлежит к числу самых выдающихся польских художников. А также к самым польским художникам. Таким, которые восхищают и возмущают, таким, которые вновь и вновь напоминают, из каких нитей завязывался узел польской истории и судеб поляков — из типично польского сочетания добродетелей и прегрешений, героизма и безрассудства, ясного понимания своего патриотического долга и крикливого пустословия. Чеслав Милош писал:

Моя верная речь,
я служил тебе.
Каждую ночь ставил перед тобой
мисочки с красками,
чтобы у тебя была и береза, и лошадка, и снегирь,
сохранившиеся у меня в памяти.
Так продолжалось много лет.
Ты была моей Родиной, другой у меня не было.
Я думал, что ты будешь
посредницей
между мною и добрыми людьми,
хотя бы двадцатью,
десятью,
даже теми, кто еще не родился.
Теперь я признаюсь в сомнении:
бывают моменты, когда мне кажется,
что я бессмысленно прожил свою жизнь.
Потому что ты — речь людей оподлившихся,
речь неразумных и ненавидящих себя,
быть может, больше, чем другие народы.
Речь осведомителей,
Речь помешанных,
Больных своей невинностью.

Я вспоминал эти слова, размышляя над фильмами Вайды. Это огромное удовольствие — смотреть эти фильмы, погружаться в мир, одухотворенный талантом художника, иметь возможность общаться с великим миром польской культуры, с драматичной красотой польской истории, где всеобъемлющему отчаянию бессильно, но гордо противостояла хрупкая надежда.

Кем бы мы были сегодня без этих фильмов, без этой традиции?

Перевод с польского и комментарии
Н.В. Прасоловой

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ, ФИЛОСОФСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

До сих пор в БСК читатель регулярно находил только два раздела — художественной прозы и литературной критики. Раздел поэзии после первых двух опытов (в № 79 и 80) мы сочли целесообразным из БСК пока исключить. Не удалось нам пока реализовать и наши планы по введению в БСК раздела мемуарных, архивных и документальных публикаций, а также раздела републикации культурного наследия. Для выполнения того объема работы, которого требуют эти разделы, собственных сил немногочисленной редакции уже недостаточно, а для привлечения к такой работе квалифицированных специалистов мы не располагаем пока ни финансовыми, ни — соответственно — организационными возможностями. Но мы работаем над преодолением и этих трудностей, и по мере того, как это будет происходить, БСК тоже будет постепенно расширять свои обзорные рамки.

Зато в этом номере мы впервые вводим, наконец, тоже давно уже обещанный (и тоже, увы, появляющийся с некоторым опозданием в сроках) раздел историко-культурной, философской и религиозной мысли. Обзор охватывает весь 1994 год; отчасти в нем учтена и крупнопроблемная социально-политическая публицистика. Но, как это было в свое время и с первыми обзорами прозы и литературной критики, по своему составу и характеру предлагаемый вниманию читателя обзор носит пока еще пробный, экспериментальный характер, и именно в качестве такового он и был составлен Мариной Адамович. Поэтому мы, как и раньше, были бы очень признательны за любые критические замечания и пожелания, которые возникнут у читателей при чтении этого обзора (равно как и предшествующих разделов БСК). К сожалению, тот круг читателей, на который преимущественно рассчитан «Континент», никогда не отличался — что совершенно, впрочем, понятно — особой активностью в переписке с редакциями даже тех изданий, которые считал «своими». Но времена сильно изменились. Сегодня «Континент» и близкие ему издания все больше выпадают из «духа времени», господствующего не только в политике, общественной морали или в экономике, но и в самой «культуре» общества. Она разлагается на глазах, и жизнь ее все больше начинает напоминать такое же, как и везде, поле ожесточенной конкурентной борьбы всех против всех за выживание и существование. А втравленные в эту борьбу и стравливаемые между собой

«субъекты культуры» все больше утрачивают всякую память о том, что без абсолютных, неотменимых ни в какие времена смыслов, ценностей и норм культура существовать просто не может... Противостоять всему этому становится все труднее, и вот почему сегодняшняя наша потребность в живом голосе с в о е г о читателя еще, в сущности, острее, чем даже у наших предшественников в былые советские времена — в ситуации, например, «Нового мира» Твардовского. Так что если наша работа действительно вам нужна, — не ленитесь, забудьте, что «письма в редакцию» — это «на любителя» и «не для вас». Напишите, посоветуйте, поддержите или поспорьте, но — не молчите. Нам сегодня это действительно очень важно.

Обзор по разделу историко-культурной, философской и религиозной мысли составлен по следующим изданиям: «Альфа и Омега», «Вестник МГУ. Серия *Философия*», «Вестник РХД», «Время и мы», «Грани», «Даниловский благовестник», «Журнал Московской Патриархии», «Знание — сила», «Логос», «Мера», «Мир Библии», «Наука и религия», «Начала», «Новая Европа», «Новый мир», «Общественные науки и современность», «Посев», «Православная беседа», «Православная община», «Свободная мысль», «Слово», «Теология», «Уроки», «Человек», «Христианос».

Редакция журнала «Континент»

Библиографическая служба «Континента»

1. Художественная проза

В предыдущих обзорах журнальной прозы уже была отмечена тенденция к сужению писательского внимания **к и с т о р и ч е с к о й т е м е** — после недавнего обвального интереса к ней. Это связано, видимо, со все более широким осознанием того, что история — не только прошлое, но активно творится и сегодня, а литература — тем более журнальная — может свободно и разнообразно участвовать в этом творчестве. Во всяком случае, отмеченная нами ранее тенденция подтверждается и при взгляде на журнальную историческую прозу последних месяцев прошедшего года, которая была представлена, в частности, двумя романами, уже упомянутыми в наших прежних обзорах.

Закончена публикацией **вторая книга («Крестный путь») исторического романа В л а д и м и р а Л и ч у т и н а «Раскол»** («Наш современник», № 11—12; начало — №№ 10, 11 за 1993 год, продолжение — №№ 1—6 за 1994 год; см. в нашем обзоре в №№ 79, 80). Деятели эпохи раскола, неистовые люди, каждый со своей печалью о святой Руси и великом государе с государыней, каждый со своей правдой, за которую готов, перекрестившись (кто двумя, а кто тремя перстами), на самые лютые пытки и казни, не по своей воле покидают историческую сцену («по новым уставам принималась жить Русь; иные нравы и прикиды, устои и устрои, изтиха благословленные государем, уже насылались из самого Верха на православные земли гибельно-сладкой отравою...»). Попавший в царскую опалу патриарх Никон, «отступник и смутитель Руси», лишенный сана, отправляется в заточение в Ферапонтов мона-

стырь, а неистовый обличитель и «оплот истинной веры» протопоп Аввакум томится, запрятанный в бревенчатую клеть-погреб в Пустозерской слободе — в разлуке со своей Марковной и верной духовной дочерью «бояроней» Федосьей Морозовой. Юрод Феодор Мезенец принимает мученический венец, повенчавшись на виселице с долгожданной смертью...

Роман отчетливо тенденциозен в защите русской самобытности от «чужебесия», которое стало внедряться в русскую жизнь в царствование Алексея Михайловича, упраздняя, как видится автору, совесть в русском человеке и прямо угрожая его вере («святое православие, что от веку сладким нектаром было разлито по Руси, сожмется и заскорузнет, как старая заскорбелая овчина и погрузится в тайные скрытни...»). Один из главных героев романа — личутинский язык, затейливая архаичная вязь которого оставляет в целом впечатление музейной стилизации, но в то же время содержит в себе и драгоценные переливы самоцветной русской речи, своей полузабытой красотой противостоящие обедненному и стертому сегодняшнему словоупотреблению, с укором напоминая о богатствах, которые достались, однако, не тем наследникам.

Закончена публикацией и **вторая книга («Плацдарм»)** романа **Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»** (журнальный вариант) («Новый мир», № 10—12). Это подневная хроника нескольких дней войны, в течение которых была форсирована великая река (неназванный, угадывается Днепр), шли ожесточенные бои, унесшие много жизней. Горстка бойцов из сибирской дивизии, чудом уцелевших после ночного ада переправы через эту реку, — покрасневшую от крови, с сотнями плавающих трупов, — закрепляется на прибрежной полосе гибельного правого берега, «пляшущего от взрывов» немецких авиабомб и артиллерии. Зарывшись в землю, в норы, щели, воронки, обессиленные после переправы, грязные, полуголые, заеденные вшами, они удерживают «отвлекающий» Великокриницкий плацдарм, отбиваясь от крыс, без еды и боеприпасов...

Роман составлен из эпизодов, он многогероен, причем грань между главными и второстепенными персонажами стерта. Резкие смены и сопряжения панорамного взгляда и прорисовки деталей, эпоса и напряженного лиризма, перепады от гневных интонаций к скорбным, от жалостливых к презрительно-уничтожающим — все это создает ощущение прорванной плотины памяти, потрясенной войной и ничего не забывшей и не простившей. В этой картине войны у Астафьева много мучительных подробностей, нелепой, негероической прозы жизни, много хаоса и случайностей, мужества, страха и боли. С одной стороны, война обнажает способность человека как-то обживаться в самых нечеловеческих ситуациях, приспосабливаться для жизни в аду. С другой — все живое подавляется и истребляется в этой чудовищной костоломке, а ретроспективные возвращения в мирное время дают основание говорить об античеловеческом, патологичном характере и всей эпохи советского режима.

Впрочем, замах Астафьева еще шире, ибо втягивая в свое черное дело, война и вообще уже не оставляет места «безвинным» жертвам, на всех воюющих — клеймо проклятия, и жертвы войны разделяют вину за свою гибель со всем родом человеческим. Отрекшееся от Бога человечество предается бессмысленному и преступному самоуничтожению, — вот стержневая мысль писателя. В

сумасшествии этого преступного служения войне убивать, воровать, мародерствовать, не разбирая своих и чужих, бросить раненого, оттолкнуть тонущего — не грех, а способ выживания, и лучшими солдатами становятся не добрые и совестливые, не работящие и рассудительные, а вчерашние уголовники, удальцы и добытчики, прошедшие школу выживания на воровской воле, в довоенных тюрьмах и лагерях. Роман пронизывает мощный антивоенный пафос, взрывающий повествование проклятиями ничтожному в своей малости человеку, в затмении разума возгордившемуся до мании величия, плачем по растерзанной «родной землице», вопрошающе-обвиняющими молитвами — «Боже милостивый! Зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу?»...

Как и роман В. Астафьева, к уже более близким к нам, чем у В. Личутина, временам *советской истории* (но все же более ранним, чем у В. Астафьева), обращен и роман **Анатолия Рыбакова** «Прах и пепел» («Дружба народов», № 5—6) — завершающая часть повествования, начатого «Детьми Арбата». Автор создает знакомую уже нам по беллетристической манере, приемам и характеру письма хронику взрослых судеб вчерашних подростков в конце 30-х и начале 40-х годов. Герои проходят через новые испытания. Рыбаков вводит читателей в контекст политических интриг и противоборств, в романе появляются лидеры Запада, Сталин, Троцкий. В целом возникает образ безжалостного времени, которое ломает судьбы людей. Плохие окончательно скурвились, лучшие погибают или их уничтожают. Поколение уходит в смерть.

Отметим произведения, возвращающие нас в еще более близкие к нам, но тоже ставшие уже, в сущности, *историческими послевоенные* и так называемые *«застойные»* времена.

Это — повесть **Ивана Евсеенко** «Вторая учительница» («Москва», № 12), сделанная под беллетризованные воспоминания о детстве. В ней рассказана история о том, как «в конце августа 1953 года» в сельской школе появилась новая учительница, родом из «Петербурга», почти в открытую носившая на шее крестик, имевшая родственников за границей и читавшая детям рассказы своего знакомого, эмигранта Бунина из книжки, изданной в Париже. Дети ее полюбили, но усилиями директора школы и районного начальства она была изгнана из школы.

И это — роман **Юрия Рященцева** «В Маковниках. И больше нигде» («Октябрь», № 5—7) — пространное, но незанудное беллетристическое повествование о Москве застойных времен, об интеллигентском быте, идеологическом прессинге, начальниках и подчиненных, о разговаривающих памятниках. Центральный персонаж — спортивный журналист Ворожцов, который неустанно борется со спортивным начальством за слово правды о футболе. Рященцев рассказывает о прошлом задушевно, с любовью к героям. Точно отображено застойное раздвоение жизни на казенные ритуалы — и неофициальные интим и вольности. В картинах минувшего есть омерзительное, но гораздо больше упоительного и трогательного.

Назовем, наконец, в этом ряду и некоторые рассказы, опубликованные в конце года.

Асар Эппель в рассказе «Чулки со стрелкой» («Новый мир», № 12) продолжает с любовью живописать роевой окраинный московский быт послевоенных лет, жалкий и убогий, но под рукой писателя приобретающий пленительную уютность, неповторимость ярко расцвеченного дворово-соседского колорита. Это трагикомическая история о сексуальном фантазере и прохвосте галантерейщике Буле и соседской «почти девушке» Пане, мечтающей о шелковых чулках со стрелкой, примерку которых, за отсутствием другой примерочной и с соблюдением правил конспирации, Буля производит в сортирной будке. В этом пикантном сюжете снова проявила себя свойственная автору изощренная наблюдательность и пристрастие к эротической сфере, причем можно отметить, что наивная эротика 50-х годов увидена здесь опытным современным взглядом.

В чем-то близки по своей атмосфере к этому рассказу и рассказы **Владимира Галкина** под общим заголовком «У Рогожской заставы» («Октябрь», № 8). Любовь и гулянки, подружки, выпивки, политические споры о Сталине и, наконец, фантасмагория воскресения мертвых на Ваганьковском кладбище, — все это тоже образует собою как бы некий ностальгический, проникнутый теплотой и любовью беллетристический сказ о роевом быте простых советских людей, москвичей.

Историческая тема, ослабляя свои позиции в художественной прозе, сохраняет их **в мемуарном жанре**, где живой голос очевидца, воскрешающего те или иные фрагменты истории и имеющий самостоятельную историко-познавательную ценность, может соединяться и с художественностью (или быть добросовестно безыскусным), и с рефлексией самосознания, и с публицистикой.

Воскрешению реальности, ушедшей под воду в буквальном смысле, посвящены «Записки пойменного жителя» **Павла Зайцева** («Новый мир», № 11), потомственного мологского крестьянина, подробно описывающего Молого-Шекснинскую пойму времен его детства, пришедшегося на начало коллективизации, — ее живописную и сказочно щедрую природу, повадки птиц, зверья и рыбы, крестьянские заготовки ягод и грибов (как сушили, солили, варили, что и как подавали к столу), занятия бортничеством и пчеловодством, хлебопашеством (как сеяли хлеб из лукошка, жали серпами, сушили в ригах, возили на мельницу). Этот удивительный уголок Верхневолжья, сохраненный памятью автора и бережно им воссозданный, с отличавшей его редкой гармонией крестьянской жизни и благосклонной к человеку природы, был варварски затоплен в 40-е годы, уйдя под воду Рыбинского водохранилища.

Воспоминания **Николая Андреева** «Пражские годы» («Новый мир», № 11) посвящены жизни русской эмиграции в Праге в 1920—1930-х годах. Автор, тогда 19-летний малообеспеченный юноша, окончивший таллинскую гимназию, поступил в пражский Карлов университет. Воспоминания рассказывают о быте и образе жизни русского студенчества, о помощи чешского правительства, об университетских традициях, программах обучения, качестве и содержании лекционных курсов, об университетской профессуре и академических кругах, об условиях жизни и работы русских ученых, под

бережным и требовательным наблюдением которых происходило созревание автора как серьезного ученого-историка, получающего признание и известность.

Ревизии прошлого посвящены «Дети утопии. Фрагменты идеологической автобиографии» **Дора Штурман** («Новый мир», № 9—10), представляющие собой диалог автора со своим прошлым, построенный на сегодняшних комментариях, размышляющих попытках понять и разобраться в собственных записках 50-летней давности — с целью реконструкции самосознания (по преимуществу идеологического) «детей утопии», «юных ископаемых сталинской эры», их круга чтения, интересов и верований, иллюзий и схем, заблуждений и прозрений.

Александр Борщаговский в мемуарном очерке «Заложница «Метрополя» или Хождение за четырьмя автографами» («Знамя», № 11) в живой и занимательной форме рассказывает историю о том, как он в 1952 году организовывал празднование 80-летнего юбилея М.В. Ямщиковой-Рокотовой, под псевдонимом Ал. Алтаев написавшей множество беллетризованных жизнеописаний и исторических романов. Поселенная в 1918 году в «причердачных апартаментах» гостиницы «Метрополь», она прожила там более 30 лет («деньденьской работа, работа без поблажек, без жалости к себе»), оказавшись в «единственной в своем роде» и «неправдоподобной» ссылке. Автор, решивший по совету Симонова «организовать подписи крупных писателей», отправился с визитами к авторитетам в детской литературе Кассилю, Катаеву, Яну (В. Янчевецкому) и Чуковскому и описал в очерке каждый из этих визитов — портреты, домашнюю обстановку, реакцию на просьбу о подписи, расспросы об опальной писательнице, беспокойство за последствия или полную готовность дать «автограф» и т.д.

Мемуарное свидетельство **Ричарда Дж. Кука** «Встреча с писателями» («Знамя», № 12) относится к тем же временам. Это воспоминание одного из тех английских студентов, которые в 1954 году участвовали в скандально известной встрече с Зощенко и Ахматовой, на бестактный вопрос одного из студентов об их отношении к критике Жданова ответивших прямо противоположным образом, за что Зощенко подвергся новым репрессиям, приведшим к его смерти. По свидетельству автора, среди впечатлений от поездки в Россию, в жизни которой они мало что понимали, та встреча с писателями, в которой они, не ведая того, выступили в качестве орудия пытки, была для них вполне рядовым и малопримечательным событием.

Среди произведений, так или иначе примыкающих к мемуарному жанру, отметим и «Замысел» **Владимира Войновича** («Знамя», № 10—11), обозначенный писателем, как «книга», которая «не вписывается ни в какой жанр: она отчасти роман, отчасти мемуары, а в общем ни то, ни то». Книга композиционно выстроена из мелких, тяготеющих к притчеобразной форме, главок с перемежающимися сюжетами, в которых писатель, с разнообразным, порой незлобивым, порою желчным остроумием и не перенапрягаясь в аналитических мыслительных усилиях, соединяет невыдуманные эпизоды своей биографии (родословная и воспоминания о родителях и родственниках, детские и юношеские воспоминания, начало литературной карьеры, «завоева-

ние» Москвы, история опалы и выдворения из Союза) с собственными литературными сюжетами (предыстория «Чонкина» и главы его новых приключений), а также с чужими (главы из рукописи некой Элизы Барской «Прошлогодний снег» с исповедью сексуально-житейского содержания в политическом обрамлении); с размышлениями в форме «писем к другу» (события времен перестройки глазами эмигранта), с переживаниями, связанными с операцией в мюнхенской клинике по поводу инфаркта (мысли о «жизни после жизни», о Боге, о душе), и другими вольными медитациями на темы собственной, а иногда несобственной жизни — с понятным стремлением писателя, собрав воедино на обозримом пространстве книги значимые события своей жизни, приблизить разгадку своего назначения и увидеть меру воплощенности вложенного в него Замысла, который он и пытается понять.

Отметим и мемуары с элементами самосуда, принадлежащие перу **Юрия Нагибина** — «Дафнис и Хлоя эпохи культа личности, волюнтаризма и застоя» («Октябрь», № 9—10), где писатель рассказывает о своих взаимоотношениях с первой женой. Реалии советского быта становятся фоном для истории любовных связей, размолвок, страстей, вожделений, скандалов. Кропотливо описываются перипетии интимных отношений.

Особо следует выделить среди публикаций последнего квартала 1994 г. несобственно художественный **жанр путешествий**, который явно усиливает свои позиции в журнальной прозе не только в количественном отношении, но и в тенденции к перемещению с последних страниц журнального номера на первые, где по сложившейся традиции публикуются «ударные» вещи.

Назовем прежде всего «Паломничество на Синай» **Валерии Алфеевой** («Москва», № 10, 11), новый «путевой» очерк которой — «У мамврийского дуба» — публикуется в этом номере «Континента». «Поломничество на Синай» — это обширное, взволнованное величием впечатлений повествование, соединяющее благоговение паломника с углубленно-сосредоточенными размышлениями, вызванными непосредственным соприкосновением со святынями. Автор пытается как бы заново прочесть и осмыслить благодаря этому живому соприкосновению ветхозаветные и евангельские эпизоды, связанные с Синаем. Их смысл, утрачивая книжную отвлеченность и обретая реальные, «те самые», мало тронутые протекшими тысячелетиями черты, лично пережитый и перечувствованный, превращает автора как бы в живого свидетеля библейских событий, освобождает душу от придавленности повседневными заботами, открывая ее для вечных истин и «нечаянных озарений». Торжественная красота Каменистой Аравии с ее горными хребтами, феерическим светом, колдовской сменой красок, где «не насытится око зрением» и где «созерцание становится молитвой»... Трехчасовое восхождение на гору Синай по следам Моисея, жизненный путь которого, приближаясь и укрупняясь в деталях, становится значимым фоном для размышлений о «тайне назначения человека, созданного из праха, но призванного быть богом»... Гора Хорив, где читатель разделяет вместе с автором изумление от живого чуда — по-прежнему, через три с половиной тысячелетия цветет и плодоносит тот самый терновый куст, Неопалимая Купина, из которой Бог говорил с Моисеем...

Понятными чувствами продиктовано добросовестное стремление автора объять необъятное — рассказать об истории синайских монастырей и монастырских сооружений, воссоздать хронику их разорений, восстановлений и перестроек, вспомнить легенды, связанные с синайскими отшельниками, описать монастырские сокровища — собрания икон, пергаментных манускриптов и древних книг знаменитой синайской библиотеки, вспомнить историю отношений России с Синаем и многое другое. Но хотя все это и изложено эмоционально, с личным отношением, отданные этим сведениям страницы страдают неизбежной в таких случаях полуэкскурсионностью и перечислительными интонациями, ослабляя «Паломничество» композиционной рыхлостью.

В совсем иной духовной тональности и совсем другого характера впечатлениями от поездки по зимней Германии и Швейцарии делится **Игорь Клех** в своем туристическом отчете «Зимания. Герма» («Новый мир», № 11). Это путевые записки стипендиального путешественника по чужим краям, который впервые выехал за пределы отечества, вооружившись заповедью «не суди!» (одной из самых трудноисполнимых, что и доказывает автор, описывая впечатления от антропософского центра Гетенаум или выстраивая типологию самочувствий литераторов-эмигрантов) и заклиная себя помнить только об одном: «Ты находишься внутри приключения, насладись же его вяжущим, горьковатым, освежающим, давно забытым вкусом». И вот со щедро-избыточной тщательностью тонкий и нежный наблюдатель, оказавшийся внезапно в роли изящного иностранца на час, стремится всеми силами передать новизну своих ощущений при встрече с иным, удивительным миром, делится утонченными переживаниями и сетует на эстетическое убожество своей родины. Впрочем, одновременно автор рассматривает свою поездку и как некое восхождение на какую-то вершину, как своего рода «экзамен» на состоятельность, который, естественно, он — ему же виднее — явно выдерживает «на пятерку», потому что в конце своего повествования способен уже дать читателю немало полезных советов — где, например, «следует похмеляться в Мюнхене» и чем именно — «устрицами с белым вином». Тесное общение с собственным самолюбием определяет и индивидуальные особенности стиля — литературность, неуемную и пышную метафоричность, напряженную озабоченность тем, как это сделано, насколько это литературно эффектно, — при очевидной бессмысленности этих усилий, поскольку, по утверждению самого же автора, «литература... верным путем шествует на свалку»...

Оставим это утверждение на совести автора, но вот то, что в прозе, обращенной **к сегодняшнему дню** и отражающей атмосферу этого дня, читатель вряд ли обнаружит сияющие отблески вселенской гармонии — это действительно так.

Характерен в этом отношении «роман-эпилог» **Руслана Киреева** «Мальчик приходил» («Знамя», № 10). Это пронизанная тягостным настроением история невстречи двух людей, пропитанная атмосферой безнадежности — не как гипотезы, ждущей своего опровержения, а как утверждающего жизненного итога. Тем более, что писатель именует себя Хароном, который,

как известно, имел дело с душами мертвых, а роман называет «эпилогом» (заключение чего? — своей литературы? своей жизни?).

Сюжет прост — два человека, старик и мальчик, нужны друг другу — один ждет, и другой идет к нему. Старый Адвокат, после смерти жены живущий совершенным затворником, тщательно, защищаясь от собственной уязвимости и тоски по человеческому участию, выстраивает стену между собой и людьми, противопоставив механическую упорядоченность своего быта хаосу и непредсказуемости жизни. В ночь полнолуния он мучается бессонницей, перебирая воспоминания о жизни, о жене и детях-«обидчиках» (один сын ушел в религию, другой — в коммерцию). А в это время к нему за защитой тайком убегает с подмосковной дачи Мальчик, торопясь на последнюю электричку и держа за пазухой спасенного им и спрятанного от взрослых воробья со сломанным крылом...

Писатель с психологической и обстоятельственной дотошностью, пристальностью к запахам, оттенкам и полутонам описывает, перемежая эпизоды, ночные мысли старика и ночной путь Мальчика — зная, что встретиться им он не позволит. Такова его воля, и для исполнения ее у писателя есть все — умелость, навыки, мастерство. В отместку за что-то (за что?) он сделает так, что Мальчик опоздает на последнюю электричку и, переночевав на станции, приедет с первой утренней. А Адвокат, почувствовав смутную тревогу, неясную угрозу чьего-то вторжения в его одиночество, рано утром уйдет на могилу жены. Если расшифровывать эту символику, в финале замаячит призрак смертельного исхода. Написанный тягучей, отшлифованной до неяркого блеска прозой, роман — своего рода лирический накопитель усталости, тоски, безысходности, отчаяния. Исповедь души художника, впавшего в уныние.

Болевые зоны современности обследует и **Чингиз Айтматов** в романе «Тавро Кассандры» («Знамя», № 12). Но здесь обобщенный образ современности дается уже не через условную символику лирико-психологической притчи, построенной на локальном, частном сюжете. Здесь перед нами широкое панорамное полотно, захватывающее в свое изобразительное пространство чуть ли не весь земной шар, да еще с элементами фантастических допущений, и претендующее на масштабное социально-философское звучание. Это — многотемный роман, отличающийся, как обычно у Айтматова, ясной и четкой конструкцией, динамичным сюжетом, но на этот раз еще более схематически-условной образностью и еще более обильными и досадными стилистическими неуклюжестями. Место действия — Америка, отдельные эпизоды отнесены в Россию. Завязкой сюжета служит феноменальная сенсация — русский космонавт-«невозвращенец», оставшийся в одиночестве на орбитальной космической станции и принявшей имя космического монаха Филофея, обращается из космоса с открытым письмом к римскому папе и всем землянам, делясь своим открытием: он расшифровал значение небольшого пигментного пятна, иногда появляющегося на лбу беременной женщины и бесследно исчезающего после родов, назвав его «тавром Кассандры». Это пятно — бессловесный сигнал протеста, который посылает эмбрион в том случае, если не хочет родиться. Проводя «космический опрос» эмбрионов с помощью сеансов облучения и безвредных для организма зондаж-лучей, монах Филофей обнаруживает, что

число «кассандро-эмбрионов», готовых уклониться от жизни, исчезнуть, не родившись, с каждым годом неуклонно возрастает, и это, по его мнению, связано с апокалиптическим самоощущением плода в материнском лоне. Послание Филофея вызывает шоковое впечатление. Кандидат в президенты, ведущий предвыборную кампанию, прожженный политикан Оливер Олдок разжигает массовые страсти, обещая в случае избрания защиту демократических прав и свобод от монаха Филофея, от его вторжения в частную жизнь и облучения беременных женщин. Серьезный и нестандартно мыслящий ученый Роберт Борк, занимающийся синтезом идей в области футурологии, видит в открытии Филофея предупреждение о генетической катастрофе, неотвратимо надвигающейся из-за того, что злодеяния и пороки прежних поколений не исчезают бесследно, а накапливаясь, постепенно изменяют наследственные структуры, отражаясь на потомках и делая само появление новорожденного на свет все более подобным выходу на минное поле, — потому-то те из зачатых, но еще не родившихся, которые предощущают свою черную судьбу носителей зла, и уклоняются от зова жизни, все более умножаясь в числе. Но массовое нежелание людей увидеть в самих себе источник зла, приобретающее все более агрессивные формы, переходит в митинги и демонстрации, в «массовое наслаждение ненавистью», жертвой которой и становится растерзанный толпой ученый. А монах Филофей кончает жизнь самоубийством, уйдя в открытый космос. Торжествует зло, выдающее себя за добро. Правда, на место Борка встает его молодой единомышленник Энтони Юнгер, наследник записок Филофея, что призвано свидетельствовать все же и о неуничтожимости единичных островков честной и самоотверженной мысли среди моря младенческой безответственности «массового» человека, управляемого своекорыстным политиканством...

Обращаясь к произведениям, более непосредственно повернутым к сегодняшним реалиям собственно российской действительности, нельзя не отметить все более растущий интерес многих авторов *к теме* так называемых *новых русских*, типы которых рассматриваются ими под разными углами зрения, в разном смысловом освещении и в разной жанрово-стилевой поэтике, но с неизменным вниманием к их опознавательной бытовой и психологической характерности.

Так, разрабатывая эту тему, **Анатолий Афанасьев** делает ставку на острый и занимательный сюжет. События в его романе «Грешная женщина» («Москва», № 11—12), который, как сказано в аннотации, представляет собою вторую часть трилогии, первая часть которой, роман «Первый визит сатаны», вышла в издательстве «Ковчег» в 1993 году (а заключительную часть, роман «Московские душегубы», журнал «Москва» предполагает публиковать летом 1995 года), разворачиваются в сегодняшней Москве. Герой, ученый-электронщик, которому далеко за сорок, под давлением финансовых обстоятельств вынужденный переключиться на починку телевизоров, а свободное время проводящий в пьянках и трепе со своими друзьями, с которыми его связывают отношения круговой взаимовыручки, вывешивает объявление о продаже родительской дачи. На объявление откликается некая сомнительная фирма по торговле недвижимостью. Герой, веселый и находчивый, не просы-

хающий от обильных возлияний, которые настраивают его на философический лад, и свободный от семейных уз (его разведенная жена и 15-летняя, независимая и свободомыслящая дочь образуют отдельный сюжет), влюбляется в представительницу фирмы, безупречно-деловую и загадочную женщину, которая, как потом выясняется, совмещает маклерские услуги с сексуальными. После изъятия у героя толстой пачки «баксов», полученных за проданную дачу, двумя крутыми незнакомцами — в его собственной квартире и с нанесением телесных повреждений — герой, параллельно с развитием любовного сюжета, вовлекается в поисках грабителей в криминальное пространство, где три мафиозных авторитета с богатым уголовным прошлым разбираются между собой, деля Москву на сферы влияния. Из этих разборок со слежками, взрывами, избиениями, перестрелками, убийствами, изнасилованиями, где, спасая его, погибает «грешная» подруга героя, с очевидностью следует, что в Москву уже давно пришли новые хозяева со своим воровским законом — никакая власть им не указ, у них все куплено и все схвачено, в их обслуге и супрефекты, и банкиры, и «комитетчики», а тот, «кто не ворует и не торгует — совок и быдло», и его дело — безропотно катиться в пропасть нищеты.

К подобным выводам приходит и герой повести **Александра Трапезникова** «И дам ему звезду утреннюю...» («Наш современник», № 10), написанной в акцентированной «бурно-молодежной» интонации и «по касательной» задевающей события октября 1993 года возле Останкино. Парень из Твери, юный супермен, совмещающий торговлю в останкинской палатке с учебой в ПТУ, равнодушен к политике и отлично умеет «отмахиваться», когда на него «наезжают». Стихийное чувство справедливости заставляет его, однако, держать слово, защищать слабых и одиноко противостоять царящей вокруг лжи и несправедливости («...я еще сам не знаю, что хорошо, а что плохо... Знаю только, что все вокруг врут, предают и наживаются»). Средоточием человеческой грязи становится в повести зачумленная, поклонившаяся золотому тельцу Москва. В конце концов, побеждают отчий дом с его трудовым, честным хозяйством, с твердыми семейными устоями, простые радости и брошенная было героем невеста в Твери, куда от московских злоключений и убегает герой, отказываясь от фальшивых ценностей и нащупывая свою дорогу в жизни. Знакомый уже идиллический островок в море грязи, лжи и насилия.

В повести **Александра Черницкого** «Мы можем все. Истерн» («Новый мир», № 10) трактуются близкие сюжеты, но помещены они далеко от Москвы. Повесть резко распадается на две части, одна из которых имеет ощутимый запах жизни, а другая — не менее ощутимый запах литературы, и не лучшего разбора. Поначалу — это история о двух «честных» торгашах-контрабандистах, которые везут товар из Белоруссии на латвийский базар, а там прибалтийская полиция товар реквизирует. Все это описано достаточно правдоподобно и выразительно, но реквизиция открывает перспективу дальнейшего развития повествования уже в каком-то полуфантастическом направлении. У рассказчика «вспузыривается ответная ненависть» к полицаю, отобравшему товар, и вызревает готовность смотреть на него «сквозь прорезь прицела». И далее следует история страшной мести, построенная по рецептам американского боевика, то ли пародии на него (жанр — «истерн»), с участием

персонажей под прозрачными псевдонимами и для страховки от литературной неудачи (или для приманки читателей?) положенная на политическую подкладку. Рассказчик в компании со скандально известным писателем, «харьковским французом» Эриком Вениаминовичем, с не менее известным телерепортером, «невским жителем» А.Н. (он же Шурик) и прихваченными для колорита двумя «боевыми подругами» осуществляют продуманную до мелочей операцию под кодовым названием «Тузику пора на цепь» по уничтожению личного состава муниципальной полиции города Павлиняса. А за удачно проведенную операцию (здание полиции взорвано гранатами, пытавшиеся бежать расстреляны) ее участники получают поздравления от «Владимира Вольфовича» и его же приглашение «в свою резиденцию для награждения параллельными орденами и медалями». Словом, постсоветское пространство у Черницкого выглядит как дикая степь, по которой гуляет лихой человек, и рассказ, богатый натуралистическими подробностями и поначалу ведущийся с безобидным, обращенным скорее на самого повествователя юмором, переходит в интонацию цинично-злого остроумия.

Обращенная к тому же феномену «новых русских» повесть Леонида Бородина «Ловушка для Адама» («Юность», № 9) вводит эту тему в русло того идеологически-тенденциозного морализаторства, которое характерно для Л. Бородина и близких ему по духу писателей и призвуки которого мы уже отметили в повести А. Трапезникова. Перед нами — монолог налетчика, который в компании такой же братвы грабит контейнеры с импортными грузами. Но однажды герой видит во сне мать, после чего осознает меру своего падения и решает начать новую жизнь. Однако с осуществлением своего намерения он медлит, попадает в переделку и вынужден бежать в леса, спасаясь от ареста. В новых обстоятельствах решимость персонажа нравственно очиститься многократно проверяется автором, для чего Бородин устраивает ряд встреч: то с соблазняющими героя то ли наяву, то ли во сне спутниками его прежней жизни, то с неким полубезумным отшельником-любомудром, то со счастливым молодым семейством, добровольно робинзонущим в глуши. Герой оказывается падок на соблазны, и это, по логике повествования, влечет роковые последствия для всего человечества. Многословная, не всегда внятная по замыслу, повесть в целом, вероятно, иллюстрирует мысль о необходимости соблюдения библейских заповедей.

«Террористическая» тема привлекла и Петра Алешкина, который в «рассказе омоновца» «Я — террорист» («Наш современник», № 10) в беллетристической форме и со всеми подробностями излагает известную историю захвата террористами автобуса со школьниками в Ростове. Из рассказа следует, что террористы тут ни при чем — план операции под названием «Набат» разрабатывался в московском ОМОНе, а роли террористов в готовом сценарии разыграли три омоновца в масках, герои рассказа Алешкина, за что получили от командования хорошую плату в валюте и приказ держать язык за зубами. Роли же «пойманных террористов» сыграли уже осужденные уголовники, за что им обещали скостить сроки. Как следует из рассказа, вся эта затейливая операция-провокация имела воспитательный смысл — чтобы будущим настоящим террористам неповадно было брать заложников и чтобы убедить телезри-

телей, три дня следивших за судьбой ростовских школьников, в боеспособности и боеготовности органов внутренних дел.

Монологически построен и рассказ **Алексея Бардина** «Киллер» («Октябрь», № 12) — исповедь наемного убийцы, которого обстоятельства загоняют в житейский тупик и доводят до самоубийства. Перед нами типичная уже для современной беллетристики гангстерская история с подробным описанием технологии ремесла и с сентиментальной слезой рассказчика над своей незадавшейся жизнью.

В ином повороте тема «новых русских» привлекает внимание **Сергея Есина в романе «Затмение Марса»** («Юность», № 10). Перед нами снова монолог, — но на этот раз не налетчика или киллера, а «нового русского» в ипостаси молодого журналиста. Попав в психиатрическую клинику, он на досуге вспоминает свой путь к успеху. Читателю представлен закоренелый циник, стремящийся к житейскому успеху и ради этого готовый на все. Торгуя своим телом направо и налево, сдавая его вперемежку женщинам и мужчинам, честолюбивый провинциал оседает в Москве и прокладывает себе путь в столичную журналистику, а позднее, поднаторев в ремесле «поденщика пера», продает свои умения и таланты, работая одновременно на всех, кто ему платит. Есин рассказывает о перипетиях карьеры своего героя Николая Литаврина живописно и увлекательно, можно сказать — вдохновенно. Недаром постигший героя кризис кажется в романе необязательной случайностью и явно искуственным «защитным» довеском. Центральные эпизоды романа — события 4 октября 1993 года в Москве: Литаврин по заказу создает репортаж о штурме Белого дома для правительственного ТВ, а за пару дней до того выполняет другой заказ, изготовив запись репортажа о доблестных защитниках Белого дома. Естественно, что вопрос о масштабе и характере обобщений, на которые претендует автор романа, едва ли не восхищенный своим героем, остается открытым.

Заключая обзор беллетристики этого тематического ряда, отметим, что завершен, наконец, и принадлежащий к нему роман **Ильи Штемлера** «Коммерсанты» («Нева», № 9; начало публиковалось в № 2—3), о котором мы уже писали в одном из предыдущих выпусков БСК. Это объемистое окончание истории житья-бытья современных питерских предпринимателей, их замыслов и интриг, сделок и афер. «Работа из метода заработка постепенно принимала форму игры — азартной, страстной, отчаянной, где деньги служили лишь инструментом игры, показателем удачливости игры». Штемлер панорамирует бытовую сферу жизни, не покушаясь на ее осмысление.

Интерес современных прозаиков к типам и характерам, показательным для сегодняшней России, не ограничивается, разумеется, так называемыми «новыми русскими». Журнальная проза конца 1994 года дает нам куда более *широкий спектр «героев нашего времени»*.

Герой рассказа **Бориса Екимова** «Гнедой» («Наш современник», № 11—12), страстный лошадник по прозвищу Гнедой, чтобы спасти отправляемых на живодерню колхозных племенных лошадей, выкупает их за бесценок, продав дом, и становится вольным фермером. Он селится на пустующей земле в Задонье, работая до седьмого пота с женой и тремя сыновьями и просторно

раскинув свое быстро становящееся на ноги хозяйство. Дом его пока что еще только строится, конюшни и манеж — пока что временные, но от проектов у него самого сбивается дыхание («У меня — сто двадцать коней. У меня будет манеж международного класса. С трибунами, с рестораном, с гостиницей. У меня будут капитальные конюшни (...) Понял, кто я есть? Я — хозяин!»). Однажды ночью его поднимают, однако, с постели и увозят в районное отделение милиции на допрос, заставляя дать ложные показания на его бывшего председателя, а иначе — угрожая выбить эти показания в областной тюрьме. Его выручает 10-летний сын, такой же лошадник, как и отец, перенявший от него прозвище Гнедой. На лошади, преодолевая страх, он скачет по ночному лесу, и пробравшись под окна милиции, узнает, чего хотят от отца. Наутро незадачливые милицейские начальники отпускают арестанта, поскольку о преследовании одного из первых фермеров Задонья узнает Москва. Финал по нынешним временам сказочный, но сказок тоже хочется. А над Задоньем кружит старый коршун, ставший хозяином пустующих земель, которые давно уже ждут настоящих хозяев.

Иные герои и иные картины постсоветской деревенской жизни — в рассказах **Василия Белова** («Север», № 11). В рассказе «У котла» показано колхозное разорение — в колхозе старики со старухами да горькие пьяницы, коровы не кормлены, их неумело доят горожане-беженцы из Чечни, у стариков пенсия скачет (кому и сколько следует — не понять), люди лечатся у ветеринара, очагом культурной и общественной жизни, куда стекаются деревенские новости, и одновременно непросыхающего пьянства становится котел в теплушке на скотном дворе... Герой рассказа «Никола Милостивый», тракторист Валька, допившийся до чертиков и после долгих сомнений решивший полечиться в городе, в случайной городской лавке видит икону, которую он своими руками положил в гроб бабки Марьи и сам помогал гроб опускать в могилу. Решив найти того гада, который вынул икону, он идет по цепочке — от продавца к посреднику, а от него к тому самому мародеру, где и находит свою смерть.

Грешные и потерянные герои действуют в рассказах **Бориса Евсеева** «Где-то посреди России» («Москва», № 10), овеянных задумчивой печалью. Перед нами — странная троица, христарадничающая по подмосковным монастырям: внушающий страх и жалость здоровенный парень с буйным нравом и неспокойной душой, по прозвищу Дьякон, которого «турнули из Печор, из послушников... за дурное поведение и нетвердость в вере», его постоянный спутник, маленький убогий Клепик, «полустаричок-полупацан», мечтающий о послухе, и приблудившаяся к ним на вокзале 13-летняя Сашуня. Они строго и трогательно заботятся о ней, надеясь распутаться с теперешней своей пропащей жизнью, с «побирушничеством, непотребством и другими неправдами» и вздыхая единым скорбным вздохом со среднерусской равниной, покоящей их своими округлыми холмами, светоносными монастырскими прудами, золотыми плесами и малыми реками, словно на ладони, протянутой к Богу, чье «доводящее до слез, разрывающее сердце радостью присутствие» они постоянно ощущают в себе (рассказ «Христа ради»).

Убедительно и точно сделанные рассказы **Александра Хургина** («Знамя», № 12), временами откровенно использующего зощенковские инто-

нации, плохо кончаются для героев и по художественной логике автора иначе кончаться не могут. Дело, видимо, не только в том социальном слое, где писатель находит своих персонажей-бедолаг (заводской рабочий люд), и не в их индивидуальной обделенности талантом жить, в невосприимчивости к краскам жизни, а в самой механике жизни, не дающей оснований для оптимизма. И герои Хургина с их механическим заводом обнажают эту механику, не усложняя процесс обнажения этическим и эстетическим камуфляжем.

Юрий Крелин в рассказе «Потапыч и Исакыч» («Знамя», № 10) с юмором, не лишенным аналитической задумчивости, разводит руками перед социально-медицинским феноменом — алкоголиком Потапычем, грузчиком «на складу», где он хозяйничал, как у себя дома, и своровать на его языке означало всего лишь «скоммуниздить» («и все законно»). Его живучесть после количества выпитого и перенесенных операций— загадка для науки, но и причины его недовольства нынешними порядками доктора «Исакыча» тоже ставят в тупик («При Брежневе лучше было... Колбаса два двадцать. Водка два восемьдесят семь... Сейчас воровство у них совсем другое... Сейчас так, как раньше, не скоммуниздишь. Сейчас не так...»). На фоне советской и постсоветской действительности акцентирована сущностная неизменность типичного российского жителя с его столь же типичным алкоголизмом, от которого его лечат-лечат, но все без толку...

Отметим, наконец, в этом ряду и рассказы **Григория Петрова** («Октябрь», № 10) — простонародный сказ о бедах и заботах, радостях и горестях городских обывателей, которых искушает нечистая сила. В манере Шергина и Бажова Петров рассказывает о всяких чудесных происшествиях, не теряя надежды на Божью помощь непутевому человечишке.

По-прежнему заметна, хотя и стала несколько слабее, та струя современной беллетристики, которую мы условно обозначали в предыдущих обзорах БСК как *прозу* отчетливо *идеологической направленности* — какой бы эта направленность ни была. Кроме уже упомянутых повестей Л. Бородина и А. Трапезникова и рассказов В. Белова, отметим в этом ряду и пьесу того же **Белова** «Семейные праздники» («Москва», № 10), посвященную годовщине со дня октябрьских событий 1993 года. Это откровенно иллюстративный перевод актуальных политических коллизий, осмысленных с отчетливо определенных идеологических позиций, в русло семейно-бытовой драмы. Московская семья, живущая в квартире, выходящей окнами на площадь у Белого дома, втянута в события, происходящие на площади, участвует в них, переживает, обсуждает. Среди действующих лиц — представители разных поколений. Во-первых — пожилая чета родителей-интеллигентов с либеральными, шаткими и неопределенно-прекраснодушными понятиями (при этом отец, физик-атомщик в малых чинах, один из рядовых создателей чернобыльского реактора, несколько старомодными аргументами защищает преимущества атомной энергетики). Затем — старший их сын, лейтенант внутренних войск, бывший афганец и чернобылец, за доллары охраняющий засекреченного снайпера-провокатора, стреляющего с чердака их дома по безоружной толпе на площади. Заглушая водкой протесты собственной совести и недоумение в глазах жены, которую он гонит из дома, он боится признаться ей и родителям в лучевой болезни, истин-

ной причине его потерянности и агрессивности. Не очень ясно представлены, но поддержаны авторской симпатией дочь и зять, избитый милицией при штурме в Останкино и обвиняющий шурина в том, что тот служит «не президенту, а резиденту», «не России, а Западу, толстобрюхим денежным кошелькам». И, наконец, представитель юного поколения, с которым писатель связывает свои надежды, младший сын-старшеклассник: он живет под грохот рок-музыки и смотрит тайком от родителей по видику порнокассеты, которыми его снабжает видавшая виды соседка-коммерсантка, но чистая душа его тянется к сестре и зятю, увлекшему его за собой в Останкино. Оттуда он возвращается избитый и истерзанный, но полный презрения к своему продажному старшему брату, переставшему быть для него героем. Брат признается, наконец, в неизлечимой болезни, убивая этим признанием своего отца, не смогшего перенести мысли о том, что он убийца собственного сына...

По-прежнему заметное место занимают в современной прозе рассказы и повести, хотя и опирающиеся на современный жизненный фон, но обращенные к более общей и традиционной (в сущности — вневременной) нравственно-экзистенциальной проблематике человеческой жизни. Назовем в этом ряду:

— Рассказ Эргали Гера «Казюкас» («Знамя», № 10), щедро пропитанный воздухом Вильнюса, его улиц и площадей с уютными ресторанчиками, со старинными дворцами и музеями, с ярмаркой в день святого Казимираса (Казюкаса). Акимов, уроженец Вильнюса, влюбленный в город и его историю, отец-одиночка и непечатающийся писатель (время действия — перестроечные годы), неохотно отвлекаясь от своих дел, принимает в своей квартире, где в прежние времена всегда было много гостей из Москвы и Питера, двух юных и беззаботных девушек-москвичек, приехавших на несколько дней осмотреть город. И в жизни Акимова, в последнее время затянувшейся рясной повседневности, появляется праздник — «светоносное чудо», милая и добрая Дуся-Евдокия. Он водит девушек по городу, показывает, рассказывает, вдохновляясь от ее присутствия и питая несмелые надежды. Это рассказ о замысловатой природе любви, о двух ее обликах — любви-влюбленности и любви-страсти, воплощенных в двух разных женщинах.

— рассказ Юрия Дружникова «Смерть царя Федора» («Октябрь», № 12), где умирает на сцене в застойные годы народный артист Коромыслов, в котором воплотились и сконцентрировались все лучшие традиции театра. Остаются интриги, угодничество, групповщина, равнодушие к большому искусству и его великим задачам.

— рассказы Владимира Володина («Волга», № 7), автор которых облекает безотчетные смутности, связанные с переживанием вечных ценностей жизни, в словесную пластику — как в сюжетном «Тупичке» с эскизно намеченными лицами, так и в лирически-исповедальных рассказах, где рассказчик совершает в лодке ночное путешествие по реке Пре, и «одиночествуя и созерцая», погружает реку, лес, луну, тишину в тревогу, готовую воплотиться в призраки («Пра»). Или — окунается в сны, где его «настигает прошлое, но прошлое это похоже на несостоявшееся настоящее» («Владелец снов»).

— рассказ **Вероники Кунгурцевой** «Санькин день» («Москва», № 11), герой которого — маленький лишний человек Санька, сирота при живой матери-алкоголичке и при бабушке, попрекающей его и не скрывающей от внука желания сплавить его на казенные харчи в интернат для умственно отсталых детей. Чтобы заслужить любовь матери, Санька идет на воровство, которое ему прощают по малолетству, и душевно отдыхает в клубе на последнем киносеансе, где он уснет и, всеми забытый, проспит до утра...

— рассказ **Леонида Юзефовича** «Колокольчик. 1990 г.» («Знамя», № 11), автор которого с тонкой психологической прорисовкой и уходящей в подтекст символикой продолжает деликатно зондировать самосознание отечественной интеллигенции в ее противостоянии «бесформенному ужасу жизни». Это грустная история о литераторе Вагине, его семейно-дачных делах и адюльтере, об его занятиях творчеством писателя-авангардиста раннесоветской эпохи Каминского и посещении в дачной глуши дома-музея, где этот Каминский провел последние десятилетия жизни в безвестности и праздности. Поверх всех этих обстоятельств в рассказе звучит печальная мелодия утрат, уходящих жизненных возможностей и скудных перспектив.

"Вариации переходного периода» **Марка Кострова** («Новый мир», № 10) — записки писателя, живущего в псковской глуши, о своих буднях, о земляках, о своих придумках и житейских изобретениях, настроениях и политических взглядах. Где простодушно, а где и с хитрецой российский Генри Дэвид Торо свидетельствует об опыте своей робинзонады.

Сергей Юрский в рассказе «Бумажник Хофманна» («Октябрь», № 8), затевая внешне как бы самодельную игру с пространством-временем, обращает ее, однако, в действенный инструмент нравственно-психологического анализа. Его герой-актер, оказываясь то в благополучном Брюсселе, то в постсоветской псковской провинции с ее угрюмыми нравами и менталитетом, не просто делится с нами этими впечатлениями, сопоставляя их, но фиксирует наше внимание на тех душевных состояниях, сомнениях и переживаниях, которые характерны для современного интеллекта, пытающегося разобраться в сегодняшнем хаосе жизни и самоопределиться в ней.

Авот в рассказах Михаила Рощина («Октябрь», № 7) герой-рассказчик предпочитает оповестить нас о перипетиях своих сексуальных связей, «пиршествах плоти и прелюбодейства», обнаруживая, впрочем, в этом предмете много искушенности и опытности.

Как и в предыдущих обзорах БСК, отметим, наконец, что по-прежнему значительное (хотя и несколько меньшее, чем раньше) место среди прозаических журнальных публикаций занимают произведения, ориентированные на приемы так называемого *постмодернизма* и его *игровой поэтики*. Отметим в этом ряду:

— рассказ **Олега Юрьева** «Гольдштейн невидимый» («Октябрь», № 9), в котором повествуется о путешествиях «духовного тела» некоего Гольдштейна, отрывающегося от своего физического носителя и пронзающего пространство. Затейливо и витиевато автор рассказывает о наблюдениях этого невидимого путешественника, которые имеют довольно интимный характер.

Для манеры Юрьева характерны стилистическая замысловатость и изощренная, нередко почти бесцельная наблюдательность.

— «Месторождение ветра» **Марины Палей** («Новый мир», № 12) — опыт стилизованно-акцентированного претенциозно унылого бреда по поводу хронически неудачных попыток героя объездить двухколесный велосипед. Можно видеть в этом притчу, а можно — некое сюрреалистически-психоаналитическое эссе, выполненное, впрочем, как водится у Палей, не без художественного блеска.

— «Письма женщинам о русском футболе» **Игоря Мартынова** «БАМ» («Новый мир», № 12) — замысловато-ассоциативный очерк путешествия по известной сибирской магистрали, включающий в себя в произвольном порядке наблюдения, оценки, шутки, каламбуры и фантазии. Неперескazуемый этот текст представляет собою убедительный пример того, что молодежная игровая речевая практика с ее «стебом», «приколами» и «примочками» может использоваться не только как колоритная приправа к привычному словоупотреблению, но и как самостоятельный речевой феномен, в котором автор чувствует себя, как рыба в воде, изъясняясь сплошняком и не переводя дыхания. Утомительно-невнятная игра остроумия, демонстрирующая литературные способности, лишенные серьезного применения.

— «Вечное возвращение» **Валерия Роньшина** («Юность», № 9) — повесть-игра, повесть-наваждение о мужике Егоре, которого водит бес. Всевозможная чертовщина, в которой иногда гротескно преломляется современность.

— повесть **Юрия Буйды** «Калигари» («Октябрь», № 11) — стилизованная новелла о Шерлоке Холмсе, раскрывающем преступление, связанное с чудовищными экспериментами над человеком. Рядом с Конан-Дойлем — мотивы немецкого экспрессионизма.

— «Вандемьер Композитора» — дебютную «философскую повесть» **Андрея Иванова** («Юность», № 12). Одаренный молодой человек с философическими наклонностями (два его обширных текста в этом роде включены в повесть) на последние средства едет в начале перестройки в Варшаву в надежде получить затем политическое убежище в США или Канаде. Автор повествует о варшавских скитаниях и мытарствах героя-неудачника по прозвищу Композитор, которые завершаются его смертью. В мистическом эпилоге повести дух Наполеона входит в связь с умирающим героем (вселяется в его тело?), чтобы обрести новую жизнь и стать впоследствии императором Востока. С этим намерением Наполеон-Композитор возвращается в Москву...

В игровой стилистике работает и **Михаил Смоляницкий** в повести «Зубик» («Знамя», № 11), действие которой происходит в некоем условном времени и в некоем Самом Большом Городе, сопровождаясь переодеваниями в одежды разных времен и народов и демонстрируя историческую эрудицию автора и его продвинутость в германской филологии. Герой повести, идя по жизни, на разных ее поворотах встречает женщину по имени Вита, которая, меняя одежды и облики, манит его напрасными обещаниями счастья. Повесть наполнена многозначительными намеками, которые представят интерес для любителей кроссвордов.

Наконец, даже **Анатолий Курчаткин** в рассказе «Муза» («Знамя», № 11) не может удержаться от соблазна (впрочем, не в первый раз) сопрячь вполне традиционно добротный литературный отчет о безотрадных впечатлениях от текущей жизни, с которой приходится иметь дело, с новомодными игровыми изысками. В рассказе подробно, отстраненно, без особых эмоций, изложена «дверная» одиссея автора, связанная с самовывозом из загородного лесхоза дверей для дачи и с хорошо известной в этих случаях маятой и нервотрепкой — поиски «левой» машины, переделка халтурно сделанных дверей, мстительная агрессивность лесхозовского бригадира, погрузка-разгрузка, — при полной бессмысленности всей этой затеи, поскольку дача из-за инфляции выше фундамента уже не поднимется, и двери, загодя заказанные и оплаченные, будут валяться в чужом сарае... Словом, рассказ как рассказ. Однако изобилие всего этого простонародья, мужичья, конторского хамства, вредного климата, драк и поборов оборачивается почему-то в конце рассказа появлением (то ли во сне, то ли наяву) некой «музы», которая встречает писателя, валящегося с ног от усталости, и заставляет его писать этот рассказ. Это вульгарная женщина, с «наглым и подлым смехом», с развратными глазами «продажной девки», но с нежными и любящими руками («Это были руки, знавшие всех великих, что теснились сейчас книжными переплетами вокруг меня...») И вот странная эта муза, та самая, что «Данту диктовала страницы Ада», наизменявшись с литературными предшественниками Курчаткина, — теперь диктует и ему, прижимаясь к нему «всем своим блядским, потаскушечьим телом». Тоже, как можно убедиться, увлекательный кроссворд на любителя.

2. Литературная критика

Из статей, продолжающих **обсуждение современной литературной ситуации** в целом и в ее наиболее характерных проявлениях, отметим, во-первых, статью **Александра Агеева** «Выхожу один я на дорогу...» («Знамя», № 11), посвященную характеристике современной литературной критики. По существу, критик продолжает спор «отцов» и «детей», переводя его в русло отношения к классике, которое, по мнению автора, выявило два типа критиков — «охранителей» и «нигилистов», говорящих на разных методологических языках и о разных предметах. Для «нигилистов», сторону которых явно держит автор, классика — не «монолитный, совершенный и завершенный Космос», а Космос, непрерывно создающийся из Хаоса, литература же — игра, «которую никогда не следует путать с жизнью». Напротив, — для «охранителя», который выступает в статье в качестве объекта критики, характерен «религиозный, отчасти мифологический» тип мышления, классика трактуется «как Священное Писание, с верой в то, что в нем на все отвечено» («Отсюда — заметное пристрастие к критической декламации, самоощущение избранности, методологический символизм»). А. Агеев полагает, что современная критика не оценила по достоинству изящную словесность, которая находится на подъеме, разнообразна и свободна (упомянуты Пелевин, Бородыня, Евг. Попов). Агрессивные «консерваторы» (Камянов, Гальцева,

Роднянская и др.) слагают миф о кризисе литературы, другие «охранители» (Басинский, К. Степанян) уповают на возрождение реализма, чего Агеев не предвидит. В то же время молодые критики (Курицын, Кузьминский, Мокроусов и др.), невнимательные к текущей жизни, сами претендуют на некое литературное значение, а потому невольно становятся соперниками прозаиков-поэтов. Агеев призывает защитить современную литературу от нападок «охранителей».

Некоторым проблемам в книгоиздательском деле, актуальным и показательным для всей литературной ситуации в целом, посвящена статья **Алексея Пурина** «Архивисты и новаторы» («Новый мир», № 11). Фиксируя и комментируя составительские, текстологические и комментаторские издержки в современных изданиях стихов Мандельштама, Анненского, Кузмина, Введенского — произвол в отборе текстов, включение ученических стихов и исключение шедевров, стремление составителей к «самовыражению», а комментаторов к «упоенным самоотчетам» о произведенных ими разысканиях, — автор видит в них не досадные, вызванные теми или иными частными причинами, недоработки или искажения, а выраженную тенденцию «архивистов-новаторов» к «лжевоскрешениям», характерную для сегодняшнего «духа времени». Истоки этой тенденции, по мысли автора, коренятся во вчерашнем дне, в «террористической эстетике ночных чтений и бдений» («Доперестроечные архивы являли собой кладбища, полные текстов, эксгумация которых была строго запрещена. Поэтому вскрытия производились подпольно, с риском для жизни»). От свойственной этой эстетике «ночных бдений» деструкции «трудно избавиться и теперь, когда всему этому нет причин», поскольку она продолжает приманивать «лежащим на ней отсветом неподдельного героизма. По большей части, правда, — чужого».

Состояние отечественного литературоведения — предмет обсуждения в публикации **Вл. Новикова** «Горе от ума» у нас уже имеется. Письмо Юрию Тынянову» («Новый мир», № 10), где автор объясняется в любви покойному Тынянову («Лично для меня вы самый дорогой (т.е. любимый) писатель и филолог нашего столетия»). Он высоко оценивает открытый ОПОЯЗом закон противопоставленности материала и приема: «По-моему, это главное эстетическое открытие не только двадцатого века, но и всех двадцати веков, то есть христианской культурной эры... по масштабу сопоставимое разве что с «Поэтикой» Аристотеля». И, напротив, — весьма невысокого мнения о достижениях структурализма: «...лично мне как читателю и литератору структурализм не открыл ни одной тайны искусства, не помог понять ни одного текста, ни одного конкретного писателя, ни одного исторического поворота». Автор с ревнивой горечью фиксирует факт невостребованности сегодняшним литературоведением, как отечественным, так и зарубежным, идей опоязовской науки, оставшихся нереализованными.

Андрей Немзер публикует «Взгляд на русскую прозу в 1994 году» («Сегодня», 24 декабря). Главными событиями года он считает два военных романа: «Генерал и его армия» Владимова и «Плацдарм» Астафьева, давая сжатую, но емкую характеристику этих произведений. В то же время он отмечает, что многие писатели работают словно бы по инерции, в прозе слы-

шатся «отработанные мелодии» (Петрушевская, Садур, Хургин, Шишкин и мн. др.). Недоволен критик и состоянием рассказа: у хороших рассказчиков (Искандер, Пьецух, Эппель и др.) «нет новизны, нет гетерогенности материала, нет межтекстовых напряжений». В области «интеллектуальной словесности» отмечены успехи Войновича, Федорова, Наймана, Боровикова, Кураева. Отдельная главка посвящена беллетристу Слаповскому — давнему литературному любимцу Немзера.

Наталья Иванова в статье «Взбаламученное море. Время УРЛ и его последствия» («Дружба народов», № 5) полагает, что в литературе все смешалось, идет брожение. Это время то ли Ускоренного Развития, то ли Усвоения без Развития. Литература стала мозаичной. Критик отмечает, правда, полноценные творческие поиски Искандера, Битова и Давыдова.

Лазарь Лазарев в статье «Былое и небылицы» («Знамя», № 10) защищает писателей-фронтовиков от нападок Д.Бобышева, который в своем эссе («Звезда», №2) уличает их в политической сервильности и художественных слабостях. Лазарев считает обвинения и Бобышева, и другого критика, И.Есаулова («Новый мир», № 4), необоснованными и подробнейшим образом аргументирует свою позицию.

Из статей, посвященных отдельным произведениям или выполненных в жанре литературного портрета, отметим, во-первых, статью **Льва Аннинского** «Спасти Россию ценой России...» («Новый мир», № 10), посвященную роману Г. Владимова «Генерал и его армия». Критик предлагает свое прочтение романа в контексте сегодняшнего дня. Отдавая должное художественным достоинствам романа, его «замечательной огранке» («Достоверна фактура, выверена форма: все врезано жестко, все пригнано, взвешено, прокатано, впаяно...»), критик, однако, свое внимание обращает на ту «тайную» реальность, которую «звериным чутьем» чует Владимов и которая проступает на поверхность романа там, где «ткань романа начинает «ползти куда-то вбок». За этим «сползанием» стоит авторская боль, «...авторское ощущение реальности», «авторское терзание», «авторская неразрешимость», связанные, по мысли критика, с главным вопросом романа: «Цена победы — вот к чему прикован Владимов ... из нашего сегодня... оборачивается Владимов к кровавой военной поре, решая, чего же в ней больше: святости или подлости? рабства или воли? правды или обмана? На чем выстроилось наше последующее бытие? Чего нам ждать? Как жить? За что мы заплатили пятьдесят лет назад? и какую цену!». Героев романа связывает верность долгу, спокойная решимость умереть за Россию («...и эта громада, твердыня, держава величественно вздымается над кровью»), но их связывает и общая безопорность, беспочвенность, потенциальная бесчестность, и эту сложную связь наглядно выявляет войсковой смершевец, компенсирующий «потаенную, всеобщую, невидимую слабость» своим «особым» существованием и представляющий функционально необходимую, хотя и «безжалостную» силу. «Эта... безжалостная сила — почти «механическое следствие» той темной, рыхлой, непробиваемой, жалостной природной массы, в которой все у нас и вязнет, и спасается. Ей в противовес нужно что-то сухо-беспощадное, скрипуче-пунктуальное, кабинетно-опрятное...», — считает критик, риторически вопрошая себя и читателя: «А может, это вот так

изначально и связано одно с другим — «размазанность» отдельного человека и непобедимость державы?». Критику «страшен глубинный смысл владимовской метафоры, рожденной «в масштабах плацдарма»: «Спасение покупается ценою гибели. Вольность — ценою рабства. Россия — ценой России».

В своем отклике «Анархия — мать порядка?» (на тот же роман Владимова) **Алла Марченко** («Новый мир», № 11) возражает критикам, которые сошлись «в убеждении: автор «Генерала и его армии» идет дорогами войны, старательно ставя ногу в толстовский след». Она считает, что отношение Владимова к Толстому «куда больше похоже на с п о р» и приводит факты его явной и скрытой полемики с Толстым (представление о войне и науке побеждать, пляшущие Наташа Ростова и командарм Кобрисов, лишь внешне схожие Кобрисов и Кутузов, шофер Шестериков и Платон Каратаев, различия в портретной живописи, ритмическая противопоставленность «блиц-романа» Владимова толстовской эпопее).

Попытку набросать литературный портрет Сергея Довлатова делает **Никита Елисеев** в статье «Человеческий голос» («Новый мир», № 11), привлекая тексты Довлатова, выясняя его литературную «родословную» и очерчивая его место в русской литературе. Для критика Довлатов — «классик. Не современный писатель... Его проза — не актуальна, она — сентиментальна и ностальгична». Критик отмечает особенности его писательской манеры — «Оксюморонное сочетание жестокости и жалостливости, боязнь высоких слов, красивости и поэтичность, держащаяся интонацией, ритмом, поэтичность, построенная на честном и правильном расположении одного верного, нелживого слова рядом с другим», а так же верность русской литературной традиции в парадоксальном соединении с традицией американской: «Пройдя искус эстетизма, Довлатов оказался перед необходимостью маскульта... смог стать эстетским и одновременно массовым, демократическим писателем». Среди литературных предшественников Довлатова Н.Елисеев видит Слуцкого, Олешу, Розанова, Бориса Житкова, Кафку. Размышляет он также и об отношении Довлатова к ангажированности и морали, о его готовности «стать советским писателем».

3. Философия, культурология, религия (1994)

Марина Адамович

Итак, к чему обращалась, о чем спорила историософская, философская, культурологическая и историко-социальная мысль в журнальной периодике прошедшего года?..

Темы вырисовываются на удивление четко — эти темы будоражат улицу (на уровне обыденном), телевидение (на том же, кажется, уровне), прессу и даже литературу; темы заявлены самой **жизнью сегодняшней России, ее прошлыми и будущими судьбами.** Трудно даже вспомнить еще такой период, когда бы реальность столь жестко диктовала свою волю ее величеству философии (известное исключение — Семнадцатый год). И в этом

есть, несомненно, некий положительный момент — попытка концептуального осмысления актуальных проблем современности. Но есть и безусловное ощущение потери самостоятельной традиции фундаментальных исследований. Постановка проблематики и поиски решений, в лучшем случае, идут параллельно изменениям в социуме, зачастую же — вслед. Что делать — кризис, энтропия духа, переходный период, смутное время...

Кстати, именно такова терминология многих, если не большинства, статей. **«Катаклизмы в России в свете теории катастроф»** — так называется статья **Л. Лескова** (ж. «Общественные науки и современность», № 1). Опираясь на известную теорию катастроф, автор, доктор математических наук, пытается объяснить переживаемые нами общественно-политические и социальные потрясения. Лесков замечает, что не следовало бы определять канувший в лету Советский Союз как страну социалистическую, ибо таких систем не существует; архетип Союза — тоталитарная антисистема. Как любая антисистема, и эта могла функционировать, не разрушаясь, лишь в течение ограниченного времени и только за счет эксплуатации ресурсов. Потому и произошла — не могла не произойти — так называемая катастрофа, скачкообразный переход-отклик системы на изменение внешних условий. Используя положения теории перестроек академика В. Арнольда, автор анализирует ход и определяет перспективы социальных реформ, призывая к новому аттрактору (режиму движения), к уничтожению архетипов прежнего имперско-большевистского аттрактора и выработке концепции национального возрождения.

Словно почувствовав некоторую механистичность лесковских аналогий, **А. Пригожин** в **«Феномене катастрофы (дилеммы кризисного управления)»** («ОНиС», № 2) возвращает нас к образу катастрофы в массовом сознании: проклятье, возмездие, заговор, испытание, новые возможности, урок (читатель, наверное, узнал здесь и свой образ, свои ощущения). Но, в общем, вслед за Лесковым, напоминает простую истину: лишь используя весь накопленный потенциал науки, религии, мы сможем что-то понять во дне сегодняшнем и завтрашнем. В чем и состоит настоятельная потребность уже со вчерашнего дня.

О катастрофе, переживаемой сегодня Россией, говорит со страниц «Нового мира» и **А. Солженицын** в статье **«Русский вопрос» к концу XX века»** («Нм», № 7. Та же статья перепечатывается «Вестником РХД», № 169). Три великих Смуты выделяет Солженицын в русской истории: Семнадцатого века, Семнадцатого года и — нынешняя. Автор размышляет над коренными государственными и духовными пороками, приведшими к Третьей Смуте, и ставит «русский вопрос» конца XX века так: быть нашему народу или не быть.

По мнению же **Л. Аннинского** в статье **«Русская душа: лицо и псевдонимы»** (ж. «Время и мы», № 123), у России сегодня только одно неопровержимое измерение: она есть. Все же остальное — не более чем метания «русского духа, пытающегося заново сориентироваться в мире, где ориентиры либо потеряны, либо оспорены». Так что, считает автор, речь вообще идет не о крушении советской идеологии, но именно об общем кризисе **русского** сознания.

Только и гадать, куда идет и вообще — «Доживет ли Россия до 2000 года?» — вопрос, который задает в своей статье **В. Богоявленский** (№ 124 того же журнала). И отвечает: неизвестно никому. Все имеющиеся программы — надумь: Гайдара, Абалкина, Сабурова, Глазьева, Черномырдина... Хотя — верит публицист — это отнюдь не распад России, не конец истории, а ее трансформация.

«Будет ли существовать Россия?» — задает тот же вопрос уже своим заголовком и статья **Г. Федотова** («Наука и религия», № 6). В 1929 году, когда писались его заметки, положительный ответ был дан философом раз и навсегда, ибо «жизненность и крепость русского религиозного возрождения, русской Церкви не подлежит сомнению. В ней... дано живое средоточие нашей национальной работы». Россия будет существовать при условии, что в деле национального возрождения будут участвовать Церковь, культура, государство.

А «Почему мы верим в Россию» — объясняет в своих заметках 49-го года **И. Ильин** («НиР», № 9). Верить в Россию, по глубочайшему убеждению философа, значит видеть и признавать, что душа ее укоренена в Боге и что ее история есть возрастание от этих корней. Русский народ не покинут Богом. Это — главное, остальное приложится, ведь самой российской историей доказана способность народа к государственной организации и хозяйственной колонизации, доказана духовная и национальная живучесть, умение творить особую национальную культуру, могучий язык, искусство, формировать русское правосознание...

«Духовные судьбы России» — основная тема доклада прот. **А. Шмемана**, прочитанного еще в семидесятых годах («Нм», № 3). Россия, по мнению этого известного проповедника и богослова, прежде всего некий духовный образ. И, постигая этот образ, мы невольно исходим из нашего духовного источника — христианства. Две традиции всегда сосуществовали в неустойчивой, неорганичной российской истории: исторической гордыни и покаяния. Сегодняшний кризис — это время для очищения, для попытки «увидеть себя глазами Бога».

Одной из наиболее сложных задач переходного (кризисного — по другому определению) периода является, пожалуй, задача **самоидентификации личности, и нации**. Отнюдь не случайно поэтому столь огромные площади отводят журналы проблеме определения национальной ментальности. Уже первые шаги в этом направлении доказывают, что у нас нет на сегодня даже четко определенного объема понятия *«ментальность»*. Что это: целостная картина мира? дорефлективный слой сознания? социокультурные автоматизмы индивидов? «эфир» культуры? духовно-исторический феномен культуры и проявления этнической и национальной психологии?..

Представленный «Вопросами философии» (№1) *Круглый стол* «Российская ментальность» вполне отражает существующую у нас сегодня пестроту мнений. Однако задача объединения философско-антропологического подхода с конкретно-историческим уже была поставлена. А в выступлениях **Г. Гачева, И. Пантина, А. Панарина** и др. была высказана и мысль

о нерациональном типе проблемы самоидентичности, показана необходимость исследования понятия космо-психо-логоса национального бытия.

О неопределенности, в свою очередь, самого понятия культуры в русской культурной традиции, об отсутствии концепции культурного развития, о приглушенном национальном самосознании говорит и **Д. Лихачев** в заметках «Нельзя уйти от самих себя...» («Нм», № 6) и «Культура как целостная среда» («Нм», № 8). Предлагая читателю исторический экскурс в прошлое России, ученый подробно анализирует традицию государственности и народа, институт абсолютной монархии, теорию «Москва — Третий Рим», ошибочность распространенного мнения о влиянии крепостного права на русскую ментальность, говорит об оригинальности русской философской традиции. И задается вопросом: что же все-таки произошло с Россией? Пытаясь отыскать подходы к ответу на этот вопрос, Лихачев настойчиво утверждает — «мы должны оставаться великой державой» в силу великой культуры, созданной Россией, осознать принадлежность к общеевропейской культурной традиции. На сегодня это долг нации.

О том же размышляет и **С. Хоружий** в статье «Неопатристический синтез и русская философия» (ВФ», № 5). Работа построена на анализе творческой деятельности о. Георгия Флоровского. Суть нашей эпохи, считает автор, — **глобализация** как путь к утрате истории (этим современная глобализация отличается от новозаветной, ориентированной на объединение локальных историй в единую Вселенскую историю); в глобализационных процессах двадцатого века происходит эрозия исторического измерения бытия. «Для нас же, в первую очередь, человек, культура, народ — обладатель собственной истории, никогда прежде не бывшей». Задача здесь — актуальное творчество истории. Но чтобы понять себя, самоидентифицироваться — нужно, как минимум, уметь это делать. Так что не удивительно, что главный предмет размышлений Хоружего — доказательство оригинальности русской философии в ряду европейском. Отечественная философия, действительно начинавшаяся как одно из течений общеевропейской, выработала собственную традицию «бесконечной патристики». Опираясь на Отцов IV века, «классическая западная» философия сформировала традицию Августин—Фома—Декарт — секуляризованный идеализм, восточно-православная же традиция пошла от Максима Исповедника—Григория Паламы к православному энергетизму XX века. Игнорировать это своеобразие значило бы встать (по С. Хоружему) на путь унификации и навсегда закрыть для исследователя дорогу к пониманию происходящего в России. (Заметим: Флоровского сегодня вообще вспоминают очень многие, справедливо ища в его наследии ответы на многие болезненные проблемы современной философии и культурологии. «Мера», № 1 печатает его «Затруднения историка христианина», которые нынешний читатель, наверное, испытывает и на себе).

«Взгляд на русскую философию» бросают и участники Международной конференции по русской философии 1993 г. («ВФ», № 1). Стремление осмыслить Православие как универсальное мировоззрение, вслед за С. Хоружим, высказывает **Н. Гаврюшин** («Русская философия и религиозное сознание»), с чем не могут согласиться **М. Громов, А. Валицкий и**

Дж. Скэнлан, ощущая «русскость» философии как обращенность к реальным нуждам России вчера и сегодня.

Совершенно закономерно, что суть разногласий в *понимании природы русской философии* сохраняется и в обсуждениях проблемы «Риска исторического выбора в России» (так, собственно, и называется *Круглый стол* в «ВФ», № 5). Обсудив социально-исторический, экономический, культурологический и цивилизационный сценарии развития ситуации в стране, участники *Круглого стола* пытаются определить возможные пути выхода из кризиса.

Сходным проблемам был посвящен еще один *Круглый стол* — «Веймарская модель и современная Россия» и статья В. Пантина и В. Лапкина «Прогноз не должен сбыться» («Знание-сила», № 6). Анализируя социально-политическую модель А. Янова (основное положение концепции — закономерность неудачных попыток перехода к демократии держав веймарского типа, к ним предположительно относится и Россия), участники Круглого стола и авторы статьи указывали на необходимость критического осмысления предложенной модели и согласились с Яновым в главном: в гипотезе о возможности осуществления веймарского сценария в России и — необходимости предотвратить его.

О прикладном характере нынешнего философствования о путях России уже было замечено. Однако размышления эти не могли не вернуть философов и к более общей, фундаментальной теме — свобода и человек на путях ее. «Вопросы философии» (№ 1) предлагают здесь еще одну подборку материалов: вступление Ю. Шрейдера «Свобода как творческая ориентация в мире» предваряет публикацию В. Гертыха, доктора богословия, профессора колледжа Папской Богословской Академии в Кракове «Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского». Автор освещает проблему свободы с позиций томизма, анализируя исследование св. Фомы «Сумма теологии». Человек, погружающийся во зло на путях свободы, — тема статьи президента Международного общества Шеллинга, В. Якобса «Происхождение зла и человеческая свобода или трансцендентальная философия и метафизика». (Кстати, с «Учением св. Фомы Аквинского и проблемами современного общества» Ю. Шрейдера можно ознакомиться и в ж. «Теология», № 1. Автор напоминает, что, согласно Отцам Церкви, истинная свобода есть не своеволие и вседозволенность, но свобода от зла в союзе с Богом, в слиянии с Божественной Истиной... Его же статью «Ценности, которые мы выбираем» печатает «Нм», № 8).

О моральном Законе внутри нас говорил и протоиерей Иоанн Восторгов в своей проповеди «Идея Отечества» («Православная беседа», № 1, там же — статья о. Максима Козлова о новомученике о. Иоанне). Ни одному народу, проповедовал о. Иоанн, не совершить ничего великого, если в своем историческом шествии он не имеет перед собой вековечного знамени. Движение народов в истории, как правило, совершается под знаменами национализма, патриотизма, обогащения, социализма или — культуры; все это — преходяще и не может вечно направлять историческое движение. Подлинная слава народов, и России, в частности, — в верности христианству. Тогда и

культура, и экономика, и право займут свое истинное место **средства**, а не цели, знамени. Тогда и идея Отечества, Отчизны, — «вселенского круга» — отбросит свои подобия, искажения и поведет человека, нацию к осуществлению мировых и неведомых, невместимых в наш разум, планов Божиих. Ибо «народ без мирового призвания, без сознания и исполнения этого Богом указанного призвания, — все равно что... бродяга, не помнящий родства, выбитый из колеи жизни; это — недоделанная, недоразвитая нация, обреченная на увядание раньше расцвета и плодоношения».

Феномен свободы анализируется сегодня и на социокультурном уровне. Так, **В. Дахин** в статье «Распад социальной ткани тоталитарного общества» («Свободная мысль», № 2) исследует ситуацию не переходного периода (как это делается в большинстве подобных работ), но — периода распада тоталитарной системы, для которого характерно превращение прежнего моносоциального общества в хаотическую сумму личностей, испытывающих потребность в самоидентификации. Сегодня в России, с точки зрения автора, происходит процесс гиперкомпенсации ущербного положения личности, уже сложившейся при тоталитаризме с присущим ему мифологизированным архетипом. Начинается новое *мифотворчество*, одной из черт которого становится неизбежная абсолютизация личности, группы, этноса.

Об абсолютизации личности и этноса, зачастую приобретающей болезненные формы, пишет и **К. Гаджиев** в «Заметках о перспективах российской государственности» («ВФ», № 9). Автор предостерегает от смешения проблемы тоталитаризма, тоталитарной империи с проблемой государственности. С его точки зрения, несмотря на соблазн дистанцироваться от России, именно ей суждено сыграть первостепенную роль в достижении стабильности всех регионов бывшего СССР.

Интересный предмет для размышлений представляют сегодня и процессы формирования национальных лидеров. В переходный период роль лидера предполагает неизбежное выдвижение заведомо недостижимых целей, считает **И. Яковенко** (статья «Феномен социального лидера» — «СМ», № 2). Идеологические тексты всегда развиваются по законам мифа. Миф о правителе, мифологический образ Хозяина в русской культуре никогда не отодвигался на периферию (Яковенко видит в этом следование манихейской традиции с характерным для нее жестким противопоставлением добра и зла). Власть в России переживается тотемистически, с верой в сакральность ее и народа (в недавние времена именно Ельцин соответствовал, например, тотему бескровной антикоммунистической инверсии). Вслед за выбором модельного субъекта наступает короткий этап реализации чистой утопии, за которым неизбежно следует отторжение от своего избранника. Сегодня мы и переживаем период адаптации новой идеологии в национальной конкретике.

Закономерно в этом смысле и появление статьи **В. Острецова** «Самодержавие и народ» («Слово», № 1—6), где автор размышляет о смысле власти, ее законности, о пределах допустимого беззакония, отталкиваясь от мысли о том, что «путем длительного отбора нужного и отсеивания вредного и чужеродного русский народ столетиями шел к той законченной в своем совершенстве форме жизни, которая получила ясное выражение в двух словах — Православ-

вие и Самодержавие». «Народу» же предложим и другую мысль автора — о долге каждого русского человека прикоснуться «к здоровой струе русской национальной мысли» — и задуматься самому о том, какова же она — идеальная и реальная Верховная власть на Руси.

«Новый мир», № 1, в свою очередь, предложил материалы симпозиума «Горбачев-фонда» «Новая Россия на пути к общему дому (Западные модели развития и общегуманитарные ценности в контексте российской истории и социально-экономических преобразований в современной России)». Участники **А. Галкин, В. Межуев, А. Рябов, А. Мигранян, А. Елыманов** в целом сходились в оценках нынешнего положения страны как «неготовности к демократии», реформ — как не адекватных национальной психологии и культуре. Внутренне присущий России и исторически апробированный иерархический принцип разделения властей был искусственно и преждевременно подменен принципами западной демократии. Что и привело к политическому кризису и параличу центральной власти.

Заметен интерес сегодняшней культурологической мысли к *опыту евразийства.* Интерес естественный, ибо современные попытки дать философско-культурный и социально-политический образ России не могут обойти традицию евразийства как уже сформировавшуюся и предлагающую свои ответы на многие сегодняшние вопросы.

«Мысли о континентальном менталитете и о «новом евразийстве» (так названа беседа **М. Горбаневского** с директором Института языков народов России **В. Нерознаком** в «Посеве», № 4) — мысли эти евразийцы совмещали со славянофильским ощущением мировой значительности русской национальной стихии и с западническим чувством относительной культурной примитивности России в области экономической — при стремлении устранить эту примитивность. Имена Н.Трубецкого, П.Савицкого, Л.Карсавина, В.Ильина, Г.Флоровского, Г.Вернадского звучат сегодня на страницах толстых журналов (мы можем назвать статьи **Т. Очировой** «Геополитическая концепция евразийства» — «ОНиС», № 1; **Б. Ерасова** «Россия в евразийском пространстве» — «ОНиС», №2; **В. Кошарного** «Евразийство как объект междисциплинарного синтеза» — «Вестник МГУ. С.Философия, №4; уже упомянутый Круглый стол в «ВФ», № 1 «Российская ментальность», статью **М. Колерова** «Братство св.Софии: «веховцы» и евразийцы (1921—1925 гг.)» — ВФ, № 10).

«Трансформации славянофильской идеи в XX веке» интересуют и **С. Хоружего** («ВФ», №11). Автор выделяет три основных творческих привнесения XX века в идею славянофильства: идеи Славянского Возрождения, Евразийская и Неопатристического Синтеза. Последняя же являет собой, по мнению автора, опирающегося, опять-таки на о.Георгия Флоровского, не тезис, но — антитезис, отражающий реакцию на катастрофу, и представляет оригинальную модель развития русской культуры.

«Богословские воззрения славянофилов» интересуют **А. Осипова** («Московская патриархия», № 6). Автор статьи замечает, что как это ни удивительно, но на самом деле наследие славянофилов — богословское, философское, литературное — до сих пор изучено мало. Между тем как сформули-

рованная ими проблема «Россия-Запад» продолжает быть актуальной как в социальной и культурной, так и в богословской областях. Обращаясь к богословскому наследию А.Хомякова, Осипов определяет основной темой работ старших славянофилов вопрос о Церкви — Единой, Святой, Соборной, Апостольской. Вне правильного понимания этого вопроса невозможно разрешить ни одной существенной проблемы современной России.

О *славянофильской* идее освятить религией культурное творчество и саму культуру возвысить до религиозности говорит и **С. Левицкий** в статье «По ту сторону славянофильства и западничества» («П», № 6). В соединении религиозного пафоса славянофильства и гуманизма западничества может возникнуть, по мнению автора, новая синтезированная культурная задача России.

Среди многочисленных же «идей нового века» упомянем идею *солидаризма* (статья **Ф. Незнанского** «Солидаризм — идея нового века», посвященная работе **Г. Гинса** «На путях к государству будущего — от либерализма к солидаризму», — «П», №2). Согласно солидаризму, путь развития общественного сознания пролегает от инстинктивной солидарности к солидарности сознательной, сам же солидаризм предлагается как философско-этический метод, направленный на согласование интересов отдельных личностей, групп, и является мировоззренческой базой НТС (в № 3 «Посева» печатается статья **С. Левицкого** «Солидаризм как социальное мировоззрение», взятая из «Посева» за 1947 г., а в № 173 журнала «Грани» — статья **Ю. Линника** «Национальные основы российского солидаризма»).

Прошедший год познакомил читателей и с рядом исследований, напрямую обращенных к возможностям и ходу наших реформ. Скажем, в статье **А. Ахиезера** «Ценности общества и возможности реформ в России» («ОНиС», № 1) возможность реформ неотрывно связывается с необходимостью укоренения в обществе соответствующих ценностей, ориентированных на прогресс. Автор выдвигает основные, сформулированные по пунктам, требования к реформе (среди них, например, требование превращения раскола, конфликта ценностных систем в главную проблему реформы, учет господствующих в данный момент массовых настроений и т.п.). В методологическом же аспекте — выявление реального субъекта реформ.

Кстати — на встрече в «Вопросах философии» (материалы напечатаны в № 7—8) **А. Ахиезер** в диалоге с **А. Пригожиным** «Культура и реформа» пытаются сформулировать выводы о взаимодействии замыслов реформаторов и массовых социальных и культурных процессов в обществе. По мнению Ахиезера в России наиболее продвинутым субъектом реформ всегда являлась власть. Сегодня настоятельно требуется сдвиг в традиционном менталитете и в основополагающих ценностях.

Надо заметить, что на это обращает внимание большинство авторов, занимающихся проблемами реформы в России. Только «ОНиС» открывают год сразу двумя статьями на эту тему — «Человеческий потенциал как основа национального экономического успеха» **А. Барышевой** и «Переходное сознание переходного периода» **В. Комаровского**. Возвращается к давно поднятой теме «нового человека» в реформе, теме «трудовой этики» и **Ю. Да-**

в ы д о в в статье «Вебер и Булгаков (христианская аскеза и трудовая этика)» («ВФ», № 2). На этот раз автор подробнее останавливается на собственно булгаковской разработке «Протестантской этики» М.Вебера, подтверждая неслучайность впечатления о преемственности тематики работы Вебера с «Народным хозяйством и религиозной личностью» С. Булгакова, разработки последним понятия христианского подвижничества с веберовским положением о протестантской вере в религиозный смысл светской профессии, понятия аскезы. Большое место уделено и антитезе насильственной революции и нравственно-религиозной реформации, предполагающей наличие нового сознания, обремененного трудовой этикой в духе протестантизма. Естественным выводом статьи Давыдова становится постановка задачи формирования действительно свободной личности, готовой к проведению демократических преобразований в России.

Широкий взгляд на проблему человека в обществе предлагает **П. Г а й д е н к о** в работе «Человек и человечество в учении В.С. Соловьева» («ВФ», № 6). Исследуя наследие В.Соловьева, Гайденко настойчиво проводит весьма важную и в современном контексте мысль об укорененности человека в трансцендентном. В этом истина христианского персонализма и его непреходящее значение. Отрицание бессмертной человеческой души неизбежно приводит к отрицанию свободы личности и порождает «утопии, которыми так богат наш век».

Несколько у́же, но не менее любопытно подходит к теме **А. Б ы с т р и ц к и й** в статье «Приближение к миру» («НМ», № 3), акцентируя свое внимание на феномене *«российская интеллигенция»*. За разговорами об интеллигенции скрываются для автора две проблемы: понимание происходящих социокультурных процессов и определение подлинного социального места интеллигенции. Ее, впрочем, Быстрицкий склонен считать группой мистифицированной, способной к существованию только в иерархизированном обществе с четким делением на власть и народ, где интеллигент интеллигентно занимает промежуточное место пророка. Веря, что интеллектуальная революция на Западе давно, массово и успешно завершена, автор считает: Россия же погибает от непрофессионалов — национальных интеллигентов. Впрочем, Быстрицкий осмотрительно дал своей статье подзаголовок: «субъективные заметки», заранее предлагая читателю и относиться к напечатанному как к личному, необязательному мнению.

О роли интеллигенции в исторических судьбах России за последнее время прошло, однако, немало материалов, претендующих и на объективность. Так, «Новый мир» на протяжении двух лет знакомил своих читателей с работами «О русской интеллигенции» **Д. Л и х а ч е в а** (№2-93), **Д. Ш т у р м а н** «Остановимо ли Красное Колесо?» (№2—93), **Ю. Ш р е й д е р а** «Между молоком и мамоной» (№5-93) и опять — **Д. Ш т у р м а н** «В поисках универсального со-знания» (№4-94), **Ю. К а г р а м а н о в а** «На стыке времен» (№5—94) и **Д. Ш у ш а р и н а** «Возвращение в контекст» (№ 7—94) и др.

Последняя статья в чем-то главном соглашается с отрицательной характеристикой интеллигенции, данной Быстрицким. Однако делает это автор с прин-

ципиально иных позиций. Главным для Шушарина становится тот факт, что у интеллигенции отсутствует христианское чувство и христианское понимание истории, приводящие к внеконтекстуальности восприятия наследия социального прошлого, невозможности самоидентифицироваться и к неумению четкого целеполагания. Пропасть между этикой и социальной практикой, между духовными и социальными аспектами жизни современного российского общества неизбежно ведет к самоубийству общественной мысли. Панацеей от грядущей катастрофы может стать только рехристианизация, способствующая обретению исторического сознания и личной ответственности за Отечество.

В №8-94 мы читаем статью **М. Колерова** «Самоанализ интеллигенции как политическая философия». Останавливаясь на сравнительном анализе сборников «Вех» и «Из глубины», автор делает свой вывод: веховская проповедь была адресована и оказалась доступна и важна лишь единицам, интеллигенция — нарцисс политической философии. И далее: политфилософия, поставившая в центр своих рассуждений интеллигенцию, — бесперспективна.

Продолжение темы «интеллигенция и политическая философия» мы находим в статье «Интеллигенция и фашизм» **В. Сендерова** («П», № 2), где автор говорит об «обреченном противостоянии» культуры надвигающейся опасности фашизма (об этом его же статья «Милый ангел» ждет...», «П», №5). Упоминая веймарскую ситуацию, Сендеров, однако, напоминает, что в прошлом она потенциально содержала и второй вариант развития, о котором еще в начале двадцатых годов дальновидно говорил О.Шпенглер: принять все меры для национального спасения, обуздать Гитлера и демократический «беспредел»... (Сегодня «легенды и мифы» постсоветского человека выводят на авансцену «крутого парня». О российском фашизме — статья **Б. Котлярчука** «Призраки из гроба истории», «Посев», №6, исследующая генетическую связь фашизма и коммунизма).

Совсем иные пласты сознания современного «субъекта» нынешних реформ интересуют **В. Найдыша** (статья «Мифотворчество и фольклорное сознание», «ВФ», № 2). Во второй половине нашего века среди духовно-культурных новообразований четко проступают признаки целостного корпуса *мифологии как особого способа духовного освоения мира*. Мифотворчество сегодня — отнюдь не разновидность познавательной деятельности, но некий вид мироориентации современного обыденного сознания. Которое и порождает, по словам автора, некоего духовного кентавра. В нем соседствуют логико-доказательное и мифопоэтическое, предметно-практическое и суеверно-магическое, рационально-теоретическое и иррационально-мистическое. Современное квазинаучное мифотворчество — феномен, который не децентрализуется в системе логических структур, несущих объективное, апробированное реальным опытом содержание.

«Борьба с Логосом» — так, собственно, и названа статья **Р. Гальцевой**, анализирующей современную философскую публицистику в толстых журналах («Нм», № 9). Однако статья эта, конечно же, выходит за рамки простого рецензирования, в ней автор делает попытку понять феномен *постмодернистского сознания*, которое отличается интеллектуальной беззаботностью, свободой от обязательств мышления, безбрежным фантазированием взамен

философского творчества. Деконструктивистское мировоззрение, полагает автор, не захватывает широкие массы, но беда в том, что оно будет подрывать и вытеснять из культуры всякие другие убеждения — классические, общечеловеческие, христианские, традиционные. Словом, борьба с Логосом приведет современную цивилизацию к хаотизации человеческих восприятий, отмене логического мышления, различения добра и зла, прекрасного и безобразного.

«Сумерки человека и агония мира» — название главы неизданной книги В. Ильина «Литургия последнего свершения» («Человек», № 3). Размышляя о грехе и греховности, об эпохе расчеловечения человека, философ еще раз напомнил, что Апокалипсис — все-таки благая катастрофа воскрешения. А размышляя о философии «общего дела» Н.Федорова, Ильин подчеркивал: ненависть к судьбе может быть и своеобразным плодом активности в Боге, ненавистью к смерти, т.е. может повлечь за собой неустанную борьбу с нею, борьбу за воскрешение.

Что ж... «Прежней России не будет» — считал и еще один наш предшественник — И. Ильин. Но к России новой мы должны готовиться, точнее — готовить ее в себе, в этом философ видел главную задачу формирования нового русского человека (его размышления «О грядущей России» читайте в «НиР», № 5). На удивление едины в своих надеждах оба Ильина.

Однако остановимся. Мы подошли к некоему принципиальному повороту в нашей панораме. Пытаясь все время увидеть некий более-менее очерченный образ будущей России, проступающий сквозь нагромождение предложенных философско-культурологической публицистикой тем, мы различили очертания еще одной самостоятельной проблемы. Размышлять о России — именно о современной России — невозможно вне размышлений о Православии, о Русской Церкви, переживающей столь же сложные времена, что и ее паства — реальная и гипотетическая. Без сомнения, в современной публицистике много от лукавого, но несломлен и чистый пафос обеспокоенности судьбой русского Православия. Это и объединяет самые серьезные исследования, как объединяет и поддерживает нас осознание себя ответственной частью живой жизни Церкви.

«Вестник РХД», № 169 предлагает своим читателям анкету «Православие в современном мире», на вопросы которой ответили С. Аверинцев, прот. Борис Бобринской, прот. Евгений Касаткин, свящ. Георгий Кочетков, В. Лепахин, Д. Поспеловский, Н. Струве.

«Церковь — живой организм и ткани ее постоянно обновляются... через творчество, что в Церкви равносильно святости» — эти слова Н.Струве вполне выражают общий пафос участников анкеты.

«Новая Европа», № 4 помещает статью известного богослова о. Иоанна Мейендорфа «О расколе». Замечая присущую русской духовной культуре тенденцию жить в «двух мирах», некий дуализм по отношению к историческому процессу как несовершенному, о. Иоанн проводит аналогию между Расколом и ситуацией, переживаемой сегодняшней нашей Церковью,

и заостряет внимание на необходимости и высоком долге Русского Православия ответить на духовную ностальгию общества.

Тему *Раскола* (с ориентацией на массового читателя) разрабатывает журнал «Наука и религия», отдавший добрую половину №6 материалам, посвященным русским старообрядцам. Здесь можно ознакомиться и с отрывком книги С. Смирнова «Древнерусский духовник» — «Покаяльная семья Аввакума», где исследуются традиции древнеправославной покаяльной духовно-исповеднической семьи на примере практики о. Аввакума; здесь и весьма познавательная статья В. Лизунова «Гуслицы — старообрядческая Палестина», рассказывающая о бытовой стороне старообрядчества (№ 9 продолжит этот рассказ материалом Е. Сойни «Ушедшие в небесный град»), и статья Е. Лазарева «Алхимия в старообрядческом скиту», обращающаяся к анализу «лженауки» и ее традиции в старообрядчестве и задающаяся вопросом: было ли «златоделие» лжеучением или все-таки представляло попытку создать всеобъемлющую науку-искусство познания мира, в коем образе и бытовавшую среди старообрядцев.

Опосредованным откликом на размышления о. Иоанна Мейендорфа о духовной ностальгии общества и о долге РПЦ ответить на эти запросы стала статья С. Аверинцева «Будущее христианства в Европе» («НЕ», № 4; с некоторыми изменениями статью можно прочесть также в «Православной общине», № 1). Подразумеваемый европейский контекст бытийствования русской культуры позволяет ученому рассматривать сегодняшние *проблемы РПЦ на фоне общих конфликтов современного мира.* Сознательно отказываясь говорить о «специфическом национальном», автор тем самым приобретает возможность выйти на иной уровень размышлений о сегодняшнем человечестве. Отнюдь не в атеизме (и даже не в исламе) видит известный ученый угрозу нынешнему христианству. «Радикальный релятивизм и прагматизм в сочетании с практикой модного образа жизни порождают весьма специфическое состояние души, при котором вопрос о бытии Божием, не получая отрицательного ответа, утрачивает... всякую серьезность», — считает Аверинцев. И это самое страшное — в перспективе феноменологии человеческих типов. Реальность этого зла значительно превышает временные проблемы любой сегодняшней Церкви. Отсюда и эмоционально ожидаемый вывод автора: считая главной причиной конфронтации католицизма и православия не вероучительные разногласия, но сложившиеся взаимоотторжения религиозных культур, т.н. «православный вкус», Аверинцев возлагает серьезные надежды на будущий синтез христианских религий — задачу трудную, но, с его точки зрения, желаемую и возможную.

Заинтересованный читатель напрасно будет искать на страницах соответствующих журналов ответы-отклики на публикацию, скажем, того же С.Аверинцева. Сегодняшние периодические издания окружили себя вакуумом — не видя и не слыша друг друга. И если в нашей панораме мы все-таки имеем возможность тематической классификации, это не результат реальных межжурнальных дискуссий, но дискуссионность самой реальности. Поэтому мы и можем предложить читателям, вослед размышлениям С. Аверинцева, «Воскресные беседы 1969—74» прот. А.Шмемана («Нм», № 11), утверждающего,

что все-таки «наша эпоха... есть эпоха новых религиозных войн», ибо вопрос о религии сейчас и есть вопрос о личности (об этом же и выступление Оливье Клемана на генеральной ассамблее движения «Христианское действие за отмену пыток» в 1992 г. «Свидетели надежды в кризисном мире», «ПО», № 2).

А вот и еще один цикл бесед по сравнительному богословию о. Максима Козлова («ПБ», №2—6). «Бремя свободы и ответственности, бремя Христово, дано каждому из нас», — пишет проповедник. И в существующем споре между католиками и православными РПЦ обязана строить собственную внутреннюю аргументацию против иных христианских конфессий. С этих позиций и рассматривает о. Максим основные вероучительные противоречия, отделяющие католиков от православных.

И еще одна дискуссионная пара: размышления о. Рональда Дж. Робинсона «Отношения католиков и православных в посткоммунистической Европе: призраки прошлого и задачи на будущее» («Альфа и Омега», №1) и диакона Андрея Кураева «Троянский конь русского протестантизма» («П», № 2). Оба автора, не касаясь собственно конфессиональных разногласий, признают, что посткоммунистические страны ныне реально рассматриваются (и должны рассматриваться — о. Рональд) как территория миссионерской деятельности (однако не исключено, замечает диакон Андрей Кураев, что миссионеры, «победоносно придя в атеистическую Россию, пробудят православные стремления в своих же прихожанах и богословах»).

Еще одну статью диакона Андрея Кураева «Новомодные соблазны» можно прочесть в «Новом мире», № 10. Обращаясь к *проблемам экуменизма*, автор дает такую формулу: если под экуменизмом понимать терпимость к людям иных вер — это можно лишь приветствовать, если же — стремление все религии втиснуть в ранжир «единой веры», в том нет ничего, кроме ленивого нежелания изучить основы своей духовной традиции.

Надо заметить, что современная публицистика достаточно широко и полно охватывает круг проблем, вставших перед РПЦ сегодня. Здесь и вопросы преодоления наследия тоталитарного государства, анализ сложившихся взаимоотношений с паствой, проблемы экуменизма, общественно-политическая активность современной Церкви, проблемы обновления сложившейся практики богослужения и многие, многие другие.

«Православная община», №1 в статье А. Костромина «О переводе богослужебных текстов: pro и contra двух языков» опирается в своей аргументации на церковное Предание, утверждающее «возможность и даже необходимость перевода Священного Писания и богослужебных текстов на любой язык».

Та же мысль повторяется и в статье Н. Струве «О реформах в Богослужении (спор вокруг Сретенско-Владимирского прихода)» («Вестник РХД, № 169). Однако автор, подчеркивая назревшие проблемы реформы традиционного богослужения и обращаясь, за примером, к опыту бывшего настоятеля храма Сретенско-Владимирского прихода о. Георгия Кочеткова, замечает и опасность, стоящую перед реформаторами, — «слишком большое значение придавать в итоге все той же форме, а не духу»...

«Мир Библии» достаточно широко обсуждал в завершившемся году проблемы перевода Нового Завета. В № 1 (2) можно ознакомиться с материалами *Круглых столов*, проводившихся в Институте востоковедения РАН в 90—91 гг. (участники **о. Валентин Асмус, Г. Чистяков, А. Козаржевский, М. Селезнев** и др.). Были высказаны самые противоположные точки зрения: от постановки задачи формирования нового православного менталитета — сторонниками перевода, до предупреждения о возможных новых «расколах», вызванных насильственным, не определенным общенародными и общецерковными реальными потребностями новым переводом. В этом же номере представлена работа **С. Аверинцева** «Вслушиваясь в слово: три действия в начальном стихе первого псалма — три ступени зла» с авторским переводом текста псалмов (№ 2 «Альфа и Омега» помещает в его же переводе Нагорную проповедь). Своеобразным дополнительным аргументом в защиту «новой русской Библии» служат и «Размышления о псалмах» **К. С. Льюиса** («МБ», № 1), блестящее исследование псалмов, призванное помочь современному человеку, чье мышление, по несчастью, далеко отстоит от библейского, войти в текст Писания через первую доступную дверь — дверь словесности. Об утрате современным человеком целостности мышления, свойственной Священному Писанию, говорит и **о. Георгий Флоровский** в «Утрате библейского мышления» («НЕ», № 4). Однако, в противовес Льюису, первостепенной задачей проповедника о. Георгий видит не разного рода «интеллектуальные усилия», но — восстановление веры: «Слово Божие нельзя приспосабливать и подгонять к преходящим обычаям и взглядам, меняющимся со временем», не стоит к Слову Божьему применять собственных мерок, вместо того, чтобы пользоваться «мерой возраста Христа».

Широко и разносторонне представлено сегодня на страницах журналов и современное, и *традиционное богословие*.

«Мир Библии», например, представляет работу **о. Александра Меня** «Послания апостола Павла» (№ 1), взятую из монументального неопубликованного «Словаря по библиологии».

Его же «Три письма к прихожанам» и статью «О Библейских пророках» печатает «Христианос», вып. 3, альманах, издаваемый Международным Благотворительным фондом им. Александра Меня в Риге.

Журнал Московской Патриархии посвящает свой пятый номер 50-летию со дня кончины Патриарха Сергия и подробно знакомит читателей с богословским наследием Патриарха.

Проповеди на темы Нового Завета и «Уроки Ветхого Завета» **о. Антония, митрополита Сурожского**, печатает «Альфа и Омега» в №№1—2. «Уроки» — это цикл радиобесед, прозвучавший в Лондоне в 1989—90 гг. и посвященный «отдельным личностям, тем проблемам и житейским положениям, в которых они находились, а также проблемам, которые они сами порой представляют». В № 2 опубликованы доклад епископа **Кассиана (Безобразова)** «Принципы православного толкования Слова Божия» и «Тезисы по Священному Писанию Ветхого Завета» **Б. Сове**, учеников А. Карташева, в работах которых отражены искания православных богословов в области библейской критики.

«Православная община» представляет проповеди протопресвитера Виталия Борового в Богоявленском Патриаршем соборе в 1977 г. (№ 7), а также проповеди о. Георгия Кочеткова девяносто первого года (№4—6, 1993; №1—3, 1994). Там же о. Виталий Боровой пишет «Об актуальности Богословского наследия о. Николая Афанасьева» (№2—6, 1993), а о. Георгий Кочетков печатает работу «Вера вне церкви и проблема воцерковления» (№ 1, 1994). Журналом использовались материалы «Афанасьевских чтений», Международной богословской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора-протопресвитера Н. Афанасьева. Здесь же (№4—6, 1993) печатается и работа митрополита Иоанна Пергамского, тематически связанная с афанасьевским наследием, — «Поместная церковь с точки зрения Евхаристии (православный взгляд)».

А в «Христианосе» читатель найдет размышления архимандрита Виктора (Мамонтова) «О евхаристическом возрождении».

Святителю Игнатию Брянчанинову посвящена работа А. Осипова «Ищущему спасения» («ПБ», № 5), вызванная, по признанию автора, необходимостью выработки верных ориентиров в понимании Наследия Отцов Церкви, столь обильно печатаемом сегодня.

Святителя Игнатия печатает и «Даниловский благовестник», вып. 6, — работа «Понятие о ереси и расколе».

В прошлом году из Наследия также было напечатано:

— «Церковь и культура» прот. Сергия Булгакова, — «ПО», №3.

— «Диалоги о жизни и чудесах италийских отцов и о бессмертии души» св. Григория Великого (Двоеслова), — «Теология», №1.

— «Житие святого Франциска Ассизского» о. Александра Ельчанинова (работу о. Александра предваряет подборка материалов, посвященных 60-летию со дня его кончины), — «Христианос», вып. 3.

— «Летопись Скита Оптиной Пустыни (Избранные страницы 1845—1882 гг. по плану монаха Варсонофия), — «Православие и русская народная культура». Научный сборник, вып. 1.

— «Письма Оптинских старцев», — «ПБ», № 6.

— «О бессмертии души» Плотина, — «ВФ», № 3.

— «О воздержании от мясной пищи» неоплатоника Порфирия, — «Человек», №1—2.

— «Вера, разум и опыт» В. Соловьева, — «ВФ», № 1.

— «Смысл и содержание иконы» Л. Успенского, — «Даниловский благовестник», вып. 6.

— Богословскому наследию о. Павла Флоренского посвящен №4 «Начал» (публикуются «Отзыв о сочинении А.Туберовского «Воскресение Христово», «Опыт православно-мистической идеологии догмата» о. Павла, письма о. Сергия Булгакова о. Павлу, переписка его с Николаем Бердяевым, статьи современных философов).

Из философского наследия вы сможете прочитать:

— «Разговоры с Бахтиным» В. Дувакина, — «Человек», №1—6 (№4—6, 1993).

— «Пространство и время» А. Габричевского, — «ВФ», № 3.

— «Амстердамские доклады», II ч., Э. Гуссерля, — «Логос», № 5.

— Из неизданных работ А. Ф. Лосева, — «Начала», №1 (публикуются «Абсолютная диалектика – абсолютная мифология», «Типы моей памяти», «Переписка в комнате»; статьи А. Тахо-Годи, С. Хоружего, В. Асмуса, Л. Гоготишвили, М. Гамаюнова, И. Фридмана, В. Бибихина).

— «Природа» А. Лосева (для «Истории античной эстетики» А. Тахо-Годи), — «Человек», № 3.

— «О психоанализе» М. Мамардашвили, — «Логос», № 5.

— «К пространственно-временной феноменологии событий знания» М. Мамардашвили, — «ВФ», № 1.

— Из материалов к третьему тому «Философии общего дела» Н. Федорова, — «Начала», № 3.

— Из бесед М. Хайдеггера с М. Боссом. Из переписки М. Хайдеггера с К. Ясперсом, — «Логос», № 5.

— «Феноменологическое направление исследования в психопатологии», «Общая психопатология» К. Ясперса, — «Логос», № 5.

1. Лев ИГОШЕВ
НУЖНО ЛИ?
(Письмо в «Континент»)

Уважаемая редакция!

В 81-м номере «Континента» была помещена беседа с о. Георгием Кочетковым и А.М. Копировским, в ходе которой, в частности, говорилось и о том, как притесняют общину о.Георгия Кочеткова, как запретили Богослужение русифицированное.

Разумеется, те насильственные меры, о которых шла речь в беседе, не украшают никого. Но за этими эксцессами, как мне кажется, как-то пропала, растворилась сама суть дела. И если, с одной стороны, был огромный «пережим» (пресловутые «поиски врага» и т.п.), то с другой — сам пафос обновления куда-то делся, растаял...

Я далек от мысли о каком-то упреке о.Георгию или его единомышленникам. Еще неизвестно, как повел бы себя любой из нас, окажись он в таком осадном положении. Но суть дела требует выяснения, и не только на уровне «клеймения позором» за откровенные грубости или вульгарное давление, но на уровне смысловом. Вопрос вот в чем: а имеет ли вообще смысл русификация службы?

Основная мысль русификаторов весьма понятна. Нынешнюю, традиционную, службу на славянском языке тяжело воспринимать на слух. Смысл того, что читается или поется, с трудом улавливают даже те люди, которые хорошо знают славянский язык, а многие ли в наше время будут им серьезно заниматься, да еще и так тренировать свое восприятие, чтобы сразу все слышимое переводить в уме и внимать смыслу службы? Таких — единицы, которые к тому же в процессе обучения узнают, как правило, службу настолько, что она в качестве источника поучения становится им уже и не нужна. Перед иереем встает вопрос: а что же я, собственно, читаю, что поет хор, если из читаемого и поющегося в сознании верующих, помимо общеизвестных молитв вроде «Отче наш» откладывается только «Господи, помилуй» да «Подай, Господи»? Как я предстою перед Богом, если остальные в лучшем случае только понимают, что здесь творится что-то важное, а что — не разумеют? И естественно желание, чтобы все всё понимали, с благоговением внимали службе, улавливали

смысл ее построения. Так что тяга к переводу всего на понятный язык объяснима.

К сожалению, языковая проблема — не самая главная. Если мы встали на точку зрения наилучшего восприятия смысла действия, представления (а с иной точки зрения не стоит и поднимать вопрос о языке), то должны учесть: в том или ином действии (или действе) не все и не всегда зависит от понятности языка текста. Каждый театровед знает: существуют прекрасные пьесы, с хорошим, совершенным построением действия, написанные хорошим, понятным языком, но — увы! — не постановочные. Они не рассчитаны на особенности человеческого восприятия, и в итоге зрители не могут следить за смыслом действия. Эти пьесы можно только читать дома, внимательно, осторожно перечитывая каждую страницу, и лишь тогда проявляется глубокий смысл действия. И если даже в мирских пьесах, рассчитанных, как правило, на эффект, бывают такие трудности, что говорить о восприятии труднейших догматов, изложенных в служебном чтении и пении? Здесь такая возможность повышается.

Наша литургика византийского происхождения. И каждый, соприкасавшийся с ее текстами, подтвердит: они действительно трудны для восприятия. Авторы-византийцы — с их привычкой к роскоши эпитетов (тяжеловатой для русского), с их утонченным сверхинтеллектуализмом — вкладывали в лаконичную по-гречески форму очень много. Настолько много — и так хитро, — что современный человек далеко не все поймет даже и с пятого или шестого внимательного прочтения. Древняя поэзия (например, Псалтырь), также присутствующая в службе, тоже не представляет из себя чего-то простого и тоже трудна для восприятия при чтении вслух. Вот, например, псалом десятый в довольно хорошем русском переводе. Как он прозвучит вслух в церкви при «велегласном чтении»?

1. На Господа уповаю; как же вы говорите душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»?

2. Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.

3. Когда разрушены основания, что сделает праведник?

4. Господь во Святом храме Своем, Господь, — престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих.

5. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его.

6. Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер — их доля из чаши;

7. Ибо Господь праведен, — любит правду; лицо Его видит праведника.

Казалось бы, все просто, и мысль ясна. Но специфика восприятия при чтении требует гораздо большей ясности и выпуклости. Недаром тексты, пригодные для такого чтения, кажутся перед текстами тех же псалмов пресными, и не случайно в стихотворном переводе (например, у Ломоносова) псалмы значительно более растянуты, менее емки. К этому надо добавить еще и тот факт, что в ветхозаветное время в той среде, где звучали псалмы, многие их поэтические обороты были, несомненно, живы и считались общими местами. В наше же время такое возможно, наверно, только в компании либо знатоков службы, либо востоковедов-семитологов. Так что перевод на русский язык немного добавил бы к возможности восприятия смысла этого псалма при прочтении его вслух перед народом в церкви. А если по-русски будет читаться, например, канон св. Андрея Критского? Кто в нем что поймет?

И еще: пока речь шла лишь об отдельных фрагментах службы. Но ведь служба имеет смысл только как целостность. Поэтому вряд ли следует какие-то ее куски переводить, а какие-то — оставлять по-прежнему: после относительно понятных (или создающих такую иллюзию) русских кусков славянские — по принципу контраста — покажутся еще «темнее». Кроме того и сама целостность службы — также сложная. Сложные связи службы со временем суток, с днем недели, с днем в году, с днем в лунно-солнечном пасхальном цикле также весьма изысканны, многозначительны и... рискну сказать, тоже слишком сложны, чтобы прихожане могли уловить эти связи на слух. Добавим к этому, наконец, что в православной службе очень много и песнопений, и чтений, вследствие чего она весьма длинна. Когда к этой длине прибавляются еще и трудности восприятия текстов, и трудность восприятия сложного ее построения, получается мало того, что длинно, а еще и запутанно... Словом, приходится признать, что создатели ее мало считались с обычным людским восприятием. И в общем, это где-то так и есть; недаром раньше всенощное, например, бдение длилось всю ночь.

Но сейчас ведь оно сокращено «слабости ради человеческой». Так, может быть, имело бы смысл действовать в том же направлении и с самой семантикой службы? Тем более что у св. Феофана Затворника есть прямое указание на сложности некоторых канонов и на необходимость их облегчить. Может быть, именно это и упростило бы восприятие?

А то, что и сегодня воспринимается, тем более вряд ли стоит русифицировать. Что русифицировать, например, в молитве «Богородице Дево»? Убрать звательный падеж — да слово «яко»? К тому же это и вообще невыполнимая задача — поскольку, как я уже сказал, русифицировать что-то кусками не стоит. А попробуйте русифицировать ту же Херувимскую песнь — да так, чтобы слова можно было понять в медленном пении хора (все равно — одноголосного, многоголосного)! Попробуйте перевести этот сложнейший текст так, чтобы его смысл не утерялся в таких условиях! По-моему, это невозможно.

Мне уже приходилось писать, в том числе и в «Континенте», об особенностях усвоения христианских истин на Руси. Напомню: благодаря обилию т.н. «чительной» (т.е. предназначенной для чтения, а не для службы) литературы усваивалось и даже переходило в фольклор многое и многое. И сейчас вряд ли стоит искать пути к понятности службы, уповая на те или иные возможности самого восприятия ее текстов — слишком сложно то, что в них излагается. Современное восприятие той службы, какое сегодня существует в наших храмах, по большей части может быть только восприятием какого-то малопонятного, но важного таинства. Исключение возможно только в случае, например, ектении. Лучше переводить на русский и издавать в массовом количестве всевозможную литературу — старинные сказания, всевозможные «Цветники», «Пролога» (возможно — старой, неисправленной редакции), «Златоусты», «Маргариты». В отношении уяснения смысла службы это будет (да и было раньше) много более действенным, чем какие бы то ни было попытки сделать более понятными на слух ее тексты.

2. Поправка

По недосмотру редакции в стихотворении Натальи Горбаневской «О, этой искры высеканье...» («Континент» № 81) неправильно были набраны последние строки. Напечатано:

где пышет, победивши тлен,
на стыке рифма саламандрой...

Следует читать:

где пышет, победивши тлен,
на стыке рельс ацетилен
и пляшет рифма саламандрой...

Приносим свои извинения автору и читателям.

Редакция журнала «Континент»

Художник М. Кудрявцева

ЛР № 010184
Подписано в печать 27.02.95. Формат 84×108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 22,44. Тираж 10 000 экз.
Цена договорная. Заказ № 24

Издательство «Московский рабочий», 101923, ГСП, Москва, Центр,
Чистопрудный бульвар, 8а

Адрес редакции журнала «Континент»:
101923, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13
Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30.

1995 год, № 1

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

КОНТИНЕНТ

принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»

73218

* * *

КОНТИНЕНТ

продается в книжных магазинах, киосках «Роспечати»
и высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» (тел.: /095/ 129-29-09), а также агентством
по распространению «АиФ» (тел.: /095/ 923-68-59)

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции

КОНТИНЕНТ

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?

Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"
тел. 276-87-80

"МОСКВИЧ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа
тел. 276-83-08
276-82-32
факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА